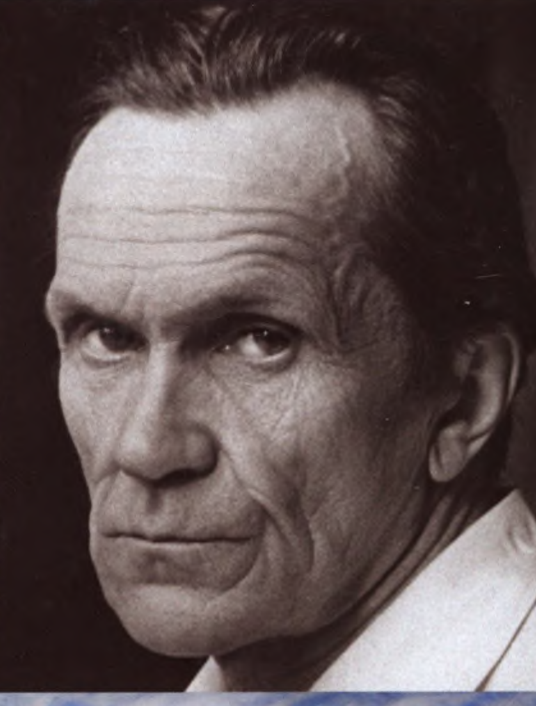
Валерий Есипов

ШАЛАМОВ

ЖЗЛ

ШАЛАМОВ





Валерий Есипов

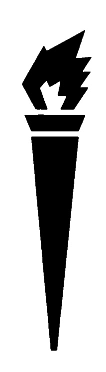


ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1574

(1374)

Валерий Есипов

ШАЛАМОВ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2012

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6—8
Е 83

Фотографии для книги предоставлены РГАЛИ

ISBN 978-5-235-03528-7

ПРЕДИСЛОВИЕ

«В моей жизни не было никакой тайны. Я сторонник открытого боя», — заявлял герой этой книги.

Сомневаться в этом, казалось бы, не приходится. Жизнь Варлама Шаламова — и та, что во множестве детальных подробностей описана им самим, и та, что встает за документами, справками, делами о его «контрреволюционных преступлениях» (и жестоких лагерных наказаниях), за горькими свидетельствами о литературном изгойстве 1950—1970-х годов (что было не менее тяжким испытанием для него), — вся открыта, как на ладони, и пусть с усилиями, но вполне поддается рациональному исследованию и толкованию. Его жизненный путь был не извилист, а прям, как и его характер — гордый, необычайно суровый и взыскательный к себе и к людям, не допускающий ни малейшего отступления от высшего понимания чести и правды. Недаром самый ненавистный из человеческих пороков для Шаламова — тот, что он называл на лагерном жаргоне «хитрожопостью» — лицемерие, двоедушие, достигающие у представителей *homo sapiens* иногда (Шаламов считал — часто, непозволительно часто!) огромной артистической изощренности.

Время, в которое ему выпало жить, совсем не располагало к людям, лишенным внутренней гибкости. Еще меньше оно располагало к писателям, избравшим путь независимого одиночества, — вопреки общепринятому групповому «роению», связанному, как правило, с разного рода политическими и житейскими соблазнами, с особыми литературными стратегиями и тактиками. А если писатель, нарушая все принятые конвенции, решался говорить самую горькую правду о совершенно запретной — до эпохи «оттепели», точнее, до эпохи пропагандистских манипуляций и информационных войн — теме сталинских лагерей и репрессий, он оказывался вне общества, в положении литературного маргинала или — если это слово понятнее — литературного «бомжа». Так было и с Шаламовым.

Не станем пока употреблять эпитетов, характеризующих

подлинный масштаб его личности и его таланта. Надеюсь, что читателю не нужно объяснять отличие Шаламова, скажем, от любого из авторов 1500 текстов, размещенных ныне на интернет-портале Центра им. А. Д. Сахарова «Воспоминания о ГУЛАГе», или 600 аналогичных текстов, хранящихся в архиве общества «Мемориал» (так и хочется сказать: вот как шагнули мы вперед с 1987 года, со времен «гласности»! Прогресс огромный и важный для общественного сознания. Но если вспомнить 1954 год, когда Шаламов начал писать «Колымские рассказы», — кто из авторов встанет тут рядом? И чьи произведения можно в итоге назвать настоящим искусством, а не беллетристикой и публицистикой?..).

Столь же очевидна и непохожесть Шаламова на наиболее крупные имена как в русской, так и в зарубежной прозе, связанные с художественным воплощением основной проблемы XX века — проблемы взаимоуничтожения людей под влиянием идеологий, умирания и выживания в чудовищных условиях концентрационных или исправительно-трудовых лагерей. Его роль как истинного первопроходца в отражении этой проблемы в России (во-первых), как писателя, наполнившего ее изначально «экзистенциальным ужасом» — страшным, мучительным и актуальным для всего человечества философско-трагедийным звучанием (во-вторых), и при этом решительно отказавшегося от каких-либо конъюнктурных политических спекуляций на ней (в-третьих, и, может быть, главных), — сегодня находит все большее понимание не только в литературной науке, но и у рядового читателя. В связи с этим неизбежно возрастает интерес к личности Шаламова и его биографии.

Чем тут может помочь эта книга? Ведь уникальность жизни и судьбы писателя заключается, кроме прочего, в том, что, в сущности, все о себе рассказал он сам. Возможно, наилучшим жизнеописанием Шаламова был бы хронологический монтаж его автобиографических произведений, писем и дневников, охватывающих практически весь его земной путь, — или по крайней мере добросовестный пересказ их, с некоторыми комментариями. Но это слишком простая (или кажущаяся простой) задача. Каждый, кто пойдет такой дорогой, увидит, сколь много в биографии писателя «белых пятен», внутренних зазоров, нестыковок, крайне важных, но не проясненных эпизодов — естественного следствия того неизбежного разрыва между историей своей жизни и своей эпохи, отраженными художником, и историей «де-факто».

Самой большой ошибкой было бы, наверное, опираться на «Колымские рассказы» исключительно как на автобиографический документ — внутреннего воздуха, естественного для художественной прозы, здесь еще больше. Но при этом есть

целый пласт рассказов, которые — и в своей психологической правде, и в сопоставлении их с документами — обнаруживают полное тождество с реальными фактами жизни Шаламова. Наряду с ними наиболее репрезентативны в этом смысле его «Воспоминания», а также «Четвертая Вологда» и «Вишерский антироман», где грань между вымыслом и действительностью писателем сознательно стерта и дает о себе знать лишь в моментах некоторой аберрации памяти и поздних, иногда пристрастных оценках отдельных эпизодов жизни и ее участников, что требует уточнений. Особая проблема — вариативность текстов Шаламова и их соотнесенность с развитием мысли писателя: здесь много противоречий, которые имеют в каждом случае конкретные поводы.

Есть и другой комплекс проблем. Вокруг имени Шаламова еще при жизни возникло немало мифов — о якобы «расколотости» его сознания, о его «душевной надломленности» и о том, что он, не выдержав давления власти, «сдался». Все это, как и нюансы его весьма непростых взаимоотношений с великими или менее значимыми для него современниками (от Бориса Пастернака до Александра Солженицына), требует четких и недвусмысленных ответов. А они невозможны без проникновения в особенности характера и миропонимания писателя.

Сам Шаламов, бесспорно, сознавал свое значение, свою цену в литературе по «гамбургскому счету». Он писал — с полным основанием: «Я новатор завтрашнего дня». Но при этом признавался: «Всю жизнь меня принимали за кого-то другого — то меньше, чем я, то больше». И еще: «Больше, чем я есть, я не хочу, чтобы меня показывали — ни современники, ни потомки».

Эти пожелания любой биограф, конечно, обязан учитывать. Соответственно, автором предлагаемой книги ставятся достаточно скромные задачи, без претензий на всеохватность, а тем более — на законченность жизнеописания писателя и разгадку (расшифровку) всех самых сложных перипетий его жизни.

Тайна Шаламова, безусловно, существует. Она прежде всего в самой его личности. Как мог вырасти он, выжить и состояться со столь могучей творческой силой в эпоху, которая перемалывала людей, как щепки? А главное — для чего он пришел в этот мир, для какого не пройденного еще людьми урока? Именно эти вопросы невольно возникают и настойчиво требуют ответа, когда мы говорим о писателях выдающихся, воплотивших в себе вечные искания человеческого духа. В этом смысле тайна Шаламова принадлежит, на мой взгляд, к тому роду и ряду тайн, которые окружают самые великие имена русской литературы и которые предстоит еще бесконечно долго разгадывать.

Биограф обязан опираться прежде всего на документ. К сожалению, основная часть семейного архива Шаламова (архива отца и матери) утрачена — она была сожжена родственниками в годы войны. После ареста Шаламова в 1937 году его жена уничтожила его первоначальный писательский архив. Еще раньше одна из сестер, Галина, сожгла юношеские рукописи (обо всем этом Шаламов рассказал в главе «Большие пожары» своих «Воспоминаний»). Поэтому так высока цена всего сохранившегося. На первом месте здесь материалы, в том числе неопубликованные, из архива писателя, переданные им в свое время (и затем дополнявшиеся) в Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). В качестве исторического контекста используются документы из ряда других хранилищ, из новейших фундаментальных, научно выверенных трудов по истории сталинских лагерей, а также из воспоминаний современников.

Автор осознает, что у этой первой биографической книги о Шаламове могли быть другие создатели — прежде всего Ирина Павловна Сиротинская, самый близкий ему человек в последние его годы и самый глубокий знаток его биографии и его произведений. Но судьба распорядилась так, что она не дожила до этих дней. Крайне жаль, что она не смогла проконсультировать автора по многим вопросам, некоторые аспекты которых теперь неизбежно приходится домысливать, совершая чисто субъективные экскурсы в малоисследованные области. Надеюсь, что Ирина Павловна простила бы меня за все прегрешения — вольные и невольные, потому что она и прежде мне доверяла. По крайней мере, мы следовали одному принципу: всю правду о Шаламове можно раскрыть только через его тексты.

Выражаю глубокую признательность всем, кто, помимо И. П. Сиротинской, на разных этапах, в течение почти двадцати лет, способствовал сначала смутному зарождению, затем — сомнению и отчаянию и конечной твердой решимости в осуществлении замысла этой книги, — Ф. Ф. Сучкову, Е. Е. Ореховой-Добровольской, Е. А. Мамучашвили, С. Ю. Неклюдову, Е. С. Громову, М. И. Вороно (всех их уже нет в живых), Т. И. Исаевой, М. В. Головизнину, А. Л. Ригосику, С. А. Быченко, Д. В. Неустроеву, В. А. Шмырову, Л. С. Панову, Н. Н. Фарутиной, О. Г. Сурмачеву, зарубежным исследователям — Ф. Апановичу, М. Николсону, М. Берютти, Л. Клайн, Е. Михайлик, Д. Лундблад, Ч. Мерфи, Ф. Тун-Хоенштайн, Л. Юргенсон и моим молодым друзьям и коллегам по сайту shalamov.ru — С. Соловьеву, А. Гавриловой, И. Харламову, Н. Дмитриевой, С. Агишеву, А. Москвину, М. Дремову, Д. Субботину, А. Аверюшкину, Е. Синяевой...

Глава первая

В ПОИСКАХ РОДОСЛОВНОЙ

Варлам Шаламов... Удивительное для всех современников, явно архаичное имя, в котором слилось и церковное, и языческое, происходящее из каких-то неведомых глубин лесной «заволочской» Руси.

Шаламов не любил своего имени. Но как поэта его не могло не привлекать это редкое, с внутренней музыкальной перекличкой сочетание с фамилией, в котором столь осязаема игра любимых им звуковых повторов — и двойных гласных «а»-«а», и особенно согласных «р» и «л», напоминающая и крики шамана, и орлиный клекот. Осознание красоты своего первородного поэтического имени пришло к нему, вероятно, позднее, в 1960-е годы, когда стали выходить сборники стихов, выделившие его из сонма советских поэтов (с псевдонимами и без, от революционных Безыменского, Бедного, Голодного до современных ему трудноразличимых Васильевых, Сидоровых и Пупырушкиных) и особым, ни на кого не похожим голосом, и резко своеобычной звукописью и семантикой родовой эмблемы.

Но в юности в 1920-х да и на протяжении последующей жизни Шаламов как гражданин новой, воинственно-атеистической страны испытал множество неприятностей — натерпелся! — из-за отчетливо религиозного истока имени. Тем более что изначально его нарекли «Варлаамом» — в строгом соответствии со святцами, церковно-православным календарем.

Он родился в Вологде 5 июня 1907 года по старому стилю (18-го — по новому), в день памяти преподобного Варлаама Хутынского, новгородского монаха-пустынника, канонизированного в XV веке и почитавшегося на всем Русском Севере. В святцах его имя поминалось дважды — 6 ноября и в первую пятницу Петрова поста (переходящий праздник). Почитание от века к веку, правда, становилось все более внешним. В Вологде до сих пор блещет своей изысканной, вызывающе антимонашеской, дворцово-светской красотой церковь Варлаама Хутынского, построенная при Екатерине II, в 1780 году, по

проекту неизвестного (скорее всего — петербургского) архитектора-вольнодумца — с причудливым крыльцом-ротондой, куда, несомненно, не раз взбегал и живший неподалеку, всего в 200 метрах, мальчик, которого в семье звали Варлушей...

Крестили Шаламова в другой церкви, расположенной тоже недалеко (и тоже очень своеобразной по архитектуре), — Цареконстантиновской, священной в честь первого христианского императора Константина и святой Елены. В том, что для крещения младенца выбрали этот храм, была, как увидим, своя интрига. Но вначале обратимся к документу — обнаруженной уже в 1990-е годы в архиве бывшего Вологодского епархиального управления метрической книге этой церкви.

В графе родившихся в июне 1907 года значится: рождения *5* числа, крещения — *12* числа — *Варлаам.* И далее: звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания — *Кафедрального Вологодского Собора Священник Тихон Николаев Шаламов и законная его жена Надежда Александрова, оба православные.* Звание, имя, отчество и фамилия восприемников — *Коллежский асессор (исправник на пенсии) Александр Александров Воробьев.* Кто совершал таинство крещения — *Священник Сергий Непеин с псаломщиком-диаконом Владимиром Шахматовым**.

Почему семидневного малыша окунали в купель не в «именной» церкви, а в соседней, можно объяснить просто — священник Сергий Непеин, весьма известная в Вологде своей широкой образованностью фигура, был добрым приятелем о. Тихона Шаламова. Тот недавно вернулся со службы в Американской православной миссии и выбирал себе новых знакомых исключительно по степени просвещенности. Незадолго до этого, в 1906 году, о. Сергий выпустил ценнейшую историко-краеведческую книгу «Вологда прежде и теперь» (она впоследствии упоминалась даже в Большой советской энциклопедии), а о. Тихона тоже можно было назвать своего рода церковным писателем или журналистом — он опубликовал множество статей и очерков о своей миссионерской деятельности на Аляске. Не случайно сын Непеина Борис стал потом одним из близких знакомых юного Варлама Шаламова — они обменивались марками, книгами, оба рано увлеклись литературой. В 1920-е годы, когда Шаламов уехал учиться в Москву, Борис Непеин участвовал в вологодском кружке пролетарских

---

* Документ найден в Вологодском госархиве в 1994 году. Он позволяет устранить ошибку с датой рождения писателя — 1 июля, возникшую из-за смешения старого и нового стилей и попавшую в «Краткую литературную энциклопедию»(1975 год) и словарь «Русские писатели 20-го века» (2000 год).

поэтов «Кузница», потом работал в местных газетах. В 1937 году он был арестован (за то, что в свое время брал интервью у расстрелянного «врага народа» маршала М. Тухачевского), отправлен в Сибирь, в Краслаг, а по прошествии почти тридцати лет получил в дар от Шаламова (по почте) один из его стихотворных сборников. Непеин, к сожалению, напуганный навеки сталинской эпохой, всячески избегал говорить о своем лагерном прошлом, он всю жизнь занимался рутинной библиографией местных авторов, но именно он первым в Вологде на закате своей жизни, в конце 1980-х годов, напомнил о совершенно забытом здесь, исчезнувшем на несколько десятилетий имени Шаламова — показал дом, в котором родился и жил автор «Колымских рассказов», и с этого начались нынешний музей и нынешнее паломничество. Но это уже отдельная история.

Имя «Варлаам», казавшееся в начале XX века столь же ветхозаветным, как Авраам, и вызывавшее поддразнивания со стороны всех, кто помнил пушкинского чернеца-бродягу из «Бориса Годунова», с ранних лет вызывало у Шаламова резкое отторжение. Здесь можно увидеть одно из проявлений конфликта будущего писателя с отцом-священником — конфликта, к которому нам еще не раз придется обращаться. Именно отец, свободомыслящий в мирских делах, но большой педант в ритуально-церковных и деспот в семейных, настоял на наречении младшего сына строго по святцам. Между тем — в чем и состоит интрига — мама хотела назвать его другим именем, и среди родителей некоторое время шла скрытая борьба. Об этом говорят обнаруженные недавно в фонде писателя в РГАЛИ дневниковые записи, имеющие выразительный заголовок «Почему я не стал Александром»*.

К сожалению, записи, сделанные Шаламовым на склоне лет, трудноразборчивы, ряд подробностей не улавливается, но общий смысл таков, что мама «приняла за счастье» родить ребенка, когда ей было уже почти 40 лет, и, если будет сын, намеревалась назвать его Александром «в честь своего отца». Вероятно, она рассчитывала, что роды состоятся ближе к дню рождения святого Александра Невского, который выпадал на 12 июня, а она разрешилась от бремени неделей раньше.

«Но твоей матери эта проделка не удалась. Ты не стал Александром» — так выговаривал Варламу отец позже, уже в 1920-е годы. (Эта запись читается четко. — *В. Е.*) В чем же состояла «проделка»? Об этом можно судить по дате крещения; согласно православному канону, ребенка можно было

* РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Д.197. Л. 11—19.

назвать и по имени святого, который выпадал на этот день. Кроме того, мама, конечно, не случайно избрала в качестве крестного отца своего брата Александра Александровича Воробьева (ее девичья фамилия была Воробьева) — того самого «коллежского асессора, исправника на пенсии». Крестный — по тому же канону — имел право предлагать имя новорожденному чаду, и брат, естественно, следовал желанию сестры, тем более имея повод для гордости, что будет продолжено и его имя.

Но в итоге все зависело от воли священника, совершавшего ритуал. А ему, о. Сергию Непеину, вероятно, и было строго наказано (или шепнуто по-дружески), что мальчик должен быть наречен не иначе как Варлаамом, по дню появления на свет...

Все это вполне соответствует логике поведения отца, не терпевшего никакого прекословия в семье и к тому же недолюбливавшего всех родственников по линии жены за их «верноподданное» чиновничье поприще (себя, в рясе, он считал более свободным, потому что после Америки стал по политическим склонностям почти республиканцем).

Короче говоря, над купелью младенца разыгралась маленькая семейная драма. В связи с этим можно сделать важное заключение: само таинство крещения великого русского бунтаря-протестанта Варлама Шаламова сопровождалось распрей, борьбой между жизнью и догмой. Как бы ни судить — это символично.

Имя, о котором мечтала мать, сыну нравилось гораздо больше. В тех же записях писатель вспоминал, что юношей «собирался выступать в театре под именем Александр Шаламов», а самым важным для него было то, что при этом условии он в жизни «избежал бы напрасных вопросов». Но единственное, что он смог сделать при получении первого профсоюзного билета в Москве (заменявшего в 1920-е годы паспорт) — убрать из имени одну букву «а».

Сетования сына по поводу анахроничности своего имени отец, по обыкновению, жестко парировал. В данном случае, как следует из тех же записей, — обращением к примеру своего любимого знаменитого земляка Питирима Сорокина: «Вот Питирим Сорокин. Звучит. И все зовут его по имени».

Земляком о. Тихон называл П. Сорокина потому, что сам он родился и вырос далеко от Вологды, «среди зырян», как и звезда русско-американской социологии. Отец и сам считал себя «полузырянином» и гордился этим, полагая, что сделал не менее успешную карьеру, побывав в той же Америке, то есть вышел «в люди» из туземных краев. Это была одна из красочных

семейных легенд, которую невольно подхватил и развил, доведя до почти фантастической гиперболизации, писатель.

Целые страницы его автобиографической книги «Четвертая Вологда» посвящены описанию экзотики происхождения отца, а также и фамилии:

«Отец мой родом из самой темной лесной усть-сысольской глуши, из потомственной священнической семьи, предки которой еще недавно были зырянскими шаманами, несколько поколений из шаманского рода, незаметно сменившего бубен на кадило, — весь еще во власти язычества, сам шаман и язычник в глубине своей зырянской души... Сама фамилия наша — шаманская, родовая — в звуковом своем содержании стоит между шалостью, озорством и шаманизмом, пророчеством. И того, и другого в избытке хватало в характере отца...»

Судя по всему, Шаламов никогда не изучал свою родословную — не было для того ни возможности, ни желания, и не принято (да и опасно!) в те годы, когда пункт анкеты о «социальном происхождении» во многом определял всю жизненную перспективу человека и его судьбу. Но есть архивы, есть документы, этимологические и другие справочники, которые позволяют теперь внести ясность в столь «зашаманенную» поэтическим воображением писателя историю его рода.

Этой проблемой первой занялась Ирина Павловна Сиротинская, ближайший друг и наследница Шаламова, ставшая волей судьбы и долга его биографом. В конце 1980-х годов она, профессиональный архивист, работала в дореволюционных фондах Вологодской и Великоустюжской епархии, которые сохранились столь же хорошо, как, оказывается, и фонды ОГПУ-НКВД... Да простится это сравнение — но в данном случае оно уместно, потому что мы имеем дело с четко отлаженной системой, когда о бумажно-учетной бюрократии можно говорить в положительном смысле. Другое дело, что в одном случае прослеживается рост и расцвет генеалогического древа, а в другом — его хирение и гибель: это, увы, печальная закономерность русского XX века, которая, может быть, ярче всего проявилась в судьбе рода Шаламовых.

В результате епархиальных изысканий выяснилось, что писатель был прав лишь в одном — в том, что отец происходил из потомственной священнической семьи. Но никакого родственного отношения к зырянам — народности финно-угорской группы, населявшей издавна территорию нынешней Республики Коми (эта территория входила до революции в состав громадной, простиравшейся почти до Ледовитого океана Вологодской губернии), — эта семья не имеет. Она берет начало из русского, славянского корня, который издавна, по крайней

мере с XVIII века, связан с древнерусским городом Великим Устюгом. Надо напомнить, что Великий Устюг был родиной землепроходцев — первых отважных покорителей Сибири, Чукотки и Аляски. Памятник местному уроженцу, казаку и мореходу Семену Дежневу, за 80 лет до Беринга прошедшему через знаменитый пролив, украшает центр города и стоит рядом с его главной святыней — Успенским собором. Великий Устюг с самого его основания служил северным оплотом православного христианства — все богатые купцы города почитали для себя честью (а не только замаливанием грехов) вкладывать свои накопления в строительство храмов. Храмов и часовен было здесь — и сохранилось, к счастью наших современников — огромное множество, и красотой они не уступают московским, суздальским или вологодским.

Упомянутый в клировой ведомости Сретенского собора Великого Устюга за 1849 год умерший дьячок *Максим Шаламов Харлампиев сын* был, вероятно, еще не самым дальним предком писателя. Более углубленные исследования на этот счет пока не проводились. Позднее в церквях города служили *Михаил Максимов Шаламов* (Сретенский собор) и *Дмитрий Максимов Шаламов* (церковь Симеона Столпника) — очевидно, сыновья дьячка. В 1846 году был рукоположен в сан протоиерея священник Великоустюжского Прокопиевского собора *Павел Иоаннов Шаламов,* окончивший духовную академию в Москве.

Твердо установлен прадед писателя — *Иоанн Максимов Шаламов* (1790—1849), тоже уроженец Великого Устюга. Он служил священником Васильевского прихода в Шасской волости, в 80 километрах к югу от города, на реке с названием Юг (это не географическое указание, а финно-угорский гидроним, послуживший одним из слагаемых топонима «Устюг»).

Клировая ведомость мертва, если ее ничто больше не дополняет. Поэтому, когда современные музейщики Великого Устюга сообщили, что видели во время своей экспедиции в те края в середине 1990-х годов старую могильную плиту с надписью «Шаламова» (женский род — так!), автору пришлось срочно собираться в дорогу: ведь на всей территории нынешней Вологодской области ничего предметного, напоминающего о корнях рода писателя не сохранилось.

Удалось попасть сюда лишь в августе 2000 года и сделать некоторые открытия. Добраться, надо сказать, было непросто: место расположено у границы Вологодской и Кировской областей, где до сих пор царствуют леса и болота, и последний отрезок в восемь километров пришлось преодолевать на попутном тракторе. Зато усилия были вознаграждены: в деревне Обрадово неплохо сохранился каменный храм Василия Вели-

кого (естественно, без куполов), а главное, у его подножия действительно лежит замшелая гранитная плита с ясно читаемой надписью: *«Жена священника Шаламова. Скончалась 7 января 1851 года. Покойся милый прах до рассветного утра»*.

Прочтя эту сентиментальную, диковинную для сих мест надпись, пришлось испытать разные чувства. Жаль, что рядом не осталось ничего памятного о муже. Но почему-то подумалось о том, что эта женщина, прабабушка писателя, была не просто попадьей, обремененной заботами, а живя «в глуши забытого селенья», могла читать книги своих современников — Пушкина, Гоголя, Тютчева. Если иметь в виду, что поэтическое начало у самого Шаламова, по его признанию, идет по женской линии, от матери, то можно предположить, что оно имеет и более глубокий исток. Но главное — насколько все же глубоко связан Шаламов и его род со светлым Русским Севером — совсем не похожим на Север Колымский...

Примерно те же чувства довелось испытать еще раньше, в 1991 году, когда мы — И. П. Сиротинская, автор этих строк и две дальние родственницы писателя (по линии его дяди) — совершили путешествие от Вологды и Великого Устюга дальше на север, в ту самую «усть-сысольскую глушь», где родился отец Шаламова Тихон Николаевич. Туда, до бывшего Усть-Сысольска Вологодской губернии (а ныне Сыктывкара, столицы Республики Коми) мы летели сначала на самолете Ан-2, потом ехали на машине, а после переправы через реку Сысолу шли, как истинные пилигримы, уже пешком в гору до самой Вотчи — старинного села, отмеченного жизнью и деятельностью двух представителей рода Шаламовых. Шли, уже обогащенные знанием не только архивных документов, но и книг, и семейных рассказов, и реликвий о последнем их родовом гнезде (не считая Вологды).

Было известно, что дед писателя *Николай Иоаннович,* родившийся в 1827 году, пошел, как было заведено, стезей своего отца — он поступил в Вологодскую духовную семинарию, окончил ее и несколько лет служил священником в церкви Параскевы Пятницы Великого Устюга. Перед вступлением в сан он женился — на дочери местного пономаря Андрея Мусникова (что высвечивает еще раз традиционность корпоративно-семейных уз православного духовенства). А в 1867 году «по жребию», как было принято в епархиальной жизни и в чем была своя справедливость, направился в самый дальний Вотчинский приход Усть-Сысольского уезда, где прослужил священником до 1899-го, то есть 32 года. В том году он передал управление приходом своему младшему сыну Прокопию, окончившему Вологодскую семинарию, и, выйдя на пенсию,

дожил до восьмидесяти трех лет (умер в 1910 году, как Л. Толстой, будучи старше его на год).

Варлам запомнил только рассказы отца и матери о своем деде, которые вошли в «Четвертую Вологду»: «Мой дед, деревенский священник, был пьяница. Часто ссорился с бабкой. Однажды он напился и дошел пьяный до дома, стучался, но бабка не открывала. И дед мой умер на крыльце собственной избы, замерз».

Это семейное предание, очевидно, далеко не во всем соответствует действительности. Известно, что ни отец, ни мать Шаламова не поддерживали никаких отношений со своими «зырянскими» родственниками и узнали о происшедшем, скорее всего, из позднейших слухов. Но в том, что дед — одинокий пастырь одного из самых глухих приходов России — попивал, причем иногда, может быть, и изрядно, ничего удивительного нет. Это была, увы, типичная и неискоренимая черта большинства российского сельского духовенства. Художественная социология второй половины XIX — начала XX века в лице В. Перова, И. Репина, В. Маковского, Н. Успенского, Н. Лескова, А. Ремизова и множества других (включая историка церкви и протоиерея Е. Голубинского, писавшего о «гомерическом пьянстве» деревенских батюшек) оставила неоспоримые тому свидетельства. В конце концов, именно из-за пьянства деда, как не раз слышал Шаламов от отца, сам Тихон Николаевич еще в юности стал убежденным трезвенником.

Однако, разумея, что кроме церковных праздников (двунадесятых, престольных и рангом ниже), кроме треб, исполняемых на дому с обязательным подношением чарки, существовали еще и строгие многодневные посты и не менее строгий архиерейский надзор, а многие сельские священники вынуждены были из-за нищенского жалованья держать хозяйство, чтобы кормить свои многодетные семьи, для преувеличения значимости алкогольных возлияний (в том числе и в жизни о. Николая Шаламова) нет оснований. По крайней мере, очевидно, что, как и у всякого русского священника, вовсе не в этом состояла *вся* его жизнь. А у шаламовского деда она была совсем не легкой.

Подходя к Вотче, мы уже знали, что существует брошюра «Церковно-историческое описание Вотчинского прихода», написанная и изданная в 1911 году о. Прокопием Шаламовым — тем самым сыном, который наследовал отцу в Вотче. В брошюре подробно изложена не только древняя история этого зырянского села, осененного в XIV веке посещением знаменитого миссионера, крестителя зырян и других северных народов Стефана Пермского, но и отдана немалая дань по-

движническому (так и говорит автор-сын) труду о. Николая Шаламова. В этом плане брошюра несколько напоминает житие, но за естественной велеречивостью ее стиля можно разглядеть и нечто реальное. Вполне вероятно, что в начале поприща нового пастыря, в 1867 году, здесь действительно царили «полное невежество и темнота народа». Открытие церковно-приходской школы и земского училища вряд ли можно поставить в заслугу исключительно ему — тут действовали скорее общие синодально-государственные установления. Но повседневное попечение о школе и училище — кому оно выпало, кроме него? Сын особо выделяет заботы батюшки о благоустройстве приходского храма Рождества Богородицы (постройки 1841 года) и прежде всего — о сборе им пожертвований на 214-пудовый(!) колокол-благовестник, который был установлен в 1880 году, — его «могучий звон разносился по дальним деревням прихода, возвещая время молитвы». Перечень иных добрых дел о. Николая можно не приводить, но, пожалуй, самое важное — он не был корыстен. Жил, как пишет сын, в скромном деревянном домике, часто ходил пешком за много верст, чтобы «утешить больных и умирающих», «нищие никогда не имели отказа у него дома».

Есть в книге и важные подробности о семейных отношениях деда Шаламова. «Часто ссорился с бабкой» — это банальность, рожденная слухом. Истинная драматическая подоплека этих отношений открывается в скупых строках книги сына Прокопия о том, что его отцу «выпало великое испытание, посланное Богом, — горячо любимая его супруга болела сильным нервным расстройством». Подробности на этот счет не приводятся, но в семье потомков автора (с ними мы подходили к Вотче) сохранилось предание о том, что молодая жена Татьяна (Мусникова, та самая дочь пономаря), живя уже в этих местах, заболела оттого, что пережила сильное душевное потрясение: на ее глазах молнией убило одного из детей...

И при всем том скромный сельский священник прожил жизнь, превышающую по сроку жизнь Л.Толстого. Можно ли и о ее содержании, наполненном вечным страданием и трудом, говорить так пренебрежительно, как говорил юному Шаламову его отец?

Всего детей в семье о. Николая осталось пятеро: три дочери и два сына. Первым из них в Вотче родился Тихон — 5 августа 1868 года. Прокопий появился на свет восемь лет спустя, в 1876 году. Две сестры вышли замуж за священников, одна стала народной учительницей в той же Вотче. Тихон, уехав в Вологду, окончил там в 1890 году духовную семинарию и вскоре отправился миссионером на Аляску. Больше он никогда не

возвращался на свою сельскую родину: ушел, если так можно выразиться, в цивилизационный или карьерный «отрыв» от нее (подробности — в следующей главе). А вот судьба его младшего брата, Прокопия, сложилась трагично и во многом перекликается с судьбой его племянника, Варлама Шаламова — оба они, увы, остались неведомы друг другу.

Еще в Москве, встретившись впервые с потомками последнего священника Вотчи, автор узнал много интересного об этом человеке. Он не только продолжал дело отца, но и вносил в него новое и неизбежное, что требовала жизнь — все реальности и тревоги XX века. В 1904 году Прокопий пошел добровольцем на Русско-японскую войну — он был на ней не только священником, но и медицинским братом, за что удостоился серебряной медали Красного Креста. Как «пастырь добрый» имел и медаль от Синода на Владимирской и Александровской лентах. На сохранившихся фотографиях (в том числе с женой Марией Роговой, выпускницей Устюжского епархиального училища) он предстает умным, симпатичным человеком, жившим поистине высокими духовными интересами.

О. Прокопий достаточно лояльно воспринял новую власть, дошедшую до далекой Вотчи лишь в 1918 году, и до конца 1920-х годов не испытывал с ее стороны серьезных притеснений. Сельских активистов и местную голытьбу, судя по некоторым свидетельствам, больше всего раздражала породистая и ухоженная белая лошадь, на которой совершал выезды батюшка. Но большинство прихожан-зырян, верных своему заботливому пастырю, не испытывали к нему никакой зависти. Привлеченный к суду в 1925 году по подозрению «в сокрытии или тормозе сдачи церковных ценностей», он был судом и оправдан. В эти годы советская власть, особенно на местах, еще считалась с религиозными чувствами людей, и даже колокольный звон лишь ограничивался, но не запрещался. Судьба 214-пудового благовестника на колокольне главного вотчинского храма, по-видимому, решилась тогда же, когда и судьба самого о. Прокопия. Он был арестован 25 января 1931 года, в разгар коллективизации на Севере, и в мае того же года расстрелян.

Архивы местного УФСБ, обнародованные в начале 1990-х годов, донесли до нас слова последнего действующего священника из рода Шаламовых — с его допроса в Комиоблотделе ОГПУ:

«Виновным я себя не считаю ни в чем... Как пользовавшийся наемным трудом я не отрицаю правильности моего раскулачивания, она меня не оттолкнула от политики власти, но я задет тем, что конфискацию провели ночью, в 2 часа ночи, и

унесли все имущество, которое куда девалось, мне неизвестно. Раскулачен был за невыполнение хлебозаготовок, которых не имел».

В 1937 году была расстреляна — по фальшивому делу некоей «контрреволюционной фашистской(!) "Священной дружины"»(!) — жена П. Н. Шаламова Мария Александровна. После гибели мужа она мечтала только о монашеском постриге, добивалась его, но попала в «фашисты». Так же называли, заметим, и Шаламова, и всех других политических заключенных, оказавшихся на Колыме...

«Сталинская коса косила всех подряд», — свидетельствовал писатель. Но он подчеркивал и другое: «Именно по духовенству и пришелся самый удар прорвавшихся зверских народных страстей». Поразительно точно сказано об этих поистине зверских страстях, об остервенелости, с которой уничтожалось — с одной стороны, по дикости, невежеству, нехристианизированности народа (печальное выражение А. Ахматовой: «Христианство на Руси еще не проповедано» — стоит выше многих ее поэтических строк), с другой стороны — по воле и прямой санкции бывшего тифлисского семинариста (отбывавшего, между прочим, в 1910—1912 годах ссылку в здешних местах, в Сольвычегодске и Вологде) — поповское семя, «главный рассадник контрреволюции», как гласили директивы сталинского ЦК ВКП(б).

Опустошенные горечью этих воспоминаний, мы сидели в московской квартире потомков о. Прокопия Шаламова и перелистывали альбомы, которые собирал его сын Николай Прокопьевич. Он стал инженером-строителем, доктором технических наук, доцентом МИСИ — пожалуй, единственно потому, что отец вовремя успел отправить его из Вотчи на учебу. Всего в этом ответвлении рода Шаламовых было семеро детей, большинство из них переехало в города и как-то устроилось. Двое сыновей погибли в Великую Отечественную войну, а дочь Евгения служила после войны секретарем у маршала К. Рокоссовского. Каждый в меру возможности хранил память об отце и матери. А Николай Прокопьевич — тайно, подальше от любых глаз — сберегал и их фотографии, и ту самую брошюру с описанием Вотчинского прихода. Он умер рано, в 1965 году, так и не узнав, что в Москве у него есть двоюродный брат, прошедший Колыму и ставший писателем.

Варламу Шаламову — по его биографии и по его характеру — было не до родственных сантиментов. К своей генеалогии он, как уже известно, относился безразлично. К церкви и религии был индифферентен, но терпим, а истинно верующих всегда уважал (нюансов мы коснемся в следующих главах). Для

чего же шли мы, пилигримы, в далекую Вотчу? Ведь там, как оказалось, не осталось никаких следов пребывания предков Шаламова, кроме полуразрушенного — один кирпичный остов — храма на вершине большого холма.

Шли, чтобы своими глазами убедиться, что легенда о «шаманском» происхождении рода — всего лишь легенда? Но это было сразу понятно: коми-зыряне давно ассимилировались с русскими, и старые избы-пятистенки в этом селе срублены по общему северному обычаю — они лишь более приземисты, с учетом пронизывающих зимних ветров. Людей с фамилией Шаламовы нигде в округе не сыскать. Кстати, эта фамилия в свое время была достаточно широко распространена в российском Предуралье, как и Шалимовы. В этимологических словарях та и другая фамилии обычно сближаются по своему происхождению от корня «шал» — «шалить», «шалый» и т. д. Но есть и версии о тюркских истоках — имя «Шалим» означало маленького младенца, которого можно взять в горсть; кроме того, совсем уж созвучны «шалам» и «салам». Все это — слишком гадательно и может увести в таинственную романтическую глубину происхождения всей русской нации, отраженную у А. Блока: «Да, скифы мы...» С этими ассоциациями была, как мы знаем, связана и мысль самого Варлама Шаламова. Но коль скоро четкой определенности нет и открыт простор для вариантов, автор полагает, что равное с иными имеет версия о славянском корне фамилии «Шаламов», происходящем от древнего слова «шелом» (шлем): Шеломовых в современной России осталось столь же немного, сколь и Шаламовых.

«Мы суеверны. Мы требуем чуда. Мы выдумываем себе символы и этими символами живем», — писал герой этой книги в своем рассказе «Воскрешение лиственницы». Наверное, и путешествие по следам предков писателя было рождено этой же неискоренимой человеческой потребностью.

Дети XX века, мы верим не только в генетику. Речь идет об особой, культурно-генетической памяти. Механизмы этой памяти разгадать чрезвычайно сложно. Что впитывает в себя человек из своей родословной, из каких ее колен выпадают ему «хромосомы», одаряющие его и чертами предков, и талантом? Наука здесь бессильна, а молва способна только на то, чтобы гадать, в кого уродился, в кого пошел отрок. У Шаламова таких гаданий не было — он, в общем и целом, как говорится, посюсторонний и вовсе не мистический человек, считал, что в нем больше всего сказались гены матери и ее воспитание. Мать, между прочим, была коренной (городской) вологжанкой. Но разве можно отрицать, что многовековые гены русского северного священства рода Шаламовых, а именно — их культурная,

нравственная составляющая, не сказались на всем душевном строе писателя? По крайней мере в одном, главном, они точно оставили свой след — в не имеющей себе равных в русском XX веке твердости духа писателя, в беззаветном стремлении к высшей правде и отвержении ради нее всех земных благ.

В итоге он оказался чем-то похожим на своего небесного покровителя Варлаама Хутынского? Кто хочет веровать в это, пусть верует. Но кроме небесных, трансцендентных аналогий есть и вполне земные. Они отразились в традициях, в психологии и менталитете северорусского человека, его этических нормах. Одной из этих норм много столетий являлось нестяжательство, принципы которого были провозглашены — на высшем для XV века интеллектуальном уровне — знаменитым книжником-иноком Нилом Сорским, жившим в пу́стыни неподалеку от Кирилло-Белозерского монастыря. В силу ли географического положения и климата или особенностей социального и экономического быта, эти устои оказались особенно живучими и распространенными на Русском Севере — в отличие от обеих столиц, от юга, Сибири и других окраин России. Никто не станет отрицать, что локальная культура каждого уголка нашей огромной страны — уникальна («что ни город — то норов»), и в этом смысле северная — до самого Архангельска, до родины великого Ломоносова — часть России всегда представляла собой некий совершенно особый феномен, отличавшийся ярко выраженным отрицанием неправедного стяжания, то есть духа торгашества и наживы. Здесь издавна было принято жить честно и скромно, храня свое достоинство. Все это исповедовали — и проповедовали — и предки Шаламова.

Среди тонких наблюдений писателя об обычаях тех мест, в которых он вырос, чрезвычайно примечательно одно: «На вологодском рынке всегда продавалось молоко первосортное. Разрушен мир или нет — на жирности молока это не отражалось. Торговки никогда не доливали молоко водой...»

Такие нравы всегда казались удивительными, патриархальными и наивными всем приезжим. Сам Шаламов называл Вологду «честной, христолюбивой» (последнее — с оттенком мягкой и доброжелательной иронии). Он вырос на этой п о ч в е. И как бы ни пытался сам он отрицать ее влияние на себя (по его классификации, влияние «первой» и «второй» Вологды — исторической и краевой), разве не впитал он эту почву в себя, в свою душу? Лучше всего об этом скажут его стихи, где колымская ипостась его биографии отчетливо и нерасторжимо сливается с родовой:

Я — северянин, я ценю тепло,
Я различаю — где добро, где зло...

Глава вторая

НЕТИПИЧНАЯ СЕМЬЯ НЕТИПИЧНОГО РУССКОГО СВЯЩЕННИКА

Со старинным городом, где вырос Шаламов, связано множество преданий. Одно из них — самое знаменитое, об Иване Грозном и Софийском соборе — он услышал, наверное, едва ли не в колыбели, как первую сказку. Ведь Софийский собор стоял прямо перед его родным домом, и не посвятить ребенка в историю о том, как на самого(!) царя(!) Грозного(!) упал(!) с потолка(!) кирпич(!) — да вот тут рядом(!), в этом самом соборе(!), смотри(!) — значило бы не выполнить обета приобщения к чудесам мира сего... Уже позднее Варлам прочел и былину, запечатлевшую это происшествие, и узнал, что грозный царь, собиравшийся перенести столицу из Москвы в Вологду из-за козней бояр, отказался от этого намерения, сочтя падение кирпича (плинфы, куска штукатурки) недобрым предзнаменованием.

— И слава богу, что отказался! — издавна говорили по этому поводу вологжане. — Не надо нам быть столицей. У нас лучше, спокойнее...

Провинциальность тихого города, чье население в начале XX века едва превышало 30 тысяч человек (оно возросло лишь в начале Первой мировой войны), где, по свидетельству Шаламова, люди жили почти деревенским укладом — «вставали с солнцем, с петухами», где «река текла такая тихая, что иногда течение вовсе останавливалось» (река Вологда находилась почти рядом с его домом, под Соборной горкой), — эта провинциальность была, как считали все, кто приезжал сюда впервые, умилительной и умиротворяющей. А как выражаются теперь — самодостаточной, уважающей себя и совсем не расположенной что-либо резко менять в своем образе жизни.

Петр I — другой из великих царей, оставивший свой след в вологодских легендах (он бывал здесь пять раз), пытался «пришпорить» развитие города, используя торговый путь в Архангельск, но вскоре, после постройки Петербурга, Вологда оказалась «за штатом» и пошла неспешным путем всех средних российских губернских городов. Уже XIX век не добавил почти ничего нового в ее размеренную жизнь и ее облик (не считая железной дороги и вокзала) — все лучшие здания и храмы, являющиеся ныне памятниками архитектуры, были построены в XVII—XVIII веках.

Приметой нового времени являлась, кроме прочего, резкая убыль учеников в Вологодской духовной семинарии (в самом большом в городе здании) — по популярности среди родите-

лей и детей она теперь намного уступала гимназии и реальному училищу и пополнялась главным образом за счет отпрысков церковного клира уездных приходов.

Отец Шаламова принадлежал к тому поколению, когда Вологодская семинария («бурса») еще сохраняла особую славу в России, и при всем консерватизме, присущем подобным учебным заведениям, была в определенном смысле более свободомыслящей и прогрессивной, нежели гимназия. Демократические традиции 1860-х годов вошли сюда глубже — и потому, что состав воспитанников был гораздо проще, беднее, и потому, что здесь помнили о некоторых своих предшественниках-семинаристах, ушедших не в приходскую службу, а в революцию, в народники-пропагандисты. При незримом присутствии в стенах семинарии «совиных крыл» обер-прокурора Синода К. Победоносцева (в 1880-е годы по его распоряжению из библиотек духовных учебных заведений была изъята почти вся светская литература, начиная с Л. Толстого), в связи с церковной реформой 1860-х годов бурсаки нового поколения получили гораздо больше свободы, нежели их предшественники. Они имели право не возвращаться в свои родные приходы и поступать после выпуска в университеты или на гражданскую службу. Той же реформой возведенным в сан православным священникам было впервые даровано право — неслыханное дело — свободной проповеди! Этот поистине революционный для церкви прорыв (сопровождавшийся, правда, цензурными ограничениями) открывал перспективу наиболее развитым семинаристам, которые не желали, как отцы и деды, вечно «долдонить» литургический канон. Соответствующим образом были перестроены и программы — в них вошла гомилетика (теория церковного проповедничества), а также французский и немецкий языки.

Надо заметить главное — в эпоху всеобщей «эмансипации» служение Христу стало восприниматься основной частью бурсаков далеко не так, как требовали схоластические богословские науки — не отвлеченно, а, можно сказать, утилитарно — как живое служение прежде всего самому бедному «меньшему брату Христа» — народу, крестьянству.

Все соответствовало духу времени, где безраздельным властителем дум молодежи — и внецерковной, и церковной — был великий печальник о народе и великий творец мифов о нем Н. А. Некрасов. (Этой проблемы, в связи с отношением Шаламова к русской литературе второй половины XIX века, к народничеству, мы коснемся позднее, а пока напомним два очень символичных и многозначительных факта. В 1878 году на похоронах Некрасова впервые было громко заявлено, про-

кричано — той же молодежью — что «Некрасов выше Пушкина!». Поздний Шаламов — совершенно в духе Достоевского, присутствовавшего на этих похоронах, — считал, что «эта сцена не делает чести русскому обществу». Примерно в те же годы Л. Н. Толстой, тоже большой знаток крестьянской души и тоже особого рода мифотворец, услышав в очередной раз надрывные строки Некрасова о русском мужике, который всюду только и делает, что «стонет» — «по полям и дорогам... под овином, под стогом», не выдержал и возмутился: «Это где же он стонет? Я что-то не слышал...»)

Некрасов, как не раз свидетельствовал Шаламов, был и до конца дней остался для его отца единственным настоящим авторитетом во всей русской литературе. Неудивительно, что на фотографии выпускников семинарии 1890 года молодой Тихон всеми своими чертами напоминает образ идеального некрасовского юноши Гриши Добросклонова — с открытым лбом и просветленным взором, наполненным жаждой сеять «разумное, доброе, вечное». Хотя эра Некрасова к 1890-м годам в России уже закатывалась (как и эра шедших с ним рука об руку художников-передвижников), во всей заштатной периферии с ее неизбежным отставанием от общественных «смен вех» и культурных «мод» она была еще в самом разгаре. Недаром Шаламов называл Некрасова «кумиром русской провинции», и недаром именно из-за Некрасова, из-за постоянной назойливой апелляции отца к нему, разгорелся потом главный семейный мировоззренческий (а не только литературный) конфликт.

Но до появления на свет последнего сына-бунтаря у женившегося вскоре после окончания семинарии Тихона была огромная полоса жизни длиной в 15 лет. Двенадцать из них он провел далеко от Вологды и России — на Алеутских островах.

Как и кто повернул судьбу молодого священника столь непредсказуемым образом? Бросание жребия в данном случае исключалось — слишком необычной и ответственной была эта миссия (по современным представлениям — длительная заграничная командировка). Известно, что о. Тихон был направлен на службу за океан по представлению епископа Алеутского и Аляскинского Николая (Зиорова), приступившего там к делам в 1891 году. Известно также, что ранее Зиоров некоторое время был инспектором Вологодской духовной семинарии. Возможно, от него и шла просьба прислать на Аляску кого-либо из достойнейших воспитанников хорошо знакомой ему семинарии. Переписка на этот счет (с неизбежными характеристиками, проверками, согласованиями с Синодом) шла, вероятно, долго, и до окончательного решения, до посвяще-

ния в сан иерея Тихон успел поработать учителем в церковно-приходской школе, при этом, как можно догадаться, усиленно изучая английский язык.

Еще одним важным условием заграничной службы являлась женитьба на девушке из хорошего семейства. О том, где и как познакомились недавний семинарист Тихон Шаламов и выпускница женской Мариинской гимназии и педагогических курсов при ней Надежда Воробьева, семейные предания не сохранились, но брак получился поначалу вполне гармоничным. Надежда была умной, развитой девушкой, и то, что она больше любила Пушкина, а не Некрасова (свидетельство Шаламова), не мешало ее нежным чувствам к высоколобому молодому человеку, которому она поклялась при венчании идти с ним в «огонь и воду».

Воображение может нарисовать пылкую восторженную пару, стоящую на палубе парохода, держась за руки и вглядываясь в даль Тихого океана — когда же покажутся острова, где живут загадочные туземцы-алеуты, которых надо обращать в православную веру... Но все было не так. Надежда вначале осталась дома — она была беременна, и в декабре 1893 года родила мальчика, которого назвали Валерием. В метрической книге вологодского храма Рождества Богородицы обозначен отец — «священник кадьякской Воскресенской церкви Алеутской епархии о. Тихон Шаламов». Он уехал один, еще летом, и плыл вовсе не через Тихий океан (регулярного пароходства в Америку тогда не было), а через Атлантический, и потом, вместе с группой других миссионеров, пересекал континент от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Жена с ребенком прибыла с очередной группой, отправлявшейся из Петербурга, лишь на следующий год, когда молодой иерей уже прочно обосновался на острове Кадьяк и приготовился к встрече семьи.

Русская православная миссия в Америке переживала тогда нелегкие времена, что было связано с продажей Аляски в 1867 году. По поводу этой продажи — огромного исторического события — в России в те годы никто особенно не сожалел, потому что каждому разумному человеку было ясно, что разоренная Крымской войной страна, имевшая гигантские незаселенные пространства Сибири и Дальнего Востока, просто не в силах содержать и осваивать столь же огромную территорию за океаном. Тем не менее всем русским, в том числе и о. Тихону, было до боли обидно, что Аляска, Алеутские острова, форт Росс и другие русские поселения в Калифорнии (общая площадь более полутора миллионов квадратных километров) были проданы фактически за бесценок — всего за 7,2 миллиона долларов. В России сумма сделки была покрыта тайной, и

о. Тихон, вероятно, узнал о ней лишь в Сан-Франциско, где находилось епархиальное управление во главе с владыкой Зиоровым. Он регулярно читал американскую прессу и был в курсе всех политических и иных событий в этой стране. Но больше всего поначалу он был занят делами в своем приходе.

Кадьяк — большой гористый остров с изрезанными фиордами берегами, самый ближний к Америке из больших островов Алеутской гряды — хранил еще много следов деятельности Русско-Американской компании времен Г. Шелихова и А. Баранова. Но тогда за Россией здесь оставались лишь маленькие клочки земли с храмами, скитами, кладбищами и другой собственностью Русской православной церкви. Так было определено договором о продаже Аляски, и эти крохотные плацдармы надо было не только беречь, но и во что бы то ни стало наполнять соответствующим духовным содержанием, борясь за души прихожан — уже крещенных в православие индейцев-алеутов и креолов (их было около полутора тысяч) и обращая в свою веру новые их поколения. В этом, собственно, и состояла задача священника-миссионера. О. Тихон Шаламов выполнял ее со всем жаром своей нерастраченной энергии и с вологодской добросовестностью. На этот счет сохранилось немало свидетельств — прежде всего его собственные регулярные публикации-отчеты в «Американском православном вестнике» — журнале, выходившем в Сан-Франциско.

Отец писал тем стилем, какому учили в семинарии, — пространно, гладко, со всеми обязательными риторическими оборотами, установленными правилами гомилетики. И все же местами в его отчетах проглядывали и острая наблюдательность, и сугубая самостоятельность, и горячность суждений. Он писал и о своих пеших миссионерских походах по дальним селениям («приходилось идти до 50 км по медвежьим тропам, а иногда и вовсе без дороги, увязая в болотах по колено»), и о морских, на байдарках («ужаснейшие ветры у берегов Кадьяка делают плавание, если не невозможным, то во всяком случае крайне затруднительным и опасным»); о борьбе с конкурентами (тут он был истинным ортодоксом: «самым опасным, грозным и сильным врагом для нас является миссия иезуитская»; естественно, не жаловал протестантов и баптистов) и о борьбе с пьянством среди алеутов (тут ему не было равных: «организовал общество трезвости, *переродившее коренным образом все население прихода*» — так с восхищением писали о нем). Он смело обличал и американские власти («Аляска быстро расхищается и беднеет. И не удивительно, ибо все свои богатства она дает центру — штатам. Жизнь коренных жителей прямо никнет»), и не жалел гневных слов по адресу далеких петербургских вершителей

судеб («Велико невежество родное, всероссийское, но да не будет в деле рассеяния сего внешнего мрака, забыта и далекая страна, которая, несмотря на отречение и отверженность, продолжает пребывать в верности и любви к своей покровительнице России, так коварно в своих аляскинских представителях предавшей их в руки врагов. Да дастся ей взамен хлеба насущного хлеб духовный, небесный, свет Христов, и тем да загладится перед Божиим престолом вина русских людей, продавших Аляску поистине за тридцать сребреников...»).

Вероятно, последние слова были эмоциональной патриотической реакцией о. Тихона на событие, которому он стал свидетелем, — неожиданное открытие на проданном полуострове, ныне 49-м штате США, огромных россыпей золота. «Золотая лихорадка» началась в Америке как раз в 1890-е годы и происходила фактически на глазах молодого русского священника, так как все ее последствия отражались на жизни островного населения. К сожалению, об этом Тихон Шаламов не оставил свидетельств (хотя в том же «Американском православном вестнике» писали, что золотоискатели подбирались даже к церковным кладбищам). Придется немного задержать внимание на этой теме, потому что она неизбежно вызывает некоторые ассоциации с шаламовской «золотой Колымой», а также и с темой писательства.

Весной 1897 года на берега Юкона в поисках удачи добрался молодой Джек Лондон. Золота он не добыл, но зимние арктические полгода, проведенные им в хижине-салуне близ Доусона, одарили его встречей со всем пестрым миром золотоискателей и охотников, белых и индейцев, поверивших в мечту, что счастье можно найти и сделать своими руками. Захватывающие романтические рассказы Д. Лондона о Клондайке, его людях и нравах, почему-то оказались особенно популярны не в Америке, а в России, и их с увлечением читал юный Варлам Шаламов. И впоследствии он тепло отзывался об авторе «Белого безмолвия», отмечая правдивость созданных им характеров. Очевидно, что Дж. Лондон и Шаламов — писатели очень разные, трудно сопоставимые, хотя само по себе исследование двух изображенных ими миров было бы чрезвычайно интересным и поучительным. Пока надо учесть лишь одну деталь: узнай Шаламов подробности аляскинской биографии Лондона (о том, что тот черпал материал для своих рассказов, просиживая вечера в салуне и сам не пройдя ни мили в одиночку по зимней тундре) — он бы, пожалуй, назвал его «туристом», как Э. Хемингуэя (писавшего «Пятую колонну», сидя в мадридской гостинице, — к другим произведениям американского писателя Шаламов относился более благожелательно). Впро-

чем, сам Шаламов не раз говорил, что художник не должен слишком хорошо знать свой материал, иначе он его раздавит...

Судя по всему, отец ничего не рассказывал сыну о «золотой лихорадке» — он с презрением относился ко всей приключенческой литературе — и тем более о погоне за «золотым тельцом». Между тем отец не мог не знать и не видеть, что дикая и пустынная Аляска — при всех эксцессах гигантской схватки за самый драгоценный металл (эксцессах, отражавшихся негативно прежде всего на индейском населении, что описал и Дж. Лондон), — эта «глыба льда», как называли ее в южных штатах, буквально на глазах преображается. Документов и статистики о головокружительных переменах на Аляске множество в самой Америке, поэтому лучше всего обратиться к картине, нарисованной одним советским писателем. Этот писатель — Сергей Марков — почти одногодок Варлама Шаламова и тоже был тесно связан с Вологдой. Он был поэтом, географом, страстным исследователем истории Русской Америки (несмотря на то, что в 1932 году сидел на Лубянке) и в своей книге «Летопись Аляски», срочно написанной за десять дней(!) и изданной в 1948 году издательством «Главсевморпуть» — есть версия, что это было прямое задание Сталина, — писал о приоритете России на Аляске. Но при этом сообщал такие детали:

«...В 1898 году, когда Клондайк дал на десять миллионов долларов золота (вспомним сумму, за которую была продана Аляска. — *В. Е.*), новые россыпи были открыты недалеко от места, где вырос город Ном на Анвиле — в бывших русских владениях. Ном был основан близ мыса, который на старых русских картах известен под названием мыса Толстого... Летом 1899 года к мысу Ном шли и плыли новые и новые искатели счастья. К осени пять тысяч человек рылись в песке золотоносных ключей. Какой-то Джон Гуммель, еле держась на ногах от цинги, еще нашел в себе силы поставить свою золотую колыбель на морском берегу Нома. Он нашел там самородки. С того часа "бич" — береговая полоса — была покрыта тысячами старателей. На мысе Ном уже шумел новый город, где на зимовку остались более двух тысяч первых его жителей. Весной в ближайшие порты Головнина и Кларенс прибыли новые поселенцы. Рядом с дикой тундрой, на берегу моря, светился яркими огнями город Ном. На его главной улице Фронт-стрит возвышались трехэтажные дома, светили газовые фонари. Из дверей игорных домов, шантанов лились звуки хриплой музыки... Продавалось и покупалось все только на чистое золото. Золотым песком рассчитывались в ресторанах, гостиницах, на железной дороге. Да, это была первая железная дорога на Аляске. Ее построила знаменитая "Компания Дикого Гуся"...»

Несколько бульварная, по-репортерски, картина, но все же дает более реальное представление о тех местах, недалеко от которых служил отец Шаламова. Прямых параллелей с освоением Колымы проводить не станем — они здесь преждевременны, а в сущности были бы спекулятивны и внеисторичны. Вероятно, Сталин, дававший (если верить легенде) задание С. Маркову написать историю бывшей Русской Америки, следовал логике разгоравшейся холодной войны: на Аляске к концу 1940-х годов появилось несколько американских военных баз, угрожавших СССР, и надо было, в целях контрпропаганды, дать яркий документальный материал о том, что «Аляска была нашей, и при желании мы можем ее вернуть»... Но книга С. Маркова — вне всяких намерений автора — давала массу поводов для сравнения истории золотодобычи на Аляске и на Колыме. Вероятно, заказчик (или заказчики) книги исходили из того, что большевики всегда превзойдут капиталистов — потому что на Колыме за еще более короткий срок появились и электростанции, и шоссе, и города, и поселки (без всяких шантанов). Однако о человеческой цене этих завоеваний заведомо предполагалось умалчивать. Потому что золото на Аляске добывали все же *свободные* люди, а не заключенные, как на Колыме. Об этом сегодня надо помнить, как помнить и то, что существовали разные варианты освоения Колымы (см. главу девять).

Надо заметить, что сам Шаламов не любил спекуляций на теме «Россия и Запад», будучи глубоко убежден, что у России — «другая история», и апологетом Америки никогда не был. Тем не менее имена Т. Джефферсона и Б. Франклина были ему известны еще с детства — и именно от отца, что можно понять из соответствующего контекста «Четвертой Вологды». Характерно, что Джефферсон, один из создателей американской конституции и автор закона о свободе вероисповедания, упомянут в позднейшей полемике Шаламова с А. Солженицыным (до нее читателю надо потерпеть).

Кстати, о параллелях. Резкое усиление миссионерской деятельности православной церкви во всех направлениях, в том числе за рубежом, — одна из тенденций новой консервативной политики Александра III, инициированной в значительной мере под влиянием К. Победоносцева. Целесообразность такой политики, потребовавшей, кроме прочего, огромных финансовых затрат, подвергалась сомнению многими современниками. В самом деле — такая уж ли насущная задача — крещение алеутов на далеких островах, ведь не решены многие важнейшие внутригосударственные проблемы, в том числе церковные? Не кто иной, как алеутский викарий Иннокентий

в своем отчете за 1905 год (уже после отъезда о.Тихона Шаламова с Кадьяка и с гораздо большей трезвостью и жесткостью, чем он) писал: «Жители Аляски избалованы религиозною опекою и материальной помощью со стороны России. Хотя многие из них не знают нужды и живут не беднее священников, однако они держатся православной веры только потому, что русское правительство содержит их причты. Они принимают таинства, но непременным условием при этом ставят отсутствие всякой платы, и заставьте заплатить 1 доллар за крещение ребенка, все дети будут некрещеные. Между тем, они не жалеют денег на духи, орехи, конфеты, модные шляпы и другие предметы роскоши, не говоря уже о кабаках... Уже довольно сосать Россию, пора вставать на собственные ноги, а если нет, то пусть совершится то, чему в подобных случаях быть надлежит».

Вполне разумные даже с церковной точки зрения мысли, но осуществились они только в начале Первой мировой войны, когда Аляскинская епархия была естественным образом наконец-то отодвинута на самый край государственных расходов. Не напоминало ли зарубежное миссионерство предыдущих времен трогательную заботу властей позднего СССР о насаждении «социалистического выбора», скажем, в Центральной Африке (стоившую столь же огромных и никому не ведомых дотаций)? Очевидно, что между этими историческими амбициями есть некая архетипическая связь и корень ее один — представление о предлагаемом чужим народам вероучении как «единственно верном»...

Отец Шаламова никогда не был чужд политических вопросов и, даже живя далеко от России, задумывался о «великом невежестве», царящем в ней. Но при этом он не мог ни на йоту пренебречь своим святым долгом пастыря в далеком краю. Его многолетние неустанные усилия были вознаграждены: в 1904 году, по окончании службы, он был удостоен золотого наперсного (нагрудного) креста — «за крепкостоятельное служение на пользу православия среди инославия» и ордена Святой Анны 3-й степени. Крест ему вручал новый епископ Тихон (Белавин), назначенный в Северо-Американскую епархию в 1898 году, — будущий патриарх Московский и всея Руси, избранный Поместным собором 1917 года.

Сравнительно недавно в фондах библиотеки столицы Аляски города Анкориджа была обнаружена фотография: епископ Т. Белавин с группой священнослужителей, среди которых и отец Шаламова. Снимок сделан в 1901 году. Обращает на себя внимание облик молодого еще тогда отца: он необычайно худ, тщедушен, что не может скрыть и ряса, в очках и... шляпе вместо камилавки. Видно, что о. Тихон не жалел себя в своей мис-

сионерской деятельности, как видно и то, что он — человек заграничный. Еще одна фотография сделана в 1904 году по возвращении на родину (на подлиннике в архиве есть тисненый фирменный знак «Фотография К. А. Баранеева в Вологде»; этот снимок как единственную память об отце взял Шаламов, приезжавший на его похороны; после ареста писателя в 1937 году снимок хранился у его первой жены Г. И. Гудзь). Здесь на груди 36-летнего отца — крест, очевидно, тот самый, которым его наградили и который потом постигнет участь быть разрубленным топором для сдачи в Торгсин в период полной нищеты начала1930-х годов (этому посвящен один из лучших рассказов Шаламова «Крест»).

О взаимоотношениях двух столь разных по сану Тихонов — Белавина и Шаламова — сведения пока не разысканы, но их взгляды на роль и судьбу православной церкви уже после революции 1905 года значительно разошлись. Белавин по окончании службы в Америке вошел в высшую церковную «номенклатуру», был назначен архиереем в Ярославль, часто принимал здесь коронованных особ, возглавил местный Союз русского народа, а Шаламов совсем не был поклонником этой организации; окончательное размежевание произошло после революции 1917 года — избранный патриархом (между прочим, почти случайно, по жребию — или, как принято было говорить, «по воле Божьей»), Тихон Белавин резко выступал против большевистской власти, а Тихон Шаламов встал на сторону обновленческой, или «живой» церкви. Истоки обновленчества, надо сразу заметить, во многом связаны с той неудовлетворенностью состоянием православной церкви, которую высказывала — с разных позиций — вся русская литература, начиная с Пушкина и Чаадаева, Белинского и Герцена, продолжая Л. Толстым, Достоевским и Лесковым, а затем — практически вся русская религиозная философия, начиная с Вл. Соловьева и продолжая «модернистами» — точнее, идеологами модернизации церкви — Бердяевым, С. Булгаковым, Мережковским, Розановым и всем кругом писателей Серебряного века.

Каким-то образом сравнивать масштаб и значение деятельности о. Тихона Белавина и о. Тихона Шаламова в их служении православию, в том числе в период американского миссионерства, было бы нелепо (это, в конце концов, дело самой церкви), но что касается самоотверженности в конкретной помощи ближнему, то тут первенство принадлежало, пожалуй, низшему по сану: недаром же алеутские прихожане называли отца писателя «лучшим батюшкой в Аляске» (этот отзыв, присланный из-за океана, был опубликован в «Вологодских епархиальных ведомостях» в 1911 году). Еще больше о том говорит

история с долларами, присланными с Кадьяка в Вологду монахом Герасимом Шмальцем в начале 1930-х годов, — ее мы еще коснемся.

Итак, отец, вернувшийся в Вологду, — исходная точка биографии писателя. С Кадьяка Тихон Николаевич приехал «другим человеком», как отметил потом сын. При всей своей нелюбви к американским штатам он многому там научился. Дело не только во внешнем лоске, в приобретенной привычке к цивилизованному, «буржуазному» комфорту. Все это подробно описано в «Четвертой Вологде»: как отец доставал из-под рясы огромный позолоченный (сыну сначала казалось — золотой) американский полухронометр на цепочке, серебряная посуда на столе, дубовый шкаф, где хранилась повседневная одежда отца — «хорьковая шуба с бобровым воротником, бобровая шапка, шелковые рясы самого модного и дорогого покроя»... Каждая из этих вещей имела явно кадьякское происхождение — благодаря особым условиям службы в заграничной миссии, прежде всего высокому жалованью.

Варлам не мог знать размера этого жалованья, но в одной современной книге, монографии митрополита Климента (Капалина) «Русская православная миссия на Аляске» (М., 2009), говорится, что священник Кадьякского прихода получал в то время 1800 рублей в год. Для сравнения — годовое жалованье приходского священника в России начала XX века составляло в среднем 300 рублей (еще для сравнения: столько же получали неквалифицированные рабочие и низшие чиновники; жалованье «среднего класса» — врача земской больницы, учителя гимназии и армейского поручика — составляло 80 рублей в месяц, а полковники и депутаты Государственной думы получали ежемесячно 350 рублей...).

Можно прийти к выводу, что, сделав за время миссионерской службы накопления и заслужив вдобавок пенсию, отец стал *среднесостоятельным* человеком и мог содержать семью в сравнительном благополучии. Это и было, очевидно, заветной мечтой сына бедного священника из захолустной Вотчи, решившего выйти «в люди».

Семья на Кадьяке увеличилась, родилось еще трое детей, а в Вологде появился и самый младший, Варлам. Уточнить состав и возраст семьи позволяют данные из клировой ведомости Софийского собора за 1907 год: «В семействе у него (священника собора Тихона Николаева Шаламова): жена Надежда Александровна — 37 лет, дети: Валерий — 13, Галя — 11, Наталия — 7, Варлаам — 6 месяцев». Еще трое детей — об этом говорила Шаламову мать — умерли на Кадьяке в грудном возрасте (там, в сыром и промозглом климате, было много эпидемий). Само

появление Варлама можно, таким образом, рассматривать как стремление отца и матери компенсировать эти потери и приблизиться к общепринятым в священнических (и не только в священнических) семьях стандартам количества детей.

Поначалу о. Тихон был назначен в небольшую церковь Александра Невского рядом с Софийским собором, а затем «в видах пользы службы», как гласит документ, был переведен в сам собор (имевший статус кафедрального) и поселился в квартире в доме соборного причта. Это было очень удобно — каменный, двухэтажный дом располагался всего «в двух шагах» (точнее, в 30 метрах) от места службы. Это преимущество смягчало тесноту квартиры — она явно не соответствовала разросшейся семье и тогдашним понятиям средней состоятельности. (Современные посетители шаламовского дома могут заметить, что квартира далека от норм, принятых даже в позднее советское время.) Недаром Шаламов, выросший возле кухни, в маленькой проходной комнатке, предназначенной для трех братьев, где спали и охотничьи собаки, и хранилось снаряжение, всю жизнь жаловался на эту тесноту.

Единственное исключение составляло большое «зало» — гостиная, где отец принимал своих знакомых и родственников и где самое почетное место занимала сувенирная коллекция, привезенная из Америки и Европы. Она помещалась в большом застекленном ящике-параллелепипеде из черного дерева и была составлена, как писал Шаламов, «по знаменитому принципу Музея естественной истории в Нью-Йорке, где бывал отец», — принципу подлинности: «индейские стрелы, алеутские топоры, культовые предметы эскимосов и алеутов — маски шаманов и орудия еды, моржовый клык во всем его желтоватом блеске лежали тут же...»

Договорившись не пересказывать автобиографические произведения Шаламова, в данном случае «Четвертую Вологду» — пусть читатель сам насладится ее блестящей подробной достоверностью, — остановимся лишь на самом существенном, заключенном в ней, а также и в неопубликованных набросках к этой книге.

Коллекция, как замечал Шаламов, «вполне отвечала тщеславию отца». Но ее важнейшая роль, по иронической формулировке писателя, состояла в том, что она «должна была высечь искру из моего “медного лба”, чтобы загорелся свет не столько божий, сколько Прометеев... Лбы моих братьев, наверное, уже были испытаны этим домашним музеем и не дали желаемого результата...».

Самое существенное здесь то, что отец, считавший себя «великим педагогом», был сторонником весьма жестких ме-

тодов воспитания и рассматривал каждого нового ребенка в семье как повод для очередного эксперимента. Очевидно, что в этом тоже сказался прагматизм о. Тихона, приобретенный в Америке. Среди других следов этого влияния можно выделить и его «ненависть к пустым разговорам», и свою манеру одеваться («Короче! Короче!» — эти приказы касались не только прически, но и рясы), и, пожалуй, самое главное — всегдашнее стремление к «паблисити», к тому, чтобы демонстрировать свои умения, свое превосходство перед другими («скромность отец не считал достоинством»). Наиболее красочно это проявлялось в знаменитом на всю Вологду «спектакле», когда отец выходил во двор дома и на глазах зевак и желающих поучиться приступал к сложным столярным работам — наращиванию бортов очередной лодки. «Поп с рубанком!» — эта неслыханная для Вологды (да, пожалуй, и для всей России) картина была своего рода вызовом провинциальному общественному мнению, а также и вызовом всему степенному православному сообществу.

С основанием иронизируя над склонностью отца к театральности, Шаламов, как представляется, все же недооценил (или недопонял, или понял слишком односторонне) эту грань его новоприобретенной «американской деловитости», не увидел ее связи со всем смыслом кипучей деятельности отца после возвращения с Кадьяка. Что значили, скажем, разнообразные домашне-хозяйственные увлечения и новации, казалось бы, вполне благополучного соборного священника? Наверное, вся его масштабная деятельность — с содержанием при доме коз, свиней, гусей, уток, кур, с постоянными выездами на рыбалку, с обязательными припасами в подвале и столь же обязательным привлечением детей к хозяйству (то, что писатель резюмирует резкими словами: «И все это я ненавидел»), — если и служила пресловутому «паблисити», то очень косвенно. Скорее можно полагать, что она была направлена прежде всего на поддержание благополучия семьи, а также на сохранение независимого положения на церковной службе. Подчеркивая, что служба в городском соборе устраивала отца тем, что позволяла обойтись без нелюбимых им «пошлых» треб по домам с непременными угощениями, Шаламов, по-видимому, не вполне осознавал значение хозяйства как единственной возможности для отца сохранить то и другое.

На современный взгляд, все, что делал о. Тихон по дому и вне его, принадлежит к того рода американской деловитости, которая тесно связана с основой цивилизованного капитализма — протестантской этикой. Разумеется, православному священнику было бы неловко признаваться, что он нечаянным

образом усвоил постулаты чуждой ему религии, но объективно дело обстояло именно так. Наверное, единственное, чего не хватает в великолепном (хотя и пристрастном) психологическом портрете отца после Аляски, нарисованном в «Четвертой Вологде», — это крылатой фразы Б. Франклина: «Время — деньги». Но до такой степени «американизации» отец, судя по всему, не дошел, да и не мог дойти, потому что в душе его все же доминировали ценности его родной религии, ценности альтруизма и нестяжательства — направленные лишь в более рациональное русло.

Шаламов по-разному описывал причины своего конфликта с отцом. Главное, что при этом победительной, перевешивающей стороной, гораздо более близкой юному Варламу, всегда оказывалась сторона матери. И это неудивительно: младший, последний сын был ее любимцем.

Сам Шаламов вспоминал: «Весь мой конфликт с отцом уходит в самые ранние годы, еще дошкольные, когда овладение грамотой в три года показалось отцу дерзостью непозволительной, а со стороны матери — ненужным педагогическим экспериментом. Материнский педагогический эксперимент был в том, что мне не давали игрушек — только кубики с буквами, из которых я складывал слова, играя у ног матери на кухне во время ее круглосуточной стряпни...»

Отец во всем стремился превзойти и заслонить мать. Некогда равные и спокойные семейные отношения за время службы на Аляске превратились в отношения повелевания — подчинения. Вечно занятая детьми и домом, Надежда Александровна и на Кадьяке не могла в полную силу применить свое педагогическое образование: она учительствовала там не все 12 лет, как полагал сын, а всего лишь последние годы (и была отмечена архиерейской грамотой — «за ея безмездные учительские труды в местной школе», как запечатлено в вышеупомянутой монографии). А отец и на Кадьяке не позволял ей проявлять инициативу в воспитании детей, зачем-то выписав из Петербурга популярное пособие «Гимназия на дому».

Таким образом, лишь с Варламом (несостоявшимся Александром) Надежде Александровне удалось осуществить свои заветные материнские и педагогические мечты. И это дало великолепные плоды! Ибо научить ребенка в три года читать столь простым, неназойливым способом — по кубикам, не отходя от печки и только подсказывая время от времени буквы, — для этого нужен был особый талант, никакими пособиями не учтенный. Собственно, школа у печки и стала базисом, на котором вырос будущий писатель, — ведь навыки чтения, усвоенные в столь раннем возрасте, намного раньше открывают

путь к познанию мира и к формированию у ребенка других удивительных способностей. По крайней мере тот феномен, который чуть позже открыл у себя Варлам — способность к быстрому чтению («...в мое зрение попадают двадцать-тридцать строк сразу, и так я читаю все книги всю жизнь»), помноженный на феномен уникальных природных свойств памяти (он запоминал твердо, навсегда, те же строки уже после второго прочтения, а все, что читал, видел и слышал в жизни, помнил в малейших подробностях — за редкими исключениями — до конца дней), во многом определил его огромный интеллектуальный багаж, который не смог ни подорвать, ни уничтожить даже колымский лагерь. И все это, повторим, благодаря матери.

Ей же принадлежит, бесспорно, и то, что называется воспитанием чувств, воспитанием души младшего сына. Сколько слов посвящено Шаламовым матери в благодарность за рождение в себе поэтического начала! (И сколько слов неприязни к отцу за то, что тот — от глухоты своей сердечной, от неискоренимого «позитивизма», прагматизма мышления — так старался это начало всячески погасить, убить!) «Мы, младшие дети — Сергей, Наташа и я — мы представители маминых генов — жертвы, а не завоеватели, представители высшей свободы по сравнению с грубой отцовской силой, — писал Шаламов о своем детстве. — У всех у нас выражено душевное, даже духовное сопротивление. Это-то сопротивление мы в семье и выражали. Наша формула такая: сначала жертва, а потом право на советы. Личный успех все мы ценили в грош. Именно потому что мы жертвы, мы не считаем нужным подчиняться...»

Патетика этих слов была рождена чувством постоянной жалости к матери, которое с ранних лет испытывал Варлам и которое, как можно понять, разделяли младшие брат и сестра. Причиной жалости была ее судьба — романтической гимназистки, красивой и умной женщины, вынужденной стать типичной «попадьей», резко погрузневшей с возрастом, больной и обреченной на роль прислуги при муже. Недаром Шаламов подчеркивал: «Мама любила стихи, а не ухваты». Но, пожалуй, лучше всего психологический портрет матери, а также и чувства к ней отражены в позднем, написанном в период создания «Четвертой Вологды» стихотворении (1970 год):

Моя мать была дикарка,
Фантазерка и кухарка.
Каждый, кто к ней приближался,
Маме ангелом казался.
И, живя во время оно,
Говорить по телефону
Моя мама не умела:
Задыхалась и робела.

Моя мать была кухарка,
Чародейка и знахарка.
Доброй силе ворожила,
Ворожила доброй силе.
Как Христос, я вымыл ноги
Маме — пыльные с дороги, —
Застеснялась моя мама —
Не была героем драмы.
И, проехавши полмира,
За порог своей квартиры
Моя мама не шагала —
Ложь людей ее пугала.
Мамин мир был очень узкий,
Очень узкий, очень русский.
Но, сгибаясь постепенно,
Крышу рухнувшей вселенной
Удержать сумела мама
Очень прямо, очень прямо.
И в наряде похоронном
Мама в гроб легла Самсоном, —
Выше всех казалась мама,
Спину выпрямив упрямо,
Позвоночник свой расправя,
Суету земле оставя.
Ей обязан я стихами,
Их крутыми берегами,
Разверзающейся бездной,
Звездной бездной, мукой крестной.
Моя мать была дикарка,
Фантазерка и кухарка.

Метафора «дикарка» означает, что Надежда Александровна была попросту нелюдима, сторонилась всех, кто выходил за привычный домашний круг, и это — прямое следствие ее статуса «попадьи», много лет отрезанной от свободного мирского общения (не говоря о светском). При этом она была необычайно открыта, доверчива к каждому незнакомому человеку, видя в нем исключительно доброе («ангелом казался», «ложь людей ее пугала»), — черта идеалистки, сохраненная с юности благодаря опять же «законсервированности» своей жизни. С этим органично связана и склонность к мечтательности, вера во все чудесное на свете («фантазерка»). Но «ворожбу» и «знахарство», разумеется, нельзя понимать буквально — подобного рода увлечения никогда бы не допустил муж-священник и рационалист. Скорее речь идет о поэтизированной сыном обычной для женщин-матерей привычке прибегать к разного рода домашним лечебным средствам.

А «кухарка» — более чем понятно, ведь в семье не было прислуги и весь груз каждодневных забот о питании мужа и детей лежал на маме. Причем на этот счет был установлен четкий цивилизованный порядок — кушать четыре раза в день, и

капризы отца по поводу тех или иных составляющих меню («хлеб печь только свой», «горчица должна быть только сарептская» (со знаменитого горчичного завода под Царицыном) Шаламов помнил до конца дней.

Но весь этот распорядок начал меняться уже в начале Первой мировой войны и совершенно переменился в годы революции и Гражданской войны — когда юный Варлам вынужден был торговать пирожками, испеченными матерью, на расположенной недалеко рыночной площади, переименованной в эти годы, по его саркастическому замечанию, в *площадь борьбы со спекуляцией,* где регулярно совершала облавы — на мешочников и разного рода мошенников — милиция.

Чтобы закончить комментарий к стихотворению о матери, надо немного забежать вперед. Очевидно, что в нем отражены конкретные биографические эпизоды жизни Шаламова: последнее прощание с матерью в декабре 1934 года, когда она умерла и он приезжал на похороны из Москвы, и почти библейский, но реальный эпизод с омовением ног, когда он заезжал домой после возвращения из Вишерского лагеря в конце 1931 года. Семья, давно выселенная из своей квартиры при соборе, жила тогда в жалком деревянном коммунальном доме. Мать уже тогда болела, едва передвигалась, ноги ее опухли. Что мог сделать Варлам при остро вспыхнувшей жалости к ней? Он вымыл ей больные ноги. А сравнение с Христом здесь нисколько не натянуто. Варлам хорошо помнил Евангелие (читавшееся ему скорее не отцом, а матерью): в день Тайной вечери Иисус «омыл» ноги своими руками всем своим ученикам, показав им, что такое смирение, любовь к ближнему. Мы можем судить, как Варлам боготворил свою маму.

Микроскопия ранних впечатлений (оказывающаяся потом, с возрастом, макроскопией), еще раз подтверждает, что Варлам был «маменькиным сынком». Не в смысле избалованности, а в смысле огромного запаса любви, вложенной в него матерью. А что иное может породить в мальчике впечатлительность, эмоциональность, тонкую душевную организацию, с которой начинается поэт?

Сохранившаяся первая детская фотография Шаламова — возраста чуть более года — показывает, сколь он был обласкан и лелеем — как, впрочем, все младшие дети в каждой русской семье. К сожалению, не уцелело общих семейных фотографий, по которым можно было бы судить и о внутренней иерархии, и о других ярких личностях этой семьи. Больше всего жаль, что не осталось никаких изображений любимого брата Варлама — Сергея, который был легендарной фигурой во всей Вологде. Но тот портрет Сергея, что запечатлен в повести Шаламова о

своей юности, — это великолепный художественный портрет, который многое компенсирует и является данью вечной благодарности младшего брата старшему.

Именно Сергей первым увековечил фамилию Шаламовых в Вологде. Ледяная гора, заливавшаяся каждую зиму на береговом обрыве напротив Софийского собора, строилась всегда под руководством Сергея по особым, диковинным для провинциального города инженерным правилам и потому называлась Шаламовской. Ледянка, огражденная сугробами и елками, подсвеченная электричеством, с которой можно было лихо пролететь на санях на противоположный берег — почти по типу американских горок, — была, как писал Шаламов, любимым зимним развлечением вологжан. А Сергей, естественно, стал любимым героем, слава которого распространялась на всю семью.

Блестяще выразительный диалог на эту тему приведен в «Четвертой Вологде»:

«Ну-ка, подвинься, пацан, — весело сказал мне усаживающий свою даму на сани-“тормозки”, как они назывались на ярком вологодском диалекте.

— Это не пацан, — холодно сказал мой провожатый, — это брат Сережки Шаламова».

Вот уж кого можно считать истинным воплощением характера, воспитанного на Аляске, — «русского индейца» и «русского американца» одновременно. Хотя Сергей прожил на Кадьяке всего шесть лет, этого было достаточно, чтобы усвоить от местных мальчишек все первичные навыки настоящего Монтигомо — смелость, любовь к приключениям, к риску, к промысловой охоте и рыболовству, к непреклонному самоутверждению и защите своего достоинства. То, что Сергей как пловец устанавливал местные рекорды, проплывая «на спор» по реке Вологде (которая летом почти без течения) от устья речки Тошни до городского моста — что почти пять километров, — создало ему особую славу, как и то, что он был лучшим ныряльщиком за утопленниками. Он был исключен из гимназии за неуспеваемость, и это добавило его славе некий скандально-хулиганский оттенок. А после того как семнадцатилетний Сергей в 1915 году, патриотично возбужденный, смело вступил в спор и в драку с пленным, ходившим свободно по городу кайзеровским солдатом, получив от него явно неадекватный ответ — удар кинжалом в живот, — он (едва выжив от перитонита) сделался настоящим героем Вологды. (Те факты, которые нашел Шаламов об этом чрезвычайном происшествии с Сергеем, перебирая в Ленинской библиотеке в 1960-е годы местную газету «Вологодский листок» за 1915 год, подтверж-

даются и полицейскими документами об этом же случае, представленными ныне в Шаламовском доме-музее. К сожалению, участь немца с кинжалом неизвестна, хотя очевидно, что он совершил поступок противоправный и подлежавший самому суровому наказанию по законам военного времени.)

Дальнейшая судьба Сергея прослеживается только из скупых слов брата-писателя: в 1917 году Сергей добровольцем ушел на германскую войну простым солдатом (поскольку после исключения из гимназии не мог претендовать на офицерство), потом, после революции, приехал домой и «поступил в Красную армию красноармейцем химической роты и был убит в 1920 году (осколком) от разрыва гранаты».

Поступление (мобилизация) в Красную армию после царской было закономерным почти для всех новобранцев, кто избежал многолетнего сидения в окопах и не дезертировал (еще до Брестского мира) с фронта, как многие крестьяне, стремившиеся после бессмысленной и неудачной войны к земле и семьям. Группировок Белого движения вблизи Вологды не было (не считая Ярославля, где затевал восстание Б. Савинков), но были англо-американские интервенты, наступавшие со стороны захваченного ими в 1918 году Архангельска. Для Севера России это было еще одно испытание патриотизма. Прагматика «союзников», стран Антанты, ставивших целью остановить германскую агрессию главным образом силами России и «воевать до победного конца — до последнего русского солдата», была понятна каждому мирному обывателю, не говоря уже о военных. Поэтому, когда в Архангельск вошли военные суда с чужими флагами, а над мирными от века деревнями залетали английские самолеты и по железной дороге и по Северной Двине к Вологде двинулись завоеватели в шляпах и высоких шнурованных ботинках, они были тут же остановлены. И организованными силами Красной армии, и стихийной партизанской войной (как тут не вспомнить Л. Толстого с его «дубиной народной войны»!). «Тщетной придурью» назвал северную экспедицию союзников не кто иной, как английский резидент Р. Б. Локкарт (его имя еще будет упоминаться в этой книге), добавив, что «наша интервенция способствовала усилению террора и кровопролития». (Все это, между прочим, согласуется с известным выводом В. И. Ленина: «Террор навязан нам Антантой».)

Можно не сомневаться, что Сергей Шаламов был отважным и рискованным воином. Он погиб на фронте у станции Плесецкая, и отец, как вспоминал писатель, «сам ездил за телом». Это был самый любимый сын о. Тихона, потому что — кадьякский и потому что — как отцу казалось — больше всего

унаследовал от его собственного характера. Потрясение от смерти Сергея было огромным для всей семьи, в том числе и для Варлама. Но сильнее всего оно сказалось именно на отце — проплакав всю ночь дома над гробом Сергея («в епитрахили, измятой, перекосившейся», как писал Варлам), он ослеп.

Эта трагедия стала началом распада семьи. Ведь на Сергея возлагались главные надежды стареющих родителей. Он и так не раз спасал их от голода в самые тяжелые 1918—1919 годы — и своими охотничье-рыболовными добычами, и поездкой в Ташкент — «город хлебный», за продуктами. Варлам был слишком мал для таких подвигов.

Старший сын Валерий никогда не помогал отцу и матери. У него к тому времени (по его же глупости, как считал отец, — потому что сын, бывший офицер царской армии, отказался служить в Красной, не последовав примеру ни Сергея, ни генерала Брусилова и других героев империалистической войны) сложились острые отношения с властью, с ЧК, где его шантажировали этим отказом, сделали в конце концов своим осведомителем и заставили публично отречься от отца-священника. Недаром Шаламов называл своего старшего брата «ничтожеством». В этой оценке его окончательно укрепила последняя встреча на похоронах отца в марте 1933 года: Валерий на глазах Варлама нагло выпросил у матери (больной и нищей) «на память» золотую цепочку отца. «У меня не хватило духу вмешаться в этот разговор», — писал Шаламов (в набросках к «Четвертой Вологде»), а в основной текст ввел такой эпизод: «Наташа, которая в нашей семье олицетворяет справедливость и которая лучше всех знала материальные возможности отца и матери, бросилась на Валерия тут же: — Да как ты смеешь просить такой подарок? Ведь мама на эту цепочку проживет не один год. Но мама ясно и твердо сказала: — Он ничего не просил и не просит, это я так хочу...»

Из двух сестер, Галины и Натальи, роднее по духу Варламу была Наталья, самая ближняя к нему по возрасту (семь лет разницы). Ее фотография, к счастью, сохранилась, и мы видим в ней, выпускнице женской гимназии 1917 года, столь же прямую и честную натуру, как у Варлама, воплощение самоотверженности, «жертвы». Окончив курсы медсестер, она всю Гражданскую войну, как могла, поддерживала семью и затем служила основной консолидирующей и связующей силой (все почтово-телеграфные сообщения о положении и здоровье родителей, вплоть до известий о их смерти, к Варламу шли через нее). Ее личная жизнь сложилась неудачно: муж, профсоюзный работник, оказался запойным пьяницей, и Наталья выходила за него замуж под честное слово, что он бросит пить,

но, как с горькой иронией замечал Шаламов, «таких честных слов в истории русского общества хранятся не миллионы, а миллиарды».

Со старшей сестрой Галиной отношения изначально не сложились. Она была слишком земной, слишком практичной, хотя и добросердечной. Она тоже рано уехала из Вологды, и не куда-нибудь, а в Сухуми. Стоит прочесть переписку Галины и Варлама конца 1950-х годов, когда она настойчиво приглашала его (зная, что он был на Колыме) к себе в гости и даже на постоянное жительство, а он просто не отвечал на эти приглашения: в Сухуми он был лишь однажды, и постоянных бытовых разговоров об урожае абрикосов и персиков, о судьбе удавшихся и неудавшихся родственников ему хватило на два дня. Галя не забывала о родителях, посылала им посылки с виноградом, фруктами, но до них доходила только гниль.

На кого было надеяться отцу и матери в Вологде начала 1920-х годов? Только на Варлама. А ему? Только на них. Но ослепший отец к тому времени потерял всё — и должность, и пенсию, и весь круг старых друзей. Единственное, чего он не потерял, — ума и веры. И не случайно Шаламов замечал, что «чувство жалости за мать, красавицу, умницу, погруженную в горшки, ухваты, опару», с этого момента сменилось — «когда отец ослеп, эта острая жалость перешла к отцу».

Есть целый круг материалов, доказывающих, что Варлам — несмотря на всю жесткую мировоззренческую полемику с отцом (которую он ведет и на страницах «Четвертой Вологды») — многое впитал, перенял, усвоил именно от него. Та линия русской литературы (Достоевский), которая выводит происхождение так называемого «нигилизма», «радикализма» (или обыкновенного атеизма) из духа «семинарщины» (все это можно назвать скорее «антисеминарщиной»), имела определенные основания только в середине XIX века, а в начале XX обстановка была совсем иной. И коренные мировоззренческие расхождения Варлама Шаламова с его отцом — совершенно иного происхождения.

О. Тихон после Америки — это последовательный сторонник демократических свобод, в том числе свободы вероисповедания, и при этом — активный борец за реформы внутри православной церкви. В набросках к «Четвертой Вологде» Шаламов писал: «Тот джефферсоновский дух свободомыслия, который царил в нашей семье, не противоречил убеждениям отца в призвании русского духовенства. На себя он смотрел как на человека, который пришел служить не столько богу (Шаламов как атеист всегда писал это слово с маленькой буквы. — *В. Е.*), а сколько вести сражение за лучшее будущее России».

События первой русской революции 1905 года, издание Манифеста 17 октября с заверением впервые создать в условиях монархии «представительные учреждения» (Государственную думу) — все это вовлекло отца в вологодскую общественную борьбу. Он был участником дебатов на собраниях интеллигенции в Пушкинском народном доме, открытом в 1904 году, и стал одним из свидетелей погрома этого дома 1 мая 1906 года. Погром был учинен толпой пьяных крестьян и городской голытьбы, подстрекаемых представителями местного Союза русского народа. В многотомном судебном деле об этом событии, сохранившемся в вологодском архиве, есть и показания о. Тихона Шаламова: «...Видя всю картину погрома, меня крайне удивило поведение бывших тут стражников и начальника их — офицера, которые относились ко всем совершающимся безобразиям в высшей степени хладнокровно и безучастно... Вечером я тоже ходил смотреть на пожарище, которое уже прогорало, рушилось. Около пожарища стояла порядочная толпа народа. Несколько лиц из нее высказали одобрение и сочувствование поджогу и погрому...»

Кроме Народного дома в тот день была разгромлена редакция либеральной газеты «Северная земля». Толпа пыталась также разгромить дом городского головы Н. Клушина, но была остановлена народной милицией и водометами. Как подчеркивалось в материалах следствия, богатые дома евреев на Кирилловской улице были не тронуты. Но сама погромная акция сопровождалась выкриками: «Бей жидов и студентов!» А конкретным проявлением антисемитской направленности провокаций Союза русского народа стали столь же бурные события 18 октября 1905 года, после объявления манифеста, когда толпой были выбиты стекла в нескольких еврейских магазинах. Бездействие полиции и жандармов во всех этих случаях сопровождалось и «нейтральностью» судов: процесс по делу о погроме Пушкинского народного дома, проходивший в январе 1908 года, закончился помилованием всех обвиняемых, так как было признано, что «они действовали из чувства глубокого патриотизма»...

Шаламов в молодости слышал только отголоски этих событий, но знал общие настроения обывательской Вологды, и поэтому его слова: «Вологда — город черной сотни, где бывали еврейские погромы» — не слишком далеки от истины.

«Джефферсоновский дух» отца ярче всего проявился в его проповеди, произнесенной на панихиде в память М. Я. Герценштейна, депутата Первой Государственной думы от партии конституционных демократов, профессора Московского сельскохозяйственного института, убитого черносотенцами летом

1906 года. На фоне прокатившихся тогда по России массовых еврейских погромов и разгона Первой думы это было чрезвычайно смелое для Вологды выступление, тем более что проходило оно в самом популярном в городе Спасовсеградском соборе, а 20 августа 1906 года проповедь была напечатана в возобновленной газете «Северная земля».

О. Тихон уже тогда развивал идеи реформы (обновления) православной церкви. В преамбуле своей проповеди он прямо заявлял: «Уклонение церкви от политических явлений не привело к добру. Она оказалась, с одной стороны, стесняема государством и в лице некоторых своих представителей стала оправдывать такие грустные явления народной жизни, как крепостное рабство, гонение свобод, порицать великую идею народного представительства. С другой стороны, борцы за народное дело, друзья народа, не надеясь встретить от представителей церкви сочувствия своему великому служению за счастье народное, стали сторониться духовенства и даже, к великому горю, охладевать к церкви».

Говоря о деятельности Первой Государственной думы, о. Тихон подчеркивал: «Она высказывала желание тех свобод, без которых душа человеческая не может нормально развиваться и жить, как рыба без воды и тело без воздуха. Это ее желание было в гармонии с заветами Христа и самовидцев Апостолов, с идеалами церкви. “Где дух Господен, там свобода” (2 Коринф., 3, 17), “К свободе призваны вы, братия” (Галат., 5, 13). Она единодушно осудила смертную казнь, скорбя о братоубийственной распре в народе русском... Она ужаснулась белостокскому и другим погромам, где кроваво пировал зверь-человек... Она желала наделить бедный крестьянский люд землей, причем высказалась за отчуждение частновладельческих земель за справедливое вознаграждение... Приснопамятный раб Божий Михаил к этому последнему делу Думы, к работам ее над поземельным вопросом и приложил всю силу своего огромного таланта и знания, всю силу своей практической опытности. Злые люди-убийцы пресекли его славное служение...»

«Он умер, — заключал о.Тихон, — за великое дело служения меньшей братии Христа-Царя. Эту меньшую братию он видел в лице многострадального люда крестьянского, который и алчет, и жаждет, и наготует, и странно, и больно и в темнице!..»

Прямых санкций за эту горячую «крамольную» проповедь со стороны епархиального управления не зафиксировано, но без последствий она не могла остаться: карьера о. Тихона затормозилась, он остался на службе в Софийском соборе четвертым, рядовым священником. Затем, в 1917 году, был выве-

ден за штат и так и не удостоился, с учетом хотя бы своих миссионерских заслуг, сана протоиерея (этот сан был присвоен ему лишь в 1923 году — уже слепому! — при обновленческом архиерее А. Надеждине). Все это вполне соответствует свидетельству Шаламова, что отцу «мстили все — и за все, за грамотность, интеллигентность», что до революции отец никак не вписывался в высшую касту вологодского духовенства.

«Самым худшим человеческим грехом отец считал антисемитизм, вообще весь этот темный комплекс человеческих страстей, не управляемых разумом», — писал Шаламов.

Наиболее яркий пример принципиального следования о. Тихона правилам веротерпимости, усвоенным в Америке, представляют его педагогические приемы, направленные на воспитание отвращения к антисемитизму (они касались всех детей). Варлам вспоминал один из первых этих уроков: однажды во время осенней прогулки отец привел его к зданию вологодской синагоги и коротко объяснил, что «это дом, где молятся люди другой веры, что синагога — это та же церковь, что бог — один». За одним уроком последовал другой: Варламу (как и другим детям) было разрешено приглашать в дом всех, кроме антисемитов, при этом предпочтение среди гостей отдавалось евреям: «Так и вышло с самого детства, что у нас дома постоянно Желтовский, Букштейн, Кабаков, а также Виноградов, Алексеев — те лица, родители которых вели себя так же, как отец».

«Отцовская методика давала вполне надежный результат, — подчеркивал Шаламов. — Принцип срабатывал сам собой, как кибернетический автомат, закладывавший в юный мозг доброе и вечное».

Наверное, трудно было найти в России тех лет священника с подобными педагогическими установками! Куда большее распространение имел церковный и бытовой антисемитизм, основанный на постулате: «Евреи Христа продали», а также антисемитизм своего рода интеллектуальный, распространявшийся провокаторами-идеологами под маркой известной фальсифицированной брошюры «Протоколы сионских мудрецов», которую, как известно, с одобрением читал и последний русский император Николай II. В этом смысле о. Тихон Шаламов был не просто «диссидентом», вольнодумцем-еретиком, а прямым противником догматов официальной православной церкви, а также и монаршей власти. К его счастью, он был не одинок, потому что после Манифеста 17 октября 1905 года подобные умонастроения легализовались и получили достаточно широкое распространение среди церковной и философско-религиозной интеллигенции.

Варлам уважал отца за его гражданское мужество, но он не смог принять догматы его веры. Интимная, сердечная сторона религии затронула его только в детстве главным образом благодаря матери и сестрам. «Читать “Отче наш” я не помню, чтоб меня кто учил — мать, сестры, уж не отец, конечно. Для меня с моей памятью на стихи, рифмованные и белые, это “Отче наш” было не труднее Пушкина», — писал он в набросках к «Четвертой Вологде». Постоянное присутствие при отце, его домашних молитвах и служебных ритуалах, дало Варламу глубокое знание всех церковных канонов, таинств, евангельских притч и сообщило ему то общее уважение к религии, к людям истинно верующим, которое он пронес через лагеря и сохранил до конца дней. Но сам он оказался вне религии — и здесь, пожалуй, некого винить. Да и вина ли это? Только современные неофиты православия с их крайне замороченным сознанием могут видеть в атеизме Шаламова некий порок, а не величайшее достоинство его личности.

«Веру в бога я потерял давно, лет в шесть», — писал Шаламов. Одной из причин он считал несоответствие жизненного примера отца-священника, по определению долженствующего печься о всякой живой душе (и твари), его сугубо хозяйско-мужицкому отношению к животным, к увлечению охотой (на Кадьяке) и безжалостности при «заклании» домашнего скота. Сцена с козлом Мардохеем в «Четвертой Вологде», когда отец, уже слепой, на ощупь перерезал сонную артерию козла, продемонстрировав в очередной раз свое охотничье искусство, глубоко поразила Варлама. И уже не в первый раз. «Я горжусь, что за всю свою жизнь я не убил своей рукой ни одного живого существа, особенно из животного мира. В моем детском христианстве животные занимали место впереди людей, — писал он. — Церковными обрядами я интересовался мало. Вера в бога никогда не была у меня страстной, твердой, — и я легко потерял ее — как Ганди свой кастовый шнур, когда шнур истлел сам собой».

Шаламов дает понять, что не только пример отца подорвал его детскую веру — на то был целый комплекс причин, среди которых, пожалуй, первое место заняло его раннее увлечение искусством, литературой. Научившись читать в три года, он попал в иной, навечно захвативший его мир книг, который он — повторяя С. Цвейга — называл «опасным». Но он не боялся этой опасности — он ощутил в ней свое призвание, свою религию. Страстный монолог четырнадцатилетнего мальчугана, направленный против отца: «Я буду жить прямо противоположно твоему совету. Ты верил в бога — я в него верить не буду, давно не верю и никогда не научусь... Ты веришь в успех,

в карьеру — я карьеру делать не буду — безымянным умру где-нибудь в Восточной Сибири... Ты жил на подачки — я их принимать не буду... Ты ненавидел стихи — я их буду любить», — весь пронизан стремлением защитить свою тайную и уже незыблемую приобщенность к Парнасу, к стихам — как «особому способу познания жизни, даже не познания, а существования, ощущения» («Четвертая Вологда»).

Так мыслил родившийся в семье нетипичного русского священника поэт Варлам Шаламов.

Глава третья

ТРЕТЬЯ ВОЛОГДА И РЕВОЛЮЦИЯ

По классификации Шаламова, третья Вологда — «ссыльная», то есть представляющая вечно гонимую оппозиционную русскую интеллигенцию, которой в городе в дореволюционное время было в избытке. Надо напомнить, что деятельность любых политических партий в России до 1905 года была запрещена и ссылка была главным средством борьбы с крамолой; после 1905 года в «места отдаленные и не столь отдаленные» отправлялись члены оппозиционных партий и непосредственные участники революционных действий. Количество ссыльных в обширной Вологодской губернии в начале XX века (в расчете на душу населения и на квадратную версту) превышало их количество в любом другом краю России, исключая Сибирь. Не случайно Вологда тогда получила название «подстоличной Сибири». В социологическом смысле Шаламов был очень точен. И его утверждение о том, что именно влияние ссыльных создало, по его словам, «особый климат города, нравственный и культурный», тоже не подлежит сомнению (хотя этот климат создавали и местные культурные силы). Сам Шаламов относил себя к «третьей» Вологде. Обобщая вопрос об истоках своей биографии, он подчеркивал: «Если я вологжанин, то в той части, степени и форме, в какой Вологда связана с Западом, с большим миром, со столичной борьбой. Ибо есть Вологда Севера и есть Вологда высококультурной интеллигенции».

Такое самоощущение возникло у него в юности, в начале 1920-х годов, когда не все бывшие ссыльные разъехались (или не были репрессированы), когда в городе жили представители столичной профессуры, бежавшие сюда от голода, когда стала расправлять плечи местная интеллигенция: Шаламов считал и своего отца (с полным основанием) прикосновенным к этой «третьей» Вологде.

Была она реальностью или мифом — эта маленькая страна, где «требования к личной жизни, к личному поведению были выше, чем в любом другом русском городе»?

Тот ряд имен, который называет Шаламов в связи с темой Вологды как «места ссылки или кандального транзита для многих деятелей Сопротивления» — «от Аввакума до Савинкова, от Сильвестра до Бердяева, от дочери фельдмаршала Шереметева до Марии Ульяновой, от Надеждина до Лаврова, от Луначарского до Германа Лопатина», — далеко не полон и не исчерпывает всего многообразия персон и типов, представленных в вологодском изгнании и на местных пересылках за многовековую историю. Тут могло бы найтись место и, скажем, патриарху Никону — гонителю протопопа Аввакума, сосланному в Ферапонтов монастырь, и одному из любимых писателей Шаламова Алексею Ремизову. А с другой стороны — будущему «вождю народов» Иосифу Сталину (Джугашвили) и его подручному В. Молотову (Скрябину), которые тоже провели немало времени в «подстоличной Сибири». Но двое последних не включены Шаламовым в этот ряд, как представляется, вполне сознательно — потому что они для писателя символы не Сопротивления, а Подавления, Тирании (родившейся под сенью Сопротивления).

Пожалуй, фантастично представить встречу ссыльного И. Джугашвили, прогуливавшегося по аллеям Вологды летом 1911 года или по набережной речки Золотухи в январе 1912 года (когда он был возвращен из очередного побега и готовился к следующему), с четырехлетним малышом Варламом Шаламовым, сопровождаемым родителями или старшими братьями-сестрами. Но такая случайная встреча вполне могла произойти в небольшом городе, где немного мест для прогулок — либо аллеи Александровского сада, либо Соборная горка, либо торговые ряды (кроме центральных они находились на набережной Золотухи, примыкающей к Свято-Духову монастырю: неподалеку отсюда жил Сталин — дом, где он квартировал и где в 1937—1953 годах был его музей, сохранился и по сей день).

Разумеется, никто не придал бы этой встрече никакого значения — подумаешь, гуляет цивильно одетый человек «кавказской национальности», а с другой стороны — водят за ручку какого-то малыша. Только кинематографисты (невысокого пошиба) могли бы разыграть эту встречу будущего вдохновителя и организатора Большого террора и будущего автора «Колымских рассказов» и придать ей символическое и мелодраматическое звучание. Но на самом деле, как мог — пристально и проницательно, со значением — глядеть малыш на черно-

бородого грузина, которых в Вологде тогда были десятки? Кстати, в те годы Вологда — да и вся Россия — была вполне толерантной ко всем кавказцам, тем более — политическим. В 1905 году на похороны ссыльного И. Хейзанишвили, умершего в пересыльной тюрьме, пришли несколько тысяч человек. Первым председателем Вологодского совета рабочих и солдатских депутатов в 1917 году был избран бывший ссыльный социал-демократ Шалва Элиава (будущий заместитель наркома легкой промышленности, расстрелянный Сталиным в 1937 году).

В предреволюционные годы в Вологде существовал даже «ресторан кавказских вин» под названием «Эльбрус» (он располагался в центре города, на нынешнем Советском проспекте). Именно в этом ресторане в начале февраля 1912 года состоялась своего рода историческая встреча И. Джугашвили с приехавшим в Вологду нелегально С. Орджоникидзе (она зафиксирована в журналах наблюдений жандармского управления как встреча «Кавказца» — такова была кличка Джугашвили у филеров — с «шатеном в черной одежде», а в сталинскую историографию вошла как приезд С. Орджоникидзе в ссылку к Сталину с сообщением о заочном избрании того членом ЦК партии большевиков на Пражской конференции РСДРП, состоявшейся в январе 1912 года). Буквально через неделю после этой встречи, снабженный, надо полагать, деньгами, явками и паролями, Джугашвили бежал из Вологды — ночным поездом в Петербург — и вскоре стал одним из соредакторов газеты «Правда», где впервые стал подписываться многозначительно «твердым и несокрушимым», вошедшим в историю псевдонимом «И. Сталин»...

Характерно, что в Вологде Джугашвили никакой деятельностью, которую можно было бы назвать революционной, не занимался. Правда, филеры отметили, что за четыре месяца он 17 раз побывал в публичной библиотеке. Но содержание его чтения было крайне хаотичным: в списке книг, оставленных при побеге (этот список мне удалось разыскать среди бумаг, сохранившихся от бывшего музея Сталина в Вологде), есть и К. Каутский, и Ф. Вольтер, и с десяток журналов, и по два пособия по астрономии и по арифметике... Показательно, что Сталин не сдал, как приличествует всякому добросовестному читателю, эти книги в библиотеку, а бросил. Другое недоумение: неужели будущий «вождь народов» в свои 33 года плохо знал арифметику, коль скоро изучал элементарный сборник арифметических задач? Слабо усвоил деление и умножение больших чисел с нулями? Не отсюда ли потом непонимание разницы между единицами, сотнями, тысячами и миллионами

людей? (Количество выплавленных пудов стали, танков и самолетов Сталин запоминал гораздо лучше.)

А среди вещей, оставленных Джугашвили при побеге, меня больше всего заинтриговала такая деталь: «Четыре полотняные рубахи, одна из них рваная». Сразу возник вопрос: кто посмел порвать рубаху гордого кавказца? Версий может быть много, но истину, мне кажется, надо искать в мемуарах Н. Хрущева о том, как откровенничал Сталин на одном из кремлевских пиров в 1930-е годы о своей вологодской ссылке: «Хорошие ребята были уголовники. Не то что политические»*. Учитывая, что, кроме общения с уголовниками, в Вологде, как и в Сольвычегодске, будущий Сталин любил посещать трактиры и при этом был вспыльчив и драчлив, рубаху ему мог порвать кто-то из этих «хороших ребят», а может, и «плохих»...

Молотов, сосланный из Казани за принадлежность к юношеской организации РСДРП, в Вологде со Сталиным не встречался — их верная дружба-тандем завязалась позже, в редакции «Правды». Проводил он в Вологде время по-разному: и книжки читал, и реальное училище экстерном окончил (была такая льгота молодым ссыльным), и... на мандолине в ресторанах играл. Этот факт зафиксирован и филерами, и мемуаристами. «Ресторанно-музыкальный эпизод доставлял ему потом неприятности, — пишет внук Молотова В. Никонов. — Сталин (на тех же кремлевских пирах. — *В. Е.*) иногда подтрунивал над ним в этой связи, иногда просто издевался: “Ты играл перед пьяными купцами, тебе морду горчицей мазали”, — вспоминал Н. Хрущев. Молотов говорил: “Это был заработок”»...

Разумеется, Шаламов не мог знать подробностей вологодского жития Сталина, Молотова да и других ссыльных. Но то, что ссылка в губернский город Вологду, недалеко от столиц, была сравнительно легкой — «Барбизоном», как он выражался, он мог наблюдать даже в детские годы, когда политические изгнанники спокойно гуляли по городу и даже ухаживали за барышнями.

Однако есть знаменательная фраза в «Четвертой Вологде»: «Конечно, как и во всякой ссылке, в Вологде были свои драмы, свои вожди и пророки, свои шарлатаны». Последнее — «шарлатаны» — объективно больше всего относится как раз к двум указанным выше персонам, Сталину и Молотову. Ибо их поведение в ссылке было весьма двусмысленным, закрытым. Да и в их политическом восхождении после 1917 года, что ни говори, гораздо больше исторической случайности, чем закономер-

---

* Мемуары Н. С. Хрущева // Вопросы истории. 1992. № 1. С. 59.

ности, и главным их качеством было скорее умение в нужный момент поймать свой шанс и держать нос по ветру в зигзагах политики большевиков (пользуясь тем, что В. И. Ленин, будучи гениальным политиком, был никудышным психологом: пример, со Сталиным, признанным им поначалу «чудесным грузином», говорит сам за себя). То же было и с Молотовым, который ничем не проявил себя в революции, кроме правки статей в «Правде», но в 1921 году, в возрасте тридцати лет, стал секретарем ЦК РКП(б). Недаром на вопрос внука — В. Никонова — о том, что же его вознесло на вершины власти, Молотов-пенсионер, никогда и ни в чем не раскаивавшийся, ответил философически: «Ветер». (Стоит напомнить, что Шаламов, прекрасно знавший о роли Молотова в сталинских репрессиях, встретившись с ним, еще бодреньким старичком, в середине 1960-х годов в Ленинской библиотеке, хотел ударить его — «дать плюху», как он выражался, — но не решился, о чем потом сильно сожалел.)

Явно, что не эти герои определяли для Шаламова особый моральный климат Вологды, создававшийся ссыльными. Писатель опирался скорее на местные апокрифы, на мемуары, связанные, например, со знаменитым побегом П. Лаврова, автора воодушевивших русскую интеллигенцию 1870-х годов «Исторических писем» (побег был организован другим легендарным героем русской освободительной борьбы — Германом Лопатиным), а также на разрозненные воспоминания о самом знаменитом периоде вологодской ссылки — начале XX века, 1901—1903 годах, когда здесь находилась одновременно группа выдающихся представителей русской интеллигенции — Н. Бердяев, А. Луначарский, А. Богданов, Б. Савинков, П. Щеголев, А. Ремизов...

Очевидно, что Шаламов не читал книги Ремизова «Иверень», посвященной ссыльным скитаниям писателя по России, в том числе по Вологодской губернии. В личную библиотеку Шаламова какими-то неведомыми путями попала лишь книга Ремизова «Мышкина дудочка. Подстриженными глазами», опубликованная в 1953 году в Париже издательством «Оплешник»; «Иверень» вышел позже и стал известен в России только в 1980-е годы. Надо заметить, что Ремизов был одним из самых ценимых Шаламовым русских писателей-модернистов — Шаламов считал себя даже в известной мере его учеником. И то определение, которое дал Ремизов в «Иверене» ссыльной Вологде тех лет — «Северные Афины», — несомненно, показалось бы Шаламову метафорически безупречно точным. Ибо «Северные Афины» — это собрание философов, мудрецов, интеллектуалов начала XX века, каковым и было

тогдашнее сообщество вологодских ссыльных, решавшее в своих открытых для публики спорах, диспутах, по словам Шаламова, «судьбы России».

Шаламов вряд ли знал в подробностях конкретные предметы диспутов и их философские основания — и идеализм Бердяева, и марксизм Луначарского, и позитивизм Богданова, и романтический авантюризм Савинкова ему были известны, вероятно, лишь в самых общих чертах. В юном возрасте на людей производят впечатление, как правило, не философские идеи, а художественные произведения. Таким произведением, прочитанным в начале 1920-х годов, стала для Шаламова повесть Б. Савинкова (В. Ропшина) «То, чего не было». Другая, более известная, причем скандально — повесть «Конь бледный» — произвела на него меньшее впечатление. Отзыв-воспоминание Шаламова стоит привести целиком, все же речь идет о первой полюбившейся книге.

«Книгу Ропшина “То, чего не было” всю почти помню на память, — писал Шаламов (это в конце 1960-х годов, после лагерей! — *В. Е.*). — Знаю почему-то важные для меня абзацы, целые куски помню. Не знаю, почему я учил эту книгу наизусть, как стихи. Эта книга не принадлежит к числу литературных шедевров. Это — рабочая, пропагандистская книга, но по вопросу жизни и смерти не уступала никаким другим. Дело тут в приобщении к сегодняшнему дню, непосредственной современности. Это книга о поражении революции 1905 года. Но никогда еще книга о поражении не действовала столь завлекающе, вызывая страстное желание стать в эти же ряды, пройти тот же путь, на котором погиб герой.

Этот фокус документальной литературы рано мною обнаружен и учтен. Судьба Савинкова могла быть любой. Для меня он и его товарищи были героями, и мне хотелось только дождаться дня, чтобы я сам мог испытать давление государства и выдержать его, это давление. Тут вопрос не о программе эсеров, а об общем моральном климате, нравственном уровне, который создают такие книги.

Запойное чтение мое продолжалось, но любимый автор был уже определен».

Многое в этих поздних откровениях об увлечениях юношества может показаться странным и непонятным: Шаламов воздает хвалу Савинкову — это ведь едва ли не апология террора, по крайней мере эсерства, тем более с намерением «стать в эти же ряды», «испытать и выдержать давление государства»! Налицо как бы идейная и моральная подготовка к участию в московской оппозиции 1920-х годов, к новому романтическому «подполью» в советских условиях. Но этот вывод был бы

слишком примитивным. Важнейший аспект этих размышлений — не политический, а литературный. Главное для Шаламова — «нравственный уровень», который создают такие книги, а именно, как он пишет (и стократно повторяет в течение жизни как собственный писательский императив), «соответствие слова и дела» автора. Этот подход совершенно в шаламовском духе, в его принципах: если слово писателя не подкреплено его делом, литература теряет всякий нравственный смысл. Не менее важно признание, что именно в романе Савинкова Шаламовым был впервые уловлен «фокус документальной литературы» (имеется в виду, несомненно, особый эффект воздействия на читателя произведений, где автор был реальным участником. — *В. Е.*). Этому методу всегда следовал Шаламов в своем творчестве, в том числе в «Колымских рассказах», и подчеркивал его в своих литературных манифестах: «Доверие к беллетристике подорвано... Собственная кровь, собственная судьба — вот требование современной литературы».

Остается только гадать, какие фрагменты из «То, чего не было» Шаламов запомнил наизусть. Книга Савинкова (Ропшина) действительно была посвящена поражению революции 1905 года и при этом — признанию бесперспективности террора как метода политической борьбы. И такая (одна из ключевых) фраза романа в устах его главного героя А. Болотова: «...Почему народовольцы скрыли от нас, что террор не только жертва, но и ложь, но и кровь, но и стыд?» — не могла не оставить зарубку в сознании юного Шаламова. Хотя народовольцам и их последователям — эсерам-максималистам он продолжал поклоняться всю жизнь — именно за их бескорыстную жертвенность — и писал об этом даже в поздние годы, книга Савинкова (Ропшина), по-видимому, все же в какой-то мере охладила его романтический пыл. И желание «стать в эти ряды» означало лишь то, что ни при каких новых обстоятельствах нельзя склоняться перед тиранией, довольствуясь «мещанским счастьем»...

Нелишне напомнить, что роман «То, чего не было» привлек внимание такого, казалось бы, далекого от текущей литературы человека, как Г. В. Плеханов. Откликаясь на споры о романе в революционной среде, он писал в 1913 году в открытом письме редактору журнала «Современный мир» В. П. Кранихфельду: «Искренность Ропшина стоит вне всякого сомнения; его художественное дарование неоспоримо». Говоря об основной проблеме романа, Плеханов подчеркивал: «Потребность в нравственном оправдании борьбы — не шуточное дело. Ее прекрасно понимали те мыслители, которым приходилось зани-

маться философией человеческой истории. Еще Гегель говорил, что историческое движение нередко представляет нам враждебное столкновение двух правовых принципов. В одном принципе выражается божественное право существующего порядка, право установившихся нравственных отношений; в другом — божественное право самосознания, идущего вперед, науки, делающей новые завоевания, субъективной свободы, восстающей против устарелых объективных норм. Взаимное столкновение этих двух божественных прав есть истинная трагедия, в которой гибнут подчас самые лучшие люди. (Гегель указывал на Сократа.) Но если в этой трагедии есть гибнущие, то нет виноватых. Гегель говорил, что каждая сторона права по-своему».

Шаламов вряд ли читал эту статью Плеханова, но понятие о *равных* правах двух враждебных принципов — государства и личности — было ему чрезвычайно близко. Более того, зная его биографию, где огромное место занимало государственное насилие, мы не удивимся тому, что он всегда защищал права личности. И единственным средством такой защиты, — пройдя путь московских общественных сражений 1920-х годов, — он стал считать литературу. (С наибольшей прямотой и выразительностью эту свою миссию он выразил в строках «Атомной поэмы» 1955 года: «Я там, где боль, я там, где стон / В старинном этом споре»...)

Но все это было позже. Разумеется, Варлам, которому в 1917 году исполнилось лишь десять лет, был слишком мал, чтобы успеть приобщиться к миру вологодских политических ссыльных, к миру сопротивления, как он его называл. Но само присутствие этих людей — сотен и тысяч (после революции 1905 года и «столыпинской реакции»), отправленных в северный край не по своей воле, а по воле государственно-полицейской машины, не могло не заставить его задуматься об особенностях российского мироустройства, его отличии от Европы или, скажем, от Америки, о которой много рассказывал отец.

Показательно, что о. Тихон не считал зазорным принимать у себя дома ссыльных — не всех подряд, разумеется, а близких ему по духу и общественным интересам. Это тоже было вызовом местному церковному сообществу. Из фамилий людей, посещавших отца, Варлам запомнил только А. М. Виноградова, присяжного поверенного. Но Виноградов, как выяснилось теперь, не был ссыльным, хотя в молодости участвовал в студенческих беспорядках. Он приехал сюда после окончания Дерптского университета и заходил к отцу скорее по делам исторического общества изучения северного края (оба были членами этого общества). Ссыльным был помощник Виногра-

дова по адвокатским делам Вс. С. Венгеров, тоже, возможно, бывавший у Шаламовых в 1912—1913 годах. Это незауряднейшая личность — сын известного петербургского профессора-литературоведа С. А. Венгерова, убежденный социал-демократ, делегат Первого съезда Советов 1917 года, попавший после революции из-за своего «меньшевизма» в очередную полосу ссылок и расстрелянный в 1938 году. Такова была, увы, типичная судьба всех вологодских (и не только вологодских) ссыльных — представителей небольшевистских партий.

Одной из немногих уцелевших оказалась Э. И. Студенецкая, принадлежавшая к меньшевикам и оставшаяся в Вологде после всеобщей политической амнистии февраля 1917 года. По профессии зубной врач, она пользовалась большим авторитетом в городе, работала в госпиталях Северного фронта Гражданской войны и, вероятно, поэтому избежала преследований. Варлам Шаламов в начале 1920-х годов часто бывал в доме Студенецкой, поскольку входил в круг друзей ее дочери Евгении, своей ровесницы и подруги упоминавшегося выше Б. Непеина (с которым также сохранял дружеские отношения). Вполне вероятно, что большинство сведений о ссыльной Вологде, а также и ее «моральном климате» он получил из уст этой старой революционерки, прожившей в Вологде до 1931 года, а затем переехавшей в Ленинград. Женщина необычайно стойкого характера и целеустремленности — в 1906 году она участвовала в баррикадных боях в Харькове (за что и была сослана в Вологду), в 1936 году в Ленинграде в возрасте шестидесяти лет(!) окончила медицинский институт, чтобы получить высшую квалификацию стоматолога, и оставалась до 1942 года в ленинградской блокаде, пока ее не вывезли (она умерла в дороге), — женщина такого типа сама по себе создавала вокруг себя особый «моральный климат». Жаль, что Шаламов нигде не описал ее. О его тесных связях с семьей Студенецких свидетельствует тот факт, что после возвращения с Колымы Шаламов — никогда не веривший, как он писал, в «пользу возобновления старых знакомств», — нашел возможность встретиться с Евгенией Студенецкой и другими друзьями юности, жившими в Ленинграде. Одна из уникальных магнитофонных записей голоса Шаламова (с чтением стихов) была передана в вологодский музей именно через Е. Студенецкую. Запись делалась в 1964 году на квартире Виктора Совашкевича — одного из друзей и одноклассников Шаламова, окончившего вместе с ним школу в 1923 году.

Молодые люди оканчивали ЕТШ — единую трудовую школу второй ступени, в которую была преобразована после реформы народного просвещения 1918 года (проект готовил

А. В. Луначарский) бывшая вологодская мужская гимназия им. Александра Благословенного (Первого). Варлам поступил в подготовительный класс гимназии в 1914 году, в семь лет, и никаких воспоминаний о ней не оставил. Зато запомнил сцену марта 1917 года, когда отец водил его по городу, чтобы показать «великие минуты России» после свержения самодержавия:

«Около гимназии была толпа, а с фронтона гимназии старшеклассник в гимназической шинели сбивал огромного чугунного двуглавого орла. Чугунный орел был велик, с размахом крыльев метра полтора. Гимназист никак не мог ломом вывернуть птицу из ее гнезда. Наконец, это удалось, и орел рухнул на землю, плюхнулся и засел в сугробе снега...»

«Февральская революция была народной революцией, началом начал и концом концов, — писал далее Шаламов в «Четвертой Вологде». — Для России рубеж свержения самодержавия был, может быть, внешне более значительным, более ярким, что ли, чем дальнейшие события.

Именно здесь была провозглашена вера в улучшение общества. Здесь был — верилось — конец многолетних, многостолетних жертв. Именно здесь русское общество было расколото на две половины — черную и красную. И история также — до и после...

Десятки поколений безымянных революционеров умирали на виселицах, в тюрьмах, в ссылке и на каторге — их самоотверженность не могла не сказаться на судьбах страны. Для того, чтобы раскачать эту твердыню, было нужно больше, чем героическое самопожертвование...»

Все эти строки, написанные в начале 1970-х годов, были, безусловно, глубоко выстраданными. И одновременно — полемичными по отношению к определенным умонастроениям тех лет. Хотя до «эпохи исторической невменяемости» начала 1990-х (так называл ее выдающийся историк М. Гефтер) было еще далеко, не только Октябрь 1917-го, но и Февраль уже тогда начали подвергаться со стороны части интеллигенции консервативной ревизии. «Бушующий кабак, в восемь месяцев разваливший страну», — отозвался о Феврале главный инициатор и идеолог этой ревизии А. Солженицын, постепенно превращавшийся из писателя в воинственного публициста и историка (впрочем, весьма неквалифицированного, поскольку заведомо тенденциозного). Шаламов никогда не считал себя историком, и если он брался судить о революции и ее судьбе, он старался оставаться прежде всего свидетелем-художником. Только одна деталь — как срывал двуглавого орла с фронтона гимназии молодой человек в гимназической шинели — может сказать о духе революционного времени, о всеобщей ненавис-

ти к царскому режиму, пожалуй, больше, нежели многотомные ретроспективные мечтания.

Необычайную историческую ценность имеют и свидетельства Шаламова об изменении взглядов и настроений — под влиянием революции — своего отца-священника. В годы Первой мировой войны о. Тихон был «оборонцем самого патриотического толка». Но неудачи войны, которые он переживал глубоко, до слез, привели его к выводу о полной бессмысленности этой кровавой бойни. Отец был убежден, что Григорий Распутин был убит из-за своих протестов против войны и высказываний о скорейшем сепаратном мире с Германией (такие слухи о причинах убийства Распутина тогда ходили). После Февраля, как писал Шаламов, произошло резкое «полевение» отца. Он считал, что «сам поворот этого огромного колеса, какими бы соединенными силами, разными силами он ни вызывался, обязывает не тормозить его движения — в церкви, в воскресной школе, а, наоборот, ускорить ход, раз уж этот механизм пришел в движение». Тут, замечал Шаламов, отец разошелся со своими всегдашними советчиками — П. Флоренским и С. Булгаковым.

Новым кумиром отца стал Питирим Сорокин — его земляк, выходец из зырянского края (но, в отличие от него, коренной, природный зырянин), уже к тому времени известный социолог и видный деятель правого крыла партии социалистов-революционеров. В 1917 году П. Сорокин несколько месяцев был секретарем-советником А. Ф. Керенского, активно занимался подготовкой выборов в Учредительное собрание, бывал и выступал в Вологде. Непосредственно благодаря примеру Сорокина о. Тихон Шаламов на выборах в Учредительное собрание голосовал за эсеров. Дальнейшие изменения в политических настроениях отца также почти синхронно совпадали с изменением позиции его кумира. После короткой и безуспешной борьбы с большевиками на Севере и ареста в 1918 году в Великом Устюге Сорокин заявил о своем отказе от политики в пользу науки и просвещения, прокомментированном в известной статье Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина». Как писал Шаламов, у отца его «не было абсолютно никакого стремления ставить какие-то палки в колеса новой власти». Так что можно полагать, что он одобрил заявление Сорокина.

Трудно сказать, насколько был знаком о. Тихон с социологическими идеями своего земляка. Но самому Шаламову — уже в поздний период, в 1960-е годы, — они были известны. В «Четвертой Вологде» он пишет о Питириме Сорокине — «...гарвардском профессоре, президенте всемирного союза со-

циологов, историке культуры, создавшем многотомную теорию конвергентности. Истоки этой теории уходят в вологодскую глушь». С учетом того, что труды Сорокина в СССР не издавались, можно полагать, что Шаламов узнал все о нем от кого-то из знакомых ученых (скорее всего, от Ю. Шрейдера). В конце 1960-х годов идея конвергенции (сближения двух противоборствующих политических и экономических систем) активно обсуждалась и в СССР, в связи с появлением известного самиздатского трактата академика А. Д. Сахарова. Шаламов симпатизировал этой идее (о чем мы расскажем в конце книги).

А вот насколько он был знаком с другой классической идеей выдающегося социолога — о том, что каждая революция переживает два периода — деструктивный и конструктивный? На этот счет данных нет. Но в эмпирике своей жизни Шаламову (как и самому П. Сорокину) пришлось пережить оба эти периода.

Революция и Гражданская война прошли на глазах Шаламова — в ту пору совсем юного, мало что понимавшего, ведь какими мы бываем в 10—13 лет? Октябрь 1917-го в Вологде, как и во всей российской провинции, прокатился незаметно, без эксцессов (это назвали потом «триумфальным шествием советской власти»), но уже весна 1918 года принесла совершенно новые — неожиданные и устрашающие явления, которые запомнились Шаламову навсегда.

Тихую и мирную Вологду, готовую, кажется, до скончания веков жить своей спокойной и размеренной жизнью, не обошли потрясения мирового масштаба. На местном уровне они выразились (и отразились у Шаламова в «Четвертой Вологде» и рассказе «Экзамен») в деятельности так называемой «советской ревизии» во главе с уполномоченным Совета народных комиссаров М. С. Кедровым (отбывавшим ссылку в Вологде в 1904 году). Надо заметить, что местный губисполком (председатель — тоже бывший ссыльный, большевик М. К. Ветошкин) проводил весьма взвешенную политику, стараясь во всем учитывать особенности вологодской ментальности, и по-деловому сотрудничал с представителями других партий — профессионалами, занимавшими должности в административном аппарате и в кооперации. Приезд Кедрова с чрезвычайными полномочиями, с группой чекистов и ротой латышских стрелков, резко нарушил сложившееся равновесие. Обвиняя местные власти в «спячке», «благодушии», «отсутствии революционной бдительности» и т. д., Кедров сразу же начал чистку аппарата, произвел ряд арестов, закрыл все либеральные газеты, продолжавшие выходить в Вологде. Две резиденции Кед-

рова — спецвагон на вокзале и кабинеты, занятые в гостинице «Золотой якорь», сразу заслужили недобрую славу среди вологжан. Люди, вызывавшиеся туда на допросы, как правило, не возвращались — их заключали в тюрьму или направляли на оборонительные работы (рытье окопов) на Северный фронт. Начались облавы, обыски, в том числе ночные, аресты и расстрелы заложников — «буржуазных элементов».

Шаламов очень точно описывает психологическую атмосферу в Вологде этого периода: «Весь город дышал тяжело. Его горло было сдавлено».

Это детское ощущение Шаламова в те суровые годы не могло найти для него никаких объяснений и оправданий. Понять все причины происходящего был не в силах и отец, поскольку сам видел и ощущал только внешнее, приводившее его в шок — то неожиданные ночные обыски на его квартире, то такой же ночной налет группы кедровских чекистов — в поисках «контрреволюционеров» — на расположенный недалеко по реке Спасо-Прилуцкий монастырь, что вынудило монахов звонить в набатный колокол и вызвало переполох во всем городе и окрестных деревнях. Прямой связи между этими событиями и пониманием сложности обстановки, которая сложилась на всем Европейском Севере России в связи с высадкой войск Антанты в Мурманске и Архангельске, не прослеживалось. Очевиден был произвол — исходивший либо от самого Кедрова, либо от его особо ретивых сотрудников (что было в истории с монастырем, вынудившей губисполком жаловаться в Москву).

Сам Кедров, прибыв в Вологду в мае 1918 года, первое время в основном находился в Архангельске. На него была возложена ответственная миссия — срочно эвакуировать для нужд Красной армии находившиеся там запасы вооружения и боеприпасов, завезенные еще в начале мировой войны союзниками (теперь уже бывшими). Надо напомнить, что непосредственной реакцией Запада на Октябрьскую революцию стал вышедший в декабре 1917 года «Меморандум Бальфура» — лорда, министра иностранных дел Великобритании (не путать с его же «Декларацией» ноября 1917 года, положившей дипломатическое начало созданию еврейского государства в Палестине). В «Меморандуме», касавшемся России, говорилось предельно четко: «Союзные правительства твердо решили сделать все, чтобы свергнуть советское правительство в возможно кратчайший срок».

Интервенция на Севере, начавшаяся вскоре после Брестского мира, была одним из первых и самых важных шагов на этом пути. Планы ее были связаны с движением на Москву че-

рез Вологду и Ярославль (где готовил восстание Б. Савинков, забывший о своем писательстве и рвавшийся к власти). То, что М. С. Кедров решил поставленную перед ним задачу и до высадки английского десанта успел, используя все свои чрезвычайные полномочия (и превышая их — путем расстрела непослушных), вывезти на пароходах вверх по Северной Двине до Котласа стратегически важные военные грузы, всегда ставилось ему в заслугу. Но его диктаторские замашки и необоснованные репрессии вызывали острое недовольство населения и властей Архангельска и Вологды. С основной миссией — мобилизовать местные силы на защиту от интервентов — он справлялся плохо и неумело. Объявленная им в Шенкурском уезде (еще до высадки английского десанта в Архангельске) мобилизация крестьян сразу пяти возрастов — в июле, в разгар сенокоса! — стала причиной самого крупного на Севере восстания против советской власти (фактически — против кедровского произвола).

Шаламов не знал этого, как и многого другого — например, причин облав и обысков. Кедров объяснял их прифронтовым, осадным положением Вологды, а также кознями дипломатических миссий иностранных государств, временно разместившихся в городе. Некоторые послы (прежде всего французский посол Ж. Нуланс) вели в Вологде активную тайную работу по организации заговора против советской власти. В этом смысле так называемая оперативно-разыскная работа служб из штаба Кедрова имела основания, но ее откровенно террористические методы не соответствовали реальной опасности.

Есть немалая доля истины в общей шаламовской характеристике Кедрова, навеянной поздними размышлениями о его личности и деятельности: «Странный человек был Кедров — Шигалев нашей современности, Шигалев — в таком невероятном сочетании явившийся на вологодскую, русскую, мировую сцену». Под «невероятным сочетанием» Шаламов, кроме прочего, подразумевал известный факт, что Кедров, «плоть от плоти московской интеллигенции», будучи неплохим пианистом, играл Ленину в эмиграции «Аппассионату» Бетховена.

Сравнение Кедрова с Шигалевым, героем «Бесов» Достоевского, проповедовавшим, что ради социальной гармонии надо «срезать радикально сто миллионов голов», несомненно, является гиперболой. Ее можно отчасти объяснить тем, что Шаламов пользовался неверными данными о военной и чекистской биографии Кедрова. Отталкиваясь от того факта, что в 1919 году Кедров был начальником Особого отдела ВЧК, Шаламов писал о нем: «...Без конца находил и уничтожал врагов... На тех

же ролях Кедров остался и при Менжинском, и при Ягоде, и при Ежове». На самом деле уже с 1921 года Кедров не работал в ВЧК и не имел прямого отношения к Большому террору. Но косвенное — все же имел, поскольку являлся сторонником чрезвычайщины и жестокости в духе Сталина (несмотря на это, он был расстрелян по приказу Сталина в 1941 году)*.

История с кедровской ревизией раскрыла юному Шаламову два лика Октябрьской революции: один — вызванный из глубин истории, неизбежный и необходимый, другой — догматико-утопический, один — в пределах разума и практической целесообразности, другой — перешагивающий далеко за эти пределы, один — направленный на благо людей, другой — несущий ненависть, кровь и насилие. Эти два лика всегда имели для него конкретную персонификацию — как на высшем уровне, так и на местном. Шаламов — да и все вологжане — знали, что Кедров был снят со своего поста и отозван в Москву по ходатайству губисполкома, лично М. К. Ветошкина. Справедливость, как ее понимали в это тяжелое время в Вологде, была восстановлена.

Интервенция тоже сорвалась — кроме «дубины народной войны» сыграл свою роль вечно спасительный в военных условиях русский климат: неописуемое осеннее бездорожье, а затем мороз заставили англо-американских и французских заво-

---

* О близости Кедрова «шигалевскому» (или сталинскому) типу революционера ярко свидетельствует его полемика с председателем Вологодского губисполкома М. К. Ветошкиным, выпустившим в 1927 году книгу «Революция и Гражданская война на Севере», где тактика Кедрова 1918 года подвергалась острой критике. Ветошкин характеризовал ее как «левое ребячество» и «интеллигентское барство». В своей рецензии на книгу Ветошкина Кедров ставил в вину вологодским большевикам то, что им ***«ближе по сердцу легальный путь реформ, нежели захватный революционный путь»*** (курсив мой. — *В. Е.*), обвинял Ветошкина в «оппортунизме», в том, что тот в 1917 году избирался в «буржуазное» Учредительное собрание (это был откровенный донос в духе Особого отдела ВЧК. — *В. Е.*), и в заключение делал примечательный пассаж: «Лучше совершать ошибки, и грубые в том числе, совместно с большевиками, чем оказываться “абсолютно” правым вкупе с меньшевиками и эсерами» (журнал «Пролетарская революция». 1928. № 9). Еще более красноречивы документы собрания старых вологодских большевиков, обсуждавших рецензию Кедрова на книгу Ветошкина в июле 1928 года. Один из выступавших на собрании, С. П. Ефимов, высказался на эту тему максимально четко: «Надо разграничить и определить две совершенно различные линии тактики: одна — кедровский вагон — разрушай, руби направо и налево, единоначалие военно-полевого режима, и другая — строго обдуманная тактика Вологодского губисполкома: меньше жертв, идейное завоевание рабочих и крестьянских масс...» (Вологодский областной архив новейшей политической истории. Ф. 3837. Д. 35. Л. 41).

евателей забыть о походе на Москву. «Тщетная придурь» интервентов оказалась отнюдь не тщетной в плане добычи: из Архангельска и других оккупированных районов они вывезли все, что могли. Но самую мрачную память о себе «цивилизаторы» оставили зверствами над своими противниками, над теми, кто поддерживал советскую власть. Через тюрьмы Архангельска прошло 52 тысячи человек — больше десяти процентов населения губернии. Концентрационный лагерь, созданный на острове Мудьюг, по своему бесчеловечному режиму, пожалуй, не имел аналогов во всей предшествующей мировой истории. При этом интервенты старались делать все свои черные дела руками сотрудничавших с ними белых русских: на Мудьюг они послали бывшего начальника Нерчинской каторги Судакова — патологического садиста. В результате из тысячи человек, находившихся в лагере, погибли более двухсот — пропорции, почти равные Соловкам и Колыме. Все это — к слову, к будущей основной шаламовской теме...

Детские впечатления писателя не ограничились соприкосновением только с «кедровщиной». «1918 год был крахом нашей семьи. Прежде всего это был крах материальный, — писал он. — Все пенсии за выслугу лет, за службу в Северной Америке были отменены и никогда более не воскресли... Семья осталась нищей внезапно. Самый обыкновенный голод — восьмушка хлеба, жмых, колоб стали едой нашей семьи... Мама моя превратилась в скелет с хлопающей по животу морщинистой кожей, но не унывала — варила и пекла, пекла и варила гнилую картошку».

Все обширное «гогочущее» хозяйство отца вмиг растаяло — было съедено или распродано. Осталось только несколько коз, напоминавших с печальной иронией о названии популярной книжки, имевшейся у отца: «Коза — корова бедняка»...

Такие же крахи, такие же голодные страдания переживала тогда вся городская, да во многом и сельская Россия. Но крестьяне, при земле-кормилице и устоявшемся хозяйстве, при врожденной привычке к запасливости, резко усилившейся мировой войной (несмотря на реквизиции и продкомиссарство, практиковавшиеся еще в *ту* войну), переживали эти невзгоды все же несколько легче. Иллюстрацией тому — а также и иллюстрацией начала формирования взглядов Шаламова на народ — может служить самый, пожалуй, жесткий и нелицеприятный (для народа и всех народников) эпизод, описанный в «Четвертой Вологде»:

«Одно из самых омерзительных моих воспоминаний — это посещение нашей квартиры крестьянами из ближних да и из дальних деревень. Новые хозяева мира хлюпали грязными ва-

ленками, толкались, шумели в наших комнатах, уносили наши зеркала. Вся мебель исчезла после их визитов... Вот тогда я хорошо запомнил, что такое крестьянство — вся его стяжательская душа была обнажена до дна, без всякого стеснения и маскировки».

Все это было увидено глазами одиннадцатилетнего мальчика — и ни тогда, ни позже, вероятно, не вызывало вопроса: «Почему?» Почему крестьяне вторглись в квартиру священника и вынесли всю мебель и зеркала? Было ли это воплощением лозунгов «экспроприации экспроприаторов» или «грабь награбленное»? Неужели местная власть разрешила проводить свободные реквизиции домашнего имущества у духовенства? В это мало верится. Скорее всего, речь шла о продаже или обмене — заведомо неэквивалентном — зеркал и мебели на муку или картошку. Варлама в это, видимо, не посвящали, и он видел лишь внешнюю сторону — вторжение чужих, неопрятных, жадных людей в уютную, обжитую квартиру, после чего она оказалась пустой. (Но случались и самореквизиции, то есть откровенный грабеж, особенно в моменты обысков кедровского периода — «все ценности вытаскивались цепкими руками», как писал Шаламов.)

«Новые хозяева мира» — жестко, саркастично, но справедливо. По крайней мере юному Варламу было понятно, что социальная и культурная пирамида в России отныне перевернулась: «низам» дано больше, чем «верхам», пусть многие из последних и никогда не были «эксплуататорами». «Стяжательская душа крестьянина»? Резкое и непривычное обобщение, но только для тех, кто привык видеть в крестьянстве исключительно воплощение добродетелей. Трудно сказать, какие чувства испытывал во время этих сцен отец Шаламова, всю жизнь поглощенный идеей «долга народу». Варлам этой идеей никогда не увлекался и не страдал. Его отношение к деревне, к так называемому простому народу, к «Расее» — во многом сродни бунинскому или булгаковскому, трезвому и суровому, лишенному всяких признаков столь свойственного русской интеллигенции «народопоклонства». Шаламов — с первых юных впечатлений и до конца дней — в этом коренном для России вопросе представляет одно из редчайших исключений в русской, а тем более в советской литературе. Он — в некотором роде аристократ. Не барин — нет, для этого нет абсолютно никаких оснований. Но, во-первых, он воспитан в церковных традициях, где стяжательство (в значении добывать или стягать, стянуть чужое и т. д.) считалось одним из тяжких грехов. Недаром Шаламов вводит это сугубо церковное слово (растиражированное и опошленное фельетонистами советского пе-

риода) в «Четвертую Вологду» начала 1970-х годов — оно у него звучит именно в первозданном древнем значении. Во-вторых, он аристократ, потому что — поэт, который изначально устремлен ввысь, к идеалам, далеким от всяческой корысти и от тихой обывательской жизни.

Мы уже знаем, что Варлам «ненавидел» домашнее хозяйство и не любил пасти отцовских гусей. А любил ли пасти гусей, скажем, Игорь Северянин, любимый поэт его юности? (О том, любили ли пасти гусей в своем детстве другие его любимые поэты — Пушкин и Лермонтов, Блок и Анненский, спрашивать, видимо, не надо.) Так что можно констатировать, что у Шаламова с детства сформировались основные типологические черты поэтической — если угодно, романтической — личности. Маленький человечек, который, прочтя первые книжки, начал составлять из них литературные пасьянсы, «играть в фантики», как он это сам называл, уединясь на своем любимом сундуке, где и спал... Не прообраз ли это будущего автора великолепных, неповторимых стихов и столь же великолепной, неповторимой прозы?

Но до той поры было еще далеко. Дома, в Вологде, предстояло пройти по крайней мере школу и так называемые внешкольные подростковые увлечения.

Школу Варлам окончил в 1923 году, одним из лучших — а точнее, лучшим — учеником. На сохранившейся фотографии выпускников ЕТШ № 6 второй ступени Варлам — на самом почетном месте, в белой рубашке (которую посоветовали надеть по такому случаю, видимо, родители). Сохранилась и его школьная характеристика: «Юноша с ярко выраженной индивидуальностью, энергичный, сознательный, с большими запросами, пытливым умом. Отличается большим развитием; по всем предметам работает очень хорошо. Имеет склонность к естественным наукам».

Последнее вызывает некоторое недоумение. Действительно, Шаламов — с детства и до конца дней — питал большое уважение к естественным наукам и следил за всеми новейшими открытиями. И. П. Сиротинская вспоминала: «Все ему интересно — литература, живопись, театр, физика, биология, история, математика. Книгочей. Исследователь». Самый яркий пример на этот счет: Шаламов считал изобретение первого антибиотика — пенициллина (А. Флемингом) важнейшим для человечества благодеянием со времен христианства. В этом отношении, заметим сразу, он ближе всего в русской литературе к Чехову. Недаром отец прочил Варламу медицинское образование, и недаром же в конце концов ему удалось довольно легко окончить фельдшерские курсы на Колыме.

Но история с характеристикой имеет свою интригу. Первоначально классная руководительница Е. М. Куклина, хорошо знавшая об увлечении Варлама литературой, написала: «Имеет склонность к гуманитарным наукам». Это вызвало прямо-таки бешенство — «длительный истерический взрыв» — у отца, который посчитал, что такая характеристика написана специально, чтобы закрыть сыну дорогу в медицинский вуз. Варламу пришлось снова идти к Куклиной и объяснять ситуацию. В ответ он услышал знаменательные, очень лестные для себя слова: «Вы будете гордостью России, Шаламов. Высшее гуманитарное образование раскроет ваши большие способности». Но Варламу пришлось ей сказать (уступая отцу, который, слепой, «бился в кресле в истерическом приступе, с белой пеной на губах»), что он будет поступать в медицинский. Характеристика была переписана, что, впрочем, не помешало Шаламову, как сыну священника, испытать огромные трудности, связанные с попыткой получить высшее образование (об этом ниже).

По поводу книгочейства и страсти познания лучше всего сказано в набросках к «Четвертой Вологде»: «Все школьные задания я делал сразу по возвращении домой, в первый же час, еще до чая, до обеда — все остальное время читал, чтобы занять, залить жажду жадного мозга». Круг чтения с возрастом, естественно, менялся — от Понсон дю Террайля («Приключения Рокамболя») и А. Конан Дойля («...считаю Конан Дойля и сейчас большим писателем» — позднее признание Шаламова) до революционно-романтической литературы (где особое место, мы знаем, занимал Ропшин-Савинков), от стихов Северянина (которого Шаламов также глубоко чтил всю жизнь — за новаторство, за то, что он показал «интонационные возможности русского стиха») до других, куда более серьезных кумиров предреволюционных лет — А. Блока и Д. Мережковского.

Причем с Мережковским и его идеями четырнадцатилетний Шаламов вел горячий спор на страницах своего дневника. Этот несохранившийся дневник (он был сожжен, как уже говорилось, сестрой Галиной после первого ареста брата) мог бы открыть многое в мировоззренческом становлении Шаламова. Приходится только предполагать, что юного Шаламова отталкивали в Мережковском его сугубо эстетская метафизичность и мистицизм (вспомним фразу из «Четвертой Вологды»: «Мама не писала пьесы о мертвом боге, а четырнадцать лет боролась за жизнь» — явная полемика со «Смертью богов» Мережковского). Возможно, он знал широко цитировавшуюся фразу Достоевского о первых стихах, принесенных ему юным

Мережковским: «Слабо, плохо... Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать!» Кроме того, вероятно, Шаламов в своем споре отталкивался от вопроса, заданного А. Блоком: «Почему все не любят Мережковского?» (хотя сам Блок не то что любил, но уважал автора «Грядущего Хама» как поборника культуры). В конце концов, этот спор юного Шаламова со светилом тогдашней русской литературы ярко демонстрирует одну из главных черт будущего автора «Колымских рассказов» — упрямую самостоятельность взглядов, нежелание склонять голову перед каким бы то ни было авторитетом.

Судя по столь горячей увлеченности Варлама литературой, можно было бы предположить, что он был замкнут в себе, чурался общения со сверстниками и был далек от увлечений, обычных для подростка. Совсем не так! Он играл с мальчишками в футбол, только входивший в провинциальную российскую жизнь. За это получил очередное замечание отца: «Видел (это говорил слепой! — *В. Е.*) я эту новую игру. Бегаете в поту, в пыли, в грязи. Что за интерес? Пойди к матери и дров наколи!»

Еще раньше, в период Кедрова, Варлам начал ходить в городской шахматный клуб, располагавшийся в той же гостинице «Золотой якорь», где был штаб грозного начальника «советской ревизии». Любовь к футболу и шахматам он сохранил до конца дней. Но не меньшим увлечением Шаламова с юности — и опять же до поздних лет — был театр. Самые теплые лирические строки автобиографической повести он посвятил именно театру — от первого посещения антрепризного спектакля «Эрнани» В. Гюго с почти восьмидесятилетним актером П. Россовым, игравшим юного короля Карла (факт, глубоко поразивший Шаламова и не раз им вспоминавшийся), до постановки школьных спектаклей. Варлам был избран секретарем школьного драмкружка и отвечал не только за явку на репетиции, но и за организацию спектаклей и вечеров. Выступал и сам, читая «Поэзоантракт» Северянина и другие стихи. Особенно запомнился ему — по своеобразной атмосфере — некрасовский вечер 1921 года, подготовленный для городской публики и красноармейцев. Вечер, где шла инсценировка поэмы Некрасова «Русские женщины» (глава «Княгиня Трубецкая»), сопровождался массой трагикомических эпизодов и эффектов, в том числе фейерверком (вызвавшим недовольство губвоенкома), и стал большим событием в городе.

Варлам и сам мечтал о сцене. Причем он, по-детски грезя славой кумиров публики — певцов разного жанра, собирался петь. Но все эти планы разрушил еще в первых классах гимназии приговор преподавателя пения, городского капельмейсте-

ра Александрова (по ученической кличке «Козел» — видимо, из-за бороды и особой въедливости): «Слух у тебя, Шаламов, как бревно». После этого Варлам навзрыд плакал, а одноклассники утешали его: «Что же ты ревешь, дубина? Тебе не надо будет ходить на спевки...»

Резюме к этой трагедии сделал сам Шаламов: «Тяга к музыке и свела мальчика со стихами». Но и музыке он остался предан — любил слушать, прекрасно знал биографии многих композиторов.

Среди своих друзей, кроме Бориса Непеина (тот был чуть постарше), Варлам выделял одноклассников Сережку Воропанова — «головастого крепыша, с которым нас свела беззаветная страсть к чтению», и особенно — Алешку Веселовского, приехавшего из Петербурга со своим отцом, профессором Александром Александровичем (сыном знаменитого литературоведа Александра Николаевича Веселовского). Дружба эта была короткой — всего три года — и прервалась неожиданно ранней смертью Алешки. Он умер в 1923 году от туберкулеза.

Необычайная близость и пылкость этой трагически прерванной дружбы заставляет вспомнить пушкинский лицейский «прекрасный союз». Оба мальчика, познакомившиеся в 14 лет, в 1921 году, были чрезвычайно талантливы. Алешку Шаламов (с высоты позднего понимания) называл «литературоведческим Моцартом», писал, что в его семье, «подобно музыкальному гену в гении Бахов, можно говорить о литературоведческом гении». В этой семье Варлам впервые увидел настоящую библиотеку — «царство книг». «Впервые тогда в мою жизнь вошел эпос — французский — мы читали на голоса “Песнь о Роланде”, вместе мы выучили наизусть всего Ростана в переводе Щепкиной-Куперник», — писал он. А что может теснее слить юные души, чем не упоение рыцарством Сирано?..

Они просиживали вдвоем целыми вечерами. Шаламов запомнил и совместные походы в театр, и участие в спиритических сеансах, которыми увлекались родители Веселовского, после чего мальчики, возбужденные «вызыванием духов», ночью ходили на кладбище Свято-Духова монастыря. Единственное, что не упомянуто Шаламовым, — книга, изданная отцом и сыном Веселовскими в Вологде, подтверждающая наличие того самого «литературоведческого гена». Книга называлась «Вологжане-краеведы» и потребовала огромной библиографической работы. Невыразимой горечью веяло от ее первых строк: «К моменту выхода настоящего труда один из авторов Алексей Веселовский — юноша семнадцати лет скончался от чахотки, и судьбе угодно, чтобы оставшийся в живых отец

один уже увидел напечатанным настоящий труд. Мир праху юного труженика. Посвящаю его светлой памяти эту работу...»

А была ли у Шаламова юношеская любовь? Невозможно же жить в этом возрасте только книжным и идеальным. В автобиографической книге писатель обходит этот вопрос, но касается «одной из самых деликатных проблем юности, которой не найдено решения и сейчас», — созревающего либидо. «Если у нас в семье говорили взрослым языком о взрослых вещах, то советы на тему полового воспитания были вовсе исключены, — писал он. — По мысли отца, природа покажет верное решение. Для того, чтобы оборвать мои книжные грезы, шепот дневной и ночной, меня заставляли водить на случку коз... Кусты вологодских лесов и садов были переполнены обнимающимися парами, примеров было много... Преподаватели биологии, естествознания менялись один за другим, а когда пришло время пестиков и тычинок и краснеющая преподавательница Монетович, бойко постукивая по доске указкой, начала объяснять секреты природы, оказалось, что я их давно знал. Поэтому, уезжая из Вологды навсегда, я не оставил разбитых сердец».

Есть основания полагать, что все было не совсем так. Юношеская любовь у Варлама однажды все-таки вспыхнула — по отношению к одной из участниц драмкружка Лиде Перовой. Отголосок этого звучит в стихотворении Шаламова 1960-х годов, названном со взрослой снисходительностью «В пятнадцать лет»: «...С общипанным букетом / Я двери отворю. / Сейчас, сейчас об этом / Я с ней заговорю. / И Лида сморщит брови, / Кивая на букет, / И назовет любовью / Мальчишеский мой бред». Этот «бред» быстро прошел, так как Лида вскоре уехала в Москву и вышла замуж за своего еще более давнего поклонника, тоже вологжанина, Василия Сигорского, поступившего во ВХУТЕМАС и ставшего довольно интересным художником-графиком. После Колымы Шаламов нередко общался с семьей Сигорских, поскольку они жили недалеко. Тут вспоминать о прошлых симпатиях было вовсе не кстати, и разговор шел главным образом о Вологде времен юности.

Но Шаламов — надо думать, из соображений деликатности — не описал нигде тайну своего первого «грехопадения». Об этой тайне мне однажды поведала И. П. Сиротинская, которой вполне доверительно и опять же по-взрослому все рассказал Шаламов. Передаю только суть: «Мужчиной я стал неожиданно, в четырнадцать лет. Однажды вышел во двор и засмотрелся на молодую женщину-соседку, которая развешивала на веревки свою стирку. Она тоже посматривала на ме-

ня, потом подозвала к себе, взяла за плечи и сказала: “Ты уже совсем взрослый парень. Пойдем со мной...”». Это была, по-видимому, молодая вдова одного из погибших в Гражданскую войну.

Естественно, что подростку было трудно «разбить» ее сердце. А настоящие влюбленности у Шаламова начались намного позже...

Квартира семьи к тому времени была распоряжением властей «уплотнена». Самая большая комната — гостиная, «зало» — заселялась поочередно разными людьми, вплоть до городского прокурора, а мать с отцом и Варлам ютились в двух маленьких комнатах. После отъезда Варлама в Москву семью окончательно выселили — сначала отец с матерью жили в комнатке на нижнем (подвальном) этаже кафедрального Воскресенского собора, принадлежавшего обновленческой церкви — к ней примкнул о. Тихон, а последние свои годы они доживали в деревянном доме на улице Благовещенской (дом не сохранился).

Принадлежность к обновленческой церкви не давала никаких привилегий. Хотя власть всячески заигрывала с «демократически настроенным духовенством» (так оно именовалось), главной ее задачей был раскол православной церкви и постепенное уничтожение обеих ветвей. Но все 1920-е годы, вплоть до 1929-го, в Вологде, даже и в условиях раскола, при двух противоборствующих епископах (выборных по законам нового времени), сохранялась почти в неизменности традиционная религиозно-обрядовая жизнь. Изъятие церковных ценностей в 1922 году прошло в городе без каких-либо эксцессов: власть радовалась этому и всё добровольно отданное на помощь голодающим, записывала как изъятое. Действовало в то время еще около сорока храмов, созывавших прихожан на службы колокольным звоном, и каждый прихожанин знал голос колокола своего храма. Соблюдались все обряды жизненного цикла — от крещения и венчания до отпевания. Большинство вологжан сохраняли преданность старому («тихоновскому») завету, а «живая церковь», несмотря на все усилия, не могла собрать более десяти процентов от общей паствы. Ей принадлежало всего шесть приходов, тогда как «тихоновцам» — 36*.

Шаламов считал, что причиной неуспеха обновленцев были не их реформаторские идеи (служба на русском — а не на церковнославянском — языке, второбрачие духовенства, от-

---

* *Спасенкова И. В.* Православная традиция русского города в 1917—1930-х гг. (на примере Вологды) / Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Вологда: ВГПУ, 1999.

деление белого духовенства от черного монашества), а их «донкихотство» — отказ от платы за требы, аскетическая жизнь по заветам древних христиан. Эти лозунги, выдвигавшиеся «советским Савонаролой», знаменитым митрополитом-бунтарем Александром Введенским, были близки идеям военного коммунизма, лелеяли слух власти, но никак не соответствовали интересам большинства духовенства, которое давно привыкло различать «богово» и «кесарево», духовное и земное.

Приезд А. Введенского в Вологду, прочитавшего в Доме революции (восстановленном после погрома Пушкинском народном доме) две лекции — «Брак, свободная любовь и Церковь» и «Бог ли Иисус Христос?», вызвал большой интерес прежде всего у атеистов. Шаламов, не раз слышавший его и на московских лекциях и диспутах, считал, что он превосходил в этом качестве всех политических кумиров, в том числе Троцкого и Луначарского, — Введенский находил точный и остроумный ответ на любой вопрос. Шаламов запомнил множество таких эпизодов. Например, по поводу моднейшего тогда лозунга «Религия — опиум для народа» Введенский говорил: «Мы можем принять этот лозунг Маркса. Да, религия — опиум. Лекарство. Но кто из вас, — следует обводящий зал жест, — может сказать, что нравственно здоров».

Отец Шаламова лично встречался и беседовал с А. Введенским. Его, слепого, водил на эту встречу Варлам. Отец очень гордился знакомством со знаменитым митрополитом и был рад, что Варлам, уже в Москве, студентом, добился встречи с Введенским (по практическому поводу — достать контрамарку на его диспут с Луначарским). Он получил не только контрамарку, но и ответ, очень лестный для о. Тихона: «Прекрасно помню вашего отца. Это слепой священник, чье духовное зрение видит гораздо дальше и глубже, чем зрение обыкновенных людей».

Этот комплимент, переданный в письме отцу, был для того не просто приятен — он послужил новой вспышкой к активизации его проповеднической деятельности. Варлам еще дома постоянно водил отца на всевозможные диспуты и лекции и слушал их сам. Знаменательнейшее признание: став постоянным поводырем отца, Шаламов учился у него «крепости душевной». Прежняя напряженность отношений сменилась уважением.

Незаурядный оратор, о. Тихон часто прибегал в своих речах и проповедях к светским примерам. Варлам запомнил его комментарий к известному каламбуру Вольтера о том, что «верую-

щий лавочник обманет меньше, чем неверующий лавочник»: «Если это так, одного этого достаточно, чтобы оправдать существование религии».

Отец продолжал выступать с проповедями и докладами вплоть до полного краха церковной жизни в 1930 году, когда были закрыты сразу 37 храмов и прекратились колокольные звоны. А одно из последних выступлений о. Тихона, зафиксированное в протоколе собрания Вологодского епархиального управления в июле 1929 года, гласило: «Возвысить храм, поднять его воспитательное значение и ввести пасомых в активную храмовую жизнь и работу...»

Шаламов считал отца неисправимым идеалистом и позитивистом. «Отец не понял чего-то очень важного, что случилось со страной, чего не могли предсказать никакие футурологи из русской интеллигенции, — писал он. — Девятнадцатый век боялся заглядывать в те провалы, бездны, пустоты, которые все открылись двадцатому столетию». Еще более резко об этом сказано в набросках к «Четвертой Вологде»: «Отец, укрытый слепотой, при новых тяжких известиях говорил: “Все это пустяки”. Увы, это не было пустяками. Выступала на свет подлинная Расея, со всей ее злобностью, жадностью, ненавистью ко всему...»

Прямым олицетворением этой дикой, нехристианизированной и воинственно-злобной «Расеи» можно считать всевозможные нападки на отца, которому, по словам Шаламова, «мстили все и за все — за грамотность, за интеллигентность». Характерны заметки-доносы в местных газетах 1919 года под названиями «Поп в советском учреждении» и «Поп у книги», по-своему освещавшие просветительскую деятельность отца: о нем говорилось как о «служителе бога», «представителе касты самой ненавистной и самой злобной, в течение веков державшей народный ум в темноте и невежестве». Но еще более характерна история с местным заведующим губпросветом Ежкиным, который всячески препятствовал — и отцу, и сыну — при попытке получить для Варлама направление в вуз после школы. Сцена, описанная в «Четвертой Вологде», ярко иллюстрирует новые вологодские (и не только вологодские) нравы:

«Товарищ Ежкин был возмущен до глубины души такой наглой просьбой: “Поп в кабинете!” Голос Ежкина звенел:

— Нет, ваш сын, гражданин Шаламов, не получит высшего образования. Поняли?

Отец молчал.

— Ну, а ты, — обратился заведующий ко мне. — Ты-то понял? Отцу твоему в гроб пора, а он еще обивает пороги, просит. Ты-то понял? Вот именно потому, что у тебя хорошие способ-

ности — ты и не будешь учиться в высшем учебном заведении — в вузе советском.

И товарищ Ежкин сложил фигу и поднес к моим глазам.

— Это я ему фигу показываю, — разъяснил заведующий слепому, — чтобы вы тоже знали.

— Пойдем, папа, — сказал я и вывел отца в коридор...»

Какую Вологду — «первую», «пятую», «десятую», «сотую», разрушенную и размененную задешево — представлял Ежкин, по его хамству судить трудно. Но формально он стоял на букве закона: о. Тихон был «лишенцем», то есть лишенным по Конституции РСФСР 1918 года избирательных прав (из-за своего священства), и эта дискриминационная мера распространялась и на детей «лишенцев»: им официально был закрыт доступ в высшие учебные заведения.

В Вологде Варламу пришлось остаться еще на год. Об этом потерянном годе в его биографии почти ничего не известно, кроме сожаления: «Выяснилось той же осенью, что все мои школьные товарищи — абсолютно все: из детей дворян, купцов, торговцев (тоже «лишенцев». — *В. Е.*) — все поступили туда, куда хотели. У всех оказались какие-то связи, какие-то знакомства». Это лишний раз подтверждает, что в России во все времена умели обходить закон. Отец имел знакомства только в церковной сфере — он предлагал Варламу уже не медицинский, а духовную семинарию, используя связи с тем же Введенским. Но Варлам категорически отказался. Он решил ехать в Москву и для начала найти работу где-нибудь на заводе, пройти «пролетарскую закалку». С этим в конце концов согласились и родители.

В Москву он уезжал «ветреной дождливой осенью 1924 года в листопад боярышника, березы». «В одном вагоне ехала сестра мамы — тетка моя Екатерина Александровна, работавшая в Сетунской больнице под Москвой. Тетка была бестужевкой*, с отцом она дружила с молодости, и отец доверил мою судьбу в эти надежные прогрессивные руки», — вспоминал Шаламов.

Для его устройства в Москве на первое время были проданы два охотничьих ружья, оставшихся от брата Сергея. Из одежды — перешито пальто дяди Андрея Воробьева, второго брата матери, и сшиты две новые рубашки. Семья оставалась практически ни с чем. Золотой крест отца за службу на Кадьяке пока еще лежал — на самый черный день — на дне сундука.

---

* Бестужевками называли женщин, окончивших в дореволюционной России Высшие женские курсы, готовившие врачей и учителей. В Петербурге их называли Бестужевскими по имени их руководителя К. Н. Бестужева-Рюмина. (*Прим. ред.*)

Глава четвертая

МОСКВА. КИПЕНИЕ И ЗЫБКОСТЬ 1920-х

Москва сразу захватила его своей свободой — в отличие от Вологды она кипела жизнью. Шаламов много раз употребляет слово «кипение» по отношению к середине 1920-х годов. Первое же пребывание в центре столицы (от Кунцева до Каланчевки тогда ходил паровозный состав) дало ему возможность ощутить захватывающий темп жизни: трамваи и автомобили уже вытеснили извозчиков на окраины, но по улицам шли толпы народа, и одной из главных тем в газетах и в начавшем выходить «Огоньке» был призыв: «Граждане! Ходите по тротуарам!» Относилось это прежде всего к провинциалам, ярославцам и тулякам, одесситам и вологжанам, нахлынувшим в Москву кто учиться, а кто работать — в редакции и конторы, на стройки, большие заводы и маленькие фабрики, размножившиеся во время нэпа.

Варлам тоже устроился на завод — Кунцевский кожевенный, принадлежавший Озерскому крестьянскому кооперативу Московской области. Он выбрал профессию дубильщика — вероятно потому, что отец в свое время научил его выделывать шкуры. «Дубильщик» — первая запись в его трудовой книжке и первый пункт его будущих анкет и официальных автобиографий. Жил у тетки в ее комнате при Сетунской больнице, но приходил сюда в основном ночевать, а все свободное от работы время старался проводить в столице, с жадностью познавая ее.

Смерти и похорон Ленина он не застал и вряд ли в то время думал о его политическом завещании. Но он застал смерть С. Есенина и был на его похоронах в предновогодний день 31 декабря 1925 года, в многотысячной толпе на Страстной площади (где видел и Н. Клюева), и наблюдал, как «коричневый гроб, привезенный из Ленинграда, трижды обносят вокруг памятника Пушкину, и похоронная процессия плывет на Ваганьково». У Варлама уже тогда возник вопрос, почему поэт, «хулиганство» которого не слишком поощряла власть, был так поддержан в свой последний день тысячами людей из самых разных слоев общества. Он писал: «Самоубийство поэта наполнило новым смыслом, живой кровью многие, многие строки его стихов. То, что казалось позой, на поверку оказалось трагедией». Для юноши, мечтавшего о литературе, это открытие было самым важным.

Впрочем, как не раз подчеркивал Шаламов, после переезда в Москву его жизнь сразу «поделилась на две классические части — стихи и действительность, литературу и участие в общественных сражениях».

Первые месяцы Варлам успел поработать в Сетуни, в тогдашнем Московском уезде, учителем-ликвидатором неграмотности — с огромным энтузиазмом, равным, вероятно, энтузиазму отца в первые годы миссионерства на Кадьяке.

Букварь 1920-х годов начинался не с обыденного «Мама мыла раму», а с гордых слов: «Мы — не рабы, рабы — не мы». Тому, кто постоянно читал эти слова на своих уроках, кто учил этим словам неграмотных стариков и старух, они не могли не врезаться в память на всю жизнь — как символ эпохи и символ ее надежд. Недаром в 1970 году Шаламов написал стихотворение «Воспоминания о ликбезе», которое — после Колымы и «Колымских рассказов» — имело уже другой контекст и другой смысл: «...Людей из вековой тюрьмы / Веду лучом к лучу: / «Мы — не рабы. Рабы — не мы — / Вот всё, что я хочу...»

Участвовал он в ликвидации неграмотности не ради справки, которая давала определенные преимущества при поступлении в вуз. И работа на кожевенном заводе была для него поначалу тоже наполнена гораздо более высоким смыслом, нежели получение пролетарского стажа и завоевание нового, выигрышного статуса «человека от станка». Он писал об этом вполне откровенно: «К документу о рабочем стаже нигде не относились с недоверием. Кандидат (в пролетарии. — *В. Е.*), сочувствующий — это вполне реальные, а главное, вполне официальные, признаваемые властью категории... На нашем сплоченном кандидатском заводе работал ряд сыновей домовладельцев, нэпманов именно ради документа, ради спасительной справки. Я же работал там не только из-за справки, а именно желая ощутить то драгоценное, новое, в которое так верили. Я пришел туда не для мимикрии, а искренне желая почувствовать этот ветер, обвевающий тело и меняющий душу...»

Акцент — «не для мимикрии» — чрезвычайно характерен для Шаламова. Он хотел самым честным образом влиться в новую советскую жизнь, полагая, что его труд на заводе естественным образом искупит уязвимый факт биографии — происхождение из духовенства. Вряд ли можно объяснить стремлением обретения нового статуса и его необычную одежду, в которой он запечатлен на студенческом билете: кепка-шлем под буденовку и перешитая шинель. Такова была мода молодых людей 1920-х годов, имевшая вполне четкое семиотическое, идеологическое наполнение — «мы за революцию, мы с теми, кто победил в Гражданскую войну». На эту моду повлиял, несомненно, пример тех старших студентов, кто действительно успел поучаствовать в Гражданской войне и кто в настоящих буденовках и шинелях пришел поступать в 1-й МГУ

(тогда был и 2-й МГУ — педагогический), на подготовительные курсы, которые начал посещать, уволившись в январе 1926 года с завода, Шаламов. Одним из его друзей в это время стал Лазарь Шапиро: он был на три года старше и успел повоевать. Впоследствии пути их разошлись. Лазарь поступил на другое отделение, избежал активного участия в оппозиции, но в 1938 году был на несколько месяцев арестован, потом восстановлен в правах и погиб на фронте в 1942 году.

Примеров мимикрии, откровенного приспособленчества к законам новой жизни было огромное множество: тысячи и десятки тысяч людей пытались забыть или замаскировать свое прошлое, отвечая на главный пункт анкеты: «Чем занимался и чем занимались родители до 1917 года?» Пожалуй, самую феноменальную эволюцию в этом смысле проделал А. Я. Вышинский, в 1925—1928 годы бывший ректором 1-го МГУ — вуза, с которым так тесно связана ранняя биография Шаламова. Меньшевик, юрист, летом 1917 года занимавшийся по заданию Временного правительства розыском В. И. Ленина для привлечения его к суду, — фигура, явно подходящая под расстрел по законам нового времени, он сумел сделать блестящую (хотя и подлую, позорную, в конце концов) карьеру при советской власти. Многие историки склоняются к мнению, что способствовал этому Сталин, с которым Вышинский сидел вместе в Баиловской тюрьме в Баку в 1908 году. По крайней мере в 1920 году он без проблем вступил в РКП(б), и небольшевистское прошлое ему отныне не вспоминали. Уже в начале 1920-х годов Вышинский выступил обвинителем на нескольких крупных процессах, приведших к расстрельным приговорам, тогда же он возглавил юрфак МГУ и вскоре был избран ректором (разумеется, по распоряжению свыше).

Шаламов тогда плохо знал биографию Вышинского и вряд ли предполагал, что в университете ему придется столкнуться с очень большими неприятностями. Почему он решил поступить на юрфак (факультет советского права) — причем не на относительно нейтральное хозяйственно-правовое отделение, а на судебное, где готовили будущих вершителей правосудия, — вопрос, во многом остающийся загадочным. Конкретные мотивации на этот счет нигде писателем не названы. Ведь он хотел и мог поступать на медицинский факультет, мог — на самый близкий ему этнологический, где были отделения литературы и истории, мог — в текстильный институт (куда подавал документы одновременно с МГУ), но в итоге решил избрать вовсе не свойственное его характеру и интересам юридическое поприще. То ли его привлекала возможность слушать лекции некоторых старых профессоров — например,

профессора истории права М. А. Рейснера — отца знаменитой Ларисы Рейснер, то ли решение исходило из его юношеского порыва готовить себя к борьбе за справедливость нового строя, основанного на законе, на соблюдении прав и свобод граждан. На самом же деле, объективно говоря, он шел в пасть ко льву или, точнее, к ягуару — ведь Андрея Вышинского, Январьевича по отчеству, за глаза скоро стали называть Ягуаровичем — за его хитро маскируемую жестокость, за внезапные нападения на ничего не подозревающих людей — со всем блеском его природного циничного артистизма и красноречия, которым, вероятно, когда-то позавидовал и решил использовать их Сталин.

У Шаламова было много поводов написать подробнее о Вышинском — и о его роли в Шахтинском процессе 1928 года, и на процессе Промпартии 1930 года, и на самых зловещих московских процессах 1936—1937 годов, где юрист русской дореволюционной школы, ныне прокурор СССР, называл обвиняемых «взбесившимися псами», которых «надо расстрелять всех до одного», «чудовищами», «проклятой помесью лисы и свиньи» (о Н. Бухарине). Шаламову было более чем понятно, что Вышинский выполняет прямые задания Сталина. Но обеим этим персонам — ввиду очевидности конкретного зла, которое они несли, — в произведениях писателя отведено очень мало места. Любопытен лишь факт о Вышинском в набросках к «Вишерскому антироману»: «Я был свидетелем, как на открытом партийном собрании в Коммунистической аудитории в новом здании МГУ ударили по физиономии ректора университета Андрея Януарьевича Вышинского. Вышинский перебивал речи оратора из оппозиции, свистел, вставляя пальцы в рот».

Это — одно из свидетельств стихийной демократии в 1920-е годы: начальство, высокое лицо запросто ударили по физиономии за то, что оно пресекло чью-то свободную критическую речь и при этом оно, начальство, по-хулигански, подражая толпе — явно театральный популистский прием, — свистело. К таким приемам никогда не прибегали самые любимые Шаламовым ораторы 1920-х — ни Луначарский, ни Троцкий, ни А. Введенский. Единственный, кто любил бузотерить, свистеть и кому прощались подобные выходки, — В. Маяковский, на вечерах которого Шаламов бывал много раз. Но об этом позже.

Примеров стихийной, неуправляемой, непредсказуемой и, главное, *ненаказуемой* критики любого рода тогда было огромное множество. Самый яркий факт на этот счет Шаламов вспоминал даже в 1970-х годах:

«В клубе “Трехгорки” пожилая ткачиха на митинге отвергла объяснение финансовой реформы, которое дал местный секретарь ячейки.

— Наркома давайте. А то ты что-то непонятное говоришь.

И нарком приехал — заместитель наркома финансов Пятаков и долго объяснял разъяренной старой ткачихе, в чем суть реформы. Ткачиха выступила на митинге еще раз.

— Ну, вот, теперь я поняла все, а ты — дурак — ничего объяснить не можешь.

И секретарь ячейки слушал и молчал».

Это был, вероятно, последний всплеск новой советской демократии, никогда позже не возвращавшейся. Шаламову подобная атмосфера чрезвычайно импонировала, и не случайно он, вспоминая свои первые впечатления от Москвы 1924 года, писал: «Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год».

Варламу тогда было уже семнадцать, и он вполне осознанно — хотя и сквозь призму своего поэтического романтизма — воспринимал действительность, поэтому это его свидетельство чрезвычайно дорого с исторической точки зрения — по крайней мере с точки зрения истории повседневности 1920-х годов, а не разного рода последующих доктрин.

Одной из причин, почему он выбрал МГУ, была острая потребность разобраться в проблемах действительности, найти истину в непрестанных дискуссиях. «Переступить порог университета — значило попасть в самый кипящий котел тогдашних сражений, — вспоминал он. — Всякое решение правительства обсуждалось тут же, как в Конвенте... Эти споры велись буквально обо всем: и о том, будут ли дух́и при коммунизме, и о том, существует ли общность жен в фаланге Фурье, и о воспитании детей. Обсуждались не формы брака, обсуждался сам брак, сама семья — нужна ли она. Или детей должно воспитывать государство и только государство. Нужны ли адвокаты при новом праве. Нужна ли литература, поэзия, живопись, скульптура. И если нужны, то в какой форме, не в форме же старой».

Эти споры еще жарче — иногда до утра — продолжались в общежитии в Большом Черкасском переулке («на Черкасске», как говорили сами студенты).

Шаламов много писал о феерическо-утопическом духе 1920-х годов — о «штурме неба», об ожидавшейся всеми мировой революции. Эту эпоху своей молодости он всегда вспоминал с большой теплотой и в то же время не раз подчеркивал, что она была эпохой «зарождения всех благодеяний и всех преступлений будущего». То и другое в его восприятии

1920-х годов осталось неразрывным. Те же составляющие — благодеяния и надежды, препятствия и разочарования — окружали и его студенческую жизнь. Она неожиданно закончилась в феврале 1928 года — исключением из университета по жестокой причине — «за сокрытие социального происхождения».

Сам Шаламов в автобиографиях никогда не упоминал об этом факте, и у многих читателей может сложиться впечатление, что арестован он был в январе 1929 года студентом третьего курса. На самом деле он был исключен еще годом ранее, не окончив второго курса. В архиве МГУ сохранилось «Личное дело студента Шаламова В. Т.». Оно может пролить свет на многие обстоятельства повседневной жизни университета тех лет, которые в немалой степени диктовались и общими политическими тенденциями, и конкретными установками ректора А. Я. Вышинского. Именно при нем были введены так называемые «проверочные комиссии» и усилилась «политико-пропагандистская работа» среди студентов. Это означало укрепление партийно-комсомольской прослойки и возвышение ее роли в надзоре за «свободными», беспартийными студентами, что чаще всего выражалось в регулярном стукачестве. Документы «дела студента Шаламова» об этом как раз и свидетельствуют.

Во-первых, в «деле» есть заявление — в жанре откровенного доноса — от его молодого земляка-вологжанина Михаила Коробова. Его стоит привести полностью, так как жанру соответствует особого рода неповторимый стиль.

«Во фракцию ВКП(б) 1-го Моск. Гос. Университета
от члена ВКП(б), агента хоз.-правового отделения,
студента Совправа
Коробова Михаила Арсеньевича

Заявление

Настоящим прошу выяснить социальное происхождение и положение по документам, находящимся в Университете, студента Совправа судебного отд. II курса гр-на Шаламова В. За время пребывания в прошлом 1926—1927 уч. году в одной семинарской группе с тов. Шаламовым мы все считали, что он рабочий, так как он выдавал себя за такового. Мне известно, что он в прошлом году получал стипендию и пользовался общежитием. В прошлом учебном году Шаламов не вызывал подозрений по своему поведению в группе. Однако летние каникулы дали возможность случайно установить социальную принадлежность Шаламова. Я каникулы провел в г. Вологде и неожиданно встретил там же Шаламова. Был поражен этим обстоя-

тельством потому, что в беседах с ним я говорил ему, что я вологодский. Он же в Университете, в группе и беседах со мною назывался рабочим-кожевником какого-то подмосковного завода. Факт встречи в Вологде мне показался подозрительным и тем более тогда, когда Шаламов сказал мне при встрече, что он вологодский уроженец и что адрес его жительства "Соборная гора, дом 2, кв. 2". Я очень хорошо знал, что дом этот церковный, и поэтому сообразил, что Шаламов имеет какое-либо отношение к вологодскому духовенству. На следующий же день от ряда партийных тов. я установил, что Шаламов, наш студент, является сыном соборного дьякона, который во время изъятия церковных ценностей выступал в качестве ярого противника указанного мероприятия Советской власти. Студент Шаламов связь с родителями не порвал. Если же и работал где-либо на заводе в качестве рабочего, то это было ни больше, ни меньше, как прием временной социальной перекраски, рассчитанной на поступление в ВУЗ. Я считаю, что таким "рабочим", как Шаламов, не только не следует давать стипендии и общежития, но и не место в Университете, особенно на факультете Советского Права. Есть более достойные люди, которые из-за таких находятся в ожидании поступления учиться.

Надеюсь на принятие соответствующих мер по изложенному мною в настоящем Заявлении. К сему <подпись> 1927 г. 24 сентября»*.

В деле есть также более раннее письмо М. Коробова из Вологды с изложением тех же обстоятельств, адресованное некоему Антону — видимо, тоже завербованному партийному осведомителю из студентов. Оно характеризует вполне практические жизненные устремления Коробова: «...Видишь ли, Антон, жена моя подала заявление в Покровский рабфак (вероятно, в рабфак, руководимый известным профессором М. И. Покровским. — *В. Е.*) о приеме-переводе с вологодского рабфака. Вологодский рабфак ходатайствует об этом и прислал туда все документы на нее. Как полагается, формализм и горячка во время приемного периода существуют во всех учебных заведениях в той или иной степени. Мне самому хочется здесь пожить подольше (больше заработать и отдохнуть) и не хочется ехать в Москву за тем, чтобы устраивать жену, как это делается обыкновенно. Личное присутствие, правда, всегда имеет большое преимущество перед бумажным, но мне, кажется, можно бы этого избежать.

---

* Архив МГУ им. М. В. Ломоносова. Ф. 1. Оп. 14. Л. 1538. Автор благодарит за помощь в розыске этого дела преподавателя исторического факультета МГУ С. Ю. Агишева.

Тебя же я хочу просить вот о чем. Во-первых, узнать в рабфаке, поступило ли это дело, в какой стадии находится, какова точка зрения на этот вопрос у решающих судьбы или близко к этому делу стоящих (мало ли что бывает в период отпусков). Не плохо бы было, если бы пару-другую слов ляпнул студенческому представителю в президиум рабфака в смысле положительного разрешения вопроса. Как я не подумаю, но, очевидно, учеба моя в нынешний год будет решаться решением этого вопроса. Мелочно и обидно, казалось бы, но ведь одной перспективой на мировую революцию жив не будешь».

Доносы тоже могут быть блестящими — по выразительности характеристики их авторов и времени. Весь стиль и фразеология Коробова, его желание устроить, как бы между делом, свою жену в Москве и особенно скептический отзыв о «мировой революции» ярко показывают, что кроме слоя романтиков в МГУ тогда существовал и неведомый Шаламову слой прагматиков. На них, как нетрудно понять, и строился — и затем держался — сталинский режим. (Как удалось установить, М. А. Коробов сделал вполне благополучную карьеру при этом режиме, в 1940 году он был прокурором города Курска, дальнейшая судьба его неизвестна.)

В доносе — такова уж их особенность — много явных передержек. Отец Шаламова никогда не был дьяконом и не выступал «ярым противником» изъятия церковных ценностей. Скрывал ли Варлам свое социальное происхождение? Формально — скрывал. В анкетах он писал: отец — инвалид, служащий, тогда как требовалось указывать сословие, причем в такой унизительной форме, как «служитель культа». Но и то, что он писал об отце-инвалиде, было правдой. Анкетные ловушки в советское время пытались обойти все здравые люди, это было массовым и неизбежным явлением. Например, А. Твардовский писал, что он «сын крестьянина-середняка», в то время как даже в Большой советской энциклопедии 1939 года его назвали «сыном кулака». Это была трагедия целых поколений — преследование и дискриминация по признаку социального происхождения — по шестому пункту анкеты, не менее значимому, чем более известный пятый. Недаром тот же Твардовский в свою позднюю антисталинскую поэму «По праву памяти» включил главу «Сын за отца не отвечает», посвященную знаменитым словам Сталина. Они были произнесены в 1935 году на совещании передовых комбайнеров. Один из участников совещания А. Тильба сказал: «Хоть я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян», на что и последовал широко растиражированный газетами ответ про «сына», который «не отвечает». Но это был лишь один из мно-

гих хитроумных пропагандистских приемов «вождя народов»: репрессии за «неправильное» социальное происхождение продолжались всю его эпоху, а дискриминация перешла и в последующую — например, при выдаче загранпаспортов.

Участь Шаламова-студента была предрешена не только из-за доноса М. Коробова. В том же личном деле сохранилась еще одна кляуза на него — заявление от 11 февраля 1928 года о нарушении им «всяких (так!) правил общежития», написанное пятью его соседями по комнате 7-б. В заявлении говорилось, что «почти каждый день Шаламов бывает активным участником "компаний" в комнатах 9 и 10, куда собираются (к девчатам) его друзья "по станку", как он их рекомендует... Напившись, как сапожники, криком, стуком, танцами и пением каких-то "гимнов" под гитарный перезвон не дают нам ни заниматься, ни спать до 3—4-х часов ночи. После всего этого заводит своих, пьяных, друзей к нам в комнату. Натаскает грязных матрацев на стол и под стол — укладывает их спать... Он предпочитает своим долгом выругать каждого из нас своим вульгарным красноречием вперемежку с матом и заявляет: "Плевать я на вас хочу" (с батиной колокольни) и далее переходит опять утверждать: "Это мои друзья 'по станку'. Я за них ручаюсь"». Заканчивается заявление еще более резко: «Просим принять меры к выселению Шаламова из нашей комнаты и общежития — избавить нас от шаламовщины»...

Разумеется, все здесь, как и в доносе, стократно преувеличено: «почти каждый день», «напившись, как сапожники», «с матом» и т. д. Во-первых, Шаламов все московские годы чрезвычайно дорожил своим временем, допоздна сидел в библиотеках, не пропускал всех важных для него литературных вечеров, так что, если и участвовал в подобных компаниях в общежитии, то нечасто. Во-вторых, тягой к выпивке он никогда не отличался — вырос в семье абсолютного трезвенника, и если свободная студенческая жизнь как-то нарушила эти его устои (сохранявшиеся до конца жизни) — то в очень малой мере. Единственное — он еще на заводе приучился курить. Мат интеллигентному юноше также был несвойствен (это уже поздняя, лагерная привычка).

В заявлении ясно прочитывается пристрастие соседей по комнате к Варламу. Возможно, потому что он мало с ними общался и имел иной круг друзей. Возможно, они знали, что на него уже начались гонения в связи с происхождением из священнической семьи, и хотели их усугубить (вспомните явно притянутую за уши «батину колокольню»). При этом очевидно, что грозное обобщение «шаламовщина» играло роль политического ярлыка, вроде «есенинщины». Не исключено, что

вся эта грязь, вылитая на Шаламова, была инспирирована сверху. Об этом можно судить по одной из подписей под заявлением — «М. Залилов». Это был студент этнологического факультета, молодой татарский поэт, взявший впоследствии псевдоним Муса Джалиль. С ним у Шаламова изначально сложились дружеские отношения (на поэтической почве), и можно предполагать, что юного Мусу, как комсомольца, просто вынудили подписать это заявление. А историческая ценность этой кляузы в том, что она дает некоторые представления о том, чем *в действительности* занимался Шаламов.

Можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что столь зло описанные «компании», в которых он участвовал, являлись конспиративными собраниями или дискуссионными клубами оппозиционного студенчества. Ведь собирались на них, как говорил Варлам, его «товарищи по станку» (двусмысленность довольно прозрачная). Сразу по поступлении в университет он активно стал интересоваться текущей политикой, всеми острыми событиями во внутрипартийной борьбе, о которых сообщали газеты и еще больше рассказывали новые друзья. Их было не слишком много. Среди имен, которые Шаламов называет в поздних воспоминаниях (а также частью — в следственных показаниях по делу 1937 года), фигурируют около десятка человек — студентов разных факультетов: Серафим Попов, Владимир Смирнов, Сарра Гезенцвей, Александр Афанасьев, Марк Курин, Гдалий Мильман, Нина Арефьева, Арон Коган, Мария Сегал, Надежда Никольская. Наибольшим его доверием пользовалась Сарра Гезенцвей. По признанию Шаламова, именно она, студентка литературного отделения, младше его на год, но необычайно смелая и решительная, поставила его в ряды оппозиции.

Эта оппозиция, антисталинская по своей направленности, при своем возникновении сразу получила ярлык «троцкистской», но самонаименования ее были иные — «левые» или «большевики-ленинцы». Имели ли оппозиционеры какие-либо шансы на успех? Объективно говоря, не имели. Уже к 1927 году все узлы противоречий, завязавшиеся в партийной и государственной власти после смерти Ленина, были в основном разрублены. Не распутаны, а именно разрублены — Сталиным и его единомышленниками, благодаря имевшемуся у них громадному «административному ресурсу» и железному следованию принципу «разделяй и властвуй». Надо напомнить, что поклонение новому вождю в партийной среде началось уже в 1925 году, когда Царицын, обороной которого он столь бесславно руководил в Гражданскую войну, был переименован в Сталинград, а на XIV съезде ВКП(б) в адрес

Сталина впервые прозвучали аплодисменты, «переходящие в овацию».

Шаламов неоднократно («сто раз», как он писал со свойственной ему гиперболизацией) видел Сталина — на трибуне мавзолея и во время его пеших передвижений с другими членами правительства в центре Москвы в 1924—1925 годах. Но с 1926 года эти публичные передвижения прекратились, замечал Шаламов, что, несомненно, было знаковым событием. Достигнув высших рычагов власти, Сталин не только стал уделять повышенное внимание личной охране, но и резко изменил стиль своего политического поведения. Никогда не имевший таланта оратора, он отныне окончательно отошел от непосредственного общения с широкими массами и стал работать исключительно с так называемым «активом» — просеянным через сито его секретариатом, возглавлявшимся В. М. Молотовым, кланом избранных как из партии, так и из народа (так называемыми передовиками и ударниками). Пример, подобный «наркома давай!», при укрепившемся во главе государства Сталине уже не срабатывал. Чрезвычайно характерен факт из хроники поездки Сталина в Сибирь зимой 1928 года для нажима на местный партаппарат с целью перевыполнения плана хлебозаготовок и «борьбы с кулаком» (предвестие «сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса»). С прибытием Сталина в Красноярск 1 февраля к нему обратилась цеховая партячейка железнодорожных мастерских с просьбой выступить с докладом на рабочем собрании. Как выяснил специально исследовавший эту историю В. П. Данилов, Сталин ответил отказом, сославшись на то, что «приехал *неофициально*(?) для инструктирования товарищей в порядке *внутреннем*. Выступать теперь *открыто* на массовом собрании — значит превышать свои полномочия и обмануть (?!) ЦК партии». Такова была его личная записка-ответ рабочим; курсив Сталина, знаки вопросов поставлены исследователем*.

Основного противника Сталина Льва Троцкого юный Варлам, только что приехавший из Вологды, видел на параде 7 ноября 1924 года, на трибуне мавзолея, тогда деревянного. Троцкий еще был главвоенмором, то есть главнокомандующим вооруженными силами, но последовавшее вскоре снятие с этого поста стало для него началом конца: какой-либо реальной власти он уже не имел. В 1926-м был выведен из состава политбюро, а нахождение в составе ЦК до октября 1927 года

---

* См.: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы: В 5 т. / Предисл. В. П. Данилова. М., 1999. Т. 1. С. 37.

оставляло свободу только для дискуссий, которые медленно, но целенаправленно пресекал Сталин.

Эту ситуацию «арьергардных боев» лидера оппозиции хорошо понимали и многие ее рядовые участники. По́зднее замечание Шаламова: «К Троцкому большинство оппозиционеров относилось без большой симпатии» — показывает, что даже среди студентов, самых верных поклонников ораторского таланта и аналитической мысли своего кумира, его авторитет стал снижаться. Хотя статьи Троцкого, в том числе те, что распространялись нелегально, шли нарасхват, самым трезвым и проницательным из участников движения становилось ясно, что левая оппозиция проигрывает, что ее всеми средствами стараются подавить.

Варлам в свои 20 лет не мог быть провидцем — он подчинялся скорее инстинктивному чувству протеста против свертывания политической свободы. В зрелые годы писатель объяснял свое самоощущение 1920-х годов так: «Я опаздывал к жизни, не к раздаче пирога, а к участию в замесе этого теста, этой пьяной опары» («Четвертая Вологда»). Но он, хотя и с опозданием, все-таки включился в оппозиционное движение. Он не мог поступить иначе прежде всего по нравственным мотивам: «Оппозиционеры были единственными людьми, которые пытались организовать сопротивление этому носорогу (разумеется, речь идет о Сталине. — *В. Е.*), сдержать тот кровавый потоп, который вошел в историю под названием культа личности» («Краткое жизнеописание»). И еще одна важная для понимания его надежд и не раз повторявшаяся им мысль: «Организация, в десять раз меньшая по численности, но организация смела бы Сталина в два дня». Очевидно, Шаламов имел в виду самое начало 1920-х годов — в его студенческое время создание такой организации было утопией. Он и сам сознавал зыбкость подобных надежд, подчеркивая, что уже конец 1924 года «дышал воздухом каких-то великих предчувствий, и все поняли, что нэп никого не смутит и не остановит».

Беспартийный, даже не комсомолец, он был волонтером, вольным стрелком в оппозиционной борьбе. Чистота и бескорыстие его помыслов не могли не импонировать новым друзьям, как правило, таким же идеалистам, никогда не допускавшимся до большой «политической кухни». Все они сознательно шли на жертву, следуя примеру революционеров всех предыдущих поколений.

Самая важная страница биографии Шаламова 1927 года — участие в демонстрации, посвященной десятилетней годовщине Октября, проходившей в Москве с участием оппозиции. Известно, что на эту демонстрацию его привела С. Гезенцвей,

но других подробностей Шаламов нигде не сообщал. В советский период об этой акции оппозиции вообще не упоминалось. Поэтому стоит обратиться к свидетельству Троцкого, которое он опубликовал в «Бюллетене оппозиции» в 1932 году, уже будучи высланным из страны и протестуя против сталинской версии об этой демонстрации как попытке «вооруженного восстания»:

«Что произошло на самом деле 7 ноября 1927 года? В юбилейной демонстрации участвовала, разумеется, и оппозиция. Ее представители шли вместе со многими заводами, фабриками, учебными заведениями и советскими учреждениями. Многие группы оппозиционеров несли в общей процессии свои плакаты. С этими плакатами они вышли с заводов и других учреждений. Что ж это были за контрреволюционные плакаты? Напомним их:

1) "Выполним завещание Ленина"

2) "Повернем огонь направо — против нэпмана, кулака и бюрократа"

3) "За подлинную рабочую демократию"

4) "Против оппортунизма, против раскола — за единство ленинской партии"

5) "За ленинский Центральный Комитет".

Рабочие, служащие, красноармейцы, учащиеся шли рядом с оппозиционерами, несшими свои плакаты. Никаких столкновений не было. Ни один здравомыслящий рабочий не мог рассматривать эти плакаты как направленные против советской власти или против партии. Лишь когда отдельные заводы и учреждения влились в общий поток манифестации, ГПУ, по распоряжению сталинского секретариата, выслало особые отряды для нападения на демонстрантов, мирно несших оппозиционные плакаты. После этого стали происходить отдельные столкновения, состоявшие в том, что отряды ГПУ набрасывались на манифестантов, вырывали у них плакаты и наносили им побои...»

Троцкий не случайно приводил названия плакатов — они свидетельствовали о, казалось бы, вполне лояльной и умеренной по понятиям тех лет платформе оппозиции. Ничего «троцкистского» в лозунгах не было — кроме «Повернем огонь направо — против нэпмана, кулака и бюрократа». Это была очевидная левизна в условиях нэпа, которую в скором времени, в 1929 году, использовал Сталин — опираясь практически на лозунг Троцкого и исключив из него лишь «бюрократа». Но транспаранты «Выполним завещание Ленина», «За ленинский Центральный Комитет» несли в себе ясно читаемый (для посвященных) антисталинский мотив. «Завещание» Ленина —

его письмо к XII съезду ВКП(б) — с характеристиками предполагаемых руководителей партии и его особым акцентом на негативных чертах Сталина, который, «сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть» («Я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью»; «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. ... Это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение»)*.

Шаламов к этому времени, несомненно, был знаком с текстом «Завещания», которое на тот момент еще считалось легальным документом, хотя полностью оно нигде не печаталось. Эта двусмысленность возникла после того, как письмо Ленина было оглашено узкому кругу участников XIII съезда в мае 1924 года, но было фактически игнорировано — и в части рекомендаций Ленина о смещении Сталина, и в еще более важной и принципиальной части о расширении состава ЦК до 50—100 человек за счет рабочих, что позволяло бы, по мысли Ленина, нейтрализовать любого рода «вождизм» (Сталина, Троцкого или иного члена политбюро) и избежать раскола. Характерно, что большинство участников XIII съезда не сочли «грубость» Сталина и вообще грубость серьезным недостатком, поскольку, как выразился один делегат, «партия наша грубая, пролетарская». Но с таким доводом были согласны далеко не все, особенно — интеллигенция и университетская молодежь, уважавшая пролетариат, но больше — ум и корректность (ее подлинным кумиром, «любимцем», как подчеркивал Шаламов, был скорее не Троцкий, а Луначарский). Поэтому неудивительно, что молодой Шаламов пришел на демонстрацию под лозунгами «большевиков-ленинцев», как неудивительно и то, что он позже участвовал в подпольном печатании «Завещания» Ленина.

Привлечение отрядов ОГПУ, возглавлявшегося тогда В. Р. Менжинским, к подавлению действий оппозиции 7 ноября 1927 года, несомненно, было санкционировано Сталиным. Очевидно, что новая политическая полиция была осведомлена о готовящихся выступлениях, и отряды продумывали дейст-

---

* *Ленин В. И.* Полное собрание сочинений. М., 1967—1981. Т. 45. С. 346.

вия заранее. Вся демонстрация снималась многочисленными фотографами и кинохроникерами, что давало (как современное видеонаблюдение) материал для фиксации активистов оппозиции. Кроме того, естественно, в толпе работали агенты. Они не могли не обращать особое внимание на университетскую колонну. Так что вполне возможно, что уже тогда Шаламов, как и С. Гезенцвей, попал в поле зрения ОГПУ.

Откровенно репрессивная настроенность «сталинского секретариата» вытекала из решений состоявшегося накануне (21—23 октября) Объединенного пленума ЦК ВКП(б) и ЦКК, на котором Троцкий был исключен из состава ЦК, а Сталин сделал свой известный, уникальный по демагогичности и убийственный для политической карьеры Троцкого доклад «Троцкистская оппозиция прежде и теперь». Ставший великим тактиком в борьбе со своими политическими противниками, он в очередной раз тщательно подготовился к докладу — дал приказ разыскать архивные документы о дореволюционной деятельности Троцкого, делая акцент на его «небольшевизме», умело манипулировал цитатами из его работ 1920-х годов и работ Ленина, включая и «Завещание». Нелишне привести некоторые фрагменты и напомнить о неповторимом стиле и поистине несокрушимой (для верного ему «актива») логике генсека, помнившего и использовавшего все слабости и промахи своих соперников:

«Говорят, что в этом "завещании" тов. Ленин предлагал съезду ввиду "грубости" Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это совершенно верно. Да, я груб, товарищи, в отношении тех, которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю. Возможно, что здесь требуется известная мягкость в отношении раскольников. Но этого у меня не получается. Я на первом же заседании пленума ЦК после XIII съезда просил пленум ЦК освободить меня от обязанностей генерального секретаря. Съезд сам обсуждал этот вопрос. Каждая делегация обсуждала этот вопрос, и все делегации единогласно, в том числе и Троцкий, Каменев, Зиновьев, *обязали* Сталина остаться на своем посту.

Что же я мог сделать? Сбежать с поста? Это не в моем характере, ни с каких постов я никогда не убегал и не имею права убегать, ибо это было бы дезертирством. Человек я, как уже раньше об этом говорил, подневольный, и когда партия обязывает, я должен подчиниться».

Но всего тоньше и ядовитее продуманным было заключение речи, где Сталин ссылался на разысканную его помощниками статью Троцкого 1904 года (двадцатилетней давности!),

посвященную известному меньшевику, соратнику Г. В. Плеханова П. Б. Аксельроду:

«Ну, что же, — скатертью дорога к “дорогому учителю Павлу Борисовичу Аксельроду”! Скатертью дорога! Только поторопитесь, достопочтенный Троцкий, так как “Павел Борисович”, ввиду его дряхлости, может в скором времени помереть, а вы можете не поспеть к “учителю”. (*Продолжительные аплодисменты*)»*.

Этот доклад был опубликован в «Правде» 2 ноября и послужил сигналом для последней расправы над Троцким и всеми другими оппозиционерами.

Аресты уже вовсю шли и в университете. Шаламов вспоминал: «В Большом Черкасском переулке в маленьком общежитии жило всего 100 студентов. Из них восемьдесят ушли в ссылку по делам оппозиции в 1926—1928 годах». 2 мая 1928 года была арестована Сарра Гезенцвей, и хотя вскоре ее выпустили на поруки отца, крупного работника Наркомата финансов, в 1929 году она была осуждена на три года ссылки в Бийск. Еще раньше был арестован ее друг, а впоследствии муж Александр Афанасьев, сосланный в Череповец. Об этой истории и истории любви Афанасьева и Гезенцвей яркие воспоминания оставила череповецкая учительница, впоследствии — ленинградская поэтесса Н. М. Иванова-Романова. «Очень живая, веселая, ничего не боялась. Приходила сама к нему в комнату в общежитие. Ребята сразу уходили. Потом спускалась по лестнице, не поправив волос», — писала она о Сарре (см.: Нева. 1989. № 2—4). А вот отрывок из записанного ею рассказа Александра Афанасьева — поэта, учившегося на том же литературном отделении: «А когда я уже сидел в Бутырках, раз мне сообщают: к вам на свидание жена. Какая жена! Выхожу. Она. Кидается, целует и сама шепчет новости: там-то было собрание, того-то взяли... Родители ее были очень недовольны нашим знакомством. Ругали ее за меня. Отец — шишка в наркомате. Ей запрещали. А она никого не боялась».

В 1929 году А. Афанасьев попросил перевода из Череповца в Бийск, к жене (хотя они не были расписаны). Из ссылки можно было вернуться, сделав официальный отказ от платформы оппозиции. Но они его не сделали. В 1937 году С. Гезенцвей расстреляли как «кадровую троцкистку». Позднее та же участь постигла и А. Афанасьева. В годы Большого террора были расстреляны А. Веденский, Г. Мильман, М. Куриц,

* *Сталин И. В.* Сочинения. Т. 10. М.: ОГИЗ, 1949. С. 172. См. также: *Пека О. В.* Архивные материалы во внутрипартийной борьбе 1920-х годов // Отечественные архивы. 1992. № 2.

А. Коган и практически все товарищи Шаламова по оппозиции.

Шаламов ничего не ведал о их судьбе, но понимал, что уцелеть им было невозможно. О Сарре Гезенцвей и Саше Афанасьеве он узнал лишь из воспоминаний Н. М. Ивановой-Романовой, переданных ему в поздние годы в рукописи. Для нас они ценны тем, что, кроме деталей о «кипучести» 1920-х годов и их печальном исходе, восстанавливают один из женских образов, с которым соприкоснулся Шаламов в эти годы. Ясно, что никакого «романа» с С. Гезенцвей (как полагают некоторые любители «клубнички») у него не могло быть. Весьма выразительна на этот счет сцена новогодней вечеринки 1929 года, проведенной, как вспоминал Шаламов, «на Собачьей площадке, в чужой чьей-то квартире, в узкой компании обреченных»: «На этой вечеринке я сделал удивительное открытие. Моя соседка, знаменитый оратор дискуссий 27-го года, выступавшая в красной шелковой рубахе с мужским ремнем, на котором была укреплена кобура браунинга, вдруг оказалась самой женственной дамой, которую только можно вообразить. Шелковая кофточка, модная юбка, букетик цветов, с которым она явилась на вечеринку, произвели весьма сильное впечатление. Соседка моя оказалась не красавицей, но весьма хорошенькой девушкой, светловолосой блондинкой, волосы выбивались из-под косынки шелковой. Капля духов ей бы отнюдь не повредила...»

Чьи бы черты ни напоминал этот портрет (Сарры Гезенцвей, а может быть, Нины Арефьевой, которую Варлам хорошо знал, — она тоже погибла в ссылках), он говорит о том, что девушки-оппозиционерки 1920-х годов не были «синими чулками». В других условиях эти безымянные героини были бы, наверное, всегда исключительно женственными. Но эпоха диктовала свой стиль поведения.

К этому времени, к началу 1929 года, Шаламов был уже давно исключен из университета. Исключение состоялось 13 февраля 1928 года, и хотя основной формулировкой значилось — «за сокрытие социального происхождения», очевидно, что за этим стоял весь веер копившегося на него компромата, в том числе политического. Надо полагать, Варлам воспринял исключение без больших переживаний — перспектива служить закону, который обслуживает интересы Сталина, и идти стезей А. Я. Вышинского его вряд ли устраивала. В Москве у него сложилась уже своя внутренняя жизнь, о которой знали далеко не все его друзья.

Через год он был арестован.

Чем же занимался Шаламов этот год — огромное для молодости время?

Глава пятая

ПОЭЗИЯ ИЛИ ЛИТЕРАТУРА ФАКТА?

Если к общественной борьбе 1920-х годов Шаламов считал себя опоздавшим, то в литературной жизни он захватил самое важное и интересное — попал, можно сказать, в пик событий. Несмотря на давление власти и рапповщины*, страна переживала невиданный — ни до, ни после — расцвет самых разнообразных талантов в литературе и искусстве. «Москва двадцатых годов напоминала большой университет культуры, да она и была таким университетом», — писал Шаламов. Это сравнение имело силу всегда, но во времена его молодости — особенно, потому что такого калейдоскопа литературных вечеров и театральных премьер, новых книг и журналов, встреч и знакомств с самыми яркими личностями эпохи в его жизни никогда больше не было. А главное, в этом мире — в отличие от мира политики — все еще дышало открытостью и демократизмом.

1928 год в этом смысле был, пожалуй, последним для этого редкостного счастливого десятилетия, а Шаламов получил наконец возможность гораздо глубже и основательнее погрузиться в свою любимую стихию. Чтобы поддерживать минимум материального благополучия, он подрабатывал — то в Доме печатника, то на радио (в радиогазете «Рабочий полдень» Московского совета профсоюзов), а все свободное время просиживал в библиотеках либо посещал литературные кружки.

За первые три с половиной года в столице Варлам полностью избавился от провинциальной робости и сделался вполне москвичом — причем превосходящим многих по своей литературной и иной эрудиции. Пожалуй, никто из его друзей-студентов не успел увидеть и узнать столько, сколько он. Поразительная насыщенность его начального московского периода жизни ярче всего отражена в воспоминаниях «Двадцатые годы», написанных в начале 1960-х. В них упоминается более сотни имен! Это не только законодатели мод тогдашней литературы — В. Маяковский, Б. Пильняк, И. Бабель, Вс. Иванов, И. Сельвинский, О. Брик, С. Третьяков, А. Воронский и Вяч. Полонский, но и целый слой вторичных представителей разнообразных поэтических школ — от «конструктивиста» К. Митрейкина и представителя «Кузницы» В. Кириллова до члена группы «ничевоков» А. Чичерина. Шаламов прекрасно знал и всю «кухню» литературной жизни, и творчество каждо-

---

* РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей (1925—1932), под лозунгом партийности литературы стремилась к административному руководству всем литературным процессом. (*Прим. ред.*)

го более или менее значимого поэта и писателя той поры. Для чего? Только ради интереса? Нет, в каждом случае это была школа в познании тайн литературы. Шаламов и в поздние годы был убежден, что «нельзя читать только Гёте и Шиллера, когда пишешь стихи, надо и Асеева, и Веру Инбер».

Именно с Николаем Асеевым было связано его первое близкое — хотя и заочное — литературное знакомство. Было это в 1927 году. Журнал «Новый ЛЕФ», за которым внимательно следил Шаламов, обратился к читателям с предложением присылать «новые, необыкновенные рифмы». «Я наскоро заготовил несколько десятков рифм, вроде "ангела — Англией", добавил несколько своих стихотворений и отправил, вовсе не ожидая ответа, — писал Шаламов. — Через некоторое время я получил письмо Николая Асеева. Это было первое полученное в жизни письмо от известного литератора, да и стихов своих, хоть я писал их с детства, я никому не показывал. Асеев благодарил за рифмы, написал, что у меня "чуткое на рифмы ухо", что касается стихотворений, то "если это первые мои стихи", то они заслуживают внимания, но главное в поэзии — это "лица необщее выражение" и т. д.».

Варлам был горд получить такое письмо, его поздравляли друзья, но он был больше всего удивлен не ответом (с банальной цитатой из Баратынского), а конвертом, в котором тот был прислан. Это был маленький изысканный конвертик из сиреневой бумаги с лиловым ободком, на такой же бумаге было написано «мельчайшим женским почерком» и письмо. «Все это не вязалось с обликом самого Асеева и его стихами, — отмечал Шаламов. — Нэп в бытовом смысле до меня еще не дошел. Я рос в провинции и в Гражданскую войну зарабатывал клейкой конвертов для почты местной — но то были конверты из газетной или в лучшем случае из оберточной бумаги» (эти важные подробности выясняются из черновой рукописи воспоминаний о Н. Асееве*).

Между тем Асеев был тогда любимым поэтом молодежи, которая ставила его даже выше Маяковского. Лучшей его вещью считалась поэма «Лирическое отступление», но Шаламов приводил в рукописи и другие, близкие ему и его друзьям строки из «Автобиографии Москвы», посвященные старым революционерам-подпольщикам: «Под оскорбленьями, / Под револьверами / По переулкам / Мы пройдем впотьмах...» Наверное, Варлам запомнил эти строки потому, что они казались пророческими. Однако Асеев не был поэтом-пророком, не был оппозиционером — наоборот, вскоре выяснилось, что он го-

---

* РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Д. 153. Л. 6.

тов писать стихи к праздникам и выполнять любой другой «социальный заказ» (этот термин был введен в литературу именно Асеевым).

Очень интересен и многозначителен эпизод об одном из споров в студенческом общежитии, который приводит Шаламов, — на тему *«что было бы, если бы вдруг стало нельзя писать стихи, и что стали бы делать наши поэты?»*. Все спорщики склонились к такому мнению: «Сельвинский стал бы бухгалтером в “Пушторге”, Безыменский — на партийной работе, Жаров и Уткин — на комсомольской, Маяковский — в одном из рекламных агентств... А что Асеев? Асеев перестал бы жить»...

Это черновой вариант воспоминаний, он передает юмор, свойственный студентам, но в окончательном варианте Шаламов со свойственной ему серьезностью написал: «Мы думали, что и Асеев считает, что поэзия — судьба, а не ремесло. Маяковский показал это 14 апреля 1930 года — после того, как страстно уверял в обратном...»

Формула «поэзия — судьба, а не ремесло» — одна из часто встречающихся у Шаламова. Именно два трагических ухода из жизни — Есенина и Маяковского — заставили Варлама впервые задуматься о цене поэтического слова и его подкрепленности поступком, действием, жизнью, а не только «мастерством». Но это было позже — о самоубийстве Маяковского он узнал уже в Вишерском лагере. Заметим сразу, что первое пребывание в лагере не изменило революционных убеждений Шаламова и его поэтических привязанностей. Шаламов много и по-разному писал о Маяковском. Наиболее адекватным мировосприятию его молодости будет не слишком отдаленный по времени очерк-воспоминание «Маяковский разговаривает с читателем», опубликованный после Вишеры в «Огоньке» (1934, № 10). Вот наиболее характерный эпизод:

«1927 г. Зал Политехнического музея шумит на вечерах Маяковского. Лекция “Даешь изящную жизнь”. “Я — за кружевные занавески на окнах рабочих квартир, — начинает Маяковский. — Я за канарейку в комнате рабочего! Мещанство — не в вещах, мещанство в людях! Мещанство — вот в этой папке! — Из огромного портфеля вытаскивает Маяковский “революционный” романс Музгиза “А сердце-то в партию тянет”.

— Внимание! “У партийца Епишки / Партийные книжки, / На плечах френчик, ах френчик, френчик, / Голосок, как бубенчик, бубенчик”.

— Вот полюбуйтесь! Бубенчик! Епишка, у которого партийные книжки. Не книжка — партбилет, а книжки. Вам смешно? А тут не один смех слышится. Этот бубенчик звенит о том, что “на плечиках френчик”. Откуда этот френчик на

плечах? Такие френчики носили господа офицеры — на плечах. Вот с чем нужно бороться. Против этого контрреволюционного “бубенчика”, за изящную жизнь, за красивую жизнь, которую мы вплотную начинаем строить. Переходим к стихам:

— Делами, / кровью, / строкою вот этою, / Нигде не бывшею в найме, / Я славлю взвитое красной ракетою / Октябрьское / Руганное, пропетое, / Пробитое пулями — знамя!

Аплодисменты всего зала».

Интересны наблюдения Шаламова о причинах эпатажного и нередко грубого поведения Маяковского на вечерах в Политехническом музее. Публика здесь разделялась на галерку (студентов) и первые ряды, которые занимали обычно его недруги. «Это была чужая, враждебная аудитория, состоящая из нэпманов, которую поэт должен был подавить, укротить, оскорбить, оглушить своим басом, — писал Шаламов. — Это была коммерческая аудитория, где Маяковский выступал за деньги, аккуратно внося в свою финансовую декларацию все заработки. Организаторы этих вечеров не были склонны к благотворительности».

Восхищение Шаламова Маяковским всегда сопровождалось недоумениями по поводу нигилистического отношения поэта к классике, «борьбы» с Пушкиным и Блоком. В воспоминаниях «Двадцатые годы» он писал: «Мне кажется, Маяковский был жертвой своих собственных литературных теорий, честно, но узко понятой задачи служения современности». В этом он видел одну из причин его самоубийства. Но, зная о предсмертной записке — «любовная лодка разбилась о быт», и зная о сложностях личной жизни поэта, о его увлеченности в этот период В. Полонской, он сделал в конце концов вывод, что самоубийство произошло прежде всего из-за того, что «Маяковский преувеличивал прямо патологически отношение к женщине как таковой, не мог ухаживать, не вкладывая всю душу в женский вопрос, *где всю душу вкладывать не надо*» (последняя фраза характерна для позднего, послеколымского Шаламова, который гораздо менее эмоционально воспринимал разрывы с женщинами).

Маяковскому и ЛЕФу Шаламов считал себя обязанным очень многим. Формула «поэзия — судьба, а не ремесло» для него не значила отрицание «ремесла», то есть мастерства — наоборот, на первых порах он потратил огромные усилия на изучение, в том числе теоретическое, секретов техники искусства. Наивные представления о том, что стихи создаются «нутром», интуицией, простым подбором рифм, были разбиты при первом же знакомстве с манифестами ЛЕФа и сборниками ОПОЯЗа.

Еще в конце 1927 года он начал посещать кружок одного из теоретиков нового, «левого» искусства Осипа Брика. Предыс-

тория этого такова. Шаламов почти каждый вечер просиживал в Ленинской библиотеке (она располагалась в Доме Пашкова). «В те блаженные времена, — вспоминал он, — выписка книг не ограничивалась ни в количестве, ни в продолжительности чтения. В библиотеке был и буфет, не очень богатый, вроде бутербродов с кетой, но в те дни, когда буфет работал, я оставался в библиотеке допоздна. Однажды во время сдачи, а книг была целая гора, — рядом со мной раздался резкий женский голос:

— Вот эти книги, которые нам нужны. Когда вы их сдадите?

— Когда сдам, тогда и сдам.

— Ну все-таки, зачем вам ранний футуризм?

— Затем, — отвечал я вполне логично, — что я интересуюсь ранним футуризмом.

— А не хотите ли прийти на кружок, где изучают вопросы раннего футуризма? Вот, запишите адрес: Гендриков переулок, квартира Маяковского. Маяковский сейчас за границей, а наш кружок ведет Осип Максимович Брик. Запишите: занятия по четвергам, приходите, пожалуйста.

В ближайший четверг я пришел в Гендриков переулок и остановился у двери, на которой были прикреплены одна над другой две одинаковые медные дощечки, верхняя: "Брик", нижняя: "Маяковский"».

О содержании занятий кружка (это был «Молодой ЛЕФ») Шаламов отзывался весьма скептически. Собственно, занятий и не было. Брик не скрывал презрения к своим молодым слушателям. По его высокомерному тону можно было понять, что стихи начинающих здесь отвергаются в принципе, Брик так и говорил: «Пишущим стихи сюда вход воспрещен» и «если он увидит хоть строчку этой отравы — вон, вон». Он с удовольствием выслушивал, поддакивая, разнообразные остроты, направленные против «конструктивистов» — противников ЛЕФа. Но о новом искусстве, его принципах почти ничего не говорил. Шаламов особенно запомнил одну сцену:

«Брик, развалясь на диване, неторопливо начал: — Сегодня мы собирались поговорить о станковой картине. — Он задумался, поблескивая очками. — Впрочем... моя жена недавно приехала из Парижа и привезла замечательную пластинку "Прилет Линдберга на аэродром Бурже после перелета через Атлантический океан". Чудесная пластинка. — Завели патефон. — Слышите? Как море! Это шум толпы. А то мотор зарокотал. Слышите выкрики? А это голос Линдберга...»

Как можно понять, Брик занимался чисто лефовским эпатажем (в данном случае еще и снобистским). Но он некоторым образом и просвещал: о сенсационном перелете американского пилота Ч. Линдберга через Атлантику, состоявшемся в мае

1927 года, в СССР знали мало. «Пластинка, безусловно, заслуживала внимания, — писал Шаламов. — Но я искал, где живет поэзия. Где настоящее? Изобретательство вымученных острот, пустые разговоры, которыми занимались в лефовском окружении Маяковского, Брика, пугали меня».

Тем не менее теоретические работы О. М. Брика Шаламов ценил очень высоко. Даже в конце 1960-х годов он вспоминал его статью «Ритм и синтаксис» в «Новом ЛЕФе», знал и его некоторые работы в сборниках ОПОЯЗа (можно предполагать, что Шаламову была известна статья Брика «Звуковые повторы» в сборнике 1919 года, ведь тема о звуковых повторах как одной из основ стихосложения, а также и основ ритмизованной прозы, к которой пришел автор «Колымских рассказов», — одна из ключевых в его размышлениях об искусстве). В поздней статье «Маяковский мой и всеобщий» Шаламов дал высочайшую — и объективно верную — характеристику значения теоретических разработок Брика: «Идеи структурной поэтики Лотмана в большой мере перекликаются с работами Брика, только во времена Брика не было вычислительной машины».

Уже по этим фактам можно понять, сколь глубоко уходят корни и поэтического творчества, и «новой прозы» Шаламова. Кстати, сам термин «новая проза» (то есть противостоящая традиционной реалистическо-психологической прозе XIX века) впервые вошел в оборот в 1920-е годы — он часто употреблялся и Бриком, и одним из создателей ОПОЯЗа, лефовцем В. Шкловским, и Ю. Тыняновым, и другими представителями так называемой «формальной школы», разгромленной в конце 1920-х годов. Для многих из них была характерна и апология А. Белого в качестве родоначальника «новой прозы» (впервые заявленной его романом «Петербург», вышедшим в 1922 году). Например, В. Шкловский прямо декларировал: «После А. Белого писатели будут иначе строить свои вещи, чем до него... У Белого новая форма уже целиком эстетически осмыслена. Она войдет в новую русскую прозу»*.

Все это лишний раз доказывает, что слова Шаламова о том, что он в молодости «знал сборники ОПОЯЗа почти наизусть», что А. Белый — один из его учителей в «новой прозе», имели конкретные основания. На этот счет сразу напрашивается и обобщение: автор «Колымских рассказов» — художественное дитя 1920-х годов; он был законсервирован почти на четверть века (с небольшим перерывом) в лагерной неволе и с новой силой восстал в другое время, где оказался не ко двору...

---

* Цит. по: *Шкловский В.* Гамбургский счет. М., 2000. С. 148, 239.

Очевидно и то, что именно «формалисты» повлияли на склонность Шаламова поверять алгебру гармонией, то есть ставить во главу угла вопрос, «*как* сделано произведение». Традиционное для русской литературы «*что* говорит (хочет сказать) автор» для него всегда было на втором плане. Не случайно новизна формы стала его главным критерием в искусстве и он всегда сохранял интерес к научному теоретическому литературоведению. В этом его глубокое отличие от большинства писателей советского периода (надеявшихся больше на свое «нутро»), причина его строгого и подчас менторского отношения к ним и их творениям. Все это — благодаря уникальной школе, вернее «университету», пройденному в молодости, в том числе в 1928 году.

Самым важным событием этого года стали для Шаламова походы на Малую Бронную, на квартиру Сергея Михайловича Третьякова, в кружок журнала «Новый ЛЕФ». Третьяков — бритоголовый (как, впрочем, почти все лефовцы — Брик, Шкловский, временами — Маяковский), был, как писал Шаламов, «человеком решенных вопросов». Категоричность, безапелляционность и высокомерие представителей «левого фронта искусства» Варламу были не внове, и он поначалу терпеливо выслушивал все уроки мэтра, увлеченного тогда идеей «литературы факта». Как признавался Шаламов, на занятиях было много интересного и полезного, но тем не менее он быстро остыл к ним.

В тогдашнем понимании «литература факта» означала воинственное отрицание всякого беллетристического вымысла, и это отчасти было близко Шаламову, делавшему первые шаги в журналистике. Но, как и многое другое в идеях лефовцев, установка на фактографию часто доводилась ими до абсурда. Это доказывали и собственные опыты Третьякова в журналистике. В очерке «Сквозь непротертые очки», опубликованном в программном сборнике «Литература факта», вышедшем тогда же, он описывал первый перелет по маршруту «Москва — Минеральные Воды» с борта самолета. Перелет был изображен крайне сухо, без каких-либо эмоций и эпитетов, с холодной фиксацией главным образом технических деталей. Это был скорее авангардный футуристический эксперимент. Но практическая газетная работа требовала тогда (да и всегда) писать о важных событиях «просто, доступно и эмоционально».

Первый конфликт начался с вопроса, заданного Третьяковым своему двадцатилетнему ученику: «Что бросается в глаза раньше всего, когда входишь в комнату?» — «Зеркала», — отвечал Варлам. «Зеркала? Не зеркала, а кубатура», — отрезал Третьяков. Было ясно, что они видят мир, вещи, по-разному и Ша-

ламову чужд взгляд Третьякова — сугубо технический, производственный. Сам он имел живой и поэтический взгляд (ведь кто-то бы сказал не про зеркала, а про шкафы с книгами или другую банальность).

Второй запомнившийся Шаламову эпизод был связан с его работой в радиогазете. «— Вот, — сказал Сергей Михайлович, — напишите для "Нового Лефа" заметку "Язык радиорепортера". Я слышал, что надо избегать шипящих и так далее. Напишете?

— Я, Сергей Михайлович, хотел бы написать по общим вопросам, — робко пробормотал я.

Узкое лицо Третьякова передернулось, а голос его зазвенел:

— По общим вопросам мы сами пишем».

«Больше я на Малой Бронной не бывал», — заключил Шаламов.

Этот случай еще раз ярко показывает большой интерес молодого Шаламова к «общим», то есть теоретическим, вопросам искусства. Но главной причиной разрыва с Третьяковым, по его мнению, послужило то, что «Новый ЛЕФ» и его редактор были равнодушны к стихам: «Поэтов ни будущих, ни настоящих Третьяков не любил. Он и сам был не поэт, хотя сочинял стихи и целую поэму "Рычи, Китай", переделанную потом в пьесу».

Шаламов здесь очень точен: Третьяков, порвав в этот период с Маяковским, странным образом возненавидел стихи (хотя еще недавно баловался ими вместе со своим великим другом, сочинял сатирические куплеты и лозунги вроде: «Запомни заповедь одну: / С собою в клуб бери жену — / Не подражай буржую — / Свою, а не чужую» или «Замени машиной дроги, / Строй шоссейные пути, / По проселочной дороге / К коммунизму не прийти»). «Новый ЛЕФ» был на излете, и Третьяков, со свойственными ему крайностями, решил стать исключительно «фактовиком». После смерти Маяковского он неожиданно возвысился (возможно, благодаря тому, что Сталин провозгласил Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи»), много ездил за границу, в том числе в Германию, где сблизился с Б. Брехтом, но был расстрелян в 1937 году не как «германский», а как «японский шпион», поскольку ежовские следователи решили предъявить ему обвинение по его дальневосточной биографии.

Шаламов хорошо знал о трагическом конце жизни Третьякова, и, вероятно, поэтому его воспоминания о нем столь лапидарны и касаются в большей мере отношения к стихам. В самом деле, смог ли бы редактор «Нового ЛЕФа» (которого Шаламов считал очень подходящим для дискуссии о «физи-

ках» и «лириках» 1950-х годов — разумеется, на стороне «физиков») как-то одобрить такое лирическое стихотворение молодого Шаламова:

Игрою детской увлеченный,
Я наблюдаю много лет,
Как одноногие девчонки
За стеклышками скачут вслед.

Мальчишки с ними не играют,
А лишь восторженно галдят,
Когда такая вместо рая
Вдруг попадает прямо в ад.

И неудачнице вдогонку
Грозятся бросить кирпичом.
На то она ведь и девчонка,
Им все, девчонкам, нипочем.

Это единственное из ранних стихотворений Шаламова, сохранившееся в его памяти после сожжения всех рукописей женой после ареста 1937 года. К тому времени им было написано, как он вспоминал, около двухсот стихотворений и набросано около 150 сюжетов рассказов («Увы, жена моя сберегла напечатанное и не сберегла написанное, пока я был на Колыме» — это его вечный укор первой жене Г. И. Гудзь). Основная часть написанного принадлежит периоду 1932—1936 годов, после Вишерского лагеря, но стихотворение про «девчонок» относится явно к концу 1920-х, потому что Шаламов приводит его в связи со своим посещением редакции журнала «Красная новь» в 1928 году. Стихи — почти детские, вполне традиционные, и Шаламову было больше всего странно, что консультант «Красной нови» А. Митрофанов почему-то назвал их «пастернаковскими»: «Вся Россия пишет под Пастернака. И вы тоже. И, знаете, идите домой».

Самое поразительное, что клише «Шаламов пишет под Пастернака», не имевшее ни тогда, ни позже никаких оснований, всплыло в начале 1960-х годов, когда стихи Шаламова попали в «Новый мир», к А. Твардовскому. Абсурдность подобных аналогий особенно очевидна в первом случае. Единственное, чем отличалось стихотворение Шаламова от формализованного на разные лады «многопудья» тогдашней поэзии, это простотой, непосредственностью и человечностью. Со стихами Пастернака он тогда едва познакомился, а подлинное открытие поэта, очарование им, вознесение его в собственных глазах до образа «живого Будды» произошло уже после Вишеры.

Можно ощутить, какими метаниями — от «Нового ЛЕФа» к «Красной нови» — сопровождался 1928 год для исключенно-

го из университета Шаламова. К этому периоду, очевидно, относится и самый разгар его увлечения московской театральной жизнью. Он и раньше старался бывать на всех самых громких премьерах — был и на «Днях Турбиных» М. Булгакова в Художественном театре, застал Михаила Чехова в «Петербурге» А. Белого в МХТ втором, был на исторических, закрывших целую эпоху похоронах М. Н. Ермоловой в марте 1928 года и на спектаклях «Синей блузы». Он ходил сюда со своими старыми друзьями-студентами. «Нашим любимым театром был Театр Революции. Нашей любимой актрисой — Мария Ивановна Бабанова. Я слышу и сейчас ее удивительный голос — будто серебряные колокольчики звенят», — вспоминал Шаламов...

Зная все обстоятельства его жизни — и предшествующие, и будущие, — его самого можно сравнить с пчелой, которая собирала последний нектар уходящего лета — плоды свободы 1920-х годов. Но прежде всего это были поиски выбора, того единственного пути, по которому можно — не жалея потом ни о чем — идти. И совершенно не случайно, что Шаламова так потянуло в этот момент от «левого фронта искусства» к правому, точнее — к «центру», олицетворением которого являлись тогда А. К. Воронский и его журнал «Красная новь». Это был несколько запоздалый, но интуитивно верный выбор.

Визит в редакцию журнала, располагавшуюся в Кривоколенном переулке, был на самом деле визитом к «шапочному разбору». Вышеупомянутые стихи про «девчонок» Варлам, вероятно, надеялся показать самому Воронскому. Но того в редакции уже не было — последний номер он подписал еще в октябре 1927 года, был удален и из издательства «Круг», имя его — в качестве идейного руководителя — исчезло и из ядра группы «Перевал», которую он возглавлял. Причина всего этого, как и последовавшего вскоре, в феврале 1928 года, исключения из РКП(б), — участие в той же так называемой троцкистской оппозиции. Ее самонаименование («большевики-ленинцы») имело для Воронского принципиальное значение, поскольку он лично знал Ленина, был с ним некоторое время весьма близок (особенно в период создания журнала «Красная новь» в 1921 году), навещал — один из немногих — больного Ленина в 1923 году и потому глубже многих понимал, какую линию в партии начал вести Сталин. Его долго не арестовывали, но в январе 1929 года он был все-таки отправлен в ссылку в Липецк.

Политическая опала Воронского резко повысила интерес к его литературным трудам. Шаламов всегда подчеркивал, что Воронский первым в советское время высоко оценил творчество Сергея Есенина и что именно Воронскому была посвящена крамольная «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка.

Кроме того, редактор «Красной нови» свободно писал о «гении» А. Белого, призывал «пролетарских писателей» учиться у... М. Пруста и представал в глазах молодежи 1920-х годов единственным (вместе с А. Луначарским) большевиком-гуманистом и гуманитарием, достойным оппонентом и РАППа, и ЛЕФа. Но самый большой интерес — и литературный, и политический — вызвала у Шаламова и его друзей книга Воронского «За живой и мертвой водой», особенно ее 2-я и 3-я части, опубликованные в 1928 году. Хотя она была посвящена дореволюционной подпольной деятельности автора, его тюремным заключениям и ссылкам, но воспринималась молодыми оппозиционерами как «катехизис» настоящего. Это подчеркивал и очень актуальный эпиграф из Лермонтова, предпосланный второй части: «И маршалы зова не слышат: иные погибли в бою, другие ему изменили и продали шпагу свою». Как писал Шаламов, это была книга, «где читающий мог научиться элементарным правилам конспирации, поведению на допросах», «главная книга, настольное пособие молодых подпольщиков тех дней».

Книги имеют свою судьбу — в зависимости главным образом от восприятия, и, вероятно, А. К. Воронский, расстрелянный за «троцкизм» Сталиным в период Большого террора, не имел цели написать какое-то практическое пособие для современной ему молодежи. Но для Шаламова это был самый живой и горячий пример «литературы факта» — в отличие от лефовских экспериментов, он позволил ему еще раз испытать мощное воздействие автобиографического начала в литературе, подобное тому, что в свое время дал Савинков — Ропшин: слово, подкрепленное делом, и история, создающаяся собственной судьбой.

В то время Шаламов считал, что достойных дел он еще не совершил. Повторяя Шиллера, не раз сокрушался: «Мне уже столько лет... И ничего для бессмертия!»

В 1928-м ему исполнился 21 год. Свой переход к новому этапу жизни он заключил словами: «Нам хотелось не только читать стихи. Нам хотелось действовать, жить».

Глава шестая

ПЕРВЫЙ АРЕСТ И «ПЕРЕКОВКА» НА ВИШЕРЕ

«Именем закона вы арестованы!» — эту грозную фразу Варлам впервые услышал 19 февраля 1929 года в подпольной студенческой типографии по адресу Сретенка, 26 (адрес указан в следственных документах), где сотрудники ОГПУ организовали засаду.

По-видимому, приходы в типографию для печатания там материалов оппозиции — одним из них был текст «Завещания» Ленина — и последующего их распространения были одним из последних поручений Шаламову от С. Гезенцвей. Она была выпущена тогда из-под ареста на поруки отца, но, как нетрудно догадаться, находилась под наблюдением. Провал типографии можно было предвидеть не только потому, что молодые оппозиционеры оказались неважными конспираторами. ОГПУ тогда уже приобрело особый нюх на тайную агитационную печать «троцкистов» — еще в 1927 году в Москве была раскрыта их нелегальная типография, о чем на упомянутом октябрьском пленуме делал специальный доклад Менжинский, а Сталин подлил масла в огонь, заявив, что типография была связана с белой эмиграцией. На XV съезде ВКП(б) было принято решение о массовой чистке партии от фракционеров. Надо добавить, что 24 января 1929 года Сталин опубликовал в «Правде» директивную статью «Докатились», где писал, что «в течение 1928 года троцкисты завершили свое превращение из подпольной антипартийной группы в подпольную антисоветскую организацию. В этом *то новое*, что заставило в течение 1928 года органы Совласти принимать репрессивные мероприятия по отношению к деятелям этой подпольной организации». А 19 февраля (как раз в день ареста Шаламова) «Правда» поместила краткую заметку: «Л. Д. Троцкий за антисоветскую деятельность выслан из пределов СССР постановлением Особого Совещания при ОГПУ».

Это были точно рассчитанные удары на добивание политического противника, и Шаламов был лишь одним из сотен других, подвергшихся арестам по всей стране.

Первый документ из его дела, рассекреченный почти семьдесят лет спустя, гласит:

«1929 г. Февраля 22 дня. Я, ст. уполн. IV Отд. ОГПУ Черток, рассмотрев дело по обвинению Шаламова Варлама Тихоновича, нашел, что в деле имеются признаки преступления, предусматриваемые 58—10 ст. УК, а потому, принимая во внимание вышеизложенное, постановил: привлечь Шаламова в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение по 58—10 ст. Угол. Кодекса и изменить меру пресечения уклонения от следствия и суда содержание под стражей»*. Другие данные из дела позволяют уточнить, что на момент ареста Варлам проживал на Садовой-Кудринской, дом 19, квартира 14 (здесь была комната его сестры Галины, уехавшей вскоре в Сухуми) и был уже

* Здесь и далее материалы следственного дела 1929 года цит. по: *Шаламов В.* Новая книга. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М., 2004. С. 949—958.

безработным, состоял на бирже труда. Все это показывает, что, несмотря на трудности своего житейского положения — а может, и благодаря им! — он, отбросив все литературные дела, решился на конкретную и крайне рискованную в тех условиях типографскую работу. Это был вполне осознанный шаг, который нельзя объяснить только влиянием С. Гезенцвей и других друзей. Шаламов страстно желал испытать себя — пройти весь тот жертвенный путь, который давно вынашивал в мечтах и для которого пришло время...

Один из современных французских писателей Х. Семпрун (хорошо знакомый с историей как русского, так и зарубежного левого движения) считал, что подобное поведение свойственно многим людям «в отчаянном возрасте двадцати двух—двадцати четырех лет». Шаламов принадлежал именно к такому поколению. Но мотивация его действий в конце 1928-го — начале 1929 года была все же, как представляется, несколько иной. Недаром он с таким упорством доказывал в очерке «Бутырская тюрьма. 1929 год» отсутствие у себя каких-либо романтических, подражательных устремлений: «Просто я считал эту форму поведения достойной человека, может быть, единственно достойной в тот миг, в тот год для себя». Это особенно важно — «миг» и «год». Ибо в ситуации, когда шел открытый и жестокий погром — не столько оппозиции как таковой, а погром едва разгоревшихся надежд молодого поколения на свободное существование и действование, Шаламов подчинялся скорее чувству солидарности, долга и чести, нежели чему-либо иному. Как можно понять, зная последующую биографию писателя, это был шаг не сиюминутного юношеского «отчаяния», а шаг глубокого и твердого самоопределения на всю оставшуюся жизнь. В конце концов, в этом выборе одна из главных экзистенциальных тайн Шаламова. И если ее можно разгадать, то скорее в той философской плоскости, какую наметил Достоевский в своей характеристике вечного типа «русских мальчиков», говоря об Алеше Карамазове: «Это был юноша честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силою души своей, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью». (Заметим, что образ Алеши соответствует лишь молодому Шаламову — в «Колымских рассказах» он, с его страстной силой отрицания и стремлением проникнуть в бездны человеческого бытия, становится гораздо ближе к Ивану Карамазову...)

День ареста Варлам считал «началом своей общественной жизни — первым истинным испытанием в жестких условиях».

Следователь Черток (писатель прекрасно помнил фамилии всех своих следователей) направил его «для вразумления» в одиночку Бутырской тюрьмы и держал там почти месяц. «Вразумление» понадобилось потому, что Варлам отказался давать какие-либо показания относительно характера своей деятельности, связей и т. д. В протоколе приведен лишь его краткий ответ «по существу дела»:

«Я считаю, что руководство ВКП(б) сползает вправо, тем самым способствует усилению капиталистических элементов в городе и деревне и тем самым служит делу реставрации капитализма в СССР. Я разделяю взгляды оппозиции. Был я арестован в засаде. На всякие вопросы, относящиеся к моей оппозиционной деятельности, я отвечать отказываюсь».

Подобная линия поведения на следствии предусматривалась на случай ареста всеми его друзьями. Но какова откровенность Шаламова в высказывании своих политических взглядов! Он не прибегал ни к каким уловкам и говорил абсолютную правду — так, как он ее тогда понимал: исключительно с «левой», причем ортодоксальной точки зрения. Это было наивно, тем более перед следователем, и не случайно в поздние годы Шаламов писал, что в то время он был «юным догматиком». Но то, что он не признал предъявленного ему обвинения по статье 58—10 («пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, а равно и распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания» — по Уголовному кодексу РСФСР 1926 года), — было серьезным и принципиальным поступком. Шаламову пришлось изучать новый кодекс на факультете советского права, и он заявил со знанием дела: «Считаю обвинение клеветническим и противоречащим содержанию 58 статьи. 58 статья направлена против контрреволюционеров».

Следователь и обвинители из Особого совещания ОГПУ тогда еще формально считались с законом, тем более имея перед собой такого «доку», бывшего студента-юриста. В итоге дело было переквалифицировано, но откровенно издевательски, для того, чтобы поставить строптивого оппозиционера на место — Шаламова осудили быстро, уже 22 марта, по статье 35 Уголовного кодекса как «социально вредный элемент» на три года концлагерей. (Тогда слово «концлагеря» еще было в ходу и лишь в 1930-м заменено на «исправительно-трудовые лагеря».)

Обычно по такого рода делам в то время давали ссылку или политизолятор. Суровость приговора, его цель мщения и унижения Шаламов особенно осознал, когда его погрузили в один вагон с ворами: «Татуированные тела, технические фуражки

(половина блатных маскировалась в двадцатые годы инженерскими фуражками), золотые зубы, матерщина, густая, как махорочный дым...» Сам он был одет в то, в чем был арестован — перешитая шинель и шлем, без вещей и денег. «Пайка и дорожная селедка уравнивали меня в социальном отношении с обитателями вагона», — писал он.

Осмысливая первый приговор с поздней дистанции в «Вишерском антиромане», Шаламов делал вывод: «Для Сталина не было лучшей радости, высшего наслаждения во всей его преступной жизни, как осудить человека за политическое преступление по уголовной статье. Это и есть одна из сталинских “амальгам”».

Формулировка писателя от первого до последнего слова выстрадана личным опытом, и тем не менее в ней есть отголосок некоторых оборотов, использовавшихся в работах Троцкого. Особенно это касается слова «амальгама», часто употреблявшегося лидером левой оппозиции начиная с середины 1920-х годов. Троцкий, как известно, постоянно прибегал к аналогиям из истории Великой французской революции, и «термидор» (в его понимании — перерождение власти большевиков после Октября) тут не единственный термин. Широко применялось во время французского термидора и слово «амальгама», идущее от алхимии и означающее сплав разнородных, несочетаемых материалов, а в приложении к политике — ложные, фальсифицированные обвинения-ярлыки, наклеивавшиеся на всех противников. Главной сталинской амальгамой был сам ярлык «троцкизма» как некоей демонической силы, постоянно противостоящей «линии партии» и связанной с контрреволюцией.

Шаламов уже тогда хорошо разбирался в тонкостях тактики Сталина и внутрипартийной борьбы, но на некоторое время ему пришлось об этом забыть.

Девятнадцатого апреля 1929 года он вступил — после заключительного пешего этапа под конвоем — в ворота Вишерского лагеря. Позади многодневный путь то с отцепками, то с прицепками вагонов с заключенными к различным поездам. Стояли и в Вологде. «Там, в двадцати минутах ходьбы, — писал Шаламов, — жили мой отец, моя мама. Но я не решился бросить записку». Последней железнодорожной станцией был Соликамск. Тяжким испытанием стал подвал местной пересыльной тюрьмы, располагавшейся в бывшей церкви, куда втолкнули 200 человек и заставили ночевать стоя, в страшной тесноте и духоте: конвоир тыкал штыком в глазок двери, откуда едва поступал воздух. Надпись углем на потолке подвала запомнилась Шаламову на всю жизнь: «В этой могиле мы уми-

рали трое суток, но все же не умерли. Крепитесь, товарищи!» Это был сигнал от кого-то из предыдущего этапа.

Почти 100-километровый переход до села Вижаиха, где располагалось лагерное управление, по холодной апрельской распутице длился несколько суток. На одной из стоянок на утренней поверке произошел случай, показавший, до какой степени свойственно было молодому Шаламову чувство протеста против несправедливости. Он заступился за человека, которого жестоко избивал конвой. Это был сектант Петр Заяц, замеченный им еще в вагоне: тот постоянно молился. Заяц с разбитым в кровь лицом был втиснут в арестантский строй, где опустился на колени и кричал: «Драконы! Драконы! Господи Исусе!» К нему подошел начальник конвоя и пинком опрокинул на снег. Подоспели и другие конвоиры и стали топтать сектанта ногами.

«Я подумал, что, если я сейчас не выйду вперед, я перестану себя уважать, — писал Шаламов. — Я шагнул вперед и срывающимся голосом сказал: — Не смейте бить человека. Это не советская власть».

Избиение прекратилось. Но заступничество не прошло безнаказанным. Ночью двое конвоиров с винтовками вывели Шаламова из избы раздетым и заставили стоять в снегу. Сколько длилась эта экзекуция, он не помнил. Но в итоге он был избит сапогами: «Удар тяжелого каблука пришелся прямо в зубы, и рот наполнился теплой кровью».

Этот случай потом лег в основу рассказа, названного Шаламовым многозначительно — «Первый зуб». Выбитые зубы в его жизни оказались, увы, не последними, но это уже происходило на Колыме. А здесь ему дали ясно почувствовать, что он попал в другой мир, где по-своему понимают, что такое «советская власть», что «качать права» в лагере не принято, а заступаться за кого-то — тем более. Этого не могли понять и уголовники-блатари, которые поглядывали на молодого «фраера» недружелюбно, приучая к закону, что в лагере каждый отвечает только сам за себя.

Шаламов сделал свои выводы из происшедшего. Но не крайние — не в пользу приспособления к новым для него правилам жизни и не в пользу равнодушия. Первые его месяцы на Вишере, — когда он работал на лесозаводе, таскал вместе со всеми бревна и доски, жил в бараке при довольно сносном тогда питании, — были наполнены сомнениями и размышлениями, о которых он писал так:

«Разве можно допустить, чтобы про меня сказали что-нибудь нехорошее? Не в смысле лагерных установлений и правил, а за некрасивый поступок любой. Как все продумать?

У кого найти помощь?.. Я твердо решился — на всю жизнь! — поступать только по своей совести. Никаких других мнений. Я возненавидел лицемеров. Честность, элементарная честность — великое достоинство. Самый главный порок — трусость. Я старался быть бесстрашным и несколько раз доказал это» («Вишерский антироман»).

Самый бесстрашный поступок Шаламов совершил в июле 1929 года, написав письмо в «Коллегию ОГПУ, ЦК ВКП(б) и Прокурору ОГПУ» — именно так гласит верхняя строка документа. Он узнал, что многие его товарищи по университету — те, кто был в ссылках и политизоляторах, — вернулись, подав соответствующие прошения с отказом от «платформы оппозиции» (но подобным образом поступили, мы знаем, далеко не все). Как вспоминал Шаламов, он написал заявление, ничего не прося, просто: «присоединяясь к Заявлению Раковского, которое мне казалось наиболее приличным из написанного "возвращенцами"»*. Ответа на свое письмо в Москву Шаламов не получил, и о причинах этого можно догадаться, ознакомившись хотя бы с некоторыми фрагментами этого единственного и потому уникального в биографии писателя политического заявления, найденного в архиве ФСБ и опубликованного лишь в 2000 году.

«Разделяя взгляды ленинских оппозиционеров, я не разделил их судьбы. Брошенный в концентрационный лагерь — один — без всякой моральной и материальной поддержки — в среду уголовников, растратчиков, шпионов и контрреволюционеров — среду, с которой я не только никогда не имел ничего общего, но, где можно, боролся против них за партию, за советскую власть и ее политику. В обстановке полной мораль-

---

* Здесь очевидная ошибка памяти Шаламова. Заявление видного большевика, участника левой оппозиции Х. Г. Раковского с просьбой о восстановлении в партии (несмотря на политические расхождения в вопросах о «правой опасности» и партийной бюрократизации, с протестом против высылки Троцкого и с убеждением в том, что «оставшиеся между нами разногласия, правильность которых будет проверена жизнью, вполне укладываются не только в рамки программы и устава партии, но и являются ответом на запросы, выдвигаемые самим развитием социалистического строительства») было написано и начало распространяться 22 августа 1929 года, а Шаламов написал заявление 6 июля. Очевидно, Шаламов имеет в виду более известное тогда программное письмо Раковского «О причинах перерождения партии и государственного аппарата», написанное 6 августа 1928 года в ссылке в Астрахани и распространявшееся среди членов оппозиции. Следует иметь в виду, что Раковский проявлял наибольшее упорство в сопротивлении сталинскому режиму, стал «возвращенцем» лишь в 1934 году, а в 1937 году был привлечен по делу так называемого «Правотроцкистского блока». Расстрелян в 1941 году в Орловской тюрьме.

ной изолированности, больше того — бойкота и издевательств (именно как разделяющий взгляды оппозиции) заставлен я отбывать срок... Еще раз излагаю в общем и кратком мои политические взгляды.

Напряженная политическая жизнь последних лет вынуждала каждого настоящего советского гражданина так или иначе определить свое отношение к сегодняшнему и завтрашнему дню. С другой стороны, совершенно ясно, что партия не представляет собой замкнутой касты, что интересами партии живут не только люди, имеющие партийный билет. Любой "беспартийный" может и должен принимать участие в разрешении всех вопросов, которые выдвигает жизнь перед партией, следовательно и перед рабочим классом или, вернее, перед рабочим классом, следовательно и перед партией...

Работа оппозиции и до и после XV съезда не была антипартийной работой. Содержание ее, включая самые "криминальные" методы, вроде поддержки в кратких и исключительных случаях стачек — направлены были по существу на пользу ВКП(б) как партии рабочего класса. Вынужденная прибегнуть к "нелегальным" методам апелляции к рабочему классу — только к нему обращалась оппозиция — и не ошиблась в своей правоте. В мероприятиях последних месяцев в значительной степени участвовала ленинская оппозиция своей критикой, указаниями и работой. Решения XVI конференции, чистка партии, чистка аппарата, борьба с правым уклоном, правда, ведшаяся почти вслепую без названия имен, имен, которые смело называла оппозиция — представляют собой, несомненно, серьезные шаги руководства влево, т. е. в направлении исправления сделанных ранее ошибок. Ясно одно: эти ошибки руководство старается исправить. Но исправить сверху силами того же аппарата. Каждый большевик-ленинец обязан поддерживать все практические революционные шаги настоящего Центристского руководства, которое сейчас оголяет себя, отсекая налево и направо (больше налево, чем направо). О методе борьбы "на два фронта" достаточно хорошо сказано в письме Л. Д. Троцкого "Кризис правоцентристского блока и перспективы". Одной рукой стараясь исправить ошибки (что невозможно без самого близкого участия широких масс рабочего класса), партруководство другой рукой посылает оппозиционеров на каторгу. Именно это в первую очередь заставляет сомневаться в решительности взятого курса, ибо политика не может знать злобы... Партруководство упорно толкало оппозицию на отрыв от партии. Целый ряд выступлений вождей и целый ряд репрессивных мер по отношению к оппозиционерам, вплоть до высылки Л. Д. Троцкого за границу и последую-

щих попыток дискредитировать имя одного из вождей Октября в глазах рабочих — достаточно веское свидетельство двойственности политики партруководства...

Политика — меньше всего вопрос самолюбия. И кто не понял того, что рука оппозиции все время протянута партии — тот не понял ничего в политических событиях последних лет. Беда в том, что руководство продолжает оставаться аппаратом, несмотря на смоленские, сочинские, артемовские и астраханские дела.

Я считал вместе с большинством ленинской оппозиции — единственным средством выправления курса партруководства, а следовательно, и всей советской и профсоюзной политики является глубокая внутрипартийная реформа на основе беспощадной чистки всех термидориански настроенных элементов и примиренцев к ним. Возвращение ленинской оппозиции в партию из ссылок, тюрем и каторги. И я был бы не в последних рядах той партии большевиков, которую воспитывал Ленин. Вот мои взгляды.

Заключенный 4 роты Упр. Вишерских Лагерей Особого Назначения. Шаламов В. Т.».

Для чего было написано это письмо? Что заставило 21-летнего Варлама, уединившись где-то в уголке барака, так безоглядно смело составлять петицию на самый «верх», излагая свои взгляды — те самые, за которые его и повергли в лагерь? «Бесстрашие этого мальчика удивляет», — писала И. П. Сиротинская, комментируя это письмо. В самом деле, в заявлении Шаламова нет никаких просьб об освобождении или смягчении наказания, а только обвинения в адрес партруководства. Наверное, главным и единственным мотивом письма было стремление *лично* показать, что оппозиция не собирается сдаваться, что к ней надо прислушиваться, а не давить репрессиями. Этот голос «мальчика» был по большому счету голосом «мужа», стремившегося присоединить свой голос рядового бойца к голосам тех лидеров оппозиции, которые не собирались идти под крыло сталинского единомыслия...

Необходимы и другие комментарии. Наглядно видно, сколь высоко ценил юный «беспартийный большевик» Шаламов В. И. Ленина и сколь хорошо он знал его «Завещание», изложенное не только в характеристике Сталина, но и в других последних работах. Например, фраза «политика не может знать злобы», кажущаяся воплощением юношеского идеализма Шаламова, является, на наш взгляд, прямым парафразом запомнившихся ему заметок Ленина «К вопросу о национальностях или автономизации» (1922), где критика Сталина была еще более глубокой: «Я думаю, что тут сыграли свою роковую

роль торопливость и администраторское увлечение Сталина, а также его озлобление против пресловутого "социал-национализма". Озлобление вообще играет в политике обычно самую худую роль»*.

Несомненно, что так же хорошо знал молодой Шаламов некоторые работы Л. Д. Троцкого, коль скоро он прямо ссылался на его статью «Кризис правоцентристского блока» (октябрь 1928 года). О связи письма Шаламова с заявлением Х. Г. Раковского уже говорилось, и упоминаемые «смоленские, астраханские» и другие дела — это скандалы, связанные с коррупцией, произволом и моральным разложением местной партийно-советской верхушки. Причем Раковский прямо указывал на главную причину этого — постоянное повышение при Сталине так называемого партмаксимума (зарплаты) работников органов власти: в 1928 году этот партмаксимум достиг уже 225 рублей в месяц, в то время как рядовой коммунист, работая в шахте, получал 50—60 рублей. Очевидно, что откровенный «прикорм» (или «кормление», по-старому царскому обычаю) аппарата в центре и на местах имел со стороны Сталина вполне прагматичную цель — обеспечить себе политическую поддержку. В связи с этим Раковский делал глубокий и принципиальный вывод: «Я считаю утопией всякую реформу партии, которая опиралась бы на партийную бюрократию».

Можно еще раз убедиться, что Шаламов и на Вишере хорошо ориентировался в политической ситуации в стране и был по-настоящему идейным и убежденным сторонником ленинской линии. Но с точки зрения ОГПУ его заявление недвусмысленно квалифицировало его как «неразоружившегося троцкиста». И кара за это последовала. Правда, не сразу — видимо, из-за каких-то сбоев в бюрократической машине, а 14 февраля 1932 года Особое совещание вынесло постановление: «По отбытии срока наказания Шаламова Варлама Тихоновича выслать в Севкрай сроком на три года». Одновременно ушло распоряжение Архангельскому представительству ОГПУ: «Осужденного надлежит направить спецконвоем в г. Архангельск, в распоряжение ОГПУ Севкрая для водворения по месту ссылки».

Но когда эти постановления пришли в управление лагерей в Вижаиху (переименованную в Красновишерск), Шаламова там уже не было — он, отбыв наказание досрочно, спокойно вернулся в Москву.

Эта странная для карательных органов неувязка обернулась бумажной трагикомедией о его розыске. «З/к Шаламов осво-

---

* *Ленин В. И.* Полное собрание сочинений. М., 1967—1981. Т. 45. С. 357.

божден из ВИШЛАГа 11.X-31 г. и убыл в Ваше распоряжение», — отвечали из управления вишерских лагерей в Березниковский отдел ОГПУ (копия — в Москву). «ПП (полномочное представительство. — *В. Е.)* ОГПУ по Уралу просит принять срочные меры к розыску и задержанию Шаламова Варлама Тихоновича, 22 лет, уроженца г. Москвы, происходящего из мещан, русского, образование выше среднего, по профессии клубного работника — кожевника-дубильщика, б/п, скрывшегося на места ссылки (так!) Березниковского р-на» — этот документ из Свердловска датирован уже августом 1932 года. А в июне 1933 года из Березников еще раз докладывали в Москву: «Шаламов по освобождении из лагерей ОГПУ в распоряжение Березниковского оперсектора ОГПУ не прибыл и на территории сектора не установлен».

Вся эта несуразица возникла вовсе не из-за того, что Шаламов скрылся, бежал. Беглецов из лагерей и спецпоселений в те годы было огромное количество, и до введения паспортной системы и прописки с декабря 1932 года они могли без больших проблем найти не только убежище, но и работу, и жилье, предъявив любой документ, например, профсоюзный билет — что и было в случае с Шаламовым. Он выпал из поля зрения ОГПУ, потому что действительно был освобожден раньше — благодаря целому ряду обстоятельств, о которых речь впереди.

Несомненно, в истории с его заявлением и «заторможенной» реакцией ОГПУ ему выпала громаднейшая удача — ведь если бы он был отправлен в ссылку в Архангельск как «троцкист», то это неминуемо затянуло бы его в ту кровавую расстрельную мясорубку 1936—1938 годов, от которой не спасся практически никто из его ссыльных товарищей. Счастьем для Шаламова было и то, что сам он до нового ареста не знал, что его разыскивают. Много, очень много было в его жизни таких удивительных и спасительных удач, особенно на Колыме, и как тут не поверить в некое Провидение, в то, что кто-то «свыше» оберегает его? Это тоже одна из тайн Шаламова, но связана она, как мы еще не раз убедимся, прежде всего с его характером, с выработанными им правилами поведения в лагере. Одно из этих правил он сформулировал так: «Прежде всего: я не должен ничего просить у начальства и работать на той работе, на какую меня поставят, если эта работа достаточно чиста морально...»

Так и было. Сравнительно благополучная «карьера» Шаламова на Вишере никак не была связана с каким бы то ни было заискиванием перед начальством. Просто он, резко выделявшийся среди своего уголовного окружения, москвич и недавний студент-юрист, проходил по категории «грамотных», ко-

торых в лагере было немного. Поэтому таскать бревна и доски ему пришлось недолго — уже осенью 1929 года он был назначен десятником в поселок Ленва на реке Каме — место строительства Березниковского химкомбината. На этой должности он сразу столкнулся с проблемами морального порядка. Здесь, в отдалении от высшего начальства, царила круговая порука взяточничества: коммерческие агентства (последние остатки нэпа), чтобы обеспечить скорейшую разгрузку своих речных грузов, подкупали и заключенных, и десятников, и конвоиров, отвлекая их от основной работы. Шаламов не мог мириться с этим. «Ко мне тоже агенты обращались неоднократно, зная, что мне передана эта власть, но я гнал их от себя», — писал он. Ему твердили, что он слишком молод и «не знает жизни», а здесь «золотое дно», «нужно только взять, нагнуться в траву» (слова Б. М. Лазарсона из одноименной главы «Вишерского антиромана»). Но Шаламов был неподкупен. Следствием этого стали доносы на него. «Думаю, что доносы на меня полетели в управление с того самого часа и мига, как моя нога, обутая в лагерный кожаный ботинок, ступила на березниковский причал», — саркастически замечал писатель.

Доносы, явно клеветнические, имели целью убрать строптивого десятника с должности. Но опытное начальство, тоже «знавшее жизнь» (в том смысле, что взяточничество, воровство и «туфта» на любой стройке неискоренимы, а в Березниках, будущем «гиганте пятилетки», они тогда цвели самым пышным цветом), имело свои виды на «белую ворону» — молодого, образованного и честного заключенного. По распоряжению главного инженера П. П. Миллера он был переведен на должность заведующего отделом труда или, по-лагерному, учетно-распределительной части (УРЧ) и вошел в разряд инженерно-технических работников, в «элиту» заключенных Березниковского отделения ВИШЛАГа (сам Миллер тоже был заключенным, осужденным за «вредительство»). В этой должности Шаламов работал весь 1930 год, с двумя перерывами — они были вызваны попытками привлечь его по новым делам.

Первое дело носило опять же политический характер. Шаламова под конвоем отправили в управление лагеря, потому что в его адрес стали поступать письма от друзей-оппозиционеров, находившихся в ссылках в разных концах страны. Они узнали его адрес и по обычаю писали не о личном, а о политике, присовокупляя копии статей, выходивших из-под пера теоретиков и практиков оппозиции. Авторы писем, увы, не знали разницы между ссылкой и лагерем: если в первом случае перлюстрации можно было избежать, давая адрес какого-то знакомого (старый, еще дореволюционный способ), то в лагере за

перепиской следил специальный цензор. У него накопился целый ворох таких писем, что грозило Шаламову большими неприятностями. Но дело, к счастью — опять к счастью! — было спущено на тормозах. Сам Шаламов объяснял это тем, что «до 1937 было еще целых восемь лет», а его начальники не хотели «шума». По этому поводу писатель вывел один из своих лагерных афоризмов: «Начальники, ждущие чужого приказа (то есть не проявляющие собственной инициативы в наказании заключенных. — *В. Е.*), — лучшие начальники».

Второе дело было чисто хозяйственным, но нагрянувшая в Березники группа следователей хотела превратить его в очень модное тогда, после «шахтинского процесса»*, политическое дело о «вредительстве». Оно касалось главным образом двух персон — начальника Березниковского отделения ВИШЛАГа М. П. Стукова и упоминавшегося П. П. Миллера, но в числе десятков подозреваемых оказался и Шаламов. Следствие продолжалось четыре месяца, и все это время Варлам провел в изоляторе, откуда постоянно вызывался на допросы. По своей привычке он отвечал следователям очень коротко — «да» или «нет», «не знаю», «прошу задавать вопросы, касающиеся моей личной работы». Главной задачей следователей было добиться от него уличающих показаний против Стукова и Миллера, но Шаламов на это не шел из принципа. Само следствие открыло ему — еще раз, и очень близко! — всю механику амальгам сталинского периода. При этом «дело Стукова», как оно именовалось, вывернуло перед ним наизнанку самые разнообразные стороны новой действительности, которая утверждалась на заре системы ГУЛАГа — и мрачные, и трагикомические.

Уже первый допрос помог ему — благодаря нечаянному случаю — заглянуть в святая святых лагерной системы и новой политической системы в целом. Первый следователь Пекер-

---

* Судебный процесс 1928 года в Шахтинском районе Донбасса по обвинению большой группы (53 человека) руководителей и специалистов угольной промышленности из ВСНХ, треста «Донуголь» и шахт во вредительстве и саботаже. Официально называлось «Дело об экономической контрреволюции в Донбассе». Обвиняемым вменялось в вину не только «вредительство», но и создание подпольной организации, установление конспиративной связи с московскими «вредителями» и с зарубежными антисоветскими центрами. Суд приговорил 11 человек к расстрелу. Пятерых из них расстреляли 9 июля, шестерым остальным расстрел заменили десятью годами лишения свободы. Четверо обвиняемых были оправданы, четверо получили условные сроки наказания. Остальные — от одного до десяти лет лишения свободы, с поражением в правах на срок от трех до пяти лет.

По результатам расследования Генеральной прокуратуры РФ в 2000 году все осужденные по делу были реабилитированы за отсутствием состава преступления. (*Прим. ред.*)

ский (тоже заключенный — бывало и такое — по служебной статье) оказался безалаберным и после начала допроса куда-то надолго отлучился. Шаламов, оставшись один, невольно стал разглядывать стол и бумаги, которые лежали сверху. Увидев чей-то знакомый почерк, он уже не мог остановиться. «Это были заявления, информация сексотов, как раз по моему адресу и вообще о лагере, о производстве, — вспоминал он. — Каждый сексот имел свой псевдоним. Наш руководитель работ Павловский, чья койка стояла рядом с моей, подписывался “Звезда”. Мой помощник, бывший нижегородский фининспектор, подписывался “Рубин”. Я, конечно, сразу понял, в чем дело, и познакомился со списком сексотов основательно. Это был поразительный случай доносительства абсолютно всех...»

Еще одно открытие произошло, когда у Шаламова попросила личного свидания девушка-нарядчица женской роты и сказала, что ее вызывали и заставили подписать заявление, что он, зав. УРЧ, склонял ее к сожительству. «Спасибо и за это», — сказал Шаламов. Другой повод следователи нашли в доносе о том, что Шаламов-заключенный незаконно посещал столовую для иностранцев. Таковая появилась на Березникхимстрое, когда сюда приехали поставщики оборудования — главным образом немцы и американцы. Шаламов отвечал: «Пропуск дали по распоряжению начальника, спросите у начальника». Это был не «блат», а, как объяснял Шаламов, обмен услугами между начальником стройки и начальником лагеря: поскольку все повара были заключенными, продукты шли через сеть снабжения лагеря и лагерь давал стройке основную часть рабочей силы, в эту столовую (фактически ресторан, «гастрономический рай») было выдано пять пропусков для лагерных ИТР, один из которых достался Шаламову. «Мы занимали всегда отдельный столик и в своей лагерной робе представляли, наверное, красочную картину», — с иронией вспоминал писатель.

В итоге приговор по «делу Стукова» свелся к суммированию всех ложных доносов: «За систематические избиения заключенных, за кражу государственного имущества, за понуждение к вступлению в половую связь...» Шаламов слушал и не верил своим ушам. Утешало лишь то, что по этому абсурдному делу всем десяткам обвиняемых (Шаламов писал — «около сотни») было назначено и абсурдное наказание в виде штрафного изолятора сроком на четыре месяца — то, что они уже отсидели*...

---

* По сведениям В. А. Шмырова, председателя пермского отделения «Мемориала», многотомное фантастическое «дело Стукова» до сих пор хранится в местном архиве УФСБ. Кто бы взял на себя труд исследовать его и сравнить со свидетельствами Шаламова, которые, конечно, далеко не полны?

Такие чудеса происходили в вишерских лагерях, созданных для строительства двух важнейших объектов первой пятилетки на Северном Урале. Шаламову уже тогда стал ясен главный секрет быстрого покрытия ущерба от воровства, строительного брака, аварий и прочих прорех — за счет использования бесплатного и безучетного труда транзитных этапов заключенных, шедших на Север, на лесозаготовки. Таких этапов, состоявших в основном из раскулаченных крестьян, через Березники проходило множество, и начальники строительства, сговариваясь с начальниками конвоя, заставляли их задержаться на стройке. «Голодный транзитник за пайку хлеба поработает охотно и результативно, — констатировал Шаламов. — В этом разгадка тайны, которую не разгадала и Москва». Из этих этапов начальник лагеря Стуков отбирал себе и лучшую рабочую силу, приговаривая: «Кулаки — самый работящий народ...»

За два с половиной года Варлам узнал и увидел очень много. Вся начальная история вишерских лагерей прошла на его глазах. В 1929 году здесь было лишь отделение Соловецкого лагеря особого назначения с двумя тысячами заключенных. В 1932 году это был самостоятельный лагерь с «населением» более десяти тысяч. А всего через Вишеру с учетом лесоразработок, где добывалась древесина для строительства и для сырья целлюлозно-бумажного комбината, прошло около семидесяти тысяч человек. Шаламов не знал этих последних общих цифр и склонен был в позднее время их многократно преувеличивать — до «сотен тысяч». Но поводом для этой невольной гиперболизации служили печальные живые картины, которые он наблюдал и навсегда сохранил в памяти. Это и «туча пыли», на которую летом 1929 года сбежался смотреть через колючую проволоку едва ли не весь лагерь в Вижаихе: «Туча подползла ближе, сверкали штыки, а туча ползла и ползла. Это был этап с севера — серые бушлаты, серые брюки, серые ботинки, серые шапки — все в пыли. Сверкающие глаза, зубы незнакомых и страшных чем-то людей». Страшных, потому что они — с лесозаготовок, где «рубят руки, где цинга губит людей, где начальство ставит “на комарей” в тайге...». Это были и увиденные им едва ли не в первый день три ящика-гроба с убитыми беглецами, и услышанное тогда же известие, что за каждого пойманного беглеца местным жителям-чалдонам выдают полпуда муки (возобновленный обычай царских времен). А непосредственную картину масштабов бегства раскулаченных спецпоселенцев — бегства, вызванного страшными, невыносимыми условиями, — ему пришлось увидеть во время поездки в Чердынь, в леспромхозы, в конце 1930 года: «Местный ко-

мендант показывал нам брошенные поселки. Это были поселки ссыльных по коллективизации. Кубанцы, не державшие в руках пилы, завезенные сюда насильно, бежали лесами». А приезжие инспекторы подвергались атаке голодных женщин и детей, которые просились в лагерь...

Думал ли он, участник левой оппозиции, которая тоже провозглашала «борьбу с кулаком», что эта борьба может вылиться в такие чудовищные формы? Это важный вопрос, на который сам Шаламов и дал ответ — запечатленными им картинами. Известно, что все оппозиционеры восприняли сталинские методы коллективизации с огромным возмущением. В обращении Х. Г. Раковского и других его единомышленников в ЦК ВКП(б) и ко всем членам ВКП(б) в начале 1930 года подчеркивалось, что «директива о сплошной коллективизации является грубейшим отклонением от социализма». Вопреки распространенным мнениям о том, что Л. Д. Троцкий был «ненавистником крестьянства» и едва ли не идеологом «великого перелома», он на самом деле являлся сторонником гораздо более гибкой и реалистичной политики в деревне, основываясь на идее Ленина о незыблемости «союза с середняком» и давлении на кулака прежде всего экономическими, налоговыми методами. Саму идею форсированной коллективизации Троцкий назвал «экономическим авантюризмом», «ультралевизной» и опубликовал в «Бюллетене оппозиции» целую серию статей и заметок с мест против «выкорчевывания капитализма на конной тяге в порядке энтузиазма агентов ГПУ»*.

Шаламов был отрезан от любой нелегальной литературы, но все грани практических результатов сталинской политики он видел и ощущал каждый день.

Один из парадоксов Вишеры состоял в том, что «раскулаченные», попавшие в лагерь, оказывались в неизмеримо более выгодном положении, нежели те, кто был отправлен на лесозаготовки. Там царили голод и произвол, а в огороженных колючей проволокой зонах вблизи строек сложилась по-своему гуманная и упорядоченная система питания и работы — то, что в неприхотливом русском народе называется «жить можно» («...а если повезет — то очень хорошо», обычно добавляли «знающие жизнь» люди). Поэтому так стремились заброшенные в леса жертвы коллективизации попасть в зону! И были чрезвычайно рады, когда северные лесные поселки в 1931 году вышли из-под нерадивого попечения местных властей и вошли в систему всемогущего ОГПУ — снабжать, кормить стали лучше.

---

* *Роговин В.* Власть и оппозиция. М., 1993. С. 139—155.

В 1929 году, когда Шаламов пришел этапом на Вишеру, у всех заключенных был гарантированный паек в 800 граммов хлеба с хорошим «приварком» — с винегретом, кашами и супами. При этом за работу особенно не спрашивали. Но прибытие в начале 1930 года Э. П. Берзина, инициатора постройки Вишерского ЦБК, назначенного сюда по решению ЦК ВКП(б) директором с чрезвычайными полномочиями по линии партии и ОГПУ, резко изменило весь уклад жизни заключенных. Впрочем, перемены начались еще в конце 1929 года, когда приехала «команда» Берзина, а сам он в это время был в Германии, закупая оборудование. Перед ними была поставлена задача — в кратчайшие сроки пустить первый на Северном Урале комбинат, дать стране не только бумагу, но и целлюлозу, столь необходимую авиационной промышленности. И задача была выполнена — всего за полтора года в далекой глуши был построен и пущен этот ударный объект первой пятилетки. Как случилось это чудо, какими методами и какими людьми — никто лучше Шаламова, наверное, не рассказал.

Он довольно близко узнал Берзина в этот период, не раз встречался с ним на совещаниях и собраниях, а однажды даже сопровождал директора во время полета на гидроплане для обследования северных лесных территорий. Оценки Берзина у Шаламова с течением времени сильно менялись, но в те годы он находился под воздействием обаяния этого необычайно волевого и разносторонне талантливого человека — в юности окончившего Берлинское художественное училище, в годы революции — командира артдивизиона латышских стрелков, участника знаменитой операции ЧК по ликвидации заговора Локкарта в 1918 году, нацеленного затем Дзержинским (в пору, когда тот возглавлял ВСНХ) на хозяйственный фронт. В том же «Вишерском антиромане» Шаламов признавался, что, «когда приехал Берзин, а главное, приехали берзинские люди, все казалось мне в розовом свете, и я готов был своротить горы и принять на себя любую ответственность».

Такое воздействие на Шаламова оказывала прежде всего сама необычная роль бывалого чекиста — не как представителя скомпрометированной в его глазах новейшей охранительной системы, а как созидателя-большевика, отдающего всего себя делу революции в ее конструктивный период. Тем более что действовал Берзин совсем неординарно — смело, с новыми, бурлящими почти по-лефовски, идеями, жестко, но разумно и спокойно. Особое уважение испытывал Варлам, как видно, и к «берзинским людям». Прежде всего (как ни покажется странным!) к заместителю директора по управлению лагерями И. Г. Филиппову — тоже старому чекисту, бывшему путилов-

скому токарю, имевшему большой авторитет среди заключенных еще по Соловецкому лагерю — он был там председателем комиссии по освобождению («разгрузочной комиссии», как ее называли) и решал дела по справедливости. «Полный, добродушный, веселый» — таким он запомнился Шаламову. Еще более странными могут показаться симпатии молодого Варлама к члену берзинской «команды» Р. И. Васькову, тоже начинавшему свой путь в лагерной системе на Соловках, но приобретшему там далеко не лестную славу. Шаламов опирался на личные впечатления от встреч с Васьковым — своим непосредственным начальником (тот руководил учетно-распределительным отделом (УРО) всего лагеря, куда вскоре, после Березников, был переведен Шаламов). Кстати, его, молодого, здесь с иронией называли «героем березниковского процесса» («дела Стукова») — понятно, что ирония касалась и самого этого фальшивого дела, инспирированного Москвой. Васьков, по свидетельству Шаламова, был матерщинник, но «неплохо относился к заключенным, большого начальника из себя не строил», а пил только минеральную воду из-за болезни желудка. Но особенно сблизился Варлам в УРО с А. Н. Майсурадзе, начальником контрольно-ревизионного отдела, к которому его взяли заместителем: они работали бок о бок, а потом столкнулись на каком-то ночном пожаре, где оба, как писал Шаламов, «не жалели себя в огне, спасая чье-то имущество», — это их еще больше соединило. Майсурадзе тоже был заключенным, и то, что его назначили на столь ответственную должность, как раз и свидетельствовало об особой политике «доверия», которую проводил Берзин.

Первый лозунг, который провозгласил начальник Вишхимзавода, был: «Все заключенные должны работать по специальности, а если специальности нет — научим». Второй, и главный: «Покончим с уравниловкой, каждый будет получать такой паек, который заработает». Как вспоминал Шаламов, было введено шесть категорий хлебного пайка — от минимума в 300 граммов до килограмма и выше с соответствующей дифференциацией остального питания в зависимости от выработки. Кроме того, начала действовать система зачетов, позволявших «ударникам труда» освобождаться раньше (общепринятым был зачет двух дней за три дня срока, но особо отличившиеся могли освободиться и раньше).

Разумеется, не Берзин все это придумал — новая концепция сочетала в себе отголоски идей утопического социализма Т. Мора и Ш. Фурье с теоретическими разработками деятелей 1920-х годов, в том числе тогдашнего прокурора РСФСР Н. В. Крыленко (его лекции по теории исправительно-воспи-

тательной «резинки», то есть дифференциации режима и сроков заключения в зависимости от труда, успел послушать Шаламов в МГУ), а главное — диктовалась требованиями рационализации труда постоянно увеличивавшихся масс заключенных. Но Берзин — в отличие от практики других лагерей при стройках типа Беломорканала, канала Москва—Волга и т. д. — основной упор сделал на создание максимально возможно благоприятных условий труда и быта заключенных. Построенные им новые лагеря в Березниках и Вишере были прообразом «соцгородков», распространившихся затем по всему СССР. Необычайно выразительное описание этих перемен оставил Шаламов:

«Лагерная зона, новенькая, “с иголочки”, блестела. Каждая проволока колючая на солнце сияла, слепила глаза. Сорок бараков по двести пятьдесят мест в каждом на сплошных нарах в два этажа. Баня с асфальтовым полом на 600 шаек с горячей и холодной водой. Клуб с кинобудкой и большой сценой. Превосходная новенькая дезкамера. Конюшня на 300 лошадей...» Однако примечание писателя к этой идиллии: «Колонны лагерного клуба чем-то напоминали Парфенон, но были страшнее Парфенона» — приводит к мысли, что он и тогда осознавал непримиримое противоречие в самом сочетании «*благоустроенный лагерь*».

Тем не менее эксперимент Берзина удался. Именно руками сытых, по-человечески обустроенных и организованных заключенных был главным образом и построен первенец бумажной индустрии на Урале. При этом на стройке преобладал мускульный труд — механизмов почти не было, использовались только лошади. Разумеется, вольнонаемные — и энтузиасты, и те, кто приезжал сюда со всех концов страны «за длинным рублем», тоже играли большую роль, но текучесть среди них (об этом свидетельствовал Шаламов как инспектор УРО) была огромной — отъезжающих было больше, чем прибывающих. «Выработка заключенных была гораздо выше, чем у вольнонаемных», — отмечал он. И — главный парадокс, им подчеркнутый: вольнонаемные завидовали заключенным! «...Вольная столовая была хуже лагерной. Лагерников и одевали лучше. Ведь на работу не выпускали раздетых и разутых. Это привело к конфликту, зависти, жалобам. Я много встречал потом ссыльных, а то и просто вербованных работяг, бежавших из Березников из-за плохих условий быта. Все они вспоминали одно и то же: “раскормленные рожи лагерных работяг”... Видели, что и сам лагерь блестит чистотой, там не было ни вони, ни даже намека на вошь».

Шаламов смотрел на все изнутри и понимал, что это не показуха, не «потемкинские деревни», а действительно некий новаторский, неслыханный в истории эксперимент («мобилизационный, с комплексным подходом к стимулированию труда», как сказали бы теперь). Он писал: «Было опытным путем доказано, что принудительный труд при надлежащей его организации (без всяких поправок на обман и ложь в производственных рапортичках) превосходит во всех отношениях труд добровольный». Разумеется, эта формулировка — гротеск, ибо любое оправдание унизительного подневольного труда Шаламову всегда было абсолютно чуждо. Однако он понимал, что стимулы могут менять характер труда. Организационная и тем более гуманистическая составляющая политики Берзина импонировала ему, так же как сочетание в ней прагматики и культуры и даже эстетики. Ведь на территории лагерного поселка были разбиты клумбы, посажены садовые кустарники — часть деятельности большой опытно-сельскохозяйственной станции, руководил которой тоже заключенный — агроном А. А. Тамарин-Мирецкий, с которым Шаламов иногда общался.

Эти симпатии наиболее соответствуют его *тогдашним* чувствам. Но и позднее, после Колымы, он всегда отдавал должное Э. П. Берзину и его товарищам — и за вишерские начинания, и за первые колымские. Он не мог, не имел права их судить прежде всего потому, что знал, что их попытки «очеловечить» лагерную систему, избежать ненужных жестокостей были безжалостно и вероломно пресечены Сталиным — все «берзинцы» во главе со своим командиром и вдохновителем погибли в 1937—1938 годах. Над проблемой «человек и система», «человек и государство» на примере личности Берзина Шаламов думал постоянно — это был, можно сказать, пробный камень его восприятия не только сталинской эпохи, но и советской эпохи в целом. Некоторые его выводы о Берзине, сделанные в поздних рассказах «У стремени» и «Хан-Гирей», в конкретном плане отмечены излишней прямолинейностью. На Вишере он думал иначе — и не мог думать иначе, потому что его молодой запас энтузиазма и веры в людей был еще не растрачен.

Единственное, по поводу чего он уже тогда не питал никаких иллюзий, — мир блатных, уголовников. Встретившись впервые с этим миром в арестантском вагоне, он решительно отмежевался от него. Воры и насильники, убийцы и мошенники, злостные рецидивисты-медвежатники и «случайные» растратчики составляли основную часть лагерного населения. Все они умели с виртуозной артистичностью камуфлировать свою

суть («жульническую кровь», по словам Шаламова), но он быстро научился разбираться в этом. Дав себе зарок «никого не бояться», он не боялся и их, не заискивал перед ними, не шел на поводу, а уж тем более не увлекался блатной романтикой, которой отдали дань многие писатели и поэты той поры. И сама идея «перековки» уголовников (то есть перевоспитания их трудом) изначально показалась ему не только смехотворной — это был, по его словам, «яркий пример лицемерия, призванного скрыть далеко идущие цели». Смехотворной, потому что блатари, естественно, сразу повернули «перековку» в свою выгоду и быстро научились — хитростью, силой, угрозами, эксплуатацией слабых — добывать себе справки о выполнении плана на 200 процентов и соответствующих зачетах, играя в «перековавшихся» (в том числе перед приезжими писателями и журналистами), и досрочно выходить на свободу. А далекоидущие цели заключались в том, чтобы противопоставить в лагерях уголовников как «социально-близких» (по теории того же Н. В. Крыленко) — политическим, «контрреволюционерам». В вишерский период Шаламова такого еще не наблюдалось, но Колыма подтвердила самые худшие его опасения.

Прямой задачи «перековки» политических заключенных в лагерях не ставилось — все понимали, что имеют дело или с неисправимыми «бывшими» (офицерами и чиновниками царского времени), или партийными, идейно убежденными людьми — от них требовались лишь лояльность и строгое исполнение своих обязанностей. Поэтому вопросом, «перековался» ли в какой-то степени Шаламов на Вишере, никто не интересовался — более того, о том, что он участник оппозиции и «троцкист», при Берзине забыли, видя в нем только добросовестного инспектора УРО. Каково же было удивление всех окружающих, когда они узнали, что Шаламов вместе с М. А. Блюменфельдом — одним из вновь прибывших из Москвы заключенных по делу оппозиции, работавшим начальником планового отдела, — пытался отправить в управление ГУЛАГа и в ЦК ВКП(б) (опять!) письмо с протестом против бесправного положения женщин в лагере. Как вспоминал Шаламов, это было в апреле 1931 года, и протест они составили вполне доказательный, с цифрами и фактами о многочисленных изнасилованиях, венерических заболеваниях и т. д. Но письмо дальше лагерного начальства не ушло, а Шаламову пришлось испытать очередные санкции — его отправили на пять месяцев в «ссылку» условно — инспектором в глухое северное отделение.

Живописную подробность о реакции Р. И. Васькова на свое письмо он вспоминал с юмором: «Когда Васьков волновался,

матерные слова прыгали с его языка непрерывным потоком: Не везет, б... инспектуре, б... один, б... украл, б... другой, б... троцкист, б...» (Украл пропуска по наущению блатных предшественник Шаламова по инспекции.)

Но всерьез как «троцкиста» Шаламова на Вишере не воспринимали — это была не Колыма. Протест он написал, повинуясь чувству негодования против наглого и открытого унижения женщин, в том числе со стороны конвоя: еще на этапе в 1929 году он был свидетелем изнасилования заключенной начальником конвоя Щербаковым — тем самым, который выбил ему зуб сапогом. А сошелся Шаламов с М. А. Блюменфельдом скорее потому, что тот был племянником известного шахматного мастера и теоретика Б. М. Блюменфельда — Шаламов неплохо играл в шахматы и стал однажды даже победителем лагерного турнира. К политике, к борьбе оппозиции Варлам уже остыл и разуверился в ней, прежде всего в ее «вождях», о чем открыто и с глубокой обидой говорил племяннику шахматиста, относившему себя к руководству московского «подполья»: «Какие же вы вожди, если не знаете, где ваши люди?» (Шаламов имел в виду себя, а обида имела полные основания, так как за все время пребывания на Вишере он не получил ни одного письма товарищеской поддержки — письма с листовками, скорее провокационные, не в счет.)

Примечательна его фраза, связанная с П. П. Кузнецовым, единственным из березниковских сослуживцев, чью фамилию он не нашел в списке сексотов и потому испытывал к нему особое уважение. Кузнецов был москвич и большой любитель искусства, завсегдатай Большого театра, сам пел Шаламову всего «Евгения Онегина» и другие оперы. При этом он страдал, по словам Шаламова, «позорной русской болезнью» — запоями. Вот что писал Шаламов после новой встречи с ним на свободе, в Москве: «Этот пьянчужка был мне дороже троцкистских ханжей-трезвенников»...

Чем же он занимался в лагере в свободное время? А оно у него, как «итээровца», было. Писал? Читал? Ничего об этом Шаламов не сообщает. В «Вишерском антиромане» только два факта, имеющих отношение к литературе. В связи с первым арестантским этапом в Вижаиху Шаламов поражался тому, насколько точны строки С. Есенина: «Но кривятся в почернелых лицах / Голубые рты». В апреле 1930 года начальник санчасти Жидков сказал Шаламову: «Твой Маяковский-то — того, — и передал статью из центральной газеты с портретом Маяковского в траурной рамке». «Твой» — значит, Шаламов рассказывал в лагере о Маяковском и о ЛЕФе. В связанном с вишерским периодом рассказе «Визит мистера Поппа» (о визите

американского бизнесмена на стройку Березниковского химкомбината) упоминается К. Паустовский: «Я жил в той же самой гостинице близ содового завода, где Константин Паустовский строчил свой "Кара-Бугаз". Судя по тому, что Паустовский рассказал о том времени — тридцатый и тридцать первый год, — он вовсе не увидел главного, чем были окрашены эти годы для всей страны, всей истории нашего общества». Этот упрек сделан в поздние годы и касается позднего Паустовского, который не вернулся к своим березниковским впечатлениям, выходящим за рамки официозных, парадных очерков, которые он тогда написал («Соль земли», «Великан на Каме»). Шаламову в 1930-е годы тоже пришлось писать подобные очерки в журналы, но он нашел в себе силы в конце 1960-х вспомнить и написать о подлинной жизни строек пятилетки — отсюда и его пренебрежительное отношение к Паустовскому...

Невозможно поверить, что Шаламов, столь глубоко увлеченный поэзией, не писал на Вишере стихов! Ведь писать их здесь ему — в отличие от Колымы — не возбранялось. И сама удивительная природа Прикамья давала богатейшую пищу для жанра «пейзажной лирики», который станет у зрелого Шаламова основным. По-видимому, стихи, написанные здесь, погибли в «больших пожарах» его архивов. Однако есть по крайней мере два стихотворения, о которых можно с уверенностью говорить, что они навеяны вишерско-камскими впечатлениями. Одно так и называется «Кама тридцатого года» (1954), другое — «Вверх по реке» (1957). Шаламов уходил в них от «чистого» пейзажа к своей философии личности и истории, он вспоминал о «строгановских солеварнях», «взорванных динамитом», и о своих плаваниях на лодках-челноках по Каме:

Челнок взлетает от рывков
Потоку поперек.
Вверх по течению веков
Плывет челнок...

Если говорить о вишерских деталях последнего стихотворения, то они, несомненно, отразились и в строках: «Взовьется гидросамолет / Над челноком» — ведь на гидросамолете он, мы знаем, летал вместе с Берзиным. Резюме тут простое: поэзия в очередной раз преодолела забвение...

На Вишере время для Шаламова протекало отнюдь не однообразно, и о каких-то вещах он позже вспоминал спокойно и даже с улыбкой. Например, о том, как после победы в шахматном турнире его назначили... членом художественного совета лагерей. Шахматы проходили по линии искусства — что ж,

это забавно и неудивительно для зоны. В клубе он отвечал за самодеятельность, за прием гастрольных артистов — их тогда в Березники приезжало немало.

Любовь? Об этом Шаламов тоже ничего существенного не сообщал, кроме «подружки Кати Аристарховой» в своей штрафной северной «ссылке». Хотя — стоп! — чрезвычайно интересный романтический факт его биографии: именно на Вишере, согласно рассказам родственников, он познакомился в 1931 году со своей будущей женой Галиной Игнатьевной Гудзь. Причем обстоятельства знакомства по своему сюжету были из ряда вон выходящими: Галина, москвичка, приехала в лагерь на свидание со своим молодым мужем, а Шаламов, что называется, «отбил» ее, условившись встретиться сразу после освобождения. Это тоже его характер — так он умел влюбляться.

Вскоре после освобождения он смог побывать в Москве в двухнедельном отпуске. Это было в декабре 1931 года. В описании Шаламова (глава «Миллер, вредитель»), отпуск был насыщен встречами с друзьями и выполнением личных поручений, в том числе того же Миллера. Есть все основания полагать, что он встречался в эти дни и с Галиной. Еще более важно то, что во время отпуска Варлам заезжал в Вологду, к родителям, где впервые объяснил им сам, лично, в каких краях и по какому поводу он находился (раньше он известил об этом только сестру, а она передала матери). Этот эпизод запечатлен в «Четвертой Вологде»:

«— Мы ведь отцу не говорили, — сказала мама. — Просто сказали, что ты — на Севере.

— Напрасно не говорили. Разве я убийца? Вор?

— Прежде чем заниматься политикой, — миролюбиво сказал отец, — надо получить специальность, окончить высшее учебное заведение. Получай образование и тогда смело принимай участие...»

А вышел на свободу Варлам еще в октябре 1931 года. В управление лагерей пришел, как он сообщал, приказ заместителя наркома ОГПУ: всех заключенных, занимающих административные должности в лагере и не имеющих взысканий, освободить с восстановлением во всех правах, предложив освобожденным занять те же должности в качестве вольнонаемных. В список освобождающихся Шаламова включил близкий ему А. И. Майсурадзе, который был секретарем аттестационной комиссии. Он надеялся, что Шаламов останется работать по вольному найму, как поступили все (та же работа, но за хорошую зарплату — это прельщало), тем более что тот был уже авторитетным и ценным «кадром» Вишеры. Но Варлам отказался. Как он писал, «Майсурадзе был крайне недоволен и

резонно говорил: “Я тебя освободил, а ты так неблагодарно поступаешь”. Я сказал, что все это понимаю, но работать в лагере не хочу».

Причины его столь твердого желания поскорее уехать объяснять, видимо, не нужно. Странным может показаться лишь то, что, съездив вольным в Москву и Вологду, он вернулся на Урал, в Березники, «к знакомым», как он писал, и еще некоторое время (примерно месяца три) здесь работал. Это одно из «белых пятен» биографии Шаламова, и тут возможны только догадки: хотел ли он просто побольше заработать для устройства в Москве или были еще какие-то цели? Наверное, были: в Москву надо было вернуться с «чистыми» гражданскими документами для устройства на работу и постановки на всевозможные учеты. Он работал на ТЭЦ Березниковского химкомбината заведующим бюро экономики труда и взял оттуда соответствующую справку. Кроме того, он встал на воинский учет и получил «белый» билет по категории «невойсковой рядовой» (в связи с судимостью или обнаруженной тогда же болезнью Меньера — судить трудно). В его положении это было не просто житейски, а жизненно необходимо.

Последний диалог расставания с лагерем на Вишере в описании Шаламова уже вошел в легенды, но его надо привести дословно:

«Говорил Иван Гаврилович Филиппов, начальник управления Вишерских лагерей:

— Значит, хочешь уехать. Прощай, желаю удачи. Берзин хотел тебя взять на Колыму.

— Я, товарищ начальник, на Колыму — только с конвоем.

— Не шути плохую шутку, — сказал Филиппов...»

Филиппов был прав: шутка оказалась плохой, неудачной — и сбылась. Но виноват ли в том Шаламов? И если бы он поехал на Колыму в 1932-м, что бы его ждало там? Участь всей берзинской «команды» — сомнений в этом быть не может. Опять Провидение, дар судьбы?

Берзинская «команда», достроив бумажный комбинат, уже собирала чемоданы на восток, в Дальстрой. Новенькие лагерные поселки в Вишере и Березниках были брошены, заключенных перевели в другие места. Блестевшая некогда колючая проволока ржавела, бараки разваливались. А Шаламов подводил свои итоги: «Что мне дала Вишера? Это три года разочарований в друзьях, несбывшихся детских надежд. Необычайную уверенность в своей жизненной силе. Я выдержал пробу — физическую и моральную. Я крепко стоял на ногах и не боялся жизни. Я понимал хорошо, что жизнь — это штука серьезная, но бояться ее не надо. Я был готов жить».

Глава седьмая

В СЕМЬЕ ГУДЗЬ

Удивительно, но дамоклова меча, висевшего над ним (угроза ссылки в Архангельск после Вишеры), Шаламов не ощущал. Постановление ОГПУ бродило где-то по «старым следам», и розыск его в Москве поначалу не производился. Но о своем оппозиционном «троцкистском» прошлом ему неизбежно приходилось умалчивать, по крайней мере при определении на работу. На вопрос следователя Ботвина во время ареста в январе 1937 года: «Почему вы при поступлении на работу и при заполнении анкетных данных скрывали свою принадлежность к троцкизму и высылку?» — он отвечал: «Скрывал это я потому, что не придавал этому никакого значения»*.

Ответ уклончивый, и он свидетельствует о твердой лагерной привычке Шаламова: молчать, о чем не спрашивают. С другой стороны, он честно отбыл срок, и это давало ему право чувствовать себя уверенно. По возвращении в Москву в феврале 1932 года он уже в марте устроился в профсоюзный журнал «За ударничество» — по протекции своего знакомого, одного из бывших участников кружка «Нового ЛЕФа» Л. Волкова-Ланнита — фотографа, ученика и поклонника знаменитого Александра Родченко. В редакции журнала Шаламов представился как недавний «зав. бюро экономики труда Березниковского химкомбината» (что было правдой), как журналист с определенным опытом, и этого было достаточно, чтобы войти в штат и зарабатывать на жизнь, что было на данном этапе его главной практической целью.

Журналистские работы Шаламова 1930-х годов пока приводить не будем — да они и стоят того, лишь чтобы понять, как он добывал себе хлеб, внутренне решив, что писателю «лучше быть продавцом магазинным, чем в газете работать». Но эту почти чиновничью поденщину приходилось отбывать, а также и постоянно ездить в командировки, повинуясь дисциплине — и внутриредакционной, и государственной, которая утверждала себя по всей стране.

Решение стать писателем, созревавшее давно, после Вишеры еще более укрепилось. Именно с этим в первую очередь связан его разрыв со старыми друзьями по оппозиции. «После свиданий с некоторыми из моих друзей и очевидной размолвки *я стал искать пути в одиночку* (курсив мой. — *В. Е.*). Я вновь вернулся, как в университетское время, к постоянному чтению

---

* *Шаламов В. Т.* Новая книга. С. 969—970.

в библиотеках» — так определил свой образ жизни начала 1930-х годов сам Шаламов в воспоминаниях.

«Очевидная размолвка» связана более всего с тем, что Шаламов и раньше чувствовал, что к нему, его энтузиазму, «вожди» оппозиции относятся равнодушно и «используют» его, не считаясь с его личными интересами. А теперь и «вождей» внутри страны не осталось — большинство из них (например, И. Смилга, Е. Преображенский, И. Смирнов и др.) примкнули к линии ЦК, что, однако, не спасло их от расправы в 1936—1937 годы. К некоторым друзьям (например, к Марии Сегал) Шаламов приходил по старому знакомству, некоторых навещал по их болезни, но контакты быстро прекратились, ибо у Шаламова началась — по всем измерениям — другая жизнь. А смену обстановки в Москве и ее причины он понял сразу: «Подполье 20-х годов, столь яркое, забилось в какие-то норы, ибо было сметено с лица земли железной метлой государства»...

Первое время он жил на Садовой-Кудринской, в комнате по старому адресу сестры, и всегда старался, что легко понять, как можно чаще встречаться с Галиной Гудзь. Она жила не близко — в Чистом переулке на Пречистенке, и маршруты их романтических прогулок установить довольно трудно. Так же трудно судить о причинах слишком долгого сопротивления Галины браку — он был заключен лишь 29 июля 1934 года (в загсе Фрунзенского райсовета города Москвы), то есть более чем два года спустя после возвращения Шаламова с Вишеры. Как представляется, здесь играли роль обоюдные сложности — и необходимость развода с бывшим мужем, и неопределенность положения самого Шаламова: кто он — до конца ли его освободили и «простили», его статус журналиста не самого видного издания, и, главное, увы, опять же социальное происхождение, которое имело значение в те годы и при выборе мужа или жены. Именно этим можно объяснить колебания Галины (а также и Варлама!) — ведь она принадлежала к своего рода элите, к семье старого большевика, а ее брат Борис Игнатьевич Гудзь служил в ОГПУ. Все это подразумевало не только «смотрины» жениха, но и его определенного рода «прощупывание», что не могло доставлять ему удовольствия.

Надо полагать, что Игнатий Корнильевич Гудзь, весьма просвещенный и либеральный советский интеллигент — он работал в Наркомпросе сначала с А. В. Луначарским, а затем с Н. К. Крупской — не сильно комплексовал по поводу того, за кого выходит замуж его младшая дочь, но вопрос о церковном происхождении жениха, а еще более — об отсутствии его в «передовых» рядах комсомола и ВКП(б) его все-таки беспоко-

ил. Об этом позднее свидетельствовал его старший сын Борис Гудзь — тот самый, который служил в ОГПУ: «Отец, вполне допускавший фракционность и дискуссии среди партийцев, не одобрял участия Шаламова в оппозиции, ссылаясь на то, что этот *попович* (курсив мой. — *В. Е.*), даже не комсомолец, не впитавший с детства традиций большевизма, зря вмешивается в наш партийный спор»*.

Тем не менее брак состоялся и был счастливым. Шаламов переехал к родителям жены в Чистый переулок, дом 8, квартира 7 — в весьма просторную пятикомнатную квартиру, где самая большая комната принадлежала персоне особого значения — им был не отец Галины, а ее старший брат, служивший в «органах» и часто уезжавший в длительные командировки. Варламу и Галине выделили отдельную комнату в 12 метров, что их вполне устраивало. Об отношениях шурина с Шаламовым в этот период сведений нет, но нетрудно понять, что эти отношения были сдержанными. Варлам с определенным пиететом относился к своему тестю, ведь имена Луначарского и Крупской, а также А. Д. Цюрупы, знаменитого наркома продовольствия, падавшего в голодный обморок — вместе с народом! — в 1918 году (с Цюрупой была отчасти связана революционная молодость И. К. Гудзя), для него имели едва ли не священный смысл, поскольку они теснейшим образом были связаны с именем Ленина. Но в отличие от Н. К. Крупской, которая некоторое время держалась в оппозиции к Сталину, И. К. Гудзь был осторожен (вероятно, в связи со своим первоначальным меньшевистско-земским прошлым) и старался не обнаруживать никаких расхождений с «генеральной линией», придерживаясь партийной ортодоксии, решений последних съездов, конференций и передовиц «Правды». В 1933—1937 годах он был политредактором (ответственная должность — редактировать школьные и вузовские учебники!) Наркомпроса РСФСР и преподавал на рабфаке. Кроме статей по проблемам ликвидации неграмотности, подготовки педагогических кадров и т. д. он «баловался» литературой — писал рассказы и стихи, в основном предназначенные для чтения в кругу семьи. Вероятно, между тестем и Варламом происходили иногда острые литературные и политические споры (почему и возникло «попович» и отторжение зятя от «нашего», «партийного», «большевистского»). Но смягчало ситуацию семейное счастье молодых супругов, которому радовались все — и тесть, и теща Антонина Эдуардовна Гинце, и сестры Галины — Александра и Мария

---

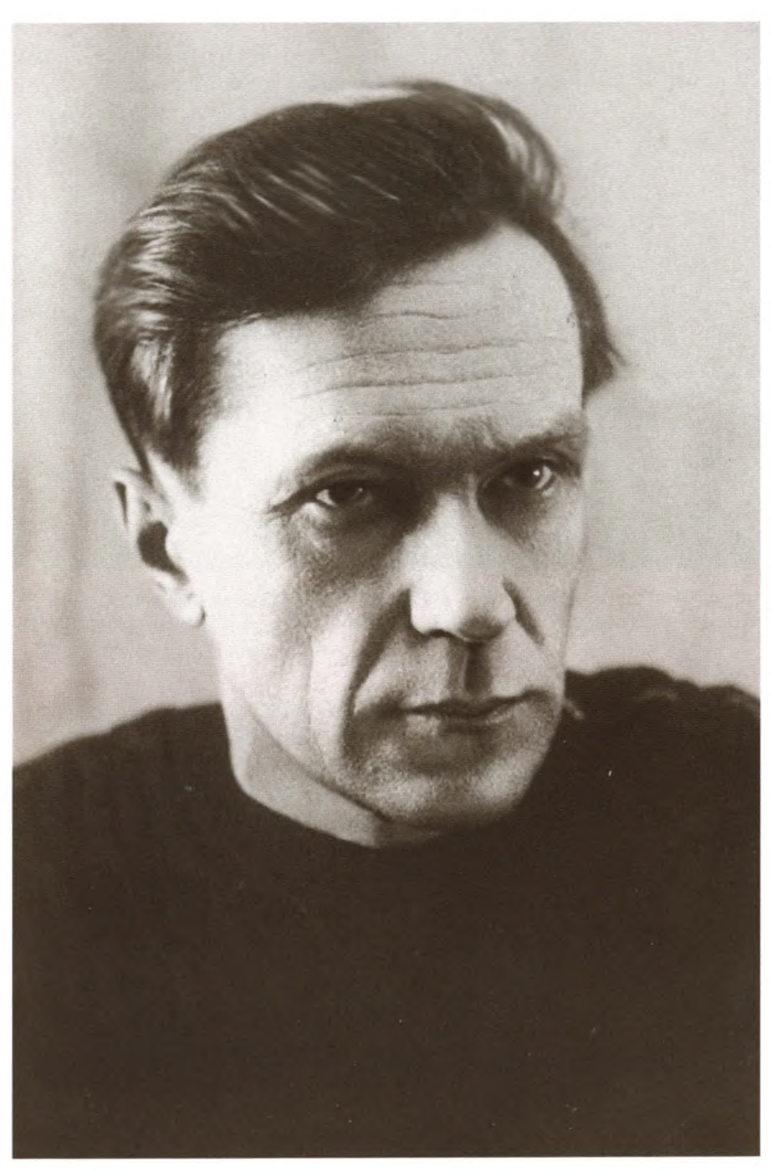
* *Головизнин М.* В. Шаламов и внутрипартийная борьба 1920-х годов // Шаламовский сборник. Вып. 3. Вологда, 2002. С. 164.

(а Борис Игнатьевич в 1933—1935 годах в Москве отсутствовал — он в качестве агента внешней разведки, сотрудника Иностранного отдела ОГПУ, нелегально работал в Японии, откуда вернулся с повышением до звания полкового комиссара).

В апреле 1935-го у Варлама и Галины родилась дочь Елена. О счастье, переполнявшем в этот момент Шаламова и его новых родственников, можно судить по уникальному документу, сохранившемуся в его архиве (очевидно, единственный случай, когда он мог благодарить за это жену), — домашней шуточной стенгазете, сделанной им в связи с рождением дочери. Стенгазета снабжена крупным заголовком-приветствием «ВИВАЛЕНКА» и имеет дату 13/IV-35 — день ее появления на свет. В центре портрет мамы Галины Игнатьевны — радостной и улыбающейся. Это, пожалуй, лучший ее снимок за все годы, сделанный хорошим фотомастером, — живое обаяние женщины в расцвете молодости, с необыкновенным сиянием черных глаз. (Это обаяние есть и на единственном сохранившемся семейном фото вдвоем, но здесь доминирует Варлам, а Галина, маленькая ростом, прильнув к его груди, кажется чуть ли не гимназисткой.)

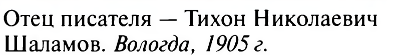
Окружают портрет в стенгазете импровизированные поздравительные тексты и стихи, сочиненные Варламом и его родственниками. Они по-своему раскрывают атмосферу в семье. «Вот появился новый человек — маленькая женщина — Еленушка-Аленушка Шаламова-Гудзь. Она пришла в наш дом, в нашу семью, в родительские и родственные объятия» — это, очевидно, писал счастливый молодой отец. Следующие строки, политически «правильные», как можно понять, сочинил дед И. К. Гудзь: «Мы к зажиточности идем / И песню славную поем, / И ты, Лена, умной будь, / Своего деда не забудь...» (Слова «к зажиточности идем» и дают повод говорить об ортодоксии старшего Гудзя: он цитировал часто повторявшиеся тогда в передовых статьях «Правды» заявления об «улучшении материального благосостояния граждан СССР», воплотившиеся в конце концов в знаменитую формулу Сталина, высказанную в декабре того же 1935 года: «Жить стало лучше, жить стало веселей».)

Вероятно, Варлам при его, несомненно, сохранявшемся критическом взгляде на Сталина, имел другую точку зрения на ситуацию в стране — он ведь помнил и 1932—1933 годы, когда Москва после изобилия нэпа показалась ему «страшным городом» — «бесконечные очереди в магазинах, талоны и карточки», когда от наплыва голодающих столицу окружали заградительные отряды, когда (в начале его работы в журнале) «на Ивантеевской фабрике матери протягивали мне грязных де-



Варлам Тихонович Шаламов





Отец писателя — Тихон Николаевич Шаламов. *Вологда, 1905 г.*



Первый снимок. *Вологда, 1908 г.*

Тихон Николаевич Шаламов (крайний справа) в группе священников





Бывшая вологодская мужская гимназия имени Александра Благословенного (Первого), преобразованная в 1918 году в Единую трудовую школу № 6

Преподаватели и выпускники вологодской Единой трудовой школы № 6. Варлам Шаламов (внизу) в белой рубашке. *1923 г.*





Сестра писателя
Наташа Шаламова — выпускница женской гимназии. *1917 г.*



Варлам Шаламов — студент МГУ. *1926 г.*

Бутырская тюрьма



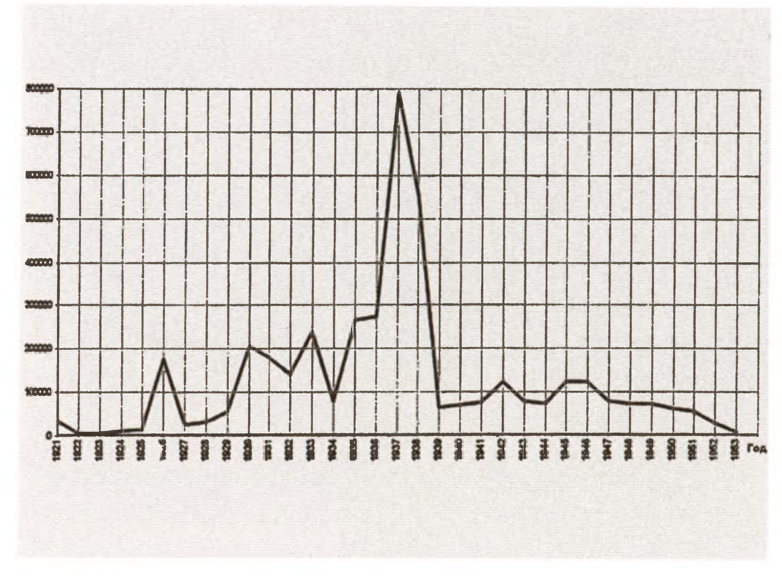


Диаграмма изменения количества заключенных с 1921 по 1953 год. (Из книги: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2002. С. 431.)

Лесная биржа в Вишерском лагере





Варлам Шаламов с женой Галиной Гудзь. *1936 г.*

Родители Шаламова — Тихон Николаевич и Надежда Александровна. *Вологда, 1933 г.*





Галина Гудзь с дочерью Леной

Шаламов после ареста. *Фото из следственного дела. 1937 г.*

Трасса

Прииск. Мускульная подача песка на промприбор





Доходяги

Хирургическое отделение Центральной больницы для заключенных в поселке Дебин (Левый Берег).
Шаламов — второй справа в верхнем ряду. *1947 г.*



Камея

На склоне гор, на склоне лет
Я выбил в камне твой портрет

Кирка и обух топора
Надежней хрупкого пера

В страну морозов и мужчин
И преждевременных морщин

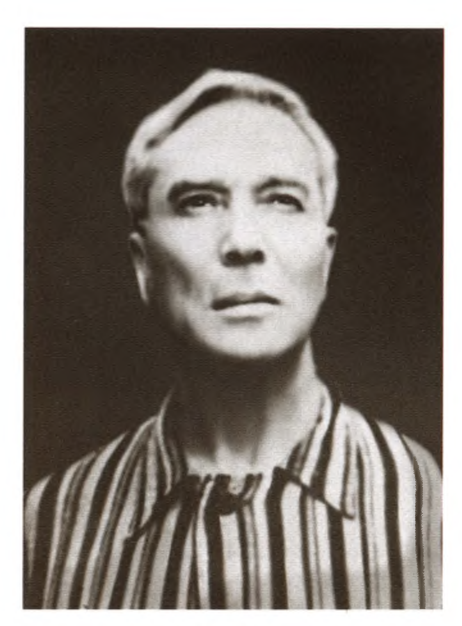
Я вызвал женские черты
Со всем отчаяньем тщеты

Скалу с твоею головой
Я вправил в перстень снеговой

И Исповедница тоска
Укрыла перстень в облака

Стихотворение «Камея» написано на Колыме

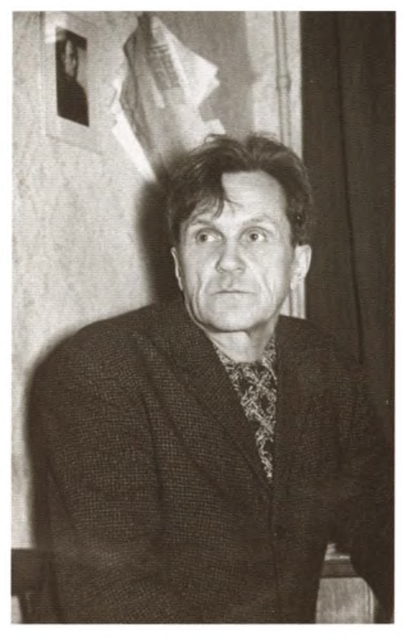
Борис Пастернак





Александр Солженицын
по выходе из Особлага.
1953 г.





В комнате на Васильевской





Фотографии,
сделанные сотрудниками
госбезопасности, следившими
за писателем: на улице;
Шаламов с Ольгой
Сергеевной Неклюдовой.
Из архива ФСБ

Ирина Павловна
Сиротинская.
1965 г.





Чистый переулок,
дом 8, строение 1

1960 г. ... № 27 74

СССР
Министерство здравоохранения
Гор. клин. б-ца № 67

(название и адрес учреждения, выдавшего выписку)

Утверждена Министерством здравоохранения СССР 1 марта 1960 г.

1. н. отд.

ВЫПИСКА 33026
ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ АМБУЛАТОРНОГО, СТАЦИОНАРНОГО (подчеркнуть) БОЛЬНОГО

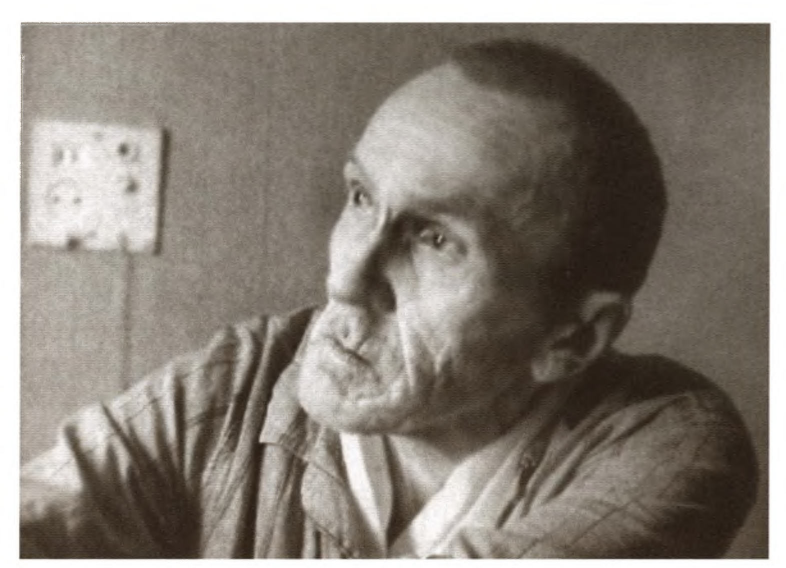
в пол-ку по месту жительства
(название и адрес учреждения, куда направляется выписка)

1. Фамилия, имя и отчество больного Шаламов Варлам Тихонович 2. Возраст 72
3. Местожительство Васильевская 2-6-59
4. Род занятий и место работы пенсионер

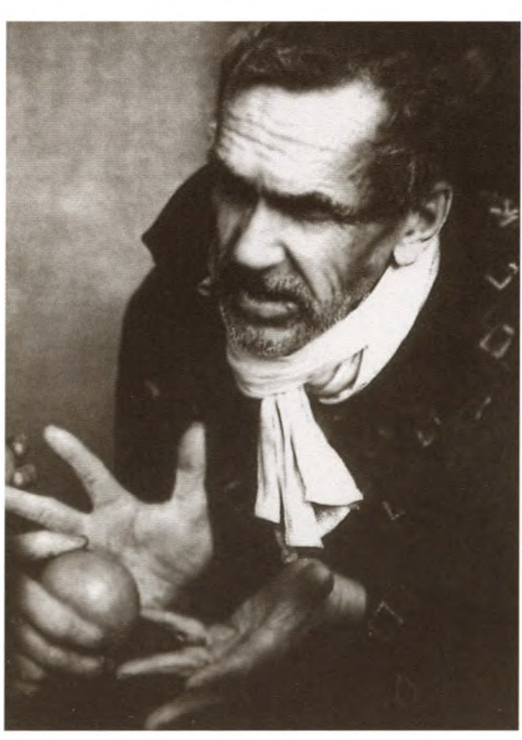
5. Даты: а) по амбулатории: время заболевания......
направляется в стационар
б) по стационару: время поступления 21/IV 79 г.
выписки или смерти (подчеркнуть) 8/V 79 г.

6. Полный диагноз (основное заболевание, сопутствующее осложнение: при летальных исходах - патологоанатомический диагноз)
Хорея Гентингтона
Атеросклероз [illegible]
коронарокардиосклероз [illegible]
[illegible]
Глаукома обоих глаз

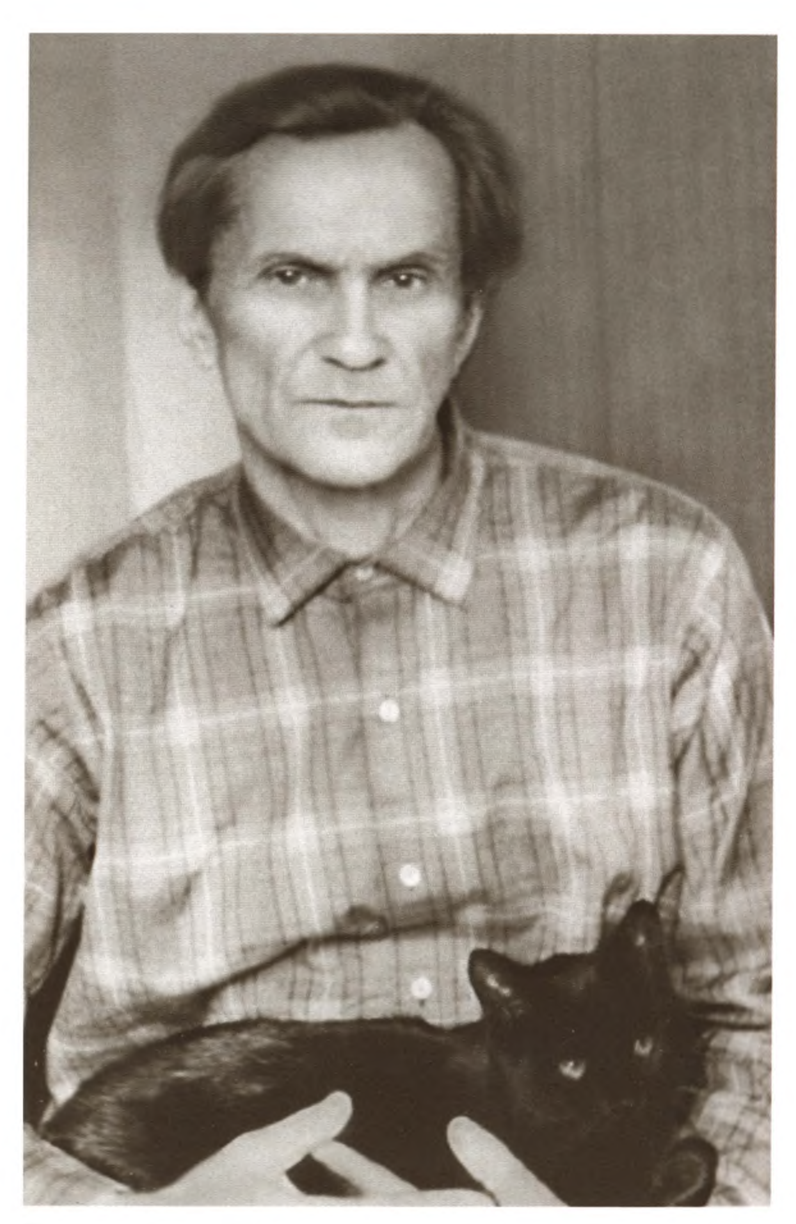
Выписной эпикриз из больницы



В интернате
для престарелых



Последний снимок
в интернате



С кошкой Мухой. *1964 г.*

тей, покрытых коростой, пиодермией и диатезом» и когда ввели закрытые распределители продуктов «для привилегированных и надежных». «Партмаксимум — но закрытые распределители», — констатировал он в своих воспоминаниях о Москве 1930-х годов, раскрывая секрет той «зажиточности», которой так радовался его благодушный тесть.

Есть основания полагать, что Шаламов уже тогда осознавал краткость своего благополучия. Склонность к мрачным шуткам (почти всегда оказывавшимся у него пророческими!) обнаружилась и в упомянутой стенгазете, где есть такие «самокритичные» стихи Варлама: «Ленка, Ленка — твой отец / Отрицатель гигиены / И найдет он свой конец / В огненной гиене (а не геенне)».

Шутка на тему «отрицателя гигиены» обусловлена, вероятно, тем, что по заданиям журнала Шаламов часто бывал на заводах и не успевал так тщательно, как требовали устои его новой семьи, отмываться от производственной грязи, чем вызывал нарекания Галины, особенно в связи с рождением младенца. Но упоминание о «геенне», даже в сочетании с каламбуром «гиены», воспроизводит мрачные предчувственные нотки в настроении Шаламова. Это не могло быть связано не с чем иным, как с тревожной реакцией на последние политические события в стране — убийство Кирова в декабре 1934 года и прошедшие следом, словно по сценарию, процессы над «ленинградской» оппозицией, а затем над «московской», сопровождавшиеся массовыми арестами.

Впрочем, в тот момент Шаламова еще переполняла радость по поводу рождения дочери, и обстановка в доме была благожелательной. Жена пылко и восторженно любила его (называя «Варламкой» и «Мумкой», с чем ему приходилось мириться, ведь сам он до таких сантиментов не доходил, называя жену, при всей любви к ней, строго по имени). Любила его и теща Антонина Эдуардовна, а особенно обе сестры Галины — Александра, которая была старше всех, родилась в 1897 году, и была опытным журналистом — ответственным секретарем журнала «Фронт науки и техники», где иногда печатался Шаламов, и средняя Мария, которая тогда еще училась. Все сестры занимались музыкой, владели иностранными языками (как минимум немецким, поскольку их мама была обрусевшей немкой), все любили театр, живопись и литературу, и поэтому Варламу с ними было интересно. В доме собирались дружеские компании (Александра, жившая отдельно, на Никитском бульваре, приходила в гости), и, вероятно, тогда в кругу самых близких людей звучала иногда под гитару экзотическая песенка на стихи Варлама под названием «Ориноко» (это единственное слу-

чайно сохранившееся его стихотворение 1930-х годов; как он сам свидетельствовал — «стихи писались, но не показывались никому»):

Если чувствуешь себя ты одинокой,
Если ты обыграна судьбой,
Приезжай ко мне на Ориноко,
Ты меня порадуешь собой.

У тебя холодные колени,
Крепкая и ласковая грудь.
Я иду сейчас на преступленье,
На большую и фальшивую игру...

Эта «кабацко-пиратская» песенка, смесь Есенина с А. Грином, была, очевидно, чистой импровизацией и является лишь эпизодом уходящей молодости Шаламова, когда веселье измерялось минутами, а остальное сводилось к трудовым будням с изнурительным корпением над всякого рода производственными статьями и очерками.

Таких журналистских работ Шаламова в разных изданиях 1933—1936 годов было несколько десятков, и их названия говорят сами за себя: «Освободимся от импортной зависимости», «Старые рабочие, воспитывайте молодежь», «Клуб должен быть образцовым» и т. д. Это даже не «литература факта», а чистая агитация и пропаганда, которая соответствовала духу времени. Основными требованиями редакторов были — «давай передовой опыт и критику-самокритику». «Никогда в мире, нигде, кроме Советской страны, не было, да и не могло быть, живого обмена опытом, открытого рассекречивания перед другой фабрикой причин своих производственных достижений, — писал Шаламов в очерке «Ткачи социалистических фабрик» о рабочих Орехова-Зуева. — Разве о чем-нибудь подобном можно было думать у фабриканта Карякина, благочестивого хозяина, самолично будившего по воскресеньям рабочих своей фабрики к заутрене, — выжиги Карякина, у которого два станка, особенно расшатанные и мучившие рабочих, ткачи называли страшными именами царской каторги: "Сахалин" и "Акатуй". Да что Карякин! У Форда, у самого Форда — короля капиталистической организации труда — строжайше воспрещено рабочим одного цеха знать, что делается в другом. Впрочем, ведь там управляют капиталисты, а не рабочие». Шаламов писал — и совершенно искренне — не только о преимуществах труда при социализме, но и боролся — опять же искренне — против бюрократизма, за права простого рабочего, члена профсоюза Манаева из Шатурторфа («дело Манаева»), писал сатирические фельетоны и спортивные репортажи.

Выделяются три черты этой журналистской работы Шаламова: во-первых, он старался нигде не цитировать речи Сталина (лишь иногда некоторых отраслевых наркомов, вроде Кагановича); во-вторых, его статьи и очерки, как правило, свободны от литературных штампов и, в-третьих, опять же, как правило, они подписаны псевдонимами — Ю. Владимиров, А. Вестен*, В. Варламов или просто «В. Ш.». Во всем этом, конечно, сказалось его стремление держаться подальше от официозности, насколько возможно, быть независимым, не опускаться ниже заданного себе морального и профессионального уровня и дорожить своим именем, которое должно быть сбережено от газетно-журнального тиражирования — для других, гораздо более важных целей.

Его способности ценили и в журнале «За овладение техникой», куда он перешел в марте 1934 года, и в более солидном отраслевом журнале «За промышленные кадры» под эгидой НКТП — возглавлявшегося Г. Орджоникидзе Народного комиссариата тяжелой промышленности (там он работал с августа 1935 года до самого ареста). Все эти редакции располагались в самом центре Москвы, в Доме союзов (бывшем Дворянском собрании), и Варлам быстро получил известность среди журналистской братии. Он печатался и в других журналах — «Огоньке», «Колхознике», «Прожекторе» (в последнем был опубликован его очерк о знаменитом садоводе И. В. Мичурине).

Но все это не удовлетворяло Шаламова, потому что душа его изначально жила другим — высокой, большой литературой. Он уединялся в библиотеках, ходил на писательские вечера. Но в 1930-е годы эти вечера изменились — они утратили живость и свободу, приобрели вид официальных творческих отчетов и напоминали скорее партийные собрания с боязнью сказать лишнее слово. Единственным исключением оказался вечер Б. Пастернака в 1933 году в клубе 1-го МГУ, куда Шаламов пришел по старой памяти. Пастернак читал «Второе рождение» — только что созданный цикл лирических стихов. «Я сидел, забившись в угол в темноте зала, и думал, что счастье — вот здесь, сейчас — в том, что я вижу настоящего поэта и настоящего человека — такого, какого я представлял себе с тех пор, как познакомился со стихами», — писал Шаламов. Это была не просто влюбленность, похожая на влюбленность женщины при встрече с кумиром (такие чувства испытывала, наверное, Галина, бывшая с ним рядом). Шаламов давно страстно искал живого воплощения идеала «надмирного» свободного

* Интересно в связи с этим происхождение псевдонима «А. Вестен» — он явно «вестернизирован», возможно, по образцу почитавшегося Шаламовым в то время А. Грина.

человека, «живого Будды», и эта первая встреча с Пастернаком наполнила его верой в возможность достижения такого идеала и осветила ему путь на много лет вперед...

До́ма, когда родные засыпали, он подолгу сидел на кухне, где писал стихи и первые рассказы. Его литературным занятиям, по-видимому, никто из близких (включая Галину) тогда серьезного значения не придавал, а ему это и надо было — одинокое сосредоточение на вечных загадках бытия и искусства, желание испытать себя в по-настоящему новой прозе. Он уже тогда понимал, что «в искусстве места хватит всем» — в нем «нет только места подражанию», нужно свое, а все чужое, даже случайно попадающее в свое, «выжигается каленым железом».

Шаламов часто вспоминал свой начальный литературный период — когда он впервые стал глубоко изучать секреты создания рассказа-новеллы на примере произведений великих (и невеликих) писателей, начиная с Пушкина и Чехова, Мериме и Мопассана, продолжая американцами О. Генри и А. Бирсом и кончая современными ему А. Грином и И. Бабелем. Именно к середине 1930-х годов относятся его слова: «Я брал карандаш и вычеркивал из рассказов Бабеля все его красоты, все эти “пожары, похожие на воскресенье”, и смотрел, что же останется. От Бабеля оставалось не много, а от Ларисы Рейснер (ее прозу он называл «слишком цветистой». — *В. Е.*) и совсем ничего не оставалось». Форма рассказа, его композиция, сюжет, законы первой и последней фразы, внутренней динамики и символики необычайно интересовали его — именно с точки зрения, «как это сделано» (опыт прохождения опоязовской или «формальной» школы тут, конечно, пригодился). О его исключительно серьезном и скрупулезном изучении жанра, которому он собирался себя посвятить, ярче всего свидетельствует не раз приводившееся им позднее полемическое воспоминание-размышление о работе над Мопассаном: «Неужели мне, который еще в молодости пытался понять тело и душу рассказа как художественной формы и, казалось, понял, для чего у Мопассана в его рассказе “Мадемуазель Фифи” льет беспрерывно дождь, крупный руанский дождь*, — неужели

---

* Специально исследовавший тему пушкинской традиции в творчестве Шаламова известный пушкинист С. А. Фомичев нашел и разгадку этого «руанского дождя» у Мопассана: «Поэтически этот дождь рождает память о костре в Руане, на котором погибла Жанна д'Арк» (см.: *Фомичев С.* По пушкинскому следу // Шаламовский сборник. Вып. 3. Вологда, 2002. С. 90). Для поэтики зрелого Шаламова-новеллиста, заметим сразу, чрезвычайно характерна эта почти незаметная и неназойливая символичность, в чем он и сам признавался (в заметках «О прозе», 1970 год), говоря о деталях, «как бы подсаженных в рассказ», и каждая из них — «деталь-символ, деталь-знак, переводящая весь рассказ в иной план, дающий подтекст, служащий воле автора».

это никому не нужно, и достаточно составить список преступлений и список благодеяний и, не исправляя ни стиля, ни языка, публиковать, пускать в печать».

Первых, экспериментальных остросюжетных рассказов в 1930-е годы он написал, по его словам, более ста, но увидела свет лишь малая их часть. Характерно, что такие рассказы, как «Ганс», «Возвращение», «Господин Бержере в больнице», «Три смерти доктора Аустино» (последний опубликован в 1936 году в первом номере журнала «Октябрь», редактировавшемся Ф. Панферовым), построены на зарубежном — вовсе не знакомом ему — материале и являются попыткой отразить тему надвигающегося на Европу фашизма. Но это не прямолинейные «агитки», а оригинально выстроенные лаконичные новеллы, в которых молодой писатель делает акцент на проблеме морального выбора своих героев. В рассказах есть и тюремные эпизоды, но было бы большой натяжкой видеть в них проекцию вишерского опыта Шаламова, а тем более — аналогии между фашизмом и сталинизмом. Все это придет позже, после Колымы, а здесь он, разделяя тревоги всех своих современников, пишет о самом волнующем и злободневном, художественно переосмысливая основные темы советской международной публицистики тех лет.

Другой пласт рассказов связан с вологодскими воспоминаниями. Такова «Вторая рапсодия Листа», где речь идет о событиях Гражданской войны, упоминается вологодский рынок — «площадь борьбы со спекуляцией», а в судьбе обезумевшего героя-старика, у которого на войне погибли сыновья, ясно прочитывается прообраз — собственный отец. Второй заметный рассказ той поры, «Пава и древо», был напечатан в 1937 году в третьем номере журнала «Литературный современник» — вместе с рассказами М. Зощенко и стихами Н. Заболоцкого (Шаламов в это время был уже арестован). Рассказ, как и все другие, подписан его собственной фамилией, и только кровавая нескончаемая неразбериха в НКВД 1937 года могла такое позволить — печатание «врага народа». А этот «враг народа» представил читателям очень теплую оптимистическую новеллу о крестьянской старушке-кружевнице, начавшей слепнуть (опять тема отца!), но ей чудесным образом, почти по законам соцреализма, вернул зрение московский профессор.

Обращение к вологодским мотивам в этот период у Шаламова было навеяно, несомненно, его приездами в родной город. Приездов было два, и оба по печальным поводам — сначала на похороны отца, умершего 3 марта 1933 года, затем — матери, которая скончалась 26 декабря 1934 года (факт приезда Варлама отражен и в сохранившихся документах Вологод-

ского загса, где он зафиксирован как сын, журналист, живущий в Москве в Чистом переулке, дом 8). Во время приезда на первые похороны он услышал от матери историю о судьбе заветного золотого креста о. Тихона, полученного за службу на Кадьяке. В минуту отчаяния во время крайней нищеты слепой отец разрубил этот крест топором на куски, чтобы сдать его как золотой лом в магазин Торгсина и получить шанс какое-то время просуществовать себе и жене.

Можно с достаточной уверенностью говорить, что произошло это в 1932 году — в разгар развития сети Торгсина (буквально: торговли с иностранцами, прообраза будущих «Березок»), использовавшего скупку золота у населения для нужд индустриализации. По данным Е. Осокиной, в 1932—1935 годах советские люди отнесли в Торгсин почти 100 тонн чистого золота, тогда как вклад колымского Дальстроя (куда вскоре попал Шаламов) за те же годы составил всего лишь немногим более 20 тонн. Торгсин, организованный вовсе не по инициативе Сталина, а первоначальными усилиями ненавистных ему «троцкистов» из Мосторга с еврейскими фамилиями, кроме реальной поддержки индустриализации, выполнил и огромную социальную миссию. Он дал возможность тысячам людей выжить в голодные годы первых пятилеток, притом что золото в старых царских монетах, в украшениях и простом ломе принималось, как и иностранная валюта, по заведомо заниженным ценам*.

Но Шаламова печальная история о кресте, разрубленном отцом, привлекла совершенно другим. Он, как художник, сразу увидел в ней мощный трагический образ своей эпохи — образ крушения христианской веры и ее символов перед лицом грубого наступательного материализма жизни, образ хрупкости человека и человеческой культуры вообще. Надо полагать, что уже тогда эта история попала — причем на первый план — в список копившихся им сюжетов и, как зарубка памяти, пронесенная через десятилетия испытаний, воплотилась затем в потрясающей новелле «Крест» «Колымских рассказов», дополняя их крайне важными историческими и философскими смыслами. Тогда же поразила его и рассказанная матерью история о долларах, поступивших в ответ на ее письмо на Кадьяк — это были 83 доллара, собранные среди алеутов последним оставшимся православным монахом Иосифом (Герасимом) Шмальцем. Этот случай помог ему осознать цену спаситель-

---

* *Осокина Е.* Золото для индустриализации: Торгсин. М., 2009. С. 40—48, 82—84.

ной человеческой солидарности, преодолевающей время и континенты...

В архиве Шаламова сохранился рисунок деревянного креста, поставленного на могиле отца. Рисунок сделан им самим — видимо, с целью запечатлеть последнюю память о родителе. К сожалению, Варлам упустил другое — как-то обозначить топографически местонахождение могилы. В результате оно до сих пор не установлено. Известно лишь кладбище, где были похоронены отец и мать — Введенское, — с храмом при нем, принадлежавшим в 1920—1930-е годы обновленческой церкви. (В 2007 году, к столетию писателя, на Введенском кладбище Вологды у подножия разрушенного храма был установлен поклонный крест в память его родителей.)

Русский язык богат, и многозначность слова «крест» велика. «После смерти матери крест был поставлен на городе» — в этих словах Шаламова особый смысл. Его решимость не приезжать больше в Вологду понять можно: ни одной родной и близкой души здесь уже не осталось. Но «крест» тогда, в декабре 1934 года, ему приходилось ставить и на многом другом — прежде всего на надеждах на более или менее спокойную жизнь, на уверенность в своем завтрашнем дне и в завтрашнем дне всего общества. Ведь после загадочного и зловещего убийства Кирова в стране взвилась волна открытого, постоянно нагнетавшегося террора против всех «остатков контрреволюции», к которым причислялись и «троцкисты», и любые другие оппозиционеры — прошлые и настоящие.

Год 1935-й Шаламов и семья Гудзь прожили еще относительно спокойно, хотя тревога нарастала. Дед, глава семьи, выписывал, как положено старому большевику, две главные газеты страны — «Правду» и «Известия» (возглавлявшиеся тогда опальным Н. И. Бухариным), и Шаламову, вероятно, приходилось наблюдать, как Игнатий Корнильевич не только восхищается успехами шахтеров Донбасса и Кузбасса, но и недоуменно мотает головой по поводу «зиновьевского центра», вдруг обнаруженного в Ленинграде, а особенно по поводу ликвидации Всесоюзного общества старых большевиков и Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Ликвидация общества политкаторжан как «пристанища эсеров и меньшевиков» стала и для Шаламова большим шоком, потому что он еще в 1920-х годах бывал на его открытых заседаниях, где видел легендарную Веру Фигнер и других героев, сидевших в Шлиссельбургской и Петропавловской крепостях и прошедших каторги Сибири — они были для него тоже «живыми Буддами». Те, кто своей многолетней жертвенностью готовил свержение царского режима во имя нового, гуманистического

строя, являлись для него гораздо более важными исторически, а главное — морально — фигурами, нежели мелькавшие на первых страницах той же «Правды» члены политбюро ВКП(б). Но с 1935 года об этих героях, как и о всех народниках и народовольцах, надлежало забыть: Сталин, ставший после убийства Кирова видеть в каждом инакомыслящем потенциального заговорщика против его власти, заявил: «Если мы на народовольцах будем воспитывать нашу молодежь, мы воспитаем террористов».

Сталин хорошо помнил историю царского времени, знал и тогдашние методы борьбы с «крамолой» — в первую очередь слежку и донос. Если при последних российских императорах доносить о «подозрительных элементах» было вменено в обязанность каждому дворнику, то при Сталине такой обязанностью был обременен каждый гражданин. Еще в конце 1920-х годов была введена суровая уголовная ответственность за недонесение о «готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении», что послужило становлению системы тотального доносительства. Напомним, что Шаламов в Вишерском лагере нашел среди своих сослуживцев только одного порядочного человека, не завербованного в сексоты. О масштабах этого явления в Москве он мог только догадываться, но то, что доносительство стало уже к 1936 году всеобщей (партийной, служебной и, более того, — семейной) обязанностью, он вскоре почувствовал и на близких, и на себе.

Весной 1936 года вернулся из заграничной командировки Борис Игнатьевич Гудзь. В Токио он два года работал третьим секретарем советского посольства как Борис Гинце (по фамилии матери), но об этом дома никто не знал — разумеется, и Шаламов. Многие, очень многие подробности большой чекистской биографии шурина были бы чрезвычайно интересны писателю — и то, что тот участвовал в знаменитых операциях «Трест» и «Синдикат-2» (последняя связана с Б. Савинковым), и то, что он был едва ли не свидетелем самоубийства Савинкова на Лубянке в 1925 году (очевидцем того, как он выбросился из окна, был его друг Г. Сыроежкин). Разумеется, чекистам не все можно рассказывать своим родственникам, но при доверии — кое-что давнее можно. Однако никакого доверия к «поповичу», да к тому же «троцкисту», у Бориса Гудзя не было, и он это открыто демонстрировал. А служебные обязанности, которым он рьяно следовал, заставляли его проявлять «бдительность» прежде всего в своей семье.

В июле 1936 года была неожиданно уволена с работы старшая сестра Галины Александра (дома ее все называли Асей). Причины этого стали известны при ее аресте в декабре того

же года. «...в ее дневнике нашли имена “врагов народа”, на которых она не донесла, а это считалось тяжким преступлением» — так вспоминал о происшедшем ее брат Б. И. Гудзь*. Кто и как нашел личный дневник Аси, наверняка не должный храниться на работе в редакции журнала, — большая загадка. Но фактом стало ее недонесение, которое затем выросло в большое дело о ее «контрреволюционной деятельности» со сроком наказания в восемь лет. Ася была помещена в Бутырскую тюрьму, затем в Ярославскую, а в июне 1939 года с большим этапом отправлена на Колыму. В том же году, не выдержав свалившихся на них тяжких испытаний, скончались старики-родители Игнатий Корнильевич Гудзь и Антонина Эдуардовна Гинце.

Еще до ареста Аси у Варлама был доверительный разговор с ней. Он был посвящен чрезвычайно важной проблеме, касавшейся непосредственно его. Дело 1929 года все-таки аукнулось. По настоянию родственников, а конкретно — Бориса Игнатьевича Гудзя, в 1936 году начавшего работать в еще более важном ведомстве, Разведуправлении Генштаба (внешней разведке) РККА, — Шаламов вынужден был написать заявление в НКВД с официальным отречением от троцкизма. Родственники, и в первую очередь шурин с ромбами полкового комиссара, считали, что только это спасет всю семью от серьезных неприятностей. Другими словами, его «сдавали» — отдавали на заклание, как жертву, как ягненка. И сам он это хорошо понимал, затаив глубокую обиду на шурина.

В документах следственного дела Шаламова 1937 года никаких его заявлений нет. Но писатель запечатлел всю эту драматическую семейную ситуацию в своих воспоминаниях (глава «Ася»). Он пришел на квартиру к Александре Игнатьевне — как к самой честной и принципиальной в семье — вместе с женой Галиной с письменной заготовкой этого заявления, чтобы посоветоваться и принять окончательное решение. Эпизод стоит того, чтобы воспроизвести его полностью.

«Ася с удивлением прочла бумагу.

---

* Этот факт — из книги М. Ильинского «Нарком Ягода» (М., 2002), основанной во многом на устных рассказах Б. И. Гудзя, знавшего Ягоду и отмечавшего в 2002 году свое столетие — в полном здравии и уме. Феномену этой личности как старожила и ветерана-чекиста было посвящено в начале 2000-х годов множество публикаций в прессе. Ряд подробностей о его судьбе и судьбе его старшей сестры приведен в неопубликованных главах книги магаданского писателя и следователя А. М. Бирюкова (см.: http://www.belmamont.ru/index.php?action=call_page&page=product&product_id=343). Однако ореол «рыцаря» разведки и безупречно честного человека, созданный прессой вокруг этой персоны, нуждается в серьезных коррекциях, о чем и говорит роль Б. И. Гудзя в судьбе Шаламова.

— Это только в нашей семье может случиться такая подлость. Таких случаев тысячи, десятки тысяч. Вы ему скажите, пусть он сам донесет (несомненно, имеется в виду Б. И. Гудзь. — *В. Е.*). Вам будет проще отражать такие удары. Лезть самому в петлю...

— Я их не боюсь, — сказал я.

— Ну, это достоинство в глазах женщины, а не государства. Ты пойми, — заговорила Ася, обращаясь к сестре, — что он пройдет премьерой, он получит самую высшую меру! Ничего другого он получить не может.

— Мы уже решили писать, — поджав губы, сказала жена. — Надо поставить все точки над "и".

— Впереди еще много точек над "и", — сказала Ася, — и много многоточий...

— Собственно, мы не за этим к тебе пришли.

— А за чем же?

— Кому именно послать, на чье имя?

— Там приличных людей сейчас нет, — резко сказала Ася. — Я ведь знала людей круга Дзержинского, ну, Менжинского. Впрочем, там есть один человек самый приличный — Молчанов. У него и ящик там свой есть. Вообще-то лучше бы такую глупость не делать...»

Этот эпизод показывает, сколь глубоко презирала старшая сестра своего брата в связи с его намерениями поскорее избавиться от зятя. Да и многое другое в деятельности ОГПУ тех лет, с которым оставался тесно связан Б. И. Гудзь, ей очень не нравилось. Но Варлам под давлением жены (что видно из диалога) все-таки отнес свое заявление на Лубянку.

Ожидание решения судьбы, судя по его воспоминаниям, длилось довольно долго, несколько месяцев. В материалах следственного дела 1937 года есть документ о вызове Шаламова 25 декабря 1936 года на «собеседование» во Фрунзенский райотдел НКВД по существу его прошлой деятельности. Арестован был Шаламов ночью 12 января 1937 года, и он считал, что причиной ареста было не его заявление, а нечто другое — донос. В автобиографии «Несколько моих жизней» он подчеркнул: «Донос на меня писал брат моей жены», — то есть определенно имел в виду Б. И. Гудзя. Такая уверенность не могла не иметь конкретных оснований, ведь его отношения с шурином до крайности обострились, и, сделав один шаг по «искоренению троцкизма» в семье, тот неизбежно должен был сделать и другой, решающий — прежде всего во имя собственного спасения.

Возможно, это позволило Б. И. Гудзю на некоторое время сохранить свое положение, но в августе 1937 года он был уво-

лен из Разведуправления Генштаба и исключен из партии. Несомненно, на этой опале сказались аресты сразу двух «контрреволюционеров» в семье. Несомненно, сыграли свою роль аресты и расстрелы А. X. Артузова и других видных чекистов старого поколения, с которыми он был знаком. Но сам Борис Игнатьевич в своих поздних интервью говорил, что главной причиной увольнения было то, что его «оклеветал» (то есть опять же донес на него) коллега по службе. Бумеранг вернулся, вернее — сработала круговая порука доносительства, созданная Сталиным.

Б. И. Гудзь довольно легко вышел из «мясорубки» 1937 года — его всего лишь уволили со службы. Вскоре он устроился водителем в 1-й автобусный парк Москвы, а закончил свою трудовую деятельность директором крупного московского автохозяйства. В 1950-е годы он жил по-прежнему в своей большой комнате с отдельным входом в Чистом переулке. Есть основания полагать, что чекистскую бдительность он никогда не утрачивал. Родственники семьи Гудзь (по линии сестры Марии) вспоминают характерную историю: когда Шаламов, вернувшись с Колымы и живя на 101-м километре в Калининской области, приезжал в Москву и приходил в Чистый переулок, Борис Игнатьевич негодовал и вызывал милицию, чтобы арестовать Шаламова за нарушение режима проживания. Он продолжал ненавидеть своего зятя. Шаламов не мог не отвечать тем же. Он навеки запомнил 1937 год — «...с доносами, грубым произволом начальников, смертями, четвертованием, колесованием мужа, брата, сына, отца, доносивших друг на друга, предававших друг друга...».

Глава восьмая

БУТЫРКА 1937-го

«С первой тюремной минуты мне было ясно, что никаких ошибок в арестах нет, что идет планомерное истребление целой “социальной” группы — всех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить» — в этой фразе из автобиографических заметок Шаламова столько же мрачной иронии, сколько и исторической точности.

Речь идет пока не о том, что многие из взятых в 1937 году считали арест ошибкой, случайностью и ожидали восстановления справедливости — с ними много раз полемизировал Шаламов, а о том, что сто́ит за словами «запомнил не то, что следовало запомнить». Они дают его личный ключ к пониманию причин и смысла Большого террора.

Этой самой страшной трагедии советской истории к настоящему времени посвящен огромный пласт литературы, и довольно противоречивый. Как ни странно, немалую популярность приобрела безнравственная по своей сути версия оправдания массовых репрессий, берущая начало от позднего В. М. Молотова-пенсионера: «Мы обязаны 37-му году тем, что у нас во время войны не было пятой колонны»*.

Казуистичность этой логики, рассчитанной на обывателя, очевидна: «Если бы мы не уничтожали "врагов народа", то не выиграли бы войну». За такие слова Молотов действительно мог бы получить «плюху» от Шаламова при их встрече в Ленинской библиотеке в 1960-е годы. Молотовский взгляд, наверное, мог бы иметь какие-то (минимальные) основания, если бы, во-первых, количество тех, кто были сочтены потенциальными «предателями» в грядущей войне, не было бы столь чудовищно велико** и, во-вторых, если бы реальный качественный состав репрессированных столь резко не расходился с понятием «антипатриотизм» и приписываемой ему готовностью стать на сторону гитлеровского фашизма. И, разумеется, если бы массовая отправка людей в тюрьмы и лагеря не началась задолго до испанских событий.

Шаламов принадлежал к тому потоку арестованных в конце 1936-го и в 1937 году, чья судьба определялась отнюдь не внешнеполитическими факторами (как, впрочем, и судьба предыдущих и последующих потоков). В его биографии, может быть, ярче всего проявился именно *внутриполитический* фактор — главный для его времени, определявший участь всех, кто в той или иной форме и мере выражал свое недовольство сталинской политикой и на чьих глазах происходило восхождение вождя-тирана. Своим сарказмом по поводу «запоминания не того, что следовало», писатель и хотел подчеркнуть, что Сталин восходил буквально по трупам, последовательно уничтожая своих противников и инакомыслящих и загоняя за колючую проволоку всех, кто являлся прямым или косвенным свидетелем его преступлений. К последней категории в данном случае относил себя и Шаламов.

---

* *Чуев Ф.* Сто сорок бесед с Молотовым. М.,1991. С. 390.

** По данным новейших архивных исследований общества «Мемориал», общее количество осужденных в период со второй половины октября 1936-го по ноябрь 1938 года включительно составило более 1,5 миллиона человек, количество расстрелянных — не менее 724 тысяч человек (см.: *Охотин Н. Г., Рогинский А. Б.* «Большой террор» — 1937—1938. Краткая хроника // 30 октября. 2007. № 74). Этих данных придерживаются и наиболее авторитетные зарубежные историки, например, Н. Верт (его обобщающая статья «ГУЛАГ сквозь призму архивов» размещена на сайте shalamov.ru).

Еще до ареста он имел возможность читать материалы первого московского показательного процесса — «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» (август 1936 года), где 16 обвиняемых во главе с Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым были приговорены к расстрелу. Шаламов — как и многие другие — не мог поверить в то, что признания подсудимых, недавних соратников Ленина (как бы тот ни оценивал их), взявших на себя вину и в организации убийства Кирова, и в подготовке терактов против Сталина и других членов политбюро, являются правдой. О том, какими методами добивались признаний, он тогда мог только гадать, но о «конвейере» уже кое-что знал и не удивился бы тому факту, что С. В. Мрачковского — самого стойкого из подсудимых, героя Гражданской войны, — чтобы сломить, допрашивали 90 часов подряд. До других методов, в том числе «метода № 3» — «физического воздействия», пыток, изощренных истязаний — в НКВД тогда еще не дошли: все это было пущено в ход немного позднее, в августе 1937 года, с прямой санкции Сталина. Сам Шаламов свидетельствовал: «Я проходил следствие рано — в первой половине 37 года, когда пытки еще не применялись», и откровенно признавался: «Я не знаю, как бы я держался, если бы меня били». С жертвами пыточного конвейера он встречался на Колыме, испытывал к ним огромное уважение, и даже к тем, кто под пытками давал ложные показания, оговаривал других, — придерживался общего правила: не осуждать.

После ареста Шаламов оказался сначала на Лубянке, а затем в уже знакомой ему Бутырской тюрьме. Раньше, восемь лет назад, он первое время сидел в одиночке, а здесь его сразу после процедур дезинфекции, снятия отпечатков пальцев, фотографирования анфас и профиль провели в общую камеру номер 67. «Дежурный открыл дверь, и я вошел в тюремный полумрак и запах пота и лизола», — писал Шаламов. Камера была переполнена: вместо положенных по норме двадцати пяти человек в ней находилось около шестидесяти, спали по очереди не только на нарах, но и на дополнительных щитах. Первое, о чем спросил Шаламов с порога: «Кто староста?» — сразу обнаружило в нем старого сидельца, и пришлось отвечать на контрвопрос, когда это с ним было — «в 29-м году». «Получишь пять лет! По КРТД»* — оптимистически прокричал ему искушенный в приговорах староста.

Пять лет за «грехи молодости», связанные с «троцкизмом», были тогда стандартом, но нет тюремных стандартов без от-

---

* Контрреволюционная троцкистская деятельность.

ступлений — это Шаламов понимал хорошо, как и то, что на волю из Бутырки не выходят. Очень многое зависело от случая — от лишнего слова на следствии, от шлейфа прошлых и новых улик, от показаний свидетелей. Он знал, что значение этих старых истин неизмеримо выросло с тех пор, как в сентябре 1936 года по указанию Сталина на пост главы НКВД был назначен Н. И. Ежов — при нем в приговорах стало возможно все, даже самое фантастическое и иррациональное. Один из соседей Шаламова по камере, его давний знакомый по МГУ и оппозиционным делам Арон Коган, имевший такую же, как у Шаламова, первую судимость, был подведен следователем под трибунал и расстрелян 17 июня 1937 года, спустя всего две недели после того, как было решено дело Шаламова (писатель так и не узнал об этой участи А. Когана, к которому относился очень тепло и с которым беседовал в камере на философские темы — одной из этих тем мы коснемся ниже).

Следователем у него самого оказался невысокий по чину сержант госбезопасности Ботвин. «Чекистами работников этих учреждений уже не называли», — многозначительно отмечал Шаламов. Столь малый ранг следователя говорил о том, что его дело не принадлежало к числу особо важных, но любой сержант мечтает стать по крайней мере лейтенантом, и Ботвин не был исключением. Шаламов в воспоминаниях назвал его ленивым циником — потому что тот вел дело не спеша, занимался во время допросов еще какими-то своими бумагами, и Варлам (как некогда на Вишере во время «дела Стукова») успел просмотреть через стол в очень тесном кабинете («ноги наши соприкасались») свое дело 1929 года, поднятое из архивов. Это значило, что новое дело разрабатывалось самым серьезным образом и в нем открывались, как писал Шаламов, «безграничные по тем временам возможности». Ботвин, постоянно подгоняемый начальством, проявил на этом пути весьма большое усердие и продлевал следствие, чтобы «выжать максимум». Это подтверждают не только свидетельства писателя, но и материалы из архива ФСБ.

В них отчетливо видна главная цель Ботвина — обвинить Шаламова в том, что он после отбытия первого срока не «разоружился» и продолжал «активную троцкистскую деятельность». Поэтому его основные вопросы были связаны с контактами Шаламова по возвращении в Москву. Шаламов был готов к этому и, понимая, что путь отказа от показаний, избранный им в 1929 году, в 1937-м уже не уместен, отвечал с той мерой откровенности, которую подсказывали ему приобретенные с молодости конспиративные навыки. Главное — не говорить ни одного неосторожного слова и не подвести това-

рищей. Поэтому он упоминал только пять фамилий — и именно тех людей, которых нельзя потянуть за собой «хвостом», поскольку все они, по его сведениям, должны находиться где-то далеко от Москвы (как он догадывался, в ссылках). Эти фамилии, постоянно фигурирующие в протоколах: С. Гезенцвей, М. Сегал, А. Веденский, Н. Арефьева и Б. Казарновская.

Еще при первом вызове во Фрунзенский райотдел НКВД он назвал их имена, причем очень благожелательно отозвавшись о некоторых из них в связи с делами оппозиции 1927—1929 годов: «Я был хорошо знаком с Сегал и Гезенцвей, любил их как людей, и после их исключения из комсомола не порвал с ними отношений». «Любил» — совершенно не в стиле протокола, не подходит под статьи обвинения, но Шаламова характеризует необычайно ярко! Следователь Ботвин, возможно, надеялся, что такой «лирик» и ему тоже раскроет свои чувства к «троцкистам», но в Бутырской тюрьме Шаламов был более сдержан.

Имя С. Гезенцвей здесь ему еще не раз приходилось упоминать, однако Ботвину были не так важны давние дела, по которым все студенты отбыли наказание и на основании которых не состряпаешь новое дело. Поэтому он сосредоточился лишь на четырех фигурах, с которыми Шаламов, согласно его показаниям, встречался в конце 1932-го — начале 1933 года. Следователь сразу поставил вопрос: «Ваша личная связь с М. Сегал, Веденским, Арефьевой, Казарновской не исключала к/р (контрреволюционную. — *В. Е.*) троцкистскую деятельность?» Шаламов отвечал четко и продуманно: «В конце 1928 г. и начале 1929 г. не исключала. В остальное время совершенно исключала».

На последующих вызовах к Ботвину эта тема только варьировалась.

«Вопрос: Подвергались ли аресту и высылке за к/р троцкистскую деятельность Веденский, Казарновская, Арефьева и Сегал?

Ответ: Да, арестовывались и высылались по линии б[ывшего] ОГПУ.

Вопрос: Какие служили предпосылки для ваших встреч с троцкистами Веденским, Казарновской, Арефьевой и Сегал?

Ответ: Возобновление с ними связи как с бывшими личными знакомыми и раскаявшимися.

Вопрос: Кто вас информировал о пребывании их в Москве?

Ответ: После возвращения из ссылки я повстречал знакомую по 1 МГУ Сармацкую, проживавшую по Теплому пер., дом 8, кв. 10 или 9, которая сказала мне, что Сегал больна. Желая проведать Сегал, я зашел к ней на квартиру, где встретил

Казарновскую, а у последней на квартире видался с Веденским и Арефьевой.

Вопрос: При встречах с Веденским, Казарновской и др. имели ли место разговоры на политические темы?

Ответ: Никаких разговоров политического характера среди нас не было».

Очевидно, Ботвин предпринял немалые усилия для того, чтобы разыскать «четверку», упоминавшуюся Шаламовым, и устроить очные ставки, но безрезультатно. Не нашел он и новую возможную свидетельницу (или подозреваемую), чья фамилия прозвучала, — Сармацкую. О его раздраженности свидетельствует протокол допроса от 3 марта:

«Вопрос: Вы скрываете от следствия точный адрес Сармацкой Галины, так как по указанному вами адресу, Теплый пер., дом 8, Сармацкая никогда не проживала?

Ответ: Утверждаю, что Сармацкая Галина по отечеству Ивановна или Игнатьевна действительно проживала по Теплому пер., дом № 8 (возможно, что в доме № 6 или 4, кв. № 9 в полуподвале, но я с ней не встречался примерно около 4-х лет, так что точно указать дом не могу — забыл)».

Вполне вероятно, что «Сармацкую» Шаламов выдумал нарочно, чтобы сбить с толку Ботвина. (Даже в современной ФСБ не могли обнаружить никаких сведений о такой личности, в то время как о других четырех, упомянутых Шаламовым, справки есть: все они были репрессированы в 1937—1938 годах*.)

Параллельно следователь занимался поиском улик против Шаламова среди его коллег по журналу «За промышленные кадры». Все они, несомненно, были напуганы и поскольку не могли ничего сказать о «троцкистской» деятельности своего сотрудника, то говорили больше о его замкнутости. Например, заведующий редакцией Гусятинский на грозный вопрос Ботвина: «Что вам известно об антисоветских настроениях Шаламова?» — отвечал: «Шаламов держался в стороне от коллектива, никого из работников редакции он к себе никогда не приглашал. В высказываниях был весьма осторожен. При обмене мнениями по поводу газетных статей, текущих событий всегда переводил разговор на другие темы. Тогда коллектив редакции считал, что он, Шаламов, просто замкнутый, скрытный человек, определенных антисоветских настроений не проявлял». Но другой сотрудник журнала, Бочков, угодливо подыгрывал следователю: «По возвращении из командировки в Киев Шаламов очень хвалил бывшего директора Киевского

---

* См.: Реабилитирован в 2000-м // Шаламовский сборник. Вып. 3. Вологда, 2002. С. 32—34.

индустриального института Ефимова — ныне разоблаченный как враг народа — троцкист. Шаламов писал литературно-художественные очерки и новеллы (кроме работы в редакции "За пром. кадры"), но тематика их была отвлеченной, рассказов на советские темы я у него не видал. Советской социалистической стройкой Шаламов не интересовался». Ответственный редактор журнала Беляков («член ВКП(б) с 1918 года», как он подчеркивал) счел необходимым сказать о Шаламове, что «литературное ремесло он, видимо, изучил сносно, но работал как чиновник: аккуратно отсиживал часы, показывал достаточно ясно выраженное рваческое настроение — стремление за обычную служебную работу получить дополнительный гонорар». Говоря о необщительности Шаламова, он выразился весьма двусмысленно: «Очевидно, что человек жил двойной жизнью. Вторая его жизнь, видимо, была тщательно замаскирована».

Вызывали на допрос и Галину Гудзь. Ее свидетельств в архиве не сохранилось, но по возвращении с Колымы Шаламов спрашивал жену: «Что тебе писали в твоих собственных показаниях?» Она отвечала: «Мои показания вот какие: я, конечно, не могу сказать, чем ты занимался в мое отсутствие, но в моем присутствии ты никакой троцкистской деятельностью не занимался». («Вот и отлично», — резюмировал Шаламов.)

Особое рвение проявил Ботвин, пытаясь уличить своего подследственного в том, что тот скрывался от ссылки в Архангельск, назначенной ему после Вишеры. Но Шаламов был готов к этим вопросам, о чем свидетельствует диалог: «— Вы знакомы с постановлением Особого совещания при ОГПУ от 14-го февраля 1932? (постановление о ссылке. — *В. Е.*). — Нет, не знаком. — Вам зачитывается это постановление (читается текст). — Да, сейчас я ознакомлен, но мне совершенно непонятно, как это могло получиться, ибо это постановление вынесено после моего освобождения. — Вы, значит, также ничего не знаете о том, что вас разыскивали как бежавшего? — Летом 1935 г. меня вызывали на Петровку, 38, где сообщили (т. Ерофеев), что обо мне есть запрос из Свердловского ОГПУ, предложили принести документ, на основании чего я был освобожден в 1931 г. из Управления Вишерских исправительно-трудовых лагерей. После того, как я принес справку, меня никуда больше не вызывали».

Круг, кажется, замкнулся: следователь так ничего и не добился и ничего не доказал. По законам любого правового государства (в том числе по «самой демократичной в мире» Конституции СССР 1936 года) Шаламов должен был быть освобожден от обвинений. Но машина НКВД работала по-своему, и Бот-

вин уже писал свое заключение. Оно начиналось примечательными словами: «Во Фрунзенское Р/О УГБ УНКВД МО поступили сведения о том, что проживающий по Чистому пер., дом № 8, кв. № 7 ШАЛАМОВ В. Т., в прошлом активный троцкист, продолжает разделять взгляды к/революционного троцкизма». («Поступили сведения» — это и указывает на донос со стороны Бориса Гудзя.) Любопытнее всего формулировка самого обвинения: «ШАЛАМОВ Варлам Тихонович, 1907 г. рожд., ур. Вологда, по соц. происхождению сын служителя культа, б/п, в 1929 г. арестовывался органами ОГПУ и подвергался 3-м годам адм. высылки, в 1931 г. из адм. высылки вернулся, служащий, женат, жена и один ребенок, до ареста работал в издательстве журнала “За пром. кадры” журналистом — *обвиняется в том, что в 1927—1929 г. принимал активное участие в к/рев, троцкистской оппозиции, и после возвращения из адм. высылки продолжал иметь систематические связи вплоть до 1934 г. с быв. троцкистами, скрывая это от общественных организаций* (курсив мой. — *В. Е.*)». («Систематические связи вплоть до 1934 г.» — это явные и грубые натяжки следователя, но в итоге они стали главной «уликой»!) Ботвин вынес постановление: «Следственное дело № 2456 по обвинению ШАЛАМОВА по ст. 58 п. 10 ч. 1-я УК РСФСР представить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР. Копию настоящего обвинительного заключения направить прокурору г. Москвы».

Помощник прокурора Москвы по специальным делам Сучков — есть в архиве и эта фамилия — никаких претензий к следователю, естественно, не нашел. А Особое совещание при НКВД, которое было завалено подобными делами (их рассматривалось до тысячи в день! — и сколько их прошло 2 июня 1937 года вместе с делом Шаламова, неизвестно), просто отштамповывало краткие «выписки из протокола». Выписка по Шаламову гласила: «...сын служителя религ. культа, судимый. Постановили за к-р троцкистскую деятельность заключить в исправит.-трудовой лагерь сроком на ПЯТЬ лет, считая с 12.1.37». Сразу же было дано и указание в Бутырскую тюрьму — «Шаламова надлежит направить с первым отходящим этапом в гор. Владивосток, в распоряж. нач. ПЕРПУНКТА СОВВОСТЛАГа НКВД, для направления на Колыму».

(На всех этажах карательно-бюрократической машины спешили, экономили время, пользовались сокращениями и совершали массу технических ошибок. «Перпункт» — это понятно: пересыльный пункт. А «СОВВОСТЛАГ» — Советский восточный лагерь? За такое могли бы и голову снести, заставив поправить описку-опечатку на «СЕВВОСТЛАГ»...)

Что же, сбылось предсказание старосты камеры — пять лет по КРТД? Легко отделался? Так можно было бы думать, если бы не зловещая буква, литера «Т», указывающая на «троцкизм». Это клеймо припечатывалось исключительно во внесудебном и негласном порядке — ни Сталин, ни его законодатели не решились ввести имя Троцкого еще и в Уголовный кодекс. Но значило это клеймо гораздо больше, чем 58-я статья пункт 10 («пропаганда и агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений»). Осужденные по КРТД обрекались на скорое или медленное уничтожение. Последнее достигалось спецуказанием — «использовать на тяжелых физических работах». Поэтому можно полагать, что участь Шаламова была решена не одними усилиями следователя и Особого совещания, а еще и простой процедурой медосмотра, который он прошел сразу по поступлении в тюрьму, 16 января: «Заключенный Бутырского изолятора НКВД Шаламов Варлам Тихонович, 29 лет, по состоянию своего здоровья годен к тяжелому физическому труду...»

Почти полгода провел он в общей камере номер 67, и это время не прошло для него даром ни в каких смыслах. Не случайно Шаламов рассматривал Бутырскую тюрьму 1937 года (и 1929-го) как исключительно важный этап своей жизни, как своего рода школу. В поздних заметках «Что я видел и понял» он писал на этот счет еще более твердо и убежденно: «Лучшим временем своей жизни считаю месяцы, проведенные в камере Бутырской тюрьмы, где мне удавалось укрепить дух слабых и где все говорили свободно».

Все это, разумеется, — в сравнении с Колымой. Он называл месяцы Бутырки первой половины 1937 года еще и «детскими» — прежде всего из-за относительно мягкого режима, который позволял вести всем сокамерникам разговоры на любые темы (не боясь стукачей и провокаторов, которых — в силу специфики общей, а не расстрельной, как Лубянка, тюрьмы — здесь еще не подсаживали). Заключенные, большинство которых составляли интеллигенты, просвещали друг друга, читая лекции на самые разные темы. А бутырскую библиотеку того периода Шаламов считал лучшей в Москве и даже в стране, потому что из нее, по каким-то труднообъяснимым причинам, еще ничего не было изъято — ни «Повесть непогашенной луны» Пильняка, ни «Белая гвардия» Булгакова. При этом кормили арестантов достаточно сытно — три раза в день и выводили на прогулки.

Шаламов был выбран старостой камеры, и это служило подтверждением его авторитета. Сам же он нашел в камере

другой, непререкаемый авторитет в лице А. Г. Андреева — бывшего правого эсера, много лет отсидевшего в царских тюрьмах, недавнего члена разгромленного Всесоюзного общества политкаторжан (Шаламов в рассказах и воспоминаниях называл его генеральным секретарем этого общества, что можно объяснить, вероятно, не очень четко понятой саморекомендацией Андреева). Наблюдая в течение нескольких месяцев уверенное поведение Шаламова в камере, убеленный сединами («серебреноголовый» — эпитет писателя), один из последних могикан русского освободительного движения проникся к молодому оппозиционеру нескрываемым уважением. Они много и откровенно беседовали. Шаламов отметил привычку Андреева постоянно ходить по камере взад-вперед от окна до дверей (тот говорил: «Тысяча шагов в день — моя ежедневная норма. Два закона тюрьмы — поменьше лежать и поменьше есть. Арестант должен быть полуголодным, чтобы никакой тяжести в желудке не чувствовать»). Запомнился Шаламову день 12 марта, когда Андреев отмечал двадцатилетие Февральской революции как день своего освобождения из царской каторги («12 марта 1917 года я вышел на свободу. Сегодня 12 марта 1937 года, и я — в тюрьме!..»).

Именно благодаря тесному общению с Андреевым Шаламов сделал вывод, который будет потом многократно повторять: «Эсеровская партия — партия трагической судьбы». Он имел в виду, что к ней принадлежали, по его словам, «лучшие люди России», которые принесли наибольшие жертвы на алтарь революции, но практически все погибли после 1917 года. Напомним: писателя привлекали не столько политические программы эсеров, сколько их человеческие качества, которые он увидел и в Андрееве, — стойкость, самоотверженность и неискоренимый идеализм, который в его глазах служил ярким контрастом цинизму сталинской политики...

Андреева взяли из камеры с вещами раньше, чем Шаламова. «Нас, бывших политкаторжан, собирают на Дудинку, в ссылку», — сказал он. На прощание они поцеловались, и Андреев произнес фразу, которая запомнится писателю на всю жизнь: «Вы — МОЖЕТЕ сидеть в тюрьме. Говорю вам это от всего сердца».

Шаламов всегда считал эту похвалу «самой лучшей, самой значительной и ответственной похвалой» в своей жизни. Признание старого революционера помогло ему еще больше укрепиться в своих нравственных убеждениях и стало одним из тех поистине звездных, путеводных ориентиров, которые светили ему во всех дальнейших испытаниях. Об этом свидетельствует не только известный рассказ «Лучшая похвала», но и многое

другое. Очевидно, что псевдоним «Андреев», под которым фигурирует автобиографический герой Шаламова в целом ряде других рассказов колымского цикла, навеян именно этим важнейшим знакомством в Бутырке и является символом преемственности и памяти о столь воодушевившей его встрече с замечательным человеком*.

Будучи выбран старостой камеры, Шаламов, с учетом своего опыта, старался прежде всего предотвратить любые ссоры между заключенными. «Двадцать четыре часа в сутки встречаются люди друг с другом. Разные люди. Нервная система разная у всех, и староста должен уметь предупредить конфликты — это штука болезненная, заразная, развивается, как цепная реакция», — писал он. Но главной своей миссией он считал оказывать моральную поддержку новичкам, впервые попавшим в тюрьму НКВД. Среди них было много совершенно невинных людей, которым «пришили» политические дела по их простодушию. Они рассказывали свои истории со смехом. Шаламов приводил историю Васи Жаворонкова, машиниста из Савеловского депо: «Меня преподаватель на политкружке спрашивает — а если бы Советской власти не было, где бы ты, Жаворонков, работал?» — «Да так же и работал бы в депе, как сейчас...» За это он получил «антисоветскую агитацию».

«Укрепить дух слабых» значило не только самому дать пример принципиального поведения и учить, как вести себя на допросах. Важнейшей своей задачей как старосты Шаламов считал «внушить новичку, что тюрьма — не страх, не ужас, что в ней сидят достойные люди». Но достигалось это без нравоучений, а самой атмосферой, созданной в камере. Чаще всего новички считали, что они попали в тюрьму случайно, по ошибке, а остальные — «за дело». Таким был Гудков, начальник политотдела МТС, арестованный за хранение пластинок с записью Ленина и Троцкого. «Он не верил, что за это могут осудить, а всех вокруг себя считал врагами, воюющими с Советской властью, — писал Шаламов. — Но шел день за днем, и вскоре Гудков просил прощения за недоверие в первые дни». Впоследствии, с учетом колымского опыта, писатель вывел на этот счет четкую и категоричную формулу: «Когда подлеца са-

---

* К сожалению, реальная судьба А. Г. Андреева пока не исследована. Известно, что в 1934—1937 годах он работал в одной из артелей бывших политкаторжан в городе Мытищи. Арестован был 2 февраля 1937 года и в июне того же года Особым совещанием НКВД приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован в 1956 году (см.: Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Образование, развитие, ликвидация. М., 2004. С. 126—127).

жают в тюрьму, он невольно думает, что только его посадили по ошибке, а всех остальных — за дело. А когда в тюрьму попадает порядочный человек — он, зная, что сам арестован невинно, верит, что и соседи его могут быть в том же положении».

К первому типу он относил поначалу и Мишу Выгона — студента института связи, который лежал недалеко от него на нарах. Как комсомольский активист Выгон был послан на строительство канала Москва—Волга и, увидев там изможденных заключенных, написал жалобу. За это его и посадили. Из тюрьмы он написал еще одну жалобу — прямо на имя Сталина — о том, что «тут действует чья-то злая воля, совершается тяжелая ошибка». Дело закончилось тем, что Выгону дали три года и отправили на Колыму — они вместе оказались на прииске «Партизан»*.

Десятки людей с разными биографиями прошли перед глазами писателя в Бутырке. Все они имели свой взгляд на происходящее за стенами тюрьмы, но сходились в одном: в стране творится что-то непонятное и страшное. Об открытых дискуссиях на эту тему Шаламов нигде не упоминает, да их и не могло быть: слишком болезненный вопрос, чреватый вспышкой в камере маленькой «гражданской войны» между «верующими» и «неверующими в Сталина». Говорить на серьезные политические или философские темы можно было либо с ближайшими соседями по нарам, либо отойдя с оппонентом к дверям, ближе к параше. Одна из таких дискуссий — со старым знакомым по МГУ и по оппозиции Ароном Коганом — Шаламову запомнилась на всю жизнь, потому что в ней раскрылось очень распространенное заблуждение о роли интеллигенции. «Мысль Когана (“молодого, экспансивного” — подчеркивал Шаламов) была та, что интеллигенция как общественная группа значительно слабей, чем любой класс. Но в лице своих представителей она в гораздо большей степени способна на героизм, чем любой рабочий или любой капиталист...»

«Это была светлая, но неверная мысль, — писал Шаламов позднее, с высоты своего колымского и послеколымского опыта. — Это было быстро доказано применением пресловутого “метода № 3” на допросах. Разговор с Коганом был в начале 1937 г., бить на следствии начали во второй половине

* Шаламов абсолютно точно воспроизводит историю ареста М. Выгона, как и его горячую в то время «веру в Сталина». Все это отражено в воспоминаниях М. Е. Выгона, бывшего арестанта Бутырки и лагерника Колымы, оказавшегося долгожителем — он окончил свои дни в начале XXI века (см.: *Выгон М. Е.* Личное дело. М., 2005). Эти воспоминания имеют большую ценность в качестве реального дополнения к биографии Шаламова, и мы ими еще воспользуемся.

1937 г., когда побои следователя быстро вышибали интеллигентский героизм. Это было доказано и моими наблюдениями в течение многих лет над несчастными людьми. Духовное преимущество обратилось в свою противоположность, сила обратилась в слабость и стала источником дополнительных нравственных страданий — для тех немногих, впрочем, интеллигентов, которые не оказались способными расстаться с цивилизацией, как с неловкой, стесняющей их движения одеждой. Крестьянский быт гораздо меньше отличался от быта лагеря, чем быт интеллигента, и физические страдания переносились поэтому легче и не были добавочным нравственным угнетением».

Могучая и пессимистическая мысль Шаламова перевесила на исторических весах мысль его оппонента. Арон Коган был, как мы знаем, расстрелян в июне 1937-го. Дело его в подробностях не исследовано, но можно не сомневаться, что даже во время пыток он проявил героизм, о котором так страстно говорил и к которому был готов. А Шаламову еще только предстояло доказать другое — свою неспособность расстаться с упомянутой «одеждой» интеллигента в том неведомом мире, куда его повезли...

Большой этап из Москвы на Колыму был сформирован только в конце июня. Отправлялись, как вспоминал Шаламов, «с Краснопресненской пересылки, из новой тюрьмы, которую построил Сталин». Везли в теплушках по 40 человек. До Владивостока состав добирался больше месяца, подбирая на многочисленных стоянках новые партии заключенных.

Этот путь он вспоминал потом мало. Единственная близкая ему литературная ассоциация возникла в Омске, где когда-то сидел в каторжной тюрьме Достоевский. Впрочем, ему больше всего запомнилась омская баня — «лучший санпропускник, лучше бутырского, лучше магаданского, где мы, вымытые, в мокрой после дезинфекции одежде, пахнущей лизолом, лежали на каком-то дворе и смотрели на теплое осеннее солнце...»

Глава девятая

КОЛЫМА. «НАС ПРИВЕЗЛИ СЮДА УМИРАТЬ»

Пересылка под Владивостоком, «Вторая речка», на которую через год будет доставлен и умрет там Осип Мандельштам (об этом Шаламов узнает позже), состояла из множества дощатых бараков и брезентовых палаток. Они делились по статьям: в одних сидели политические («контрики», «троцкисты»), в других — уголовники («воры» и «суки»). За неделю пребыва-

ния здесь новички с московского эшелона не раз подвергались нападению блатных с криками «Бей троцкистов!» и попытками «шмона». Атаки отражались, поскольку москвичи держались дружно. Но в трюме парохода, куда были погружены все вместе, блатные получили преимущество: они грабили своих соседей поодиночке, улучив момент, когда кто-то отрывался от своей группы — покурить или на «очко».

Шаламов уже тогда заметил, что блатари проявляют к нему повышенное внимание. Высокий, с прямой спиной, черноволосый «фитиль», он выделялся среди многих еще и суровым проницательным взглядом — это их раздражало больше всего. Привлекал и чемодан, который ему потом пришлось бросить в Магадане. Но на морском этапе Шаламову удалось избежать нападений: он был еще силен и умел обороняться. («Первый случай серьезного избиения меня был связан с табаком, с махоркой. Меня ударили поленом и забрали кисет. С тех пор я насыпáл махорку только в карманы, — вспоминал он. — Было это поздней осенью, а точнее, ранней зимой 37-го — эти два времени года на Колыме неразличимы».) Трюм парохода позволил ему зримо ощутить резкий контраст между нравами блатных Вишеры и блатных нового времени: последние стали гораздо наглее и агрессивнее.

Пароход назывался «Кулу» (по имени реки, впадающей в Колыму), он считался грузо-пассажирским, но «пассажирам» было отведено гораздо менее почетное место, чем грузам, которые располагались в основном на палубе. Трюмы были огромными — восьмиметровой высоты, двухэтажными, и на каждом этаже, разделенном на отсеки, по два яруса сбитых из досок нар. В отсек помещалось до шестисот человек, и единственным признаком комфорта здесь были уборные в расчете по 100 человек на «очко». К ним шла непрерывная очередь — желудки у всех были расстроены еще в пути и на пересылке, а пароходный рацион состоял из 600 граммов хлеба, селедки, миски баланды и кружки воды в день. Вонь и духота тянули всех людей к трапам, к открытым выходам-люкам, но там стояли конвоиры с винтовками наготове.

Кто-то бы помнил только это (или ничего не помнил, находясь в полузабытьи в качке), но Шаламову запала в память встреча почти литературная — с Яном (Иулианом) Хреновым. Это был тот самый, увековеченный в стихотворении Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка», бывший бравый матрос и профсоюзник. Хренов сблизился с Маяковским в конце 1920-х годов. Потом он работал директором Краматорского, а затем Славянского арматурного завода под Харьковом, где и был арестован весной 1937 года по

КРТД. В тюрьму он взял с собой как возможную индульгенцию томик Маяковского, где было знаменитое оптимистическое стихотворение со строками: «...Через четыре года / Здесь будет город-сад!» — с дарственной надписью автора. На следователей она не возымела никакого действия, и Хренов взял томик с собой в дорогу. Он показывал его соседям по трюму. Но, как многозначительно замечал Шаламов, «перечитывать Маяковского в такой обстановке никто не собирался, грань, отделяющая стихи, искусство от жизни, уже была перейдена...».

До бухты Нагаево через пролив Лаперуза и Охотское море каждый пароход добирался в среднем за пять-шесть дней, если не попадал в шторм. Шаламов не оставил упоминаний о шторме, и его морской этап можно считать относительно благополучным. Тем более что стоял еще август — теплый, с голубым небом, под Владивостоком, но становившийся все прохладнее с каждым днем приближения к Магадану.

Свои ощущения от первой встречи с Колымой Шаламов выразил в рассказе «Причал ада»: «Голые, безлесые, каменные зеленоватые сопки стояли прямо перед нами, и в прогалинах между ними у самых их подножий вились косматые грязно-серые разорванные тучи. Будто клочья громадного одеяла прикрывали этот мрачный горный край. Помню хорошо: я был совершенно спокоен, готов на что угодно, но сердце забилось и сжалось невольно. И, отводя глаза, я подумал — нас привезли сюда умирать...»

Это предчувствие разделяли далеко не все. Большинство заключенных, в том числе осужденные по 58-й статье, думали, что их привезли сюда просто на тяжелую, необходимую государству работу — пусть в суровых условиях, но ограниченную сроком в три—пять лет. Они даже считали, что им повезло, потому что десятилетние и бóльшие сроки стали назначаться с 1938 года, а они попали в «легкий» поток. Шаламов видел в этом одно из свойств национальной психологии: «По русскому обычаю, по свойству русского характера каждый, получивший пять лет, радуется — что не десять. А двадцать пять лет получит — пляшет от радости, что не расстреляли...» Но сам он думал по-другому и совсем не радовался. Перемены в стране не сулили ничего хорошего. Да и в Европе было неспокойно. Гитлер, нарушив Версальский договор, уже оккупировал Эльзас и Лотарингию, расправился с коммунистами, посадив их в свои концлагеря, а те из них, кто мог, бежали в СССР. Шаламов еще в эшелоне познакомился с некоторыми бывшими коминтерновцами. Они когда-то свято верили Сталину, а тот обрек их на Колыму. Один из них, немецкий коммунист Вебер, возвращавшийся из Москвы с переследствия, глядя, как безмятежно сме-

ются соседи по теплушке, говорил: «Это дети. Они не знают, что их везут на физическое уничтожение». Шаламов запомнил эти слова, и они совпадали с его собственным мрачным и тревожным настроением.

Дату прибытия в Магадан — 14 августа 1937 года, а также пароход и номер его рейса — он тоже запомнил, потому что потом ему постоянно задавали и на поверках, и при переводах с одного лагерного пункта на другой одни и те же вопросы: когда прибыл, каким пароходом и рейсом? Так начальству было удобнее вести учет. Для Шаламова имело особое значение то, что он прибыл *пятым* с начала навигации рейсом «Кулу». Это давало возможность хотя бы приблизительно судить о гигантских масштабах развернувшегося на золотоносном Севере производства и общем количестве заключенных, направлявшихся в его лагеря. Но кроме «Кулу» трест «Дальстрой» имел еще три собственных, закупленных в Голландии и Англии, больших океанских парохода — «Джурма», «Николай Ежов» (переименованный вскоре в «Феликса Дзержинского») и «Дальстрой» (еще недавно называвшийся «Генрих Ягода»). На Колыму постоянно работало и множество более мелких судов Владивостокского порта. Они за навигацию — растягивавшуюся, благодаря ледоколам, с апреля по декабрь — делали по восемь и более рейсов. Но реальное количество перевозимых заключенных, а также состав грузов, среди которых особое место занимали наряду с горючим два стратегически важных продукта — взрывчатка для горных работ (аммонал, тол) и бочки спирта для начальства, конвоя и обслуги, — знал только узкий круг лиц. Все грузы числились как «военные», ведь изначально Дальстрой создавался как военизированная, закрытая, строго засекреченная организация, как «валютный цех» страны.

Шагая после долгой выгрузки с парохода в колонне заключенных — под дождем, в вечерних сумерках — через Магадан, Шаламов вряд ли думал о том, что где-то здесь живут и служат его старые вишерские знакомые — Майсурадзе, Филиппов, Васьков и сам Берзин. И о своей плохой шутке: «На Колыму — только с конвоем» — он, наверное, уже забыл. Хотелось только спать. И все заключенные свалились после дальней дороги, едва добравшись до нар магаданской пересылки. А потом их погрузили на машины и отправили по колымской трассе на дальний прииск «Партизан». Тут о встрече, даже случайной, с кем-то из берзинской команды можно было уже совсем не мечтать.

Между тем Шаламов застал на Колыме не только плоды деятельности бывших первостроителей Вишеры, но и их стиль

работы с заключенными. Этот стиль был более либеральным, чем на Северном Урале начала 1930-х годов. Первое, что бросилось в глаза, — отсутствие колючей проволоки в лагерных пунктах на всем протяжении новой, почти 600-километровой колымской трассы! И режим был бесконвойным — на работу ходили сами. Кормили по тому же принципу, что и на Вишере: лучше работаешь, выполняешь нормы на 130 процентов — получаешь ударный паек: если на 100 процентов — общий, что означает 800 граммов хлеба и хороший «приварок» (горячие супы и каши). Рабочий день летом, во время промывочного сезона, — десять часов, в декабре — шесть, в январе — четыре.

Зимнего берзинского распорядка дня Шаламов уже не застал — в ноябре 1937-го на Колыме началась абсолютно другая, страшная и жестокая эпоха (та, которой и будут посвящены потом его главные рассказы). Но основные приметы предшествующей эпохи он запомнил. Новичкам сразу дали три дня отдыха, накормили, выдали новое зимнее обмундирование, крепкую обувь, для смазки которой — неслыханное дело! — стояла бочка рыбьего жира. Самым ярким символом этого времени для него стал пустующий лагерный медпункт — сюда никто не обращался. Все были здоровы или забывали про свои болезни и травмы, потому что — сезон, шло золото и шел заработок! Заключенные (вернее, «колымармейцы» — так их было принято называть при Берзине) по зарплате приравнивались к вольнонаемным и получали за летний сезон немалые деньги — от 800 до 1500 рублей, и могли ими свободно распоряжаться — отсылали в основном родственникам на материк (где средняя зарплата была 200—300 рублей), для обустройства в будущей свободной жизни. Ведь система зачетов для «ударников» по-прежнему существовала, и можно было значительно сократить свой срок, что было для большинства мощнейшим стимулом. Большинство это составляли, как и на Вишере, вчерашние крестьяне, «раскулаченные» и осужденные, как правило, по бытовым статьям — на политических зачеты не распространялись.

Шаламов никогда не употреблял слова «гуманизм» по отношению к системе Берзина — именно потому, что она была слишком прагматична и рассчитана на усредненного, привычного к физическому труду, выносливого русского (и не только русского) мужика, но никак не на интеллигента, а тем более — на троцкиста. Но и сам Берзин был недоволен тем, что к нему стали направлять массу совершенно негодных к тяжелой работе политических, среди которых было много пожилых, женщин, слабосильных и больных людей. Шаламов считал, что

именно из-за этого недовольства Берзина сняли с поста директора Дальстроя, вызвали в Москву и расстреляли. На самом деле были и другие причины, и чтобы их лучше понять, а также разобраться в реальной истории лагерной Колымы, придется сделать небольшое отступление.

...Очевиден тот факт, что Сталин в 1920-е годы, слишком много и слишком рьяно занимаясь политикой, борьбой с оппозицией, упускал из вида решение важнейших экономических вопросов, и прежде всего главного — обеспечения страны золотовалютным запасом. Постановление о создании треста «Дальстрой» было принято политбюро ВКП(б) лишь в конце 1931 года, в разгар индустриализации и на исходе коллективизации, поставившей всю страну на грань голода. В то же время данные уже первых экспедиций С. Обручева и Ю. Билибина (1926—1929 годы) свидетельствовали об огромных запасах золота на северо-востоке, особенно в верховьях реки Колымы. Тогда же была выдвинута гипотеза о существовании «золотого пояса» между Аляской и Колымой. Запоздание с принятием решения по столь важному вопросу обернулось, как всегда у «вождя народов», чрезвычайщиной. Понятно, что альтернатив освоению «русского Клондайка» «русскими методами» — путем использования принудительного труда заключенных — на тот момент уже не существовало. (В данном случае «советское» совпадало с «русским» по аналогам из истории царской каторги — Сталину, несомненно, был известен пример, скажем, нерчинских золотых рудников, где широко использовался труд заключенных, в том числе политических.)

Срочность исполнения всех решений по Дальстрою поразительна: прямо посреди зимы, 4 февраля 1932 года, Э. П. Берзин, отозванный с Вишеры, пробившись на пароходе «Сахалин» через льды (с помощью ледокола «Литке»), высадился в бухте Нагаево. На берег выгрузились первая техника — машины, трактора и — первые заключенные. Среди них выделялась группа казаков, осужденных за «кулацкое» восстание в Забайкалье, — там, «где золото роют в горах» (расчет был на то, что они знают старательское дело). «Добровольцами», — если можно так назвать направленных по приказу Сталина, — были только сам Берзин и его старые соратники, а также небольшая группа демобилизованных солдат-комсомольцев. В апреле 1932 года Г. Ягода (в ту пору еще заместитель В. Менжинского по ОГПУ) издал приказ об организации Севвостлага и направлении в него шестнадцати тысяч «вполне здоровых заключенных». На самом деле было направлено меньше — около десяти тысяч, но в дальнейшем все наверсталось: в 1933 году

численность заключенных составила 27 тысяч, в 1935-м — 44, в 1937-м — 80 тысяч. Вольнонаемных тогда было в семь-восемь раз меньше*.

Эти люди и заложили основу золотодобычи на Колыме: построили трассу до самых богатых россыпных месторождений, мосты, поселки, электростанции, автобазы, обогатительные фабрики и ремонтные заводы, а кроме того — школы, больницы, клубы как для своих нужд, так и для нужд местного населения (эвенков, орочей, якутов, чукчей). Цивилизация пришла на Колыму другим путем, нежели на Аляску. Но это была особая цивилизация, достигнутая, с одной стороны, формально узаконенным принуждением, а с другой — колоссальным раскрепощением человеческой энергии в условиях, которые невозможно назвать рабскими и унизительными. Феномен системы Берзина состоял в том, что она, тривиально выражаясь, сочетала в себе материальные стимулы с моральными, причем самой высшей пробы — неискоренимой потребностью людей в азарте, в самоиспытании смелым поступком, рождавшей гордость первопроходцев — покорителей дикой северной природы.

Героями первой, легендарной в истории Колымы зимней тракторной переброски грузов через перевалы в 1934 году при морозе свыше 55 градусов были не только мобилизованные Берзиным коммунисты, но и заключенные. Оказалось, что обиженный горемыка-мужик тоже способен на подвиг. Таких подвигов, движимых идеей общего солидарного дела, на Колыме было множество, и Берзин их щедро поощрял. Заставший эти времена будущий знакомый Шаламова А. С. Яроцкий (он прибыл сюда в 1936 году) вспоминал, как директор Дальстроя моментально выписывал досрочное освобождение участникам строительства большого, уникального по инженерной мысли моста через Колыму в районе поселка Дебин. То же самое распространялось и на заключенных, выполнявших в сезон норму на 200 процентов. Яроцкий — а он видел Колыму в разные ее эпохи, потому что выехал на материк только в 1956 году, — не боялся называть систему Берзина гуманной, и еще выразительнее — системой «пряника» (без «кнута»), ибо хорошо узнал ее изнутри и острее ощущал контраст с последующей системой. (Он застал первые расстрелы «троцкистов» при Берзине в конце 1936-го — начале 1937 года, что, как он полагал, не было инициативой самого директора Дальстроя, а санкционировалось Москвой.)

---

* *Широков А. И.* Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. Магадан, 2000. С. 68.

Вольнонаемные на Колыме закреплялись с большим трудом. Многие, не выдержав суровых условий, уезжали, отработав лишь сезон. Главный инженер Дальстроя Л. М. Эпштейн в 1936 году в журнале «Колыма» (выходил и такой при Берзине, тиражом 1200 экземпляров, распространялся вплоть до Москвы; несколько номеров, добытых в 1960-е годы, сохранилось в архиве Шаламова) писал по этому поводу весьма красноречиво и эмоционально: «Убийственно мало делается, чтобы сохранить этих работников. Потоком ссылок на "объективные причины" хозяйственники пытаются объяснить свою бездеятельность в этой сфере. На самом деле причина одна: *мы развращены возможностью более или менее легкого получения ежегодного пополнения рабочей силы* (курсив мой. — *В. Е.*). Черепашьи темпы проводимой нами колонизации...»

Несомненно, что главный инженер, первый помощник Берзина, выражал общие взгляды руководства треста на кадровую политику. В связи с этим заслуживает особого внимания вопрос о свободной колонизации, которую Берзин считал одной из реальных альтернатив развития Колымы — вопреки новой установке на «сброс» в его трест разношерстных и мало к чему пригодных «политиков». Колонистов (бывших заключенных, которым предоставлялось право — за счет треста — вывозить с материка семью и вести свое хозяйство) к 1937 году насчитывалось всего около тысячи. После снятия и расстрела директора Дальстроя всех их вернули в лагеря. По данным магаданских историков, именно мягкость Берзина к заключенным и его проекты о расширении колонизации как основной перспективы развития Колымы послужили главной причиной недовольства Сталина, что и предопределило опалу и гибель руководителя Дальстроя. А ведь еще совсем недавно он пользовался у власти и среди всех колымчан непререкаемым авторитетом, был награжден в 1936 году орденом Ленина — за «достигнутые успехи», выразившиеся в том, что добыча золота на Колыме (36 тонн) превысила в этот период его добычу на Аляске*. Тогда же, в ноябре—декабре 1937 года, были

---

* О позитивном восприятии деятельности Э. П. Берзина на Колыме свидетельствует памятник, установленный ему в Магадане в 1989 году. (подробнее о роли Берзина см.: Магадан: конспект прошлого / Сост. А. Г. Козлов. Магадан, 1989). Трагическую участь директора Дальстроя во многом определили неоднократные доносы на него. Первой «ласточкой» в этом отношении можно считать письмо-сплетню электромонтера(!) Т. Поповой, направленное еще в конце 1933 года в Рабоче-крестьянскую инспекцию СССР, где речь шла якобы о «самоуправстве» Берзина как «колымского князя» (см.: История сталинского ГУЛАГа: Собрание документов: В 7 т. Т. 3. М., 2004. Док. № 141). Но одну из решающих ролей сыграл, несомненно, откровенный политический навет на Берзина со стороны

арестованы и позже расстреляны И. Г. Филиппов, А. С. Майсурадзе, А. А. Тамарин-Мирецкий и десятки других бывших «вишерцев», знакомых Шаламову. Л. М. Эпштейна та же участь постигла в 1940 году.

Шаламов не был склонен к идеализации Берзина и его эпохи на Колыме, но, пытаясь разгадать характер этого необыкновенного человека, апеллировал обычно к его близости как чекиста к «школе» Дзержинского — в ее положительной ипостаси. Эта ипостась для Шаламова заключалась не только в широко известной деятельности Дзержинского по ликвидации беспризорничества и создании трудовых коммун. Писатель не раз приводил факт (или апокриф, слышанный от сидевших с ним бывших чекистов), что при Дзержинском в ЧК было принято правило: если следователь твердо уверен в том, что обвиняемый подлежит расстрелу, то он сам должен приводить приговор в исполнение. Другими словами, устанавливалась не только юридическая, но и личная моральная ответственность за судьбу человека. В этом, писал Шаламов, «была логика — романтическая логика и мудрость». Поэтому его главное произведение о Берзине (названное «схема романа-очерка», написанное в 1960-е годы и наполненное большим сочувствием к расстрелянному в застенках НКВД герою) сопровождено печальными мыслями об этой утраченной при Сталине «школе» Дзержинского: «А ведь убить своей рукой совсем другое дело, чем ставить “птички” на докладе или написать “к расстрелу”...»

Но вся эта «романтическая» эпоха Дзержинского и Берзина на Колыме конца 1937 года оказалась призраком.

Неожиданно оборванная фраза в будущем рассказе Шаламова «Как это началось»: «Осенью мы еще рабо...» (подразумевается — «работали») — не формальный прием, а свидетельство катастрофического изменения всего мироустройства

общавшегося с ним короткое время заместителя наркома лесной промышленности Л. И. Когана. Заявление было подано Коганом 11 июня 1937 года на имя заместителя наркома НКВД В. М. Курского и вскоре поступило к Н. И. Ежову. Коган доносил, что Берзин — «очень странный человек», что он «лет 6—7 тому назад»(!) сказал ему: «Меня ведь в партию записали насильно», что Берзин якобы «вербовался Локкартом», а вся хозяйственная деятельность директора Дальстроя основана на «связях с заграницей» и обеспечивалась постоянной поддержкой заместителя председателя советского правительства Я. Э. Рудзутака (к тому времени, как знал Коган, уже арестованного и обреченного на гибель). Окончательное решение о судьбе Берзина, с учетом общего недовольства его деятельностью, принималось Сталиным и Молотовым. Гнусная роль Л. И. Когана не спасла его от расстрела в 1939 году (см.: История сталинского ГУЛАГа. Т. 2. Док. № 44. Комментарий — С. 622).

в масштабах маленького лагеря на прииске «Партизан». По хронологии это конец ноября — начало декабря. Менялось всё на глазах: вместо единственного дежурного бойца с наганом, олицетворявшего конвой, — десятки прибывших охранников с немецкими овчарками; охранникам отдали два новых барака, построенных заключенными для себя; зарплату, которую платили еще в сентябре—октябре («одни посылали деньги домой почтовым переводом, успокаивая свои семьи, другие покупали на эти деньги в лагерном ларьке папиросы, молочные консервы, белый хлеб»), теперь давать прекратили; вдруг оказалось, что казенной пайки не хватает («очень хочется есть, а попросить у товарища — нельзя»); бочка рыбьего жира, которым смазывали ботинки, — моментально исчезла. Увезли куда-то бригаду отказчиков от работы «троцкистов» — они по тем временам, как отмечал Шаламов, еще не назывались отказчиками, то есть саботажниками, а «гораздо мягче» — «неработающими» и, получая обычную норму питания, «жили в бараке посреди неогороженного поселка заключенных, который тогда и не назывался так страшно, как в будущем — зоной».

Все эти резкие изменения по лагерной «параше» (слуху) объяснялись сменой начальства в связи с какими-то новыми распоряжениями и новыми веяниями, идущими из Москвы. В особенности они коснулись «врагов народа» — всех осужденных по 58-й статье или «литерников» с КРТД. Шаламов называл эти неожиданные и страшные перемены «вихрями», обрушившимися на и без того метельную и морозную Колыму зимы 1937/38 года. Пик пришелся на декабрь — именно тогда в Магадане приступила к работе срочно созданная по приказу Сталина «команда» во главе с новым директором Дальстроя, старшим майором госбезопасности К. А. Павловым. Начальником лагерей был назначен переведенный из Белоруссии, из погранвойск, полковник С. Н. Гаранин, а начальником управления НКВД по Дальстрою направленный из Москвы лейтенант госбезопасности В. М. Сперанский, который вместе с новым прокурором Л. П. Метелевым, тоже присланным из Москвы, вошел в колымскую «тройку», возглавлявшуюся К. А. Павловым. «Тройка» приступила к планомерному исполнению общих директив февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б), конкретизированных в приказе наркома НКВД Н. И. Ежова от 30 июня 1937 года № 00047, по которому каждой области предписывались «лимиты» на расстрелы «бывших кулаков» и других «контрреволюционных элементов». Непосредственно на Колыме этот приказ вылился в срочно сфабрикованное огромное дело о «контрреволюционной, террори-

стической, шпионской, вредительской, повстанческой, право-троцкистской (сколько эпитетов, и как без последнего! — *В. Е.*) организации», якобы возглавлявшейся Берзиным и другими руководителями Дальневосточного края и нацеленной на отделение Колымы в пользу Японии...

Шаламов, как и другие заключенные (и вольнонаемные), не мог знать всей сложной подоплеки этих решений, но после того, как Дальстрой в марте 1938 года был целиком передан в ведение НКВД, стало ясно, что «вихри» будут усиливаться и ничем их не остановить. Небольшой прииск «Партизан», где было около двух тысяч рабочих и где за лето—осень 1937 года умерли от болезней всего два человека, — уже зимой стал резко таять. Трудовой день по приказу Павлова был увеличен до 14 часов, затем до 16, питание сокращено до 300 граммов хлеба и баланды, начался голод и — массовые бессудные расстрелы. Шаламов навсегда запомнил это время и поводы для этих смертельных расправ:

«Невыполнение государственного плана — контрреволюционное преступление! Не выполнивших норму — на луну!.. Сказать вслух, что работа тяжела, — достаточно для расстрела. За любое невинное замечание в адрес Сталина — расстрел. Промолчать, когда кричат "ура" Сталину, — тоже достаточно для расстрела. Молчание — это агитация, это известно давно. Списки будущих, завтрашних мертвецов составлялись на каждом прииске следователем из доносов, из сообщений своих "стукачей", осведомителей и многочисленных добровольцев, оркестрантов известного лагерного оркестра-октета — "семь дуют, один стучит", — пословицы блатного мира афористичны. А самого дела не существовало вовсе. И следствия никакого не велось. К смерти приводили протоколы "тройки" — известного учреждения сталинских лет».

Подобно многим колымчанам, Шаламов не знал состава «тройки» и других персон, связанных с лагерным террором, и отталкивался только от гремевшего по всей Колыме имени нового начальника Севвостлага или УСВИТЛага (Управления северо-восточных исправительно-трудовых лагерей) С. Н. Гаранина. Тот, по словам писателя, постоянно разъезжал по приискам на своем ЗИС-110, отдавал приказы о расстрелах «саботажников» и сам приводил приговоры в исполнение. Гаранина в такой роли Шаламов, по его словам, «видел раз пятьдесят». Скорее всего, это преувеличение, ибо трудно поверить, что начальник лагерей столько раз посещал маленький золотой прииск, тогда как их было на Колыме еще 16, гораздо более крупных. Вероятно, Шаламов следовал общей колымской легенде о Гаранине как главном палаче 1937—1938 годов. На самом

деле эта роль принадлежала новому начальнику Дальстроя К. А. Павлову и «московской бригаде» следователей во главе с В. М. Сперанским. Гаранин — возможно, по замыслу Павлова заранее выдвинутый на роль «козла отпущения» в колымских преступлениях, — в 1939 году был арестован, отправлен в Печорский лагерь для «проштрафившихся» сотрудников НКВД, а Павлов продолжал успешную карьеру в той же системе. Нет сомнения, что здесь имело первостепенное значение личное благоволение к нему со стороны Сталина, который направил его «наводить порядок» на Колыме*.

Отчужденность от секретов этой кровавой кухни не мешала Шаламову видеть и запоминать то ближайшее, что непосредственно касалось его каждый день и каждый час. Если Гаранин отпечатался в его памяти скорее как летучий, полупризрачный «полковник с наганом», то других вершителей судеб людей на прииске «Партизан» он запомнил гораздо лучше. Среди них выделялся особой жестокостью и особой «эстетикой» начальник лагерного пункта лейтенант Л. М. Анисимов. Это имя, в связи с известным принципом Шаламова: «Всем убийцам в моих рассказах дана настоящая фамилия» — много раз возникало потом на страницах его произведений и воспоминаний. Анисимов не только подписывал расстрельные списки, но и имел привычку избивать заключенных не кулаком или пинками, а брезгливо и «красиво» — хлеща по лицу рукой в перчатке или в меховой краге. Этот пример впоследствии стал ассоциироваться у Шаламова, да и у многих других лагерников, с действиями эсэсовцев в гитлеровских застенках. Но на

---

* О реальной роли С. Н. Гаранина на Колыме см.: *Козлов А. Г.* Гаранин и «гаранинщина» (Сборник Колыма. Дальстрой. ГУЛАГ. Скорбь и судьбы. Магадан, 1998. С. 29—35). Известны два письма-телеграммы, направленные Сталиным в Магадан в поддержку К. А. Павлова. Особенно красноречива телеграмма, адресованная в редакцию газеты «Советская Колыма»: «Газета должна помогать т. Павлову, а не ставить ему палки в колеса» (История сталинского ГУЛАГа. Т. 2. Док. № 70, 71. Комментарий — С. 625). К. А. Павлов, по его заявлению об «окончательной измотанности» работой в конце 1938 года, был переведен из Дальстроя в Главное управление строительства шоссейных дорог НКВД СССР, где проработал всю войну. В 1948 году, в звании генерал-полковника, был назначен начальником строительства Волго-Донского канала им. И. В. Сталина, где работали заключенные. Уволен был «по болезни» после рапорта главного инженера стройки С. Я. Жука, гласившего: «Действия т. Павлова бывают иногда настолько нелепы, что граничат с самодурством. Наряду с беспочвенным упрямством чрезвычайно груб с подчиненными» (см.: Сталинские стройки ГУЛАГа (1930—1953) / Сост. А. И. Кокурин, Ю. Н. Моруков. М., 2005. С. 106). Помимо болезненной «измотанности», «самодурства», «грубости» и прочего Павлова отличало беспробудное пьянство. В 1956 году, после разоблачений Сталина на XX съезде КПСС, К. А. Павлов — главный палач Колымы 1937—1938 годов — застрелился.

Колыме такой цинизм был внове, и, как полагал Шаламов, он и позволил потом сделать Анисимову весьма быструю и успешную карьеру — в конце 1940-х годов он стал начальником Чукотстроя, входившего в систему ГУЛАГа. Один случай с Анисимовым, описанный в рассказе «Две встречи» и относящийся к лету 1938-го, заслуживает особого внимания, поскольку мы имеем возможность судить о характере Шаламова — на тот момент еще не «доходяги» и сохранявшего чувство человеческого достоинства: «Начальник шел, помахивая кожаными перчатками... Я знал привычку Анисимова бить заключенных перчатками по лицу. Я давно дал слово, что если меня ударят, то это и будет концом моей жизни. Я ударю начальника, и меня расстреляют... Тогда, когда мы встретились с гражданином Анисимовым, я был еще в силе, в твердости, в вере, в решении.

Кожаные перчатки Анисимова приблизились, и я приготовил кайло.

Но Анисимов не ударил. Его красивые крупные темно-карие глаза встретились с моим взглядом, и Анисимов отвел глаза в сторону.

— Вот они все такие, — сказал начальник прииска своему спутнику. — Все. Не будет толку».

В реальности этого факта сомневаться не приходится: все личное, относящееся к нему, Шаламов никогда не выдумывал. Сцена была роковой, как поединок, и кто-то должен был отступить. Анисимов сник, струсил, увидев перед собой не просто интеллигента, для которого невыносимо оскорбителен удар перчаткой, а человека, который в своем отчаянии способен на все и отнюдь не станет подставлять «вторую щеку» (поэтому аналогии с ситуацией Понтия Пилата и Христа, могущие возникнуть у кого-то из искушенных филологов, ищущих везде у Шаламова христианскую символику, здесь неуместны).

Архивное персональное дело Леонида Михайловича Анисимова и его реальная биография пока не исследованы, тем не менее есть красноречивый факт из воспоминаний бывшего начальника политуправления Дальстроя НКВД, генерал-майора И. К. Сидорова:

«В 1938 г. Сталин пригласил представителей “Дальстроя” в Кремль за перевыполнение плана добычи золота. Начальники приисков Виноградов, *Анисимов* (курсив мой. — *В. Е.*) и Ольшанский позже рассказывали, что затем Сталин вызвался побеседовать с ними. Он спросил: “Как на Севере работают заключенные?” — “Живут в крайне тяжелых условиях, питаются плохо, а трудятся на тяжелейших работах. Многие умирают. Трупы складывают штабелями, как дрова, до весны. Взрывчатки не хватает для рытья могил в вечной мерзлоте”, —

ответили ему. Сталин усмехнулся: “Складывают, как дрова... А знаете, чем больше будет подыхать врагов народа, тем лучше для нас...”»*.

В январе 1938-го, как вспоминал Шаламов, ему открылась важнейшая «объективная истина» о пределах собственных возможностей и пределах страха. Он содержался в это время в РУРе (роте усиленного режима), переименованной позднее в БУР (барак усиленного, штрафного режима). Сюда помещали тех, кто не выполнял норму, — и политических, и блатарей. Все они использовались на подсобных работах, прежде всего на заготовке дров. Однажды вместо обычных трех рейсов за дровами заключенные, впрягавшиеся в сани наподобие лошадей, с лямками, получили приказ от конвоиров привезти еще один воз — потому что конвоя прибавилось, и «не бойцы же будут возить на себе — вся Колыма будет смеяться». После многочисленных угроз, с вызовом Анисимова, основная группа «лошадей» все-таки пошла в четвертый рейс. Но Шаламов и еще один заключенный, блатарь Ушаков отказались. На них натравили овчарку. «Мы стояли рядом, Ушаков держал в руке разломанное лезвие безопасной бритвы и показывал лезвие собаке — собака кидалась назад, опыт — великое дело, — писал Шаламов. — Было ясно, что если нас не застрелят на месте, то отведут в барак. Собаку отозвали, мы вернулись в барак, холодный, выстуженный, без единой щепки, но это все-таки была победа, проба» — потому что на следующий день дрова возили ровно три раза.

Комментируя этот эпизод в своих воспоминаниях, Шаламов писал: «Во время всей этой кутерьмы кроме прочего я ощутил, что я вовсе не чувствую страха. Вот это и была объективная истина, найденная на “Партизане”. Меня много потом травили собаками, били, грозили меня сажать, держать в изоляторах, в спецзонах, в карцерах. Я никогда не чувствовал страха. Недавно я выяснил в одном медицинском труде, что отсутствие страха — просто замедленный рефлекс в человеческой природе. Возможно».

Те, кто знает разнообразные медицинские, а также литературные версии исчезновения страха, могут привести этому и

---

* *Викторов К.* Колымские первопроходцы // Человек и закон. М., 2003. № 12. Фразу Сталина трудно назвать выдуманной, так как она целиком согласуется с его характером и политической линией того периода. Следует заметить, что автор приводимых воспоминаний генерал-майор И. К. Сидоров в 1939—1948 годах занимал весьма высокий пост — был вторым лицом после нового начальника Дальстроя генерал-полковника И. Ф. Никишова. Фигурирует в рассказе Шаламова «Начальник политуправления».

другие объяснения — безразличие, притупление сознания, овладевающее человеком, тем более голодным, в сверхстрессовой ситуации, отчаяние — «у бездны мрачной на краю» и т. д. Но понятия «героизм» по отношению к своим поступкам на Колыме Шаламов никогда не употреблял. Недаром он потом однажды (в рассказе «Букинист») скептически воспроизвел перевод латинского слова «heroica» (созвучного русскому мату) — как «сильно действующее», одного корня с самым мощным психотропным — героином...

По всем этим причинам Шаламов не испытывал страха и перед ненавистными ему блатарями. Это наглое и кровожадное племя во время «гаранинщины» («павловщины») 1938 года подняло голову, поскольку было почти официально объявлено, что оно является «друзьями народа» и должно помогать в разоблачении «врагов народа», в первую очередь «троцкистов», которые назывались не иначе как «фашистами». Речь культорга прииска «Партизан» Шарова на политзанятиях с блатарями на эту тему Шаламов потом неоднократно воспроизводил: «— Эти люди присланы сюда для уничтожения, а ваша задача — помочь нам в этом деле». (Шаров позднее был, по свидетельству писателя, арестован и расстрелян, но это другая история.)

Блатари активно откликнулись на этот призыв и стали открыто преследовать всех, кто сидел по 58-й статье, кто, по их мнению, «плохо работал» (сами они, как правило, не работали), доносили начальству на любое их протестное слово или забивали кайлами, лопатами, ножами тех, кто пытался им сопротивляться. Они выполняли роль второго, добровольного конвоя — недаром потом Шаламов сравнивал их с «зондеркомандой». Спастись от этих расправ жертвы могли, только став для блатарей прислугой. Часть бараков стала уже общими, в них перемешались «чистые» и «нечистые», и верх всегда держали блатари. Немало интеллигентов после нескольких «плюх» и ради лишней миски супа шли в услужение к блатарям — в «шестерки» по мелким поручениям или на роль рассказчиков разных занимательных историй по вечерам — это называлось «тискать р*о*маны». Шаламову удалось избежать этой участи — он терпел побои, но не сдавался.

Галина Гудзь в это время находилась в ссылке в Туркмении, в Чарджоуской области Кагановичском районе. Однажды она прислала мужу посылку, заполненную черносливом. Внутри находились бурки — парадные, с кожаной оправой и подошвой валенки, которые носили обычно начальники. Шаламов, понимая, что блатари сразу отберут бурки, согласился на пред-

ложение вахтера почты поменять их на килограмм масла и хлеб. Когда он пришел в барак и раскрыл свой драгоценный узелок, то моментально был оглушен ударом по голове. Очнувшись, он увидел рядом большое полено, которым его ударили, и услышал гогот блатарей.

На прииске «Партизан» Шаламов работал рядовым забойщиком, с кайлом, лопатой и тачкой. Из воспоминаний и «Колымских рассказов» писателя явствует, что он никогда не стремился стать «ударником», а тем более «стахановцем», чтобы получить усиленную пайку, потому что быстро усвоил одно из главных колымских правил: «Губит не маленькая пайка, а большая» (ведь если человек надрывается, у него меньше шансов продлить жизнь). А главное, потому что определил для себя непреложное моральное правило: «Работать для такого государства, которое продержало меня невиновным в тюрьме, завезло за полярный круг и убивает холодом, голодом, битьем, — я не буду. Раба из меня не сделают. Клейменый, да не раб...»

Это правило, принадлежащее к сфере отнюдь не типичных среднечеловеческих, в той или иной мере компромиссных критериев, а к сфере высших вопросов человеческого бытия — чести, гордости и достоинства, — не могло не родиться у Шаламова как поэта и интеллигента, неисправимого гуманитария, всегда соизмеряющего свою жизнь со «звездным законом», о котором писал Кант. Он пытался всеми силами сохранить верность этому единственному закону, который оправдывает сущность человека на Земле. Те же моральные правила не позволяли ему стать бригадиром, маленьким начальником, потому что это значило распоряжаться судьбами других людей и посылать их — независимо от своей воли — на смерть. Он остался в стороне от этой, привлекавшей многих разными соблазнами должности, продолжая верить, что «идеальная цифра — единица», которой «оказывают помощь бог, вера, идея». В этом смысле он был необычайно близок тем, самым стойким на Колыме людям, которых он всегда выделял, — «религиозникам», «сектантам». И, наверное, кто-то из них — например, немецкий пастор Фризоргер, которого часто упоминает Шаламов, считал его «своим», обращенным к Богу, хотя это было далеко не так...

Он не отказывался от работы, потому что «отказчиков» тогда сразу расстреливали, однако норму никогда не выполнял и не стремился к этому. У всех начальников и бригадиров это вызывало дикое раздражение: «филон», «вредитель», «кадровый троцкист». Но сам Шаламов объяснял свое нерасположение к ударному физическому труду (в официальных отчетах Колы-

мы он назывался «мускульным») еще и свойствами своего организма.

«Я высокого роста, и это все время моего заключения было для меня источником всяческих арестантских мук. Мне не хватало пайки, я слабел раньше всех», — писал он, повторяя потом (в письме А. Солженицыну в 1962 году), что в этом он был схож с заключенными из Прибалтики: «“Доходили” всегда и везде латыши, литовцы, эстонцы раньше из-за рослости своей. Там ведь народ крупный, рослый, хотя лошадям дают паек в зависимости от веса...»

«Доходить», то есть быть на грани смерти от голода, Шаламову приходилось много раз. Отчасти это им зафиксировано в рассказах и воспоминаниях. К сожалению, многие документы о работе, болезнях и передвижении Шаламова по лагерным пунктам утрачены. Еще в 1963 году в ответ на свой запрос он получил из Магадана справку: «Сведения о характере работы, выполнявшейся в местах заключения, не сохранились». Это стало для писателя огромным нравственным ударом — свидетельством того, что «документы нашего прошлого уничтожены». На самом деле в 1962 году «по истечении срока хранения» была уничтожена лишь часть огромного магаданского архива — личные дела заключенных, но остались так называемые «надзорные» дела, подлежащие контролю прокуратуры — материалы судебно-следственного производства. Они и дают возможность восстановить картину всех трех судимостей Шаламова — 1929, 1937 и 1943 годов (о чем речь впереди).

На Колыме над писателем нависла угроза получить дополнительный срок — или расстрел, кто знает? Речь идет о «заговоре юристов», изображенном в одноименном рассказе Шаламова. Сам он утверждал (в письме к И. П. Сиротинской), что в этом рассказе «документальна каждая буква»...

Его сняли с ночной смены в забое в декабре 1938 года. С «Партизана» повезли в незакрытой машине при морозе под 60 градусов сначала в Хаттынах, центр Северного горнопромышленного управления. Там находился свой отдел НКВД. «Мы остановились в коридоре второго этажа перед дверью с дощечкой “Ст. оперуполномоченный Смертин”, — писал Шаламов. — Столь угрожающий псевдоним (не настоящая же это фамилия) произвел впечатление даже на меня, уставшего беспредельно. “Для псевдонима — чересчур”, — подумал я, но надо было уже входить, идти по огромной комнате с портретом Сталина во всю стену...»

Сразу уточним вопрос о фамилии оперуполномоченного. Она отмечена в раскрытых документах магаданского архива периода 1939 года, когда по указанию нового наркома НКВД

Л. П. Берии началось расследование «злоупотреблений» следователей времен Ежова: «Из ста процентов сотрудников УНКВД — 85—90 участвовали в избиении своих подследственных... Бил арестованных помощник начальника IV отдела В. Смертин, один из них выпил в его кабинете половину чернил. Смертин первый показал пример в том, чтобы плевать в лицо арестованному, и это, как эпидемия, распространилось и перекинулось на все отделы Управления НКВД» (Из материалов магаданского историка В. Диденко).

С Шаламовым Смертин разобрался без этих приемов — быстро, двумя вопросами: «Юрист? — Юрист. — Жалобы писал? — Писал», — и отправил его сразу на Серпантинку — знаменитую расстрельную тюрьму. Шаламов узнал об этом от шофера, который вез его — уже в зарешеченном «вороне» — к этому мрачному месту. Но по каким-то непонятным для Шаламова обстоятельствам его здесь не приняли и решили везти дальше — в Магадан. (Об этих обстоятельствах можно только гадать: либо что-то оказалось не в порядке с сопроводительными бумагами, написанными Смертиным, либо уже началось резкое торможение карательной машины НКВД после замены Ежова на Берию, о чем было объявлено 9 декабря 1938 года. Последнее более согласуется с реальностью, которую описывает Шаламов в рассказе «Заговор юристов» — дело об этом фиктивном «заговоре» было на его глазах моментально прекращено.)

Можно — уже в который раз! — говорить, что Шаламову опять «повезло», что, будучи в шаге от гибели, он избежал ее. Сам писатель не раз подчеркивал, что он в тот или иной момент уже бывал готов к смерти, но не употреблял такие слова, как «везение» или «лотерея»: все сложилось, как сложилось, раздумывать — почему? — тогда, да и позже, не было ни сил, ни времени. Точно так же воспринимали свое «везение» и многие другие уцелевшие. В этом отношении Шаламов вполне разделял поговорку блатарей: «Колыма — страна чудес»...

Читателю уже знакомо имя М. Выгона, с которым Шаламов сидел в Бутырской тюрьме в 1937 году. Так вот, можно сказать, что с этим человеком действительно произошло чудо. Он в течение нескольких месяцев был узником следственной тюрьмы на Серпантинке, которую описывал так: «Классический вариант пункта забоя скота... В казематах стоял смрад и стон. По описаниям мучеников фашистских лагерей Освенцима, Дахау и других, даже они находились в несравненно лучших условиях, чем на Серпантинке». Здесь в течение 1937—1938 годов было расстреляно более пяти тысяч человек. Спасло М. Выгона то, что вызывавший его из каземата на приговор и

расправу конвоир — по неграмотности или по описке в бумаге — неправильно назвал его фамилию: «Заключенный Вагон, на выход!» На «Вагона» Выгон не отозвался и не пытался вохровца поправить, тем более что кто-то из заключенных сказал громко: «Вагон, наверное, умер — днем многих выносили...» Это и помогло М. Выгону дотянуть до того же самого спасительного рубежа декабря 1938 года, как и Шаламову*.

После прекращения «дела юристов» Шаламов остался на короткое время в магаданской тюрьме («доме Васькова», как она называлась по имени ее первого начальника Р. И. Васькова — тот тоже погиб вместе со всей берзинской группой). В это время в Магадане была эпидемия брюшного тифа, связывавшаяся со всеобщей вшивостью заключенных. Для них был выделен огромный пакгауз почти на тысячу человек и объявлен карантин. После дезинфекции и снятия карантина всех арестантов начали постепенно развозить по разным приискам. Шаламов понимал, что вторую зиму на «Партизане», да и на любом другом золотом забое, ему не выдержать. Следовало искать другой путь — лишь бы не золото, где зимние вскрышные работы — самое страшное: надо 12—14 часов долбить кайлами (после взрывов) мерзлый грунт и грузить его на тачки или в вагонетки, готовя запасы для плана, для летнего промывочного сезона. «Если меня пошлют на прииск, то я на первом перевале, как затормозит машина, прыгаю вниз, пусть конвой меня застрелит — все равно на золото я не поеду» — эта неотвязная, засевшая в мозгу мысль привела в конце концов Шаламова к

---

* *Выгон М.* Личное дело. М., 2005. С. 114—115. Биография Михаила Евсеевича Выгона интересна, помимо важных для нас соприкосновений ее с биографией Шаламова, еще и тем, что этот человек стал родственником и хранителем памяти И. П. Хренова, увековеченного в стихотворении В. Маяковского. По данным из реабилитационного дела Хренова, последний «за высокие производственные показатели» в декабре 1943 года приказом И. Ф. Никишова был освобожден, переведен в вольнонаемные и назначен начальником горного участка. Умер на Колыме в 1946 году. (Это несколько расходится со сведениями Шаламова.) М. Е. Выгон в 1942 году также перешел в состав вольнонаемных и затем долго работал на Колыме и на Чукотке (там он в 1960-е годы был директором прииска имени Ю. Билибина). Реабилитирован, награжден орденами «Знак Почета» и Октябрьской революции. 4 июля 2007 года вместе с женой Е. И. Выгон (дочерью И. П. Хренова) опубликовал в «Литературной газете» критическую заметку «Вторые палачи, или Ложь в стержне», посвященную телесериалу «Завещание Ленина» Н. Досталя и Ю. Арабова, снятому по мотивам произведений Шаламова. В сериале, вопреки описаниям Шаламова, И. П. Хренов был изображен в крайне уничижительном виде, опустившимся человеком и «стукачом», поэтому авторы заметки сделали категорический вывод: «Иулиана Петровича Хренова убили дважды. Сначала — сталинские палачи. Теперь — свободные художники Николай Досталь и Юрий Арабов...»

решению не откликаться на вызовы нарядчика, когда тот назовет его фамилию. (Какой же нехитрый — и крайне опасный, если разоблачат, — прием! Но недаром именно он пришел в голову Шаламову, как и М. Выгону-«Вагону»: других вариантов в сложившихся обстоятельствах не оставалось.)

Это была еще одна ситуация на грани жизни и смерти, которую можно назвать и ситуацией за пределами добра и зла. Ведь в ней не было возможности для морального выбора. Например, для того, чтобы по-христиански или просто по-человечески задуматься о ближнем — о том, кто неминуемо будет отправлен на те же смертельные прииски вместо тебя. Не было оснований и расценить свой поступок как обман, каковым он по сути являлся. Не случайно, возвращаясь к этой ситуации позже, в рассказе «Тифозный карантин», Шаламов писал не только о «зверином инстинкте», двигавшем его героем Андреевым (альтер эго писателя), но и приводил другие аргументы в подтверждение единственной верности поступка героя: «...Здесь он будет умнее, будет доверять телу. И тело его не обманет. Его обманула семья, обманула страна. Любовь, энергия, способности — все было разбито... Именно на этих циклопических нарах Андреев понял, что он кое-что сто́ит, что он может уважать себя. Ему удалось сказать много правды, ему удалось подавить в себе страх... Что-то сильнее смерти не давало ему умереть. Любовь? Злоба? Нет. Человек живет в силу тех же самых причин, почему живет дерево, камень, собака. Вот именно это понял, и не только понял, а почувствовал хорошо Андреев именно здесь, на городской транзитке, во время тифозного карантина...» (До предела обнаженное, подробное и беспощадное описание своего состояния и сделало, заметим сразу, рассказ Шаламова явлением художественной литературы, а не превратило его в почти бытовой мемуарный «случай», как у М. Выгона. Но метафора Серпантинки как «пункта забоя скота» все-таки делает честь автору, которому мало было дела до литературы...)

Более чем на три месяца Шаламову удалось задержаться в магаданском карантине, но это «припухание», «кантование», как называлась среди блатарей любая передышка в работе, не означало возможности лежать на нарах. Приходилось каждый день выходить по приказу нарядчика на любое задание. Уже под весенним апрельским солнцем пакгауз стал окончательно освобождаться от людей. Шаламова обнаружили («Где ты был, сука!» — «Не слышал») и на последней машине увезли по трассе снова на север. Но, к счастью, уже не на прииски, а в геологическую партию по разведке угля на Черном озере, что за поселком Атка в 200 километрах от Магадана.

Это был один из кратких — лето, до августа — периодов его сравнительной удачи на Колыме в первые годы. Здесь Шаламов, по его выражению, начал «воскресать»: питание у геологов было хорошее, норм на работе не было — копали разведочные шурфы, которые, вопреки надеждам геологов, не содержали никаких признаков залежей угля. Здесь было много вольнонаемных с «материка», и основное время Шаламов работал при начальнике участка инженере Плуталове, который отвечал только за «фронт работ» и сквозь пальцы смотрел на времяпрепровождение своих подчиненных. Любимой поговоркой Плуталова была: «Я ведь не работник НКВД». Впервые встретившись на Черном озере с более или менее культурной средой, Шаламов проводил в бараке беседы на исторические и литературные темы и даже «устные анкеты о Пушкине, Некрасове» (очевидно, экзаменуя своих собеседников по знаниям, которые выходили за рамки хрестоматий).

Но до того как наступила эта краткая идиллия, Шаламов встретился с другим начальником участка и другим типажом Колымы. Это был Богданов, который раньше служил оперуполномоченным НКВД, но в 1939 году попал в опалу и благодаря помощи каких-то старых друзей оказался начальником угольной разведки. Шаламов запомнил его по двум эпизодам. Во-первых, на его глазах Богданов уничтожил письма жены Галины Гудзь, впервые пришедшие на его адрес («— Вот твои письма, фашистская сволочь! — Богданов разорвал в клочки и бросил в горящую печь письма от моей жены, которые я ждал более двух лет...» — так это запечатлелось у Шаламова). Это ярче всего характеризовало начальника как энкавэдэшника «старой закалки»*.

Во-вторых, Богданов при вступлении в должность привез с собой бочку спирта, предназначенную для нужд всего участка (работавшие в геологических партиях всегда имели льготу на спиртоводочную пайку), но присвоил ее себе, поставив в своем доме. Начальник с утра до вечера к ней прикладывался, был постоянно «подшофе», маскируя запах одеколоном. Когда на участке узнали, куда уходит *их* спирт, «все население поселка, — как писал Шаламов, — вступило с начальником и

---

* Согласно «спецуказаниям» к статье «КРТД», Шаламов был лишен права переписки, поэтому с формальной стороны действия Богданова объяснимы. Характерно, что однофамилец начальника участка, его помощник Иван Богданов, испытывавший к Шаламову сочувствие и симпатию, вскоре достал и сжег лист из его сопроводительного личного дела со всеми «спецуказаниями» (см. рассказы «Иван Богданов» и «Лида»). Это до известной степени облегчило судьбу Шаламова, но переписку с женой он смог начать только по окончании срока, после 1951 года.

в открытый, и в подземный бой». «Подземный» — означало жалобу в управление. Богданов был снят, когда у него от бочки остался лишь бидон...

Еще один уникальный, но гораздо более жестокий начальственный типаж Колымы встретился Шаламову, когда его в конце августа 1940 года перевели далеко на север, на участок Кадыкчан, где уголь был давно разведан и шла его добыча. «Уголь — это не золото», — утешал себя Шаламов, как оказалось, опрометчиво. На Кадыкчане ему пришлось вспомнить худшие времена 1938 года — из-за особого режима, который ввел здесь недавно прибывший с материка молодой инженер Киселев (его Шаламов запечатлеет в соответствующем «фамильном» рассказе, назвав и имя-отчество — Павел Дмитриевич). Киселев был вольнонаемным, после института, беспартийным, но при этом отличался каким-то непонятным для заключенных садизмом — бил сапогами всех, кто посмел сказать хоть слово против него. «Заключенного Зельфугарова, — вспоминал Шаламов, — он на моих глазах повалил в снег и топтал, пока не вышиб половину челюсти». «Инженерная» мысль Киселева состояла единственно в том, чтобы использовать на выемке породы из разрабатываемой штольни вместо лебедки конский ворот — укрепленное на стойке, на барабане, длинное бревно, вращая которое можно было поднимать наверх через трос вагонетки с породой. На таком вороте в достопамятные времена примитивной механизации использовались лошади, ходившие по кругу (почему он и назывался конским), а в Древнем Египте для вращения использовались рабы. Этот ворот, который Шаламову пришлось толкать, под улюлюканье конвоиров, руками и грудью, до заплат на телогрейке и мозолей на груди, стал для него одним из главных символов Колымы (о чем он впоследствии сказал Б. Пастернаку: «Чем не Египет?..»).

Киселев использовал и другое изобретение — ледяной карцер в скале, в вечной мерзлоте, в котором пришлось однажды сидеть и Шаламову. Двое его предшественников, решивших в этом карцере прилечь, получили воспаление легких и умерли. «Я, — вспоминал Шаламов, — прошагал всю ночь, спрятав в бушлат голову, и отделался отморожением двух пальцев на ногах».

Всякому терпению, или «великому равнодушию, которое воспитывает в людях лагерь», как называл это чувство писатель, бывает конец. От Киселева необходимо было избавиться, но как? «Последние остатки расшатанной, измученной, истерзанной воли надо было собрать, чтобы покончить с издевательствами ценой хотя бы жизни», — писал Шаламов. И од-

нажды ночью он проговорился ближайшим своим соседям в бараке, что знает способ избавиться от Киселева: «— Выход один. Когда приедет высокое начальство, дать Киселеву публично просто по морде. Дадут срок, но за беспартийную суку больше года-двух не дадут. Зато прогремит по всей Колыме, и Киселева уберут».

Этот замысел не сбылся. На следующее утро после поверки Шаламова вызвал сам Киселев. « — Так ты говоришь, прогремит на всю Колыму? — Гражданин начальник, вам уже доложили? — Мне все докладывают. Иди и помни, теперь я с тебя глаз не спущу, пеняй на себя».

«Киселев не был трус, — многозначительно подчеркивал Шаламов. — Надо было выбираться из Кадыкчана». Спастись от мстительного инженера и перебраться с этого участка в близлежащий угольный центр Колымы — Аркагалу — Шаламову помог знакомый врач-заключенный С. М. Лунин. Ему будут впоследствии посвящены рассказ «Потомок декабриста» и другие эпизоды большой колымской темы Шаламова, связанной с лагерной медициной (об этом — в следующей главе). Но конец Киселева наступил, и о его подробностях, по словам писателя, все заключенные рассказывали, «захлебываясь от радости». Инженер погиб, защищаясь от залезшего в его квартиру вора, стал бить его прикладом охотничьего двуствольного ружья, а на ружье были взведены курки, которые разрядились ему прямо в живот. Это был пример почти мистического возмездия. «День, когда на шахту пришло известие о смерти Киселева, был праздничным днем для заключенных. Даже, кажется, план в этот день был выполнен», — с мрачным сарказмом заключал свой рассказ Шаламов.

На аркагалинских шахтах, где располагалось управление «Дальуголь», Шаламов работал с начала 1941 года по декабрь 1942-го, то есть почти два года. Ему приходилось исполнять здесь самые разные обязанности — на поверхности, на терриконе шахты, в лютый мороз в ночную смену разгружать вагонетки, которые подавались редко, и он вынужден был долго стоять и ждать («...я до такой степени замерзал на этом терриконе, что даже заплакал от мороза, от боли»), а в самой шахте, где было несравненно теплее, куда, в темноту, не спускался конвой, но где было гораздо опаснее из-за постоянных обвалов и технических аварий, работать откатчиком. Кроме того, здесь снова обнаружилось неудобство высокого роста Шаламова. По крайней мере трижды он попадал в типичные шахтерско-колымские ситуации: ему на голову падал то кусок породы в лаве, то целый пласт, а однажды пущенная без сигнала вагонетка зацепила его вместе с тросом и потащила наверх. Но

шахта, как отмечал Шаламов, в силу своей замкнутости и повышенной опасности, сплачивает людей. Особенно это проявилось в июне 1941 года, через несколько дней после начала войны, когда ему пытались «пришить» очередное дело — на этот раз в связи с аварией.

Напарник Шаламова Чудаков случайно забыл прицепить лебедочный трос к вагонетке, и она, неуправляемая, на всей скорости покатилась вниз по штреку. К счастью, никого не убило, но вагонетка, сойдя с рельсов, перешибла все стойки и, врезавшись в стену лавы, вызвала страшный переполох и остановила работу. Чудакова арестовали и посадили в карцер. Но оказалось, что лагерное начальство гораздо больше заинтересовано в том, чтобы посадили и добавили срок Шаламову. Особенно старался помочь этому молодой смотритель-десятник Мишка Тимошенко, «пробивавший» себе карьеру. Чудакова, исхудавшего до костей в изоляторе, после этого перевели из шахты в банщики. Тимошенко, придя в баню, стал пенять Чудакову, что тот — «дурак, такое принял из-за этого черта Шаламова». Нарядчик парился по обычаю в своей любимой высокой узкой бочке, куда время от времени поддавался горячий пар. Расслабившись от удовольствия, Тимошенко проболтался, что сам ходил к оперуполномоченному и «пел» ему на Шаламова (как можно было понять — он являлся штатным стукачом). Услышав это, бывший напарник Шаламова резко прибавил напор пара. Тимошенко не смог выбраться из бочки — он сварился заживо...

Рассказ Шаламова «Июнь», посвященный этим событиям, возможно, принадлежит отчасти к тем невероятным лагерным легендам, о которых было принято говорить «не веришь — прими за сказку». Но ни факт поиска повода снова придраться к «троцкисту» Шаламову, ни хронологическая привязка к началу войны не вызывают сомнений. Равнодушие, с каким воспринимали заключенные-«доходяги» сообщения о начале войны, о бомбежке Севастополя, Киева, Одессы, тоже было вполне адекватно их полубессознательному состоянию: их гораздо больше занимал вопрос об очередном снижении хлебной пайки. В таком же состоянии тогда снова находился и Шаламов.

Война вызвала на Колыме большие перемены. На Аркагале они выразились поначалу в том, что резко сократили пайку до 300 граммов и ужесточили режим. Но вскоре было объявлено, что «все эти распоряжения об ущемлении на случай войны были сделаны по мобплану, составленному вредителями», и машина начала раскручиваться назад, причем до явлений, совершенно невероятных.

Вокруг зоны для 58-й статьи, выгороженной внутри общей зоны, стали снимать колючую проволоку. Сам Шаламов участвовал в этой операции, срывая гвозди и наматывая проволоку на палку, — на целый день хватило работы. Это был сигнал, символ каких-то новых импульсов от Москвы. На митингах и собраниях всем заключенным, в том числе политическим и «троцкистам», объявили, что они больше не считаются «врагами народа», и с пафосом провозгласили надежду, что «они в трудный час поддержат родину». Было обещано, что паек увеличат за счет американских продуктов — «подписан договор с Америкой, и первые корабли уже разгружаются в Магадане». Осенью по трассе действительно пошли первые американские «даймонды» и студебекеры, на шахтах и приисках появилось больше бульдозеров, экскаваторов, американских, не похожих на русские, лопат и топоров. А главное — появились заокеанская пшеничная мука с кукурузой и тушенка. Именно эту перемену все заключенные (в том числе и Шаламов) восприняли с наибольшей радостью. Но для каждого она длилась недолго.

Среди всех авторов, писавших о Колыме 1941 года, начала Великой Отечественной войны, свидетельства Шаламова (и документальные, и художественные) отличаются особым бесстрастием, отсутствием каких-то зримо выраженных чувств. Между тем тот же М. Выгон сообщал о патриотическом подъеме, захватившем в первые месяцы войны даже отпетых уголовников, которые стали выходить на работу, а в дальнейшем, по его воспоминаниям, в лагерях «не было никаких акций неповиновения — дух общей ненависти к фашистам перекрывал все». Вряд ли Шаламов тоже не был затронут этим духом, но он бы счел штампованные, взятые из газет слова «...перекрывал все» — большим преувеличением. Во-первых, он слишком хорошо теперь знал, как меняется иерархия ценностей и эмоций в человеке в зависимости от того, насколько он подавил сегодня острое чувство голода, достал ли хотя бы чей-то объедок или сжевал возле кухни оброненный капустный лист. Во-вторых, его патриотизм был заглушен, притуплен, загнан вглубь бесправным, униженным и вечно подозрительным статусом «троцкиста». По этим причинам подача, скажем, заявления о направлении на фронт для него являлась заведомо фантастичной.

«Многие подали заявления на фронт, но в этом было отказано», — писал он, и это в точности соответствует колымской действительности военных лет. Большинство работников Дальстроя, включая и конвоиров-вохровцев, в эти годы остались на «брони», поскольку район был приграничным и дол-

жен был во что бы то ни стало давать не только золото, необходимое для расчетов по американскому ленд-лизу, но и олово и другие металлы, на которые резко увеличился спрос на военных предприятиях. Лишь очень небольшое количество осужденных по бытовым и уголовным статьям смогло пробиться с Колымы на фронт, в штрафные батальоны. Но осужденных по 58-й статье среди них не было. Их освобождение — до окончания войны — прекратил своим приказом от 23 июня 1941 года новый начальник Дальстроя И. Ф. Никишов, исполняя указания Москвы. Не раз подававший заявление о досрочном освобождении с целью попасть на фронт, в штрафбат, знакомый Шаламова А. С. Яроцкий так писал о главной причине отказов: «...Товарищ Сталин знал историю и помнил, как в 1915 году по царскому манифесту многие политические заключенные попали на фронт и что они там делали»*.

Война сделала необходимостью сохранение рабочей силы, тем более что накануне, в 1940 году, был поставлен рекорд добычи золота — 80 тонн. На эту цифру Дальстрою удалось выйти благодаря самому массовому за все годы завозу заключенных в навигацию 1939 года — 75 тысяч человек, переброшенных из других лагерей, что довело общее их количество в 1940 году до 176 тысяч, и это был предвоенный максимум. С первых лет войны он постоянно снижался из-за высокой смертности заключенных от голода и болезней, пока не началось, с 1944 года, поступление новых контингентов с территорий, находившихся в гитлеровской оккупации**.

Как уже говорилось, с войной было связано и ужесточение режима для политических. Первая волна «либерализации» быстро прошла, и, сняв колючую проволоку для 58-й статьи внутри общих зон, начальство решило ее укрепить в «спецзонах». Это были штрафные зоны, куда направлялись прежде всего те, кто не выполнял «норм выработки» (которые невозможно было выполнить голодному) и у кого приближалось окончание официально назначенного срока. В такую зону на золотоносный прииск «Джелгала» после угольной Аркагалы попал в конце декабря 1942 года и Шаламов.

Ее главным признаком был особый режим, который Шаламов позже сравнивал с «Освенцимом без печей», по выражению его друга, писателя Г. Демидова. Оснований для такого сравнения имелось много. Прежде всего сами топографические условия штрафной зоны, которые, как мрачно замечал

---

* *Яроцкий А. С.* Золотая Колыма. М., 2002. С. 156.

** *Широков А. И.* Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. Магадан, 2000. С. 119.

Шаламов, «выбирались с умом». Зона была расположена на высокой горе, а прииск находился глубоко внизу: «Это значит, что после многочасовой изнурительной работы люди будут ползти по обледенелым, вырубленным в снегу ступеням, хватаясь за обрывки обмороженного тальника, таща на себе дрова — ежедневную порцию для отопления барака. Это, конечно, понимал начальничек, выбиравший место для штрафной зоны. Понимал он и другое: что сверху по лагерной горе можно будет скатывать, скидывать тех, кто упирается, кто не хочет или не может идти на работу, так и делали на утренних "разводах" "Джелгалы". Тех, кто не шел, рослые надзиратели хватали за руки, за ноги, раскачивали и бросали вниз. Внизу стояла лошадь, запряженная в волокушу. К волокуше за ноги привязывали отказчиков и везли на место работы...»

В бараке было не лучше: здесь дрались из-за куска хлеба и выплескивали друг на друга все, что накопилось, не выбирая слов, хотя социальный состав штрафной зоны, казалось, предполагал другое. В ней преобладала интеллигенция, в том числе бывшие партработники, государственные служащие разных рангов, журналисты, военные, а руководили бригадами, как правило, представители «рабочего класса» (тоже заключенные). Была ли в такой концентрации интеллигенции и в распределении ролей чья-то инквизиторская воля, неизвестно, но именно она помогла Шаламову окончательно избавиться от иллюзий относительно психологии поведения многих представителей той социальной группы, к которой он сам принадлежал. Старый спор в Бутырской тюрьме 1937 года с А. Коганом о присущем интеллигенции — больше всего ей — героизме (спор, в котором Шаламов, как мы помним, сразу занял скептическую позицию) получил на Джелгале самые яркие аргументы в его пользу и привел к соответствующим выводам. Оказалось, что экстремальные условия лагеря обнажают, увы, отнюдь не лучшие свойства элиты общества, а скорее — худшие. И, как ни парадоксально (а может быть, и закономерно, потому что все эти вещи в завуалированной форме существовали и на «воле»), — страсть к пресмыкательству перед начальством и к доносам друг на друга. Не случайно потом Шаламов сделал заключение: «Первыми разлагались партийные работники, военные». Именно штрафная зона дала ему повод для этого обобщения, именно здесь он познал, что такое предательство со стороны «братьев по разуму», принявших к действию поговорку блатарей: «Умри ты — сегодня, а я — завтра». Ведь здесь и разыгралась история осуждения его на второй по Колыме, а в общей сложности — на третий и самый большой срок.

Всё описание этой истории в рассказе Шаламова «Мой процесс» феноменально в том смысле, что абсолютно — на 100 и даже 200 процентов! — соответствовало реальности, которая подтверждается каждой строчкой сохранившегося судебно-следственного дела Шаламова 1943 года. Сопоставление рассказа и протоколов лишний раз свидетельствует о гениальной — иначе не скажешь — памяти Шаламова. В 1960 году, когда был написан рассказ, он не только с буквальной точностью воспроизвел все фамилии участников следствия и суда (оперуполномоченного НКВД Федорова, свидетелей Нестеренко, Кривицкого, Заславского и Шайлевича), но и все их показания и обвинения — разумеется, в сжатом, но с полным сохранением смысла пересказе.

Читая дело и продираясь сквозь нагромождения лжи, выплеснутой на Шаламова его соседями по джелгалинскому штрафному бараку Кривицким и Заславским, нетрудно понять, почему писатель решил оставить в литературе и истории их подлинные фамилии, а также и профессии. Первый (Ефим Борисович, 1896 года рождения, бывший член ВКП(б) — по протоколу) работал до ареста в Министерстве оборонной промышленности, второй был столичным журналистом (не путать с известным «правдистом» Д. Заславским — этого звали Илья Петрович, 1904 года рождения, бывший член ВЛКСМ). Оба соседа, возненавидевшие Шаламова за то, что тот называл их «подхалимами» и ругался с ними постоянно, сговорились и совершенно расчетливо решили сообща «заложить» его. Для этого был привлечен бригадир А. Нестеренко, имевший повод быть недовольным Шаламовым, потому что тот выполнял нормы «не выше 67 процентов». Кроме того, к делу был подключен некто Шайлевич, которого Шаламов никогда не видел, но назвал потом на суде открыто «штатным свидетелем-провокатором, который не одного безвинно посадил и оклеветал». (Между прочим, в материалах суда Шайлевич представлен как «бывший член ВКП(б), образование высшее».)

Дело накапливалось еще с весны 1943 года, а 3 июня Шаламов был арестован и препровожден пешком под конвоем в районный поселок Ягодное. Там, в новом центре Северного горнопромышленного управления (СГПУ) находились и отдел НКВД, и военный трибунал. По пути конвоиры несколько раз избивали Шаламова, поскольку он едва волочился, падал, а они спешили в клуб, на какое-то кино. Наверное, им было известно, кого и почему они ведут, ведь в постановлении оперуполномоченного Федорова об аресте было четко написано: «В РО НКВД по СГПУ поступили материалы о том, что заключенный Шаламов систематически занимается контрреволю-

ционной троцкистской пораженческой агитацией, направленной на подрыв советского государства и Красной Армии».

Заседание трибунала под председательством военюриста Решетова состоялось 22 июня 1943 года, в годовщину начала войны, что очень хорошо запомнил Шаламов. Ему было ясно, что Федоров предельно пунктуально исполнил свою роль, ведь он провел даже очные ставки со свидетелями. На этих ставках Шаламов прямо называл их «лжесвидетелями», сводящими личные счеты, и категорически отрицал все приписываемые ему высказывания. Тем не менее обвинительное заключение, составленное Федоровым и поддержанное трибуналом, гласило:

«Заключенный ШАЛАМОВ Варлам Тихонович, рождения 1907 г., уроженец гор. Вологды, из служителей религиозного культа, русский, гр. СССР, с н/высшим образованием, по профессии журналист, в прошлом дважды судим, в том числе: в 1929 г. как СВЭ и в 1937 г. осужден за активную контрреволюционную деятельность сроком на 5 лет ИТЛ, — обвиняется в том, что: отбывая меру уголовного наказания в Севвостлаге НКВД, содержась в особо-режимной зоне прииска “Джелгала” СГПУ, будучи враждебно настроен, систематически занимался контрреволюционной троцкистской пораженческой агитацией. Высказывал неудовольствие политикой партии ВКП(б), восхвалял контрреволюционную платформу Троцкого, распространял клеветнические измышления о политике советской власти в области развития русской культуры, возводил контрреволюционные измышления по адресу руководителей советской власти, клеветал на стахановское движение и ударничество, восхвалял гитлеровскую армию, ее военную технику и неодобрительно отзывался по адресу Красной Армии. То есть своими действиями заключенный ШАЛАМОВ Варлам Тихонович совершил преступление, предусмотренное ст. 58—10, ч. II УК РСФСР»*.

В рассказ «Мой процесс» эти сложносочиненные предложения стилистики эпохи сталинского юридизма, естественно, не вошли, но в рассказе есть одна подробность, которая, в свою очередь, не вошла в протокол. Речь идет о высказывании Шаламова о И. А. Бунине. Федоров (в рассказе) спрашивал его: «Потом вы говорили, что Бунин — великий русский писатель. — Он действительно великий русский писатель. За то, что я это сказал, можно дать срок? — Можно. Это — эмигрант. Злобный эмигрант». В следственных материалах имени Бунина не упоминается. И причина этого понятна: Федоров просто исключил его из протоколов, скорее всего из-за того, что аргу-

---

* *Шаламов В.* Новая книга. М., 2004. С. 986.

мент был слабодоказательным, мог потребовать на суде дополнительных объяснений и (если по закону!) литературных экспертиз. Логика Федорова расшифровывается просто: «Зачем тут еще какой-то Бунин, когда достаточно того, что “восхвалял Гитлера”?..»

По второй части статьи 58 пункта 10 («антисоветская агитация») трибунал назначил Шаламову максимум — десять лет. Это было ударом, но не неожиданным для него, потому что он не сомневался, что судимость 1937 года в любом случае — и любыми средствами — будет продлена. Не только потому, что идет война, а потому, что он — «литерник», «кадровый троцкист». Заключенных с таким «хвостом», тянущимся с 1920-х годов, к тому времени в живых почти не осталось, это знали все службисты НКВД, и Федоров твердо выполнял установку — «троцкистов» на Колыме надо добивать. Шаламов позже ко всем этим обвинениям-амальгамам — сталинского и послесталинского периодов, энкавэдэшным, кагэбэшным и литературно-спекулятивным, сопровождавшим его имя (например, в мемуарах А. Солженицына), — сделал исключительно емкое и исчерпывающее резюме: *«Если бы я был троцкистом, я был бы давно расстрелян, уничтожен, но и временное прикосновение дало мне несмываемое клеймо...»*

Мы не стремимся охватить всю лагерную биографию Шаламова, да это и невозможно: лучше прочесть его рассказы, в том числе те, в которых идет речь о его жизни или точнее — полу-жизни, сразу после назначения нового срока. Эти рассказы «Кант» и «Ягоды» — о «витаминной командировке» осени и зимы 1943 года, куда он попал, окончательно ослабевшим, «доходя», «доплывая», «спотыкаясь о всякую щепку».

При заманчивом, словно в насмешку, названии «витаминная» эта командировка — маленький лагерь в тайге с бесконвойным выходом на работу — еще больше убавила в нем сил. Здесь кормили по самому минимуму (вспомогательное производство), а нужно было долго и утомительно, ползая на коленях, собирать в мешки остатки ягод и иголки стланика для очередной кампании по борьбе с цингой.

Кедровый стланик, основное хвойное приземистое растение Колымы, как было доказано еще во времена Берзина, мог служить противоцинготным, вяжущим средством только в его очень слабых растворах, а в случае нарушения концентрации и долгого кипячения он являлся скорее отравляющим. Шаламов потом не раз описывал, как отвратительно было пить это ежедневное, горькое, якобы «целебное» пойло.

Спустя годы он посвятил этому растению рассказ и несколько стихотворений — стланик стал одним из его главных

не только колымских, но и общежизненных философских образов. Почему? Стланик обладал удивительным свойством — подниматься из-под снега при малейшем тепле, приносимом весенним солнцем после полярной ночи, либо костром, разожженным среди зимы в снегу:

...Обманутый огненной ложью,
Он весь устремляется в рост.

Шаламов сам ощущал себя таким же стлаником — он ждал если не весны, то костра, надеялся на встречу с хотя бы недолгим и «обманным», но все же человеческим теплом.

Глава десятая

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ЛЕВОМУ БЕРЕГУ

Больница в поселке Беличья находилась, как оказалось, всего в шести километрах от «витаминной командировки», но Шаламова туда привезли на машине, потому что он был в полубессознательном состоянии. У него подозревали дизентерию, но на самом деле это была алиментарная дистрофия, как говорят современные справочники, «заболевание, обусловленное длительным голоданием или недостаточным по калорийности и бедным белками питанием, не соответствующим энергетическим затратам организма». Термин «алиментарная дистрофия» был впервые введен в блокадном Ленинграде, и недаром потом Шаламов часто вспоминал стихи Веры Инбер из ее военной поэмы «Пулковский меридиан»: «Горение иставшей свечи, / Все признаки и перечни сухие / Того, что поученому врачи / Зовут алиментарной дистрофией»...

Но на Колыме в таких случаях ставили другой диагноз — полиавитаминоз или, в редких случаях, РФИ — «резкое физическое истощение». Голода заключенных здесь не принято было официально признавать — даже тогда, когда человек при росте 185 сантиметров весил всего 48 килограммов (таковы были антропометрические данные Шаламова, запомненные им при поступлении в больницу). С него, уложенного на деревянный топчан из жердей, заменявший кровать, пластами сходила кожа — следствие пеллагры, крайней степени действительного авитаминоза, одного из признаков того, что человек умирает, «доплывает»...

Районная больница Северного управления (Севлага) Беличья была расположена в глубине горного района, вдали от реки Колымы. Несмотря на то что нарицательным для Шаламова стал Левый берег, будущая Центральная больница для

заключенных в поселке Дебин — место его настоящего спасения (которое пришло лишь два года спустя). Беличью тоже можно присоединить к Левому берегу как символу и олицетворению единственной на Колыме надежды и реальной помощи — лагерной медицины.

Процесс своего выздоровления, или «воскрешения», пользуясь его любимым словом — знаком чудесного восстания из мертвых, — писатель воспроизвел в рассказе «Перчатка», написанном почти 30 лет спустя, в 1972 году. Этот рассказ парадоксален — как и многое у Шаламова, — но здесь парадокс касается самых важных человеческих и философских проблем. В финале рассказа писатель патетически заявляет о своем принципе — «помнить зло раньше добра», но в той же «Перчатке» он говорит не столько о зле, сколько о добре, которое ему сделали конкретные люди. Это Борис Николаевич Лесняк, Нина Владимировна Савоева и Андрей Максимович Пантюхов — с ними он встретился в Беличьей.

Больница была небольшой, примерно на 300 человек — разумеется, заключенных, политических и уголовных, но внешне почти неотличимых друг от друга по своему крайне исхудалому виду и лагерной униформе, истрепанным серым бушлатам и штанам, в которых они поступали. Шаламов был стандартным больным, и первое время его никак не выделяли. Как вспоминала главный врач больницы Н. В. Савоева, он был — на ее взгляд, опытного и неформального диагноста, — «тяжелым дистрофиком и полиавитаминозником — мы изрядно над ним потрудились, чтобы поставить его на ноги»*. По воспоминаниям Б. Н. Лесняка, этот период длился несколько месяцев, поскольку сам он сблизился с Шаламовым лишь тогда, когда тот стал понемногу ходить — «солнышко стало пригревать, и ходячие больные, пододевшись, выходили на крылечки и завалинки своих отделений»**. По признакам колымской весны, это — конец апреля (1944 года) и, следовательно, Шаламов поступил на Беличью примерно в январе. Эту хронологию подтверждает и история неудавшейся встречи Шаламова с сестрой своей жены Александрой Игнатьевной Гудзь, находившейся в тот момент недалеко от него, в женском лагере-совхозе «Эльген». (Об этом чуть позже.)

Шаламова поместили в терапевтическое отделение, а Б. Н. Лесняк был фельдшером соседнего хирургического отделения. При их встрече на весенней «завалинке» выяснилось, что оба они — москвичи (Лесняк во время ареста был студен-

---

* *Савоева Н. В.* Я выбрала Колыму. Магадан,1996. С. 11.

** *Лесняк Б. Н.* Я к вам пришел! Магадан,1998. С. 208—209.

том 3-го медицинского института), оба интересуются литературой, поэзией. «С Шаламовым мы сразу нашли общий язык, мне он понравился, — вспоминал Лесняк. — Я без труда понял его тревоги и пообещал, чем сумею помочь».

На первых порах помощь ограничивалась самым необходимым — хлебом и махоркой. Но это была тем более драгоценная поддержка, что Лесняк все приносил в палату (утепленную брезентовую палатку) сам. Он же и посоветовал Шаламову добиться устройства при больнице на легкие работы в оздоровительной команде и приложил к этому усилия, поскольку был близок к главврачу. Так через некоторое время и случилось: Н. В. Савоева помогла Шаламову еще на довольно большой период — практически на все лето 1944 года и начало зимы 1945-го — задержаться в Беличьей.

Шаламов был глубоко благодарен ей — «черной маме», как ее называли все заключенные. «Черная» — из-за ярко выраженного кавказского типа (она была осетинка), а «мама» — из-за ее открыто и смело выраженного милосердия, стремления во что бы то ни стало спасать людей, не обращая внимания на то, что они — отверженные, грязные, вшивые, психически неадекватные, а многие — еще и подозрительные с политической точки зрения. Это тем более удивительно, что она верила в Сталина, являлась членом ВКП(б) и была единственной вольной (вольнонаемной) на всей Беличьей.

Выбравшая добровольно работу на Колыме в 1942 году, после окончания 1-го Московского медицинского института, ученица Н. Н. Бурденко, Н. В. Савоева была, несомненно, одной из тех немногих честных и деятельных идеалисток, на которых держится мир и которые внушают окружающим веру в добро. Она понимала идеал как суровую и необходимую повседневную работу. Первое, что она сделала, — добилась от начальства, чтобы в больнице не было конвоя и колючей проволоки. Затем — с помощью врачей-заключенных и просто заключенных с разными специальностями — устроила здесь «маленький оазис», где появились не только свой рентгенкабинет, пункт переливания крови и ванные с душем для больных, но и тепличное хозяйство, где летом выращивались помидоры и огурцы. Вечно занятая, она редко находила время для личного общения с Шаламовым, но все же, питая неискоренимый интерес к высокому, к литературе, имела с ним несколько откровенных бесед — они были важны и для нее, и для него.

Именно Н. В. Савоева первой сообщила Шаламову услышанную ею в пути на Колыму, во Владивостоке, новость — о смерти О. Мандельштама на «Второй речке», включая и по-

дробность: «Он был уже мертв, а соседи по нарам еще два дня получали за него хлеб, завтрак, обед, ужин» (все это глубоко врежется в память Шаламова и запечатлеется в рассказе «Шерри-бренди», написанном в 1954 году и прочитанном на вечере памяти Мандельштама в 1965-м). В свою очередь, Шаламов раскрылся перед Савоевой и Лесняком, читая им стихи — не свои, а любимых поэтов. Этих стихотворений, целиком восстановленных в памяти и не только прочитанных, но и переписанных затем в две тетради, подаренные там же, в больнице, Нине Владимировне, было около шестидесяти! От Пушкина, Тютчева и Блока до Есенина, Маяковского и Сельвинского, от А. К. Толстого, Бунина и Ходасевича до Северянина, Антокольского и Н. Тихонова. И отнюдь не хрестоматийных — например, у Бунина — «Каин» и «Ра-Озирис», у А. К. Толстого — «Василий Шибанов», у Н. Тихонова — «Гулливер играет в карты»... Феноменальная эрудиция и память Шаламова сразу поразили Савоеву! (Они поражают любого человека — могу свидетельствовать о собственных чувствах, испытанных в сентябре 1989 года при встрече с Н. В. Савоевой и Б. Н. Лесняком в Москве, где они показывали драгоценные для них тетради с этими стихами, написанными каллиграфическим на тот момент шаламовским почерком.)

К сожалению, точной датировки этих тетрадей нет, но можно догадаться, что они относятся если не к полному выздоровлению Шаламова, то к близкому к этому периоду, то есть к концу лета—осени 1944 года, когда он, благодаря Савоевой, был устроен при больнице сначала санитаром, а затем «культоргом». Культурный организатор не был сильно обременен трудами — он должен был читать больным газеты, выпускать стенгазеты, а кроме того, был ответственным за сбор грибов и ягод. На такую же «привилегированную» должность — сестры-хозяйки — по сведениям Савоевой, была устроена в Беличьей Евгения Гинзбург, будущий автор «Крутого маршрута», доставленная сюда из «Эльгена» (сама Гинзбург писала, что она была медсестрой туберкулезного отделения). Шаламов видел ее только мельком, потому что она прибыла в августе 1944 года, а его относительное благополучие в роли культорга было очень кратким.

В целом пребывание Шаламова в Беличьей окружено мифами, исходящими главным образом из поздних воспоминаний Б. Н. Лесняка — с одной стороны, малодостоверных, с другой — пристрастных к своему герою (на то оказались свои причины, связанные с конфликтом между Шаламовым и Лесняком в начале 1970-х годов, — подробнее об этом в главе семнадцать). Например, Лесняк писал, что его подопечный про-

был при больнице целых два с половиной года (хотя на самом деле — полтора года с перерывами), при этом мемуарист утверждал — с укором и не вникая в причины, — что Шаламов «был человеком, люто ненавидевшим всякий физический труд. Не только подневольный, принудительный, лагерный — всякий. Это было его органическим свойством». Очевидно, здесь не учитывалось состояние Шаламова, окончательно еще не выздоровевшего и экономившего силы перед неизвестностью — на какие тяжелые работы его отправят после больницы. Кроме того, Лесняк не знал внутренней установки Шаламова — «на это государство я работать не буду», недопонимал и того, что тот, как интеллигент, не владеет никаким ремеслом («кроме копки канав», как признавался Шаламов). Судя по всему, мемуарист впал в анахронизм и судил о своем герое свысока, с позиции себя прежнего — молодого, неголодавшего, оптимистически настроенного человека, к тому же умельца, «мастера на все руки», что и вызвало симпатии Савоевой.

Шаламов был на десять лет старше, он сдержаннее относился к Лесняку еще и потому, что их колымские биографии слишком разнились — водоразделом здесь для писателя всегда был страшный 1938 год, которого фактически не застал молодой энергичный альтруист и будущий пристрастный судья.

Шаламов характеризовал свою ситуацию 1944—1946 годов как «скитания от больницы к забою», то есть к общим работам, и это целиком согласуется с реальными фактами, описанными в его воспоминаниях и рассказах. На Беличьей он побывал несколько раз. Еще до знакомства с Лесняком, в марте 1944 года, его, едва поправившегося, выписали из больницы и отправили назад, на ту же «витаминную командировку»*. Так требовали правила — не «передерживать» больных без основания, бороться за «койко-дни». А кроме того, весь медперсонал тогда возмущало то, что высокий и костлявый больной постоянно доедает чужие объедки в столовой и собирает окурки. Это сочли «глубокой стадией дементивного процесса», которому больница не поможет...

Все эти подробности описаны в одной из самых потрясающих глав воспоминаний Шаламова — «Ася». Ася была та самая Александра Игнатьевна Гудзь, сестра жены, одна из близких ему духовно людей, арестованная в декабре 1936 года и оказавшаяся в итоге почти рядом с ним на Колыме. Она узнала, что он тоже «здесь», но это «здесь», как писал Шаламов, было для него тогда за гранью реальности — «Москва, Антарктида,

---

* На Колыме говорили именно «на командировку». «Командировками» назывались отдаленные таежные участки.

Генеральный секретарь ВКП(б)?», и он поначалу не мог понять — кто его разыскивает, кто передает записку? Он лежал в полузабытьи, его тормошили, спрашивали, есть ли у него родственники на Колыме, он отвечал «нет», потому что ничего не знал о судьбе Аси. Записку от нее привезли с Эльгена, Шаламов запомнил ее примерное содержание: «Я искала тебя с самого первого дня, как вступила на колымскую землю. И вдруг такая неожиданность, узнаю, что ты просто рядом, ничего больше не пишу, жди меня завтра, и мы обо всем поговорим».

Шаламов не верил в эту встречу — не только потому, что разучился верить какому-то маленькому счастью на Колыме, но прежде всего потому, что сам он в это время находился в той степени дистрофии, которую характеризует заторможенность всех реакций и сумеречное состояние. Его ответы на вопросы склонившихся над ним докторов: «Тебя ищут, у тебя есть родственница... Тварь, отвечай!» — закончились только его краткой запиской: «Ася, мне очень плохо. Перешли мне хлеба и табаку».

Ему обещали встречу назавтра — врачи сказали, что Ася сама приедет, ей дадут машину. Но завтра не наступило — Александра Игнатьевна Гудзь неожиданно умерла — она уже была больной и скончалась от крупозного воспаления легких.

Дата ее смерти — 17 февраля 1944 года, в стационаре лагеря «Эльген» — подтверждается справкой, разысканной почти 60 лет спустя магаданским писателем и следователем А. М. Бирюковым. Справка эта, несомненно, важна во всех отношениях — и для датировки всей трагедии, и для уточнения сроков пребывания Шаламова в больнице на Беличьей. Но, к глубокому сожалению, комментарий к этой справке Бирюкова обнаружил абсолютное непонимание автором ситуации и его нравственную глухоту. Ведь он назвал ответ Шаламова «мне очень плохо» — ни больше ни меньше, как «лукавым»! Будто тот был вполне здоров и не лежал, облезая кожей, на топчане для «доходяг»... (На источник вывода о «лукавости» не ссылаюсь, при желании его можно легко найти в Интернете, и крайне жаль, что А. М. Бирюков, ныне умерший, оказался столь пристрастен — и многократно, как и Б. Лесняк, — к Шаламову.) Всякие домыслы имеют свойство растворяться и растекаться в этом мире, но ведь за каждым движением чьей-то прихотливой фантазии не угонишься. И мог ли реально Шаламов встретиться со своей единственной родственницей на Колыме — не нам судить...

Перемещения от «больницы к забою» сначала выразились в том, что Шаламов снова попал на чуть не сгубившую его заготовку «витаминов». Возвращенный по просьбе Савоевой, он,

как мы уже знаем, на лето задержался на Беличьей. Но здесь не было благоденствия — больница находилась под подозрением у лагерного начальства, что и подтвердила неожиданная облава на больных заключенных, якобы скрывающихся от работы. Облаву возглавлял лейтенант Соловьев из Ягоднинского райотдела НКВД (Шаламов тогда впервые увидел офицерские погоны вместо ромбов — нововведение Сталина 1943 года, дошедшее на Колыму позднее). Подбирали всех годных к работе, ведь был сезон добычи золота. Савоева знала, что «золото» и тачка для Шаламова — гибель, и посоветовала ему скрыться, уйти на время в тайгу. К вечеру, когда лейтенант с солдатами уехал, он вернулся. Его встретила главврач. Она улыбнулась, и Шаламов понял, что «он будет жить» (рассказ «Облава»)*.

Но эта надежда еще долго перемежалась разнообразными разочарованиями и рисками. Его внезапное исчезновение из больницы не осталось незамеченным. Лейтенант Соловьев, снова неожиданно приехав на Беличью весной 1945 года, увидел Шаламова из машины, и тот был тут же взят под конвой и отвезен на комендантский пункт в Ягодное. Там собирали всех, кто годился на какой-либо труд. Шаламова отправили на строительство нового прииска «Спокойный», где он несколько дней работал санитаром при санчасти, а затем был переведен в бригаду разнорабочих. Здесь он снова начал слабеть, «доплывать» — запас сил, накопленных в больнице, быстро кончился, как и в 1938 году. (Шаламов вывел свой срок «доплывания» — две недели при непосильном труде и скудном питании; этот срок срабатывал на всех заключенных, кто не мог добыть дополнительного пайка.)

Период на «Спокойном», оказавшийся вовсе не спокойным, а насыщенным чрезвычайными событиями, описан им в рассказах «Доктор Ямпольский», «Леша Чеканов, или Однодельцы на Колыме» и «Май». Самым унизительным были почти ежедневные избиения бессильного Шаламова бригадиром-садистом по фамилии Королев (в рассказах он фигурирует как Полупан). Поэтому главной радостной новостью для него стало убийство этого бригадира, случившееся позднее («Я его зарубил! Топором! В столовой!» — прокричал Шаламову «ве-

---

* Восстанавливаемые нами датировки биографии Шаламова периода 1944 года показывают крайне малую вероятность хотя бы отдаленного наблюдения им знаменитого приезда вице-президента США Г. Уоллеса на Колыму (конец мая 1944 года). Тем не менее этот приезд, сопровождавшийся огромными усилиями по созданию классической советской «показухи» со стороны начальника Дальстроя И. Ф. Никишова, вошедший в колымские легенды, вполне достоверно отражен в рассказе Шаламова «Иван Федорович» (так звали Никишова. — *В. Е.*).

селым и диким голосом» один из шедших в партии арестантов через Ягодное, где тогда находился Шаламов).

Важнейшим для датировок его биографии 1945 года является рассказ «Май», где там же, на «Спокойном», всем заключенным объявили, что кончилась война. Известие пришло неделю спустя после 8 мая и не успело вызвать у Шаламова никаких эмоций, потому что сопровождалось очередным происшествием — у него, голодного и усталого, едва не обгорели ноги, обернутые в мешковину с остатками пыли аммонита и неосторожно подвинутые к костру. Загоревшуюся одежду едва успели затушить снегом, вызвали ездового с лошадью и отправили Шаламова в Ягодное. Там ему удалось через фельдшера связаться с Савоевой, и его снова привезли на ту же Беличью.

Новое пребывание в этой больнице было недолгим, потому что Савоеву вскоре, в сентябре 1945 года, перевели в другую больницу в Юго-Западном управлении лагерей. Но кроме Савоевой и Лесняка Шаламов сблизился с А. М. Пантюховым — врачом-заключенным, который тоже проявлял к нему большое сочувствие. Всю дальнейшую судьбу Шаламова определил именно Пантюхов. Но до этого (осенью 1945 года) Шаламову, после выписки из Беличьей, пришлось побывать на лесной командировке на ключе Алмазном, где заготавливали столбы для высоковольтной линии и кормили только один раз в день, вечером, и откуда он попытался совершить отчаянный побег (рассказ «Ключ Алмазный»), после чего в наказание его отправили на зиму в уже знакомую штрафную зону прииска «Джелгала». Там ему попался очередной жестокий бригадир Ласточкин (в рассказе «Артист лопаты» он фигурирует как Косточкин — «говорящая» фамилия, потому что бил в зубы и по костям), и весной, в мартовскую оттепель 1946 года, он оказался в Сусумане, в «малой зоне» — транзитном бараке, где (рассказ «Тайга золотая») готовили очередную партию доходяг на прииски и где он случайно узнал, что рядом в санчасти работает Андрей Максимович Пантюхов. Записка, посланная Пантюхову, решила все — Шаламова, температурного больного, забрали в санчасть, откуда его уже никогда больше не направляли на общие работы, и он начал — уже окончательно — прибиваться к Левому берегу...

Пантюхов был тихим и скромным молодым человеком. Когда-то, еще на Беличьей, Шаламов, выздоравливая, играл с ним в домино. Пантюхов постоянно подкармливал его, принося еду из столовой, слушал, как он читал стихи (очевидно, из того же импровизированного сборника, что читал Савоевой), и между ними завязалось то, что называется взаимной симпа-

тией или мужской бескорыстной дружбой. При новой встрече в Сусумане первое, что они сделали, — обнялись.

Шаламов хорошо знал историю Пантюхова — арестованного по 58-й статье выпускника Омского мединститута, постоянно подвергавшегося гонениям и на Колыме. Здесь Андрей Максимович заболел туберкулезом, его собирались «актировать» — вывозить на материк, но в итоге оставили «на период войны» (который продлился гораздо дольше — до 1951 года, затем Пантюхов обосновался в Павлодаре и переписывался с Шаламовым). Имеет ли значение, при полном доверии Шаламова к Пантюхову, еще и характеристика Савоевой?.. Но ее все же стоит привести: «Андрей Максимович, будучи мыслящим, хорошо обученным врачом, являлся блестящим диагностом, и клятва Гиппократа для него не была пустым звуком».

То, что сделал Пантюхов для Шаламова, можно назвать максимумом возможной деятельной доброты в предложенных судьбой обстоятельствах. Все свои небольшие (в отличие от Савоевой) полномочия он употребил на то, чтобы окончательно вывести Шаламова из круга обреченных и включить в гораздо более защищенный круг работников лагерной медицины. Сначала он устроил его при себе санитаром (кое-какие навыки на сей счет у Шаламова уже имелись), а потом убедил главврача Сусуманской больницы Соколова отправить его на курсы фельдшеров, открывшиеся при Центральной больнице УСВИТЛа. Она находилась тогда недалеко от Магадана, на 23-м километре колымской трассы, и Шаламов ехал туда вместе с еще одним таким же счастливцем из заключенных — В. А. Кундушем, с которым надолго сохранит дружеские отношения (Кундуш — прототип героя рассказа «Букинист»).

Была весна 1946 года — время, тяжелое для всей страны, едва начавшей восстанавливаться после войны. Кому пришла в голову идея организовать на Колыме курсы фельдшеров из заключенных — неизвестно, но ясно, что эта идея вытекала из острой необходимости — с одной стороны, установки на «сохранение и оздоровление контингента», провозглашенной еще в годы войны (в связи с резким сокращением поступления новых этапов с материка), с другой — явной нехватки медицинских кадров. Между тем авторы идеи прекрасно знали, что на Колыме пребывает — в качестве заключенных — едва ли не весь цвет советской медицинской науки того времени: бывшие профессора, заведующие кафедрами медвузов и практикующие врачи, отсеянные сталинской «селекцией» для системы ГУЛАГа. Все они и были привлечены для чтения лекций на этих уникальных в истории здравоохранения курсах. Из немолодых, ничего не понимавших в медицине людей им предсто-

яло сделать фельдшеров или медсестер — всего за восемь месяцев, по сокращенной программе.

У Шаламова здесь было небольшое преимущество — когда-то, на первом курсе МГУ, он побывал один раз в морге-анатомичке медфака (с целью пополнения «общеобразовательных знаний», как он писал позднее Б. Пастернаку), а кроме того, работая санитаром при лагерных больницах, знал, что такое стерильность, видел, что такое анализы на дизентерию и что такое газовая гангрена (после саморубов у заключенных), и даже знал, как можно симулировать, скажем, кисту на пальце (это было на Аркагале, по подсказке доктора С. М. Лунина, который сделал ему ложную операцию). Кроме того, его образование было все же намного выше необходимого минимума в семь классов, и он без труда сдал вступительные экзамены на курсы (исключая известные проблемы с химией, которую он в школе не проходил из-за ареста учителя во времена Кедрова, — он не знал даже формулы кислорода, но ему, с учетом «пятерок» по русскому языку и математике, поставили за химию «тройку»).

Наверное, Шаламов был самым талантливым из всех слушателей курсов. Но он был и самым старательным и осторожным, потому что чрезвычайно дорожил выпавшей удачей, понимая, что любой, даже нечаянный срыв в учебе или в режиме может повлечь за собой возвращение на зону. «Хотя мне было под сорок лет, я занимался на пределе сил, и физических, и душевных», — отмечал он в очерке «Курсы».

Месяцы, проведенные на 23-м километре, Шаламов считал своим лучшим колымским временем. Здесь кормили, как нигде раньше или позже — за добавкой в столовой можно было подходить даже два раза. Щи, вареная камбала, пшенная каша, хлеб — все это сметалось моментально. И главная надежда Шаламова связывалась не с тем, что он может стать «лепилой», как на блатном языке называли врачебный состав, и дотянуть срок (такова была практическая цель всех курсантов), а с тем, что он может снова стать человеком. Это значило для него тогда не так много — «кое-кому помочь, а кое с кем свести счеты десятилетней давности». С одной стороны — вернуть подаяния, с другой — пощечины. Это вполне в духе шаламовской морали. Но до такого ее понимания, а тем более — до литературного преломления — на курсах было еще очень далеко. Надо было вернуться сначала к нормам цивилизации, а это было непросто. «Получеловека», вчерашнего доходягу, приискового «шлака», в нем долго выдавала, как и у других курсантов, привычка подбирать окурки и прятать их в кулак или в рукав, чего никак не могли понять интеллигентные врачи...

Очерк «Курсы» — как и почти все, связанное с лагерной медициной, — у Шаламова строго документален. Все фамилии преподавателей, профессоров и слушателей — реальные. Разумеется, Шаламов не мог знать полную историю злоключений блиставшего на лекциях профессора Якова Соломоновича Меерзона, но, что тот был одним из лучших учеников знаменитого русского хирурга, будущего лауреата Сталинской премии С. И. Спасокукоцкого, он знал. Меерзон, попавший на Колыму за то, что был родственником расстрелянного командарма И. Э. Якира, больше всего запомнился ему лекцией «об ответственности хирурга, о воле хирурга, о необходимости сломать волю больного», а также об особой для рук хирурга стерильной безупречности. «Мы делались медиками благодаря Меерзону», — писал Шаламов. Постулаты суровой радикальной профессии стали одним из открытий для него не только как будущего фельдшера, но и, думается, как писателя. «Сломать волю больного», то есть благодушного читателя, раскрыть ему глаза на то, как жестоко могут обращаться люди с себе подобными, через боль «вылечить» этим пониманием и сделать все исключительно «стерильно», без дурмана эмоций — разве это не от уроков хирургии?

Другой профессор — Я. М. Уманский был настолько же практик, насколько и теоретик. Шаламов впервые узнал на его лекциях о теории наследственности, о генах и хромосомах. То, что он потом назвал Уманского «вейсманистом» (в одноименном рассказе), является не ошибкой, а сознательным (антицензурным) художественным приемом, поскольку имя Т. Х. Моргана — подлинного открывателя генетики — в 1940—1950-е годы в СССР упоминать было запрещено, а Уманский называл себя «морганистом». Профессор попал на Колыму в 1936 году и уже тогда отличался смелостью и оригинальностью своих идей. В газете «Советская Колыма» 1 января 1937 года была помещена большая разгромная статья «Прожекты доктора Уманского», где профессора с позиций материализма (со ссылками на Маркса и Энгельса) честили за предложенный им метод диагностики отдельных заболеваний... с помощью собак, их особого чутья. Разумеется, Уманский располагал на этот счет каким-то эмпирическим материалом, но его «теорию» осмеяли и прикрыли. Профессор вынужден был заниматься самой прозаической и самой философской из врачебных профессий — патологоанатомией. Шаламов имел честь не раз пить чай с Уманским в его комнате в больнице, расположенной рядом с прозекторской. Наедине, вполне доверяя Шаламову, семидесятилетний профессор говорил: «Самое главное — пережить Сталина. Вы поняли? Не может быть, что проклятия

миллионов людей на его голову не материализуются. Вы поняли? Он непременно умрет от ненависти всеобщей. Мы еще будем жить...» Это был один из важнейших уроков, полученных Шаламовым на фельдшерских курсах.

К этому же периоду относится и его «испытание веры» — ответ на важнейший мировоззренческий вопрос об отношении к религии. Свой рассказ «Необращенный»(1963), посвященный этой теме, Шаламов всегда считал самым прямым ответом на все тайные и явные попытки приобщить его к миру божественных откровений. Рассказ родился из конкретного эпизода, описанного в очерке «Курсы». Его героиня Ольга Степановна Семеняк, бывший доцент Харьковского мединститута (в рассказе она названа Ниной Семеновной), пережила большое горе — в Харькове погибла вся ее семья. В больнице она была суровой, и ее сердце теплело только тогда, когда она видела перед собой таких же верующих, как и она. При этом любила стихи Блока и однажды дала почитать Шаламову его однотомник из малой серии «Библиотеки поэта». Шаламов взял из вежливости, потому что он прекрасно знал и помнил Блока. Когда он вернул ей эту книгу, она достала из ящика своего письменного стола другую маленькую книгу, «похожую на томик Блока». Это было Евангелие. «Почитайте, почитайте, — сказала Ольга Степановна, — особенно вот это — “К коринфянам” апостола Павла».

Шаламов не стал читать Евангелие. Он его давно знал, а лагерная жизнь отучила его поверять происходящее высокими новозаветными заповедями и притчами. Второго «обращения» каторжника ко Христу в русской литературе не состоялось. Шаламов, большой поклонник Ф. М. Достоевского и его постоянный оппонент, несомненно, знал историю дарения Достоевскому Евангелия по пути его следования на каторгу в Тобольске одной из жен декабристов Н. Д. Фонвизиной. В этой книге, хранившейся великим писателем всю жизнь, исследователи обнаружили потом около 1700 его помет. Шаламов не пошел эти путем. «Время Достоевского было другим временем», — просто и жестко писал он. Поэтому его рассказ и называется «Необращенный», поэтому за вопросом писателя к врачу-миссионерке: «Разве из человеческих трагедий выход только религиозный?» — стоял заранее известный ему твердый ответ. Это был сугубо личный ответ Шаламова, всегда сопровождавшийся выводом из его многолетних наблюдений: самыми стойкими в лагере являлись верующие люди — «религиозники», как он их называл...

Фельдшерские курсы, несомненно, приблизили возвращение писателя к интеллектуальной жизни, его родной стихии.

Но сам уклад курсов — с ночлегом на нарах, в чистом, но бараке, с работой в дорожной бригаде — «чтобы не расслаблялись», с жестким распорядком дня, с постоянным контролем со стороны начальства, которое воплощал заведующий Центральной больницей Михаил Львович Дактор (его все называли «доктор Доктор»), врачебными делами не занимавшийся, но, как писал Шаламов, «ненавидевший заключенных» и «подлец законченный», — совсем не давал повода к каждодневной радости. По воспоминаниям одного из курсантов — И. И. Павлова, который хорошо помнил и Меерзона, и Уманского, и О. С. Семеняк, и самого Шаламова («...высокий и худой, преждевременно состарившийся, с изможденным лицом, в старой, третьего срока телогрейке и ватных брюках не по росту маленького размера»; автор однажды играл с ним в шахматы), — Дактор был штатным сотрудником НКВД, что и объясняет его поведение.

Самыми важными для Шаламова были уроки практической медицины, которые он получил на курсах. Та же О. С. Семеняк научила его пользоваться стетоскопом (фонендоскопом) и подарила ему свой личный, типично врачебный диагностический прибор. Аппарат Рива-Роччи для измерения давления он тоже познал как «свой». Его научили делать перевязки и ставить клизмы, владеть шприцем и скальпелем, стерилизовать инструменты и писать истории болезней. Сам много раз испытавший обморожения, он стал большим специалистом в их лечении. Поняв, благодаря Меерзону, что избавление от боли идет только через боль, он быстро научился вправлять вывихи. Например, вывих плеча он вправлял уже строго по «гиппократову методу»: при кратковременном рауш-наркозе — резкий упор ногой в плечо, дерг, и кость встает на свое место. Доктор Федор Ефимович Лоскутов, по основной профессии окулист, но, как вынудила Колыма, — врач самого широкого профиля, научил его делать первую самостоятельную хирургическую операцию — ликвидацию загортанного абсцесса. «Как? — Выпустить гной, следя, чтобы больной не захлебнулся жидкостью. — Я примерился, проткнул созревший абсцесс тупым концом ножа. — Голову! Голову! — закричал Федор Ефимович. Я успел нагнуть голову больного, и он выхаркнул гной прямо на полы моего халата. — Ну, вот и все. А халат смените...»

К сожалению, чрезвычайно трудно установить время, место и исполнителей самой варварской из операций, на которой присутствовал Шаламов. Она описана в рассказе «Шоковая терапия». В реальности ее сомневаться не приходится: писатель подробно описывает весь процесс, называет имена-отче-

ства инициаторов этой операции и противников ее («Сергея Федоровича», за которым ясно читается чуть прикрытый С. М. Лунин), но поскольку условия диктовал «начальник больницы» («доктор Доктор»), эта операция все-таки состоялась. Больной Мерзляков (явно вымышленная, «говорящая» фамилия — промерзший человек с приисков) с травмой позвоночника был вынужден пройти тест на симуляцию. Испытание делали с помощью шоковой терапии — введения резко повышенной дозы камфорного масла, что приводило к буйному приступу мышечной энергии, подобию эпилептического припадка, а эта якобы «удесятерившаяся» сила должна была разоблачить симулянта. Всю жуть эксперимента над человеком, которому нужно было совсем другое лечение, Шаламов передает скупыми словами о радости экспериментаторов и о радости больного, который пожелал для себя лучшей долей после всего перенесенного срочно выписаться снова на прииски, в золотой забой...

Симуляция и аггравация (преувеличение своей боли) являлись очень распространенными на Колыме, борьба с ними велась всеми возможными средствами, и рассказ Шаламова в этом смысле сугубо реалистичен.

Лоскутов, ставший одним из самых близких друзей Шаламова на Колыме, настоящий праведник, которого писатель сравнивал со знаменитым московским тюремным врачом Ф. Гаазом (восхитившим когда-то Достоевского своей филантропией, — но Достоевский был далек от реальностей медицины), научил его многим премудростям поведения человека в белом халате в лагере. Врачебной и моральной установкой Лоскутова было: не разоблачать симулянтов и аггравантов. «Им только кажется, что они симулянты и агграванты, — говорил он. — Они больны гораздо серьезней, чем думают сами. Симуляция и аггравация на фоне алиментарной дистрофии и духовного маразма лагерной жизни — явление неописанное...»

Шаламов был не во всем согласен с Лоскутовым — потому что видел в больницах множество откровенных симулянтов из блатарей, считал, что Лоскутов слишком потакает им, а они пытаются его «оседлать». Сам он был непримирим к симулянтам из уголовников, и эту его природную, ничем не поколебленную пунктуальную честность использовали потом при назначении его фельдшером приемного отделения новой Центральной лагерной больницы на Левом берегу. Он стал здесь настоящим стражем, даже, можно сказать, «цербером», сразу разворачивая назад блатных с «мастырками» и другими имитациями болезней. Это был совсем непривычный для лагеря стиль работы фельдшера-«лепилы», и блатари решили убить

Шаламова — они «проиграли его в карты». Лишь вмешательство Ф. Е. Лоскутова, который пользовался у воров безмерным авторитетом, предотвратило этот шаг. Старый вор-пахан, которого Лоскутов вылечил от слепоты, сказал: «Ладно, иди, Ефимыч, пусть живет твой лепила...» (воспоминания Е. Е. Ореховой-Добровольской).

Новая больница располагалась в 500 километрах от Магадана, ближе к основным приискам. Большое трехэтажное кирпичное, т-образное здание, построенное перед войной в поселке Дебин — сразу за новым мостом через Колыму — казалось каким-то фантомом в этом диком краю, какой-то крепостью или замком. Оно предназначалось для размещения воинской части, так называемого «Колымского полка», который призван был охранять стратегически важный район в годы войны. После победы над Японией полк передислоцировали, а казарму передали под главную больницу УСВИТЛага. Начальником больницы был снова назначен М. Л. Дактор, а в персонал вошли многие из тех, кого уже знал Шаламов по 23-му километру, — хирург В. Н. Траут, окулист Ф. Е. Лоскутов, заведующий лабораторией А. И. Бойченко и др. Из бывших курсантов на Левый берег взяли немногих, и для Шаламова его первое назначение — старшим фельдшером хирургического отделения — было особой честью.

«Я чувствовал себя — впервые на Колыме — необходимым человеком: больнице, лагерю, жизни, самому себе, — писал он. — Я чувствовал себя полноправным человеком, на которого никто не мог кричать и издеваться...»

Эта метаморфоза, полный переворот его жизни, чудесное спасение, о котором он никогда не мечтал, — произошло в декабре 1946 года. До 20 октября 1951 года, дня своего официального освобождения, о чем свидетельствует запись в первой его «вольной» трудовой книжке («20/X-1951 г. — зачислен на должность старшей операционной сестрой хирургического отделения Центральной больницы УИТЛ “Дальстроя”»), то есть пять лет, с небольшим перерывом, он пробыл на Левом берегу, в этом сохранившем навеки свой казарменный дух здании. Оно вмещало 1200—1300 больных, располагавшихся по профильным отделениям, с коридорами и отсеками, с обязательной охраной на выходах.

Поразительно, что на протяжении всех пяти лет Шаламов практически никогда не выходил из больницы, не только зимой (что понятно — здание всегда хорошо отапливалось), но и летом. Причины этого пыталась объяснить врач-хирург Елена Александровна Мамучашвили, прибывшая в больницу в 1947 году и проработавшая вместе с Шаламовым до 1952 года.

Она писала: «Первое время как заключенному это было ему запрещено, а затем он, видимо, привык к этому положению и не хотел унижаться перед охраной на вахте, ведь на каждый выход требовалось разрешение»*.

Жил, вернее, спал Шаламов прямо в отделении, в бельевой. Так было принято в больнице, многие спали в кабинетах, где работали, хотя были и комнаты-общежития. Вероятно, Шаламов сознательно выбрал уединенный образ жизни и был им доволен. Литература? Чтение? Это, конечно, имело значение, потому что библиотека в больнице собралась неплохая, но для чтения — только краткие часы перед сном. Как вспоминала та же Е. А. Мамучашвили, у Шаламова был огромный круг обязанностей по отделению — он как старший фельдшер был фактически его хозяином — для всех, включая заведующего отделением, бывшего фронтового хирурга А. А. Рубанцева. Шаламов отвечал за порядок, и порядок в палатах, операционных и перевязочных был, по условиям больницы, идеальным. Его добросовестность все врачи очень ценили, единственный, кто постоянно придирался к Шаламову, — вездесущий «доктор Доктор».

Из своей жизни в больнице сам Шаламов особо выделял литературные, поэтические беседы, которые проходили вечерами, после ужина и поверки в маленьком помещении перевязочного отделения. Этим вечерам посвящен его рассказ с символическим названием «Афинские ночи», где писатель, споря с создателем знаменитой «Утопии» Т. Мором, а также и с З. Фрейдом, говорил о не учтенной ими человеческой потребности (вслед за утолением голода, полового чувства, дефекацией и мочеиспусканием) — потребности в стихах. Только стихи возвращают в призрачный волшебный мир, который для интеллигента в лагере — реальнее и важнее любой повседневности. Собственно, участников «афинских ночей» было трое — сам Шаламов и его двое новых больничных знакомых: бывший киевский киносценарист, фельдшер-заключенный Аркадий Добровольский и бывший московский актер, поэт Валентин Португалов, выполнявший в больнице, тоже в статусе заключенного, роль культорга. Иногда на вечера допускались в качестве слушателей и другие люди, в основном врачи и фельдшерицы, тоже испытывавшие потребность в стихах.

Суть вечеров была в том, что все трое, оказавшись поклонниками русской лирики начала XX века, читали стихи любимых поэтов. «Взнос» Шаламова был в основном тем же, что и

---

* *Мамучашвили Е.* В больнице для заключенных // Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 80.

в тетрадях, записанных для Н. В. Савоевой, но с добавлением И. Анненского, В. Хлебникова, А. Белого и В. Каменского. «Взнос» Португалова — Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова, М. Цветаева, из классиков — Лермонтов и Ап. Григорьев, которого, как отмечал Шаламов, «мы с Добровольским знали больше понаслышке». «Доля» Добровольского — Маршак с переводами Бернса и Шекспира, Маяковский, Ахматова, Пастернак — до последних новинок тогдашнего «самиздата», как писал Шаламов (имея в виду, что первый ташкентский вариант будущей «Поэмы без героя» А. Ахматовой был прочтен Добровольским, которого снабжали литературными новинками его знаменитые друзья кинорежиссер И. Пырьев и актриса Л. Ладынина, снявшие фильм «Богатая невеста» по сценарию А. Добровольского и Е. Помещикова).

Самое важное, что вкусы и предпочтения у всего больнично-поэтического триумвирата удивительным образом совпадали и ни у кого не было стремления к лидерству. Правда, Е. Мамучашвили, которую допускали иногда на «афинские ночи», замечала, что Шаламов держал себя немного «над» другими и, когда говорил, «интонация его была очень серьезная, менторская». Все это объяснимо: Шаламов был старше своих друзей и коллег, он обладал более весомым опытом — и лагерным, и литературным. Со всеми, с кем его соединила судьба в больнице на Левом берегу, он сохранял потом добрые отношения.

Особенно заинтересовала его тогда личность Георгия Демидова — нового фельдшера-рентгенотехника. Тот редко выходил из своего кабинета, но при доверительных встречах тет-а-тет оказывался удивительным собеседником. Демидов прямо и смело говорил обо всем, что происходило и происходит на Колыме и в стране. Он был талантливым физиком из Харькова, где работал вместе с Л. Ландау. Арестовали его в начале 1938 года по доносу об «антисоветских высказываниях», и Демидов прошел в полной мере следовательский конвейер с применением «метода № 3», получив срок десять лет. На Колыме он не застал самого страшного 1938 года, но пребывание в предвоенные и первые военные годы на общих работах на прииске Бутугучаг было не менее тяжким. Именно Бутугучаг, где заключенные работали по 20 часов и от голода вынуждены были поедать трупы (Демидов говорил об этом на следствии по своему второму делу 1946 года), родил у него сравнение: «Колыма — Освенцим без печей».

Каким образом Демидову удалось сохранить не только интеллект (на Левый берег он попал благодаря тому, что смог из старого хлама восстановить рентгеновский аппарат), но и волю, и непримиримость к сталинскому режиму — для Шаламо-

ва осталось во многом загадкой. Но недаром он называл Демидова «самым достойным из людей, встреченных мной на Колыме» и посвятил его судьбе рассказ «Житие инженера Кипреева». После Колымы они надолго потеряли друг друга, их встреча, переписка, страстный литературный спор 1960-х годов — это отдельная тема, и пока можно сказать только то, что это были два очень жестких и бескомпромиссных, выкованных лагерем, характера...

Суровый, почти монашеский ригоризм Шаламова в его больничный период отпечатался не только в памяти его коллег, но и вошел в его рассказы. Ярчайший пример в этом плане — «Потомок декабриста», героем которого является его знакомый врач С. М. Лунин. Почти всем «левобережцам», кто лично знал Лунина как доктора и как человека, его изображение у Шаламова показалось несправедливым, уничижительным, даже карикатурным. Это на первый взгляд тем более странно, что в свое время Лунин и Шаламов были почти приятелями и доктор оказал реальную помощь Шаламову на Аркагале. Но для изменения отношения к своему благодетелю у Шаламова были свои резоны. Главный из них: будучи переведен в Центральную больницу в 1948 году вместо чрезвычайно щепетильного А. А. Рубанцева, Лунин завел в хирургическом отделении совсем иные, почти «гусарские» порядки. «Друг Вакха и Венеры» — так, по-пушкински, определил его персону Шаламов. На самом деле Лунин немного играл — и переигрывал — в роли «потомка декабриста», потому что у реального М. С. Лунина детей не было.

Короче говоря, в операционной вечерами стали устраиваться регулярные пьянки. Спиртом хирурги никогда не обделялись, и сюда тянулось все больничное начальство. «Полупьяные начальники шагали по отделению взад и вперед», — писал Шаламов. Но он бы, наверное, не стал делать на этом особого акцента (ибо за лагерные годы привык смотреть на кутежи начальства сквозь пальцы), если бы при этом Лунин не бахвалился своим хирургическим мастерством. Он с презрением говорил о своем предшественнике Рубанцеве, потому что тот не сделал ни одной операции язвы желудка. Шаламов понимал, почему бывший заведующий отделением за эти операции не брался: больные-заключенные были истощенными, дистрофиками — «фон нехорош», говорил Рубанцев, не желавший рисковать. Но Лунин, которому не был чужд профессиональный цинизм, экспериментировать на больных не боялся, он забрал из терапевтического отделения несколько язвенников и прооперировал их. Никто из них не выжил. В результате этого и возник очень серьезный конфликт между Ша-

ламовым как старшим фельдшером и Луниным как завотделением, ставший кратким эпизодом рассказа:

«— Сергей Михайлович, так работать нельзя.

— Ты мне указывать не будешь!

Я написал заявление о вызове комиссии из Магадана. Меня перевели в лес, на лесную командировку... Приехала комиссия, и Лунин был уволен из "Дальстроя". А я через год, когда сменилось больничное начальство, вернулся из фельдшерского пункта лесного участка заведовать приемным покоем больницы.

Потомка декабриста я встретил как-то в Москве на улице. Мы не поздоровались».

Врачебная и человеческая этика не так уж расходятся, и поэтому правоту Шаламова трудно как-либо оспаривать. Притом что Лунин был действительно хороший хирург и неплохой (по многочисленным воспоминаниям) человек, лишь иногда впадавший в подобный раж (что можно объяснить опять же его положением многолетнего заключенного Колымы). Этот случай — как и рассказ, с сохранением реальной фамилии! — дает возможность, может быть, наиболее осязаемо почувствовать чрезвычайную нравственную строгость Шаламова, отсутствие у него какой-либо снисходительности к человеческим проступкам и слабостям*.

История с Луниным дает много поводов поразмышлять и об особенностях лагерной медицины, и об изменениях в психологии ее представителей. Мы имеем случай убедиться, что Шаламов подчас «перегибал палку» (даже по лагерным, а не только по обыденным меркам) в суждении о людях. Это, несомненно, — особая трансформация его врожденной честности, заставляющая говорить либо о гипертрофии этого качества под влиянием лагерных условий, либо об атрофии любого чув-

* Большинство колымских врачей очень тепло отзывались о С. М. Лунине. Например, Ю. В. Шапиро писал о предыстории его попадания на Колыму: «Будучи студентом пятого курса медицинского института, он рассказал кому-то такой анекдот. Трем колхозницам выдали премию: одной путевку в санаторий, второй отрез на платье, а третьей, самой бойкой, — бюст товарища Сталина. Она ревет. "Так тебе, дуре, и надо", — говорят ей подружки. В ту же ночь Лунин был арестован, помещен на Лубянку. После окончания следствия его привели в кабинет Берии, который ударом резиновой дубинки благословил потомка декабриста на 17-летний крестный путь. На Колыме он работал в шахтах Аркагалы, заболел тяжелой формой силикоза. Я познакомился с ним в Боткинской больнице в Москве. Он стал прекрасным хирургом, много и успешно оперировал. Он рано ушел из жизни». Е. А. Мамучашвили вспоминала случай, когда Лунин спас несколько больных от направления в особый лагерь (Берлаг), сделав им операции ложного аппендицита. Об этом случае знал и Шаламов, но он не включил его в свой рассказ.

ства жалости — по тем же причинам. Он и сам это осознавал. Недаром рефреном его колымского опыта стали слова: «Лагерь — целиком отрицательный опыт для человека, ни один человек не становится лучше после лагеря». Об этих необратимых изменениях в своем характере со всей беспощадностью к себе писал он в рассказе «Вечная мерзлота», посвященном чуть более позднему периоду. Став самостоятельным фельдшером, Шаламов отказался у себя в медпункте от услуг заключенного-поломоя, сочтя его симулянтом. Это грозило тому отправкой на общие работы, в забой, а он был действительно больным. На следующий день он повесился в конюшне. Шаламову пришлось видеть весь этот итог. «И я понял внезапно, что мне уже поздно учиться и медицине, и жизни» — так кончается этот один из самых трагических рассказов писателя...

Из всего, связанного с Левым берегом, можно судить, что Шаламов оценивал лагерных медиков отнюдь не так однолинейно, как, скажем, А. Солженицын (видевший в них, судя по «Архипелагу ГУЛАГ», лишь пособников палачей). Годы фельдшерской работы не только спасли жизнь Шаламову, но и в итоге благотворно повлияли на его изломанную лагерным миром психику. Это особенно проявилось после освобождения, когда он работал вольнонаемным фельдшером в дорожном управлении Оймякона. Маленький, но характерный штрих его биографии этого периода вспомнил много лет спустя бывший заключенный, вологжанин А. Кабанов. Однажды он тяжело заболел, и Шаламов выручил его, специально достав для своего земляка дефицитный в то время пенициллин. Таких случаев в фельдшерской практике Шаламова, несомненно, было немало — недаром потом в письме Борису Пастернаку он писал: «Меня помянут добрым словом и помянут люди хорошие. Несчастные, но хорошие». Он постепенно переставал быть «волком», как он себя называл («...я и сам был волк — и научился есть из рук людей» — эта почти киплинговская метафора из рассказа «У Флора и Лавра» чрезвычайно красноречива).

Немаловажную роль в этом переломе сыграла его лесная командировка на ключ Дусканья. Он провел здесь почти полтора года — 1949-й и 1950-й, которые вернули его к той жизни, о которой он так давно мечтал, — к одиночеству, тишине и спокойной сосредоточенности. Это был поселок лесорубов, где заготавливали лес и дрова для больницы. Под фельдшерский пункт там отвели отдельную избушку, в которой Шаламов и работал, и жил. Пациентов было мало, объезды участков по реке, на моторной лодке (зимой — на санях), занимали не так много времени, начальник, участник Гражданской войны, сидевший в 1937 году в Лефортове, Я. О. Заводник знал Шала-

мова и особо не донимал его. С питанием и махоркой тоже проблем не было. Не зная, сколько продлится это счастье, Шаламов все свободное время отдавал стихам. Впервые после почти двенадцатилетнего перерыва он получил возможность писать. Писал на всем: на бумаге, оставшейся от фельдшера-предшественника, на оборотах бланков и дежурных журналов. Здесь, на Дусканье, он прикоснулся к космосу, к звездам, которые в Северном полушарии гораздо ближе к земле. Прикоснулся к природе — камню, дереву, цветку и научился понимать их. Он уже не сидел взаперти и часто гулял по своей любимой тропе, ведущей вглубь тайги. Его маленький лирический рассказ «Тропа» — как раз о ней. Здесь, на этой тропе, поначалу и сочинялись, проговаривались, наборматывались (его любимое слово) стихи.

Когда Шаламов 20 лет спустя решил упорядочить и прокомментировать свои поэтические произведения, он многое датировал так: «Написано на “пленэре” на ключе Дусканья в 1949, 1950 гг.». Какие это были стихи? «Стланик» (а где он мог быть написан еще?), «Он пальцы замерзшие греет», «Сыплет снег и днем, и ночью», «Цветка иссушенное тело», «Картограф», «Тайга» и десятки других, узнаваемых по приметам Колымы и неожиданному смелому взлету поэтической мысли. Так называемой «пейзажной лирикой» (он знал условность этого понятия) его первый выплеск не ограничился. Разве возможен был иной адрес у такого гениального четверостишия:

Все те же снега Аввакумова века,
Все та же охотничья злая тайга,
Где днем и с огнем не найдешь человека,
Не то чтобы друга, а даже врага.

Он не писал ни о Сталине, ни о лагерях, но за строкой почти каждого стихотворения стояло пережитое. Шаламов постоянно размышлял о русской истории, ее загадках, о ее самоповторении — то в прорывах к новому, то в возвратах к старому. Странно было бы думать, что он держал перед глазами какой-то учебник истории и листал его. Тот же образ Аввакума, перешедший затем в поэму «Аввакум в Пустозерске» (1955), мог прийти к нему и через чисто внешние ассоциации — например, от репродукций картин, висевших в фельдшерской избушке. Иначе почему бы у него родился поэтический диптих на темы знаменитых картин В. Сурикова — «Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова»? Он воспроизвел в стихах не только детали этих картин, но и дал к ним свое философское резюме, заключенное в концевых строфах: «...И несмываемым позором / Окрасит царское крыльцо / В национальные узоры /

Темнеющая кровь стрельцов»; «...Так вот и рождаются святые, / Ненавидя жарче, чем любя, / Ледяные волосы сухие / Пальцами сухими теребя»...

Это было не возрождение задавленного поэта, а его первое настоящее рождение — пусть в возрасте сорока двух лет, но сразу в той степени индивидуальности, самобытности и зрелости, которая не нуждается в поисках тайн предшествующей эволюции.

Но если бы при этом он еще не оставался заключенным! И если бы ему не приходилось прятать подальше от чужих глаз стихи, переписанные набело и собранные в сшитые им самим тетради! «Стихи — одно из тягчайших лагерных преступлений», — подчеркивал Шаламов, ведь если их найдут, то любой дотошный оперуполномоченный по стихам может состряпать дело о какой-нибудь «антисоветской агитации». Поэтому по возвращении в больницу на Левый берег, где сменилось все начальство и где его назначили фельдшером приемного покоя, Шаламов сразу спрятал тетрадь в тумбочку среди своих служебных бумаг. Его неотвязной мыслью стало теперь желание во что бы то ни стало переправить эти стихи на Большую землю.

Вначале он надеялся на освобождение и на скорый выезд на материк. Но даже и досрочное освобождение, состоявшееся чуть раньше назначенного в 1943 году десятилетнего срока, с зачетом части рабочих дней, а именно — 20 октября 1951 года (как свидетельствует единственный сохранившийся документ — упомянутая выше трудовая книжка), не дало ему возможности сразу покинуть Колыму. Эта ситуация воспроизведена Шаламовым в рассказе «Подполковник Фрагин». Ретивый подполковник, начальник спецотдела больницы, бывший сотрудник Смерша, каким-то образом, через Магадан, раскопал дело Шаламова 1937 года, на основании чего сделал вывод, что перед ним «кадровый троцкист и враг народа». Поначалу предполагалось, что Шаламова оставят при больнице, в том же приемном покое, до весны 1952 года, до открытия навигации на Охотском море, чтобы отправить на материк общим этапом. Такой вариант давал большие преимущества: освобожденные имели право на бесплатную дорогу до пункта жительства. Но Фрагин задержал Шаламова в больнице до июля, а потом отправил его, уже давно «вольного», с двумя конвоирами в Магадан в распоряжение санитарного отдела Дальстроя. При этом Шаламов был уволен из больницы по КЗОТу и потерял право на бесплатную дорогу. Все эти дополнительные мучения вынудили его остаться на Колыме, чтобы заработать на дорогу. Санитарный отдел направил его в дорожное управление

Дальстроя, которому требовались фельдшеры на дальние участки. Так Шаламов 20 августа 1952 года (согласно той же трудовой книжке) стал фельдшером лагерного пункта Кюбюминского дорожно-эксплуатационного участка недалеко от Оймякона (эта часть территории Якутии тоже тогда входила в систему Дальстроя).

Известная колымская фотография Шаламова в полушубке подписана — «Кюбюма, 1952 г.». Название поселка ни о чем не говорит, а Оймякон — говорит: полюс холода. Средняя температура воздуха зимой — минус 50—60 градусов и ниже. И еще говорит название находящегося поблизости якутского села Томтор. Там, собственно, и располагался медпункт, где работал Шаламов, там находилось и место, куда он с некоторых пор стал неудержимо стремиться, — почтовое отделение.

Сотый раз иду на почту
За твоим письмом... —

так начинается стихотворение «Верю», посвященное жене Галине Гудзь. К нему позднее был сделан комментарий: «Написано в 1952 году в Барагоне, близ Оймяконского аэропорта и почтового отделения Томтор». Лишь после того, как Шаламов освободился, он получил право на переписку, и жена, возвратившаяся тогда из Чарджоу в Москву, писала ему почти через день (отчего и — «сотый раз»). Почта вольнонаемным доставлялась тогда самолетами, в отличие от почты для заключенных, которые получали посылки и письма только в морскую навигацию. Северные трассы в военное и послевоенное время обслуживали Ли-2, сделанные по лицензии американских «дугласов», в начале 1950-х годов их начали заменять на Ил-14. Поэтому изменение статуса Шаламова на общегражданский дало ему возможность, наконец, вести свободную и довольно активную переписку. К сожалению, его письма жене (как и ее к нему) не сохранились. Что же осталось? Наверное, самое важное и для него самого, и для истории литературы — начальная переписка с Борисом Пастернаком.

У нее есть свои тайные истоки. Шаламов долго думал, кому отправить стихи, написанные на Дусканье. Родным, жене? Но жена — любимая, драгоценная — поймет ли она по-настоящему эти совсем не любовные и не альбомные вирши своего «Варламки», который давно стал другим? Нет, эти стихи пусть прочтет и оценит серьезный поэт-профессионал! Кто? Асеев, Тихонов... Они уже недоступны, слишком официальны. А что, если это будет сам Пастернак? Горячо любимый, лелеемый в мыслях как главный поэт эпохи, как «живой Будда», в благородстве и чуткости которого сомнений никогда не возникало.

Ирреальность замысла — неведомый поэт с Крайнего Севера, еще не знающий окончательно своей судьбы, посылает свои стихи великану литературы, живущему в Москве, за десять тысяч километров, — вполне соответствует духу Шаламова, который внезапно и вполне правомерно осознал свою цену в поэзии — не преуменьшая и не преувеличивая ее, — полагая, что поэты лучше поймут друг друга, нежели какие-либо редакторы. Но посылать почтой — это посылать в неизвестность: любой почтмейстер (в погонах) может вскрыть пакет и передать его в НКВД. Поэтому посылать нужно только с оказией, с надежным человеком, который не станет задавать лишних вопросов.

Такой человек нашелся — Е. А. Мамучашвили, улетавшая самолетом в феврале 1952 года в шестимесячный отпуск на материк. Их отношения в больнице были вполне доверительными, и она без колебаний — ее обыскивать не станут — взяла с собой обычный, никак не маркированный пакет, перевязанный крест-накрест бечевкой (для Пастернака), и сопроводительное письмо Шаламова жене.

В письме Пастернаку, вложенном в пакет, Шаламов писал:

«Борис Леонидович.

Примите эти книжки, которые никогда не будут напечатаны и изданы. Это лишь скромное свидетельство моего бесконечного уважения и любви к поэту, стихами которого я жил в течение двадцати лет.

В. Шаламов.

22.II-52 г.

Адрес мой, если захотите ответить: Хабаровский край, поселок Дебин, Центральная больница — Шаламов Варлам Тихонович.

Еще лучше написать через мою жену: Москва, 34, Чистый пер., 8, кв.7. Галина Игнатьевна Гудзь. Арбат 6—32—50».

Ответ был отправлен из Москвы 9 июля 1952 года, и это не запоздание — Пастернак получил пакет только в середине июня, видимо, потому, что Г. И. Гудзь сначала сама долго читала стихи, а потом столь же долго искала пути к Пастернаку в Переделкино или в Лаврушинский переулок. Письмо Пастернака — великодушно огромное, очень подробное, с доброжелательным и строгим разбором стихов Шаламова, с размышлениями о себе, о времени и о современном искусстве — его содержания придется коснуться позже, — пришло на Колыму только в декабре того же года, как можно судить по рассказу Шаламова «За письмом» и по его ответу Пастернаку, датированному 24 декабря.

Наверняка конверт от Пастернака в пути не раз вскрывал-

ся, изучался на предмет «крамолы», ведь шел он почти полгода. А для получения этого письма Шаламову пришлось ехать из Кюбюмы до Дебина почти 500 километров — сначала на собачьей упряжке, потом на оленьей, с каюрами-якутами, до автотрассы, где ему ночью, в мороз, подвернулась попутная машина (сказка о бесплатности таких путешествий на Колыме — из более поздних времен: Шаламову приходилось за все платить). И даже в бывшую родную больницу его, промерзшего до костей, ночевать не пустили; хорошо, что приютил знакомый фельдшер. Но результат наутро — врученное ему письмо от Пастернака, написанное знаменитым летящим почерком и окрыляющее чудесной, из другого мира посланной добротой, — искупил всё многажды и на годы вперед. Шаламов, как можно полагать, не раз перечитывал, вспоминал и бормотал на обратном пути в Кюбюму адресованные ему слова любимого поэта и человека: «Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью Вашей судьбы и перед свежестью Ваших задатков (острой наблюдательностью, даром музыкальности, восприимчивостью к осязательной, материальной стороне слова), доказательства которых во множестве рассыпаны в Ваших книжках...»

Это был настоящий Левый берег, до которого, наконец, добрался Шаламов — уже не как каторжник, а как поэт.

Глава одиннадцатая

ОТТАИВАНИЕ НА 101-м КИЛОМЕТРЕ

Отъезд Шаламова с Колымы состоялся в начале ноября 1953 года, уже после смерти Сталина и в разгар «бериевской амнистии», когда на материк хлынули десятки тысяч бывших заключенных, главным образом уголовников. К 10 августа было освобождено более 1 миллиона из 2 миллионов 526 тысяч 402 человек, находившихся тогда в лагерях, тюрьмах и колониях, по статистике НКВД (переименованного в МВД). Это был огромный поток, собиравшийся из всех лагерей севера и востока и устремлявшийся в Центральную Россию по Транссибирской магистрали.

Шаламов волей-неволей влился в этот поток, несмотря на свое формально более раннее освобождение. Собрав, путем тщательной экономии, деньги на дорогу (его основной едой в Кюбюме были зайцы, которых в несметных количествах добывали якуты, укрывавшие на зиму крыши жилищ их тушками — и для тепла, и про запас), он вынужден был испытать еще множество бюрократических проволочек, прежде чем оказался в

оймяконском аэропорту. Аэропорт — звучит громко, ибо здесь неделями ждали Ли-2 или Ил-14. Шаламову удалось правдами и неправдами (рассказ «Погоня за паровозным дымом») попасть в самолет и добраться до Якутска, а затем до Иркутска. В Иркутске его чуть не зарезали блатари, крутившиеся вокруг вокзала возле людей с чемоданами (у Шаламова был небольшой фанерный чемоданчик), но кто-то из тех же блатарей опознал в нем «лепилу», который «помогал нашим» (глубокая, но спасительная ошибка), и все обошлось. Он даже сумел немного познакомиться с городом. Иркутск был уже Большой землей и чем-то напомнил ему Вологду. Он с трудом сел в поезд, который очень походил на переполненные теплушки времен Гражданской войны — с тем отличием, что в Сибири зимой на крышах ездить невозможно, — и, добыв себе лежачее место, быстро уснул.

Он ехал в этом убогом, но мирном, столь ярко выражающем дух послевоенной России вагоне — с пьющими и тут же блюющими людьми, военными и гражданскими, с торговцами, блатарями, вечно играющими в карты, и проститутками, за 50 рублей снимающими купе проводника, — и не мог поверить, что его мытарства кончаются и впереди какая-то счастливая жизнь, обволакивающая уже сейчас соблазнительным теплом. Свое самоощущение он передал так: «...Я испугался страшной силе человека — желанию и умению забывать. Я увидел, что готов забыть все, вычеркнуть двадцать лет из своей жизни. И каких лет! И когда я это понял, я победил сам себя. Я знал, что не позволю своей памяти забыть все, что я видел. И я успокоился и уснул» (рассказ «Поезд»).

В Москву Шаламов приехал 12 ноября 1953 года. На Ярославском вокзале — он послал из Иркутска телеграмму — его встречала жена. О дочери Елене в момент встречи Шаламов нигде не вспоминает. По всей вероятности, Галина Игнатьевна не взяла ее на вокзал, чтобы не пугать отцом, которого та не помнила. Объятия с женой получились неловкими. Они не виделись 17 лет. За это время произошел формальный развод (вынужденный в семьях заключенных), но для Галины Варлам оставался родным, как и она для него. Восстановление брака было делом времени. Однако отчуждение возникло сразу после того, как Шаламова повезли не домой, в Чистый переулок, — отмывать, переодевать, кормить, как полагается, — а на какую-то чужую квартиру, в гости, где ждало вовсе не нужное ему застолье. Как можно полагать, условие — не пускать Шаламова домой — поставил принципиальный «бывший чекист» («бывших» в этой профессии, как известно, не бывает) Борис Игнатьевич Гудзь, а сестра не могла препятствовать воле стар-

шего брата. Тем более что сама она после ссылки в Чарджоу потеряла права на долю в этой квартире и ютилась с дочкой в общежитии, имея лишь временную прописку.

Картина И. Репина «Не ждали» была бы слабой и сентиментальной иллюстрацией возвращения домой бывших каторжан сталинской эпохи...

Застолье в чужой квартире запомнилось Шаламову тем, что хозяйка, уже реабилитированная партийка, провозгласив тост за его возвращение, выразила надежду на то, что он «докажет государству свою революционную преданность», и при этом вспомнила, как она, «когда была лагерницей, не щадя себя, работала в портняжной мастерской на помощь фронту». Шаламов, по его воспоминаниям, не поддержал этого тоста: «Я сказал, что у меня другие мысли об обязанностях гражданских и что ночевать в доме таких лагерных работяг я не буду...» Пришлось искать другой ночлег, и через подругу жены Н. А. Кастальскую, дочь композитора и директора консерватории, нашли в консерватории пыльную комнатку «с узким ходом к дивану среди стопок книг».

Все было не так, как должны были встретиться муж с женой после долгой разлуки. Единственной радостью на следующий день, 13 ноября, была запланированная женой встреча с Б. Пастернаком. «Великое мое счастье было в том, что на вторые сутки моего появления в Москве я мог звонить у этой двери в Лаврушинском переулке, — писал Шаламов. — Я привез и отдал ему книжку стихов, синюю тетрадь, написанную еще около Оймякона, в Якутии». Была долгая беседа — не менее двух часов, если судить по обсуждавшимся темам: о Сталине, о переводах «Фауста» и «Гамлета», о Маяковском, Цветаевой и Мандельштаме, о предшествующей переписке, в которой Шаламов высказал свое суждение о роли рифмы как «поискового инструмента поэта», а Пастернаку очень понравилось это определение: «Могу сказать вам, Варлам Тихонович, что ваше определение рифмы как поискового инструмента — это пушкинское определение. Теперь любят ссылаться на авторитеты. Вот я тоже ссылаюсь — на авторитет Пушкина». «Конечно, Борис Леонидович был увлекающийся человек, и скидка тут нужна значительная, но мне было очень приятно»*, — писал Шаламов.

---

* Речь идет о мыслях, высказанных Шаламовым в письме Пастернаку из Кюбюмы 24 декабря 1952 года: «...Второй вопрос — ассонирующая рифма (неполная, к которой часто прибегал Шаламов, а это не понравилось Пастернаку. — *В. Е.*). Тут, мне кажется, Вы не правы — ибо рифма ведь не только крепь и замок стиха, не только главное орудие, ключ благозвучия. Она — и главное ее значение в этом — инструмент поисков

Эту похвалу он потом приравнивал к первой, услышанной в Бутырской тюрьме в 1937 году от А. Г. Андреева: «Вы можете сидеть в тюрьме». Обе похвалы, касавшиеся столь разных граней жизни Шаламова, составили его главную жизненную гордость. Но вторая, после освобождения, была гораздо важнее и дороже.

В конце встречи Шаламов попросил Пастернака прочесть новые стихи. И они прозвучали — те, что потом стали известны как «стихотворения к роману “Доктор Живаго”». Пастернак сказал ему: «Я хочу, чтобы вы прочли мой роман. Половина его — написана. Возьмите первую часть у Н. А. Кастальской...»

«Мы выходим на лестницу, — заключает эту часть воспоминаний Шаламов. — Борис Леонидович машет нам рукой. Сил спускаться почти нет, держусь за перила. Жена отчитывает меня: “Ты поздоровался с Б. Л. раньше, чем он поздоровался со мной. Так не полагается”.Той же ночью я уехал в Конаково...»

Жестокий Шаламов — он ничего не прощает женщинам: ни суетности, ни тщеславия, ни глупости! Жена не понимает, да и вряд ли когда сможет понять, что значила для него эта встреча с Пастернаком. (Когда-нибудь этот сюжет — об охлаждении Шаламова к жене — кто-то сможет описать более тонко и подробно, опираясь на почти на первый взгляд незаметные иронические ремарки его воспоминаний и на другой разнообразный материал, противоречащий его восхищениям женой, но мы можем коснуться его, увы, лишь бегло. Это, безусловно, драма — и не столько личная, сколько социальная, что особенно станет ясно, когда мы дойдем до отношений Шаламова со своей дочерью.)

Он срочно уехал в Конаково Калининской области, потому что в Москве и в Московской области ему была запрещена не только прописка, но и пребывание более суток. Хотя на этот случай всегда имелись исключения — при доброжелательности и определенных конспиративных усилиях родственников или знакомых. Конаково он выбрал потому, что это был более или менее цивилизованный райцентр, где Шаламов хотел устроиться фельдшером. Но это не удалось. Оказалось, что фельдшерские курсы, пройденные на Колыме, подтвержденные ста-

---

сравнений, метафор, мыслей, оборотов речи, образов — мощный магнит, который высовывается в темноте и мимо него пролетает вся вселенная, оставляя в стихотворении ничтожнейшую часть примеренного. Она — инструмент выбора, она — орудие поэтической мысли, орудие познания мира, крючок невода — стихотворения. И нет, мне кажется, надобности во имя только благозвучия отсекать заранее часть невода. Добыча будет беднее, зачем отказываться от ассонанса? Стих он держит хуже, конечно, чем полная рифма, но держит. Только бы дело не шло к увлечению рифмой, к серебрению, золочению этих крючков».

жем и справками, имеют силу только в системе Дальстроя и никакой — на материке. Об этом говорили телеграммы, посылавшиеся Шаламовым из Конакова в Магадан, пока он ждал решения своей судьбы и ночевал все это время в уже знакомой ему «гостинице» — на скамье на вокзале. После хождения по известному бывшим заключенным кругу: «для устройства на работу нужна прописка, а для прописки нужно устройство на работу» — его оформили 29 ноября 1953 года товароведом в Озерецко-Неплюевское (каково звучит! — *В. Е.*) стройуправление Ленторфотреста. Найдя, наконец, работу в Озерках, рядом со станцией Редькино Октябрьской железной дороги, он облегченно вздохнул.

Из главных для Шаламова событий этого периода стало опубликованное в «Правде» 24 декабря 1953 года постановление Специального присутствия Верховного суда СССР о расстреле Л. П. Берии, В. Н. Меркулова, В. Г. Деканозова и «других членов изменнической группы заговорщиков, действовавших в пользу иностранного капитала». Стало понятно, что в стране начинаются большие перемены — нашли пока несколько «крайних», и процесс на этом, вероятно, не остановится.

В августе 1954 года в письме А. З. Добровольскому, еще отбывавшему срок на Колыме, Шаламов сообщал: «В человеческом смысле, на службе, я был принят больше с интересом, чем с отчуждением. Общая линия смягчения и конституционности, обусловленная международными успехами, сказывается в высокоорганизованном и дисциплинированном обществе до самых глухих углов». К этому времени благодаря случайной встрече с С. И. Апенченко, знакомым еще по 1930-м годам инженером, Шаламов начал работать агентом по снабжению на Решетниковском торфопредприятии Калининского торфотреста. Оно располагалось в поселке со странным для сих мест названием Туркмен, недалеко от станции Решетниково. Именно этот поселок значился на всех его письмах этого периода — с июля 1954 года до октября 1956-го. То есть больше двух лет он прожил и проработал здесь, выезжая в среднем два раза в месяц в Москву. На оборотах различных справок в его архиве сохранились случайные записи, касающиеся снабженческой деятельности, на тему, что достать: «крюки для КРАЗ, вел. камеру» и т. д. Но два года в Туркмене, несмотря на изматывающий ритм работы снабженца, были необычайно плодотворными для его творчества. Вечером после работы он приходил в свою комнату в общежитии, где все пьянствовали. Потом, когда все засыпали, он имел возможность писать.

За период пребывания на 101-м километре, в Озерках и Туркмене, Шаламов написал примерно половину тех стихов,

которые затем вошли в «Колымские тетради». Понять, насколько высоко он стоял над бытом, над неустоявшимся временем, и насколько горячо стремился исполнить долг своей поэтической судьбы, позволяет стихотворение этого периода «Инструмент», которое осталось одним из его любимых:

До чего же примитивен
Инструмент нехитрый наш:
Десть бумаги в десять гривен,
Торопливый карандаш —

Вот и все, что людям нужно,
Чтобы выстроить любой
Замок, истинно воздушный,
Над житейскою судьбой.

Все, что Данту было надо
Для постройки тех ворот,
Что ведут к воронке ада,
Упирающейся в лед.

Стихотворение сосуществует в одном мире с лирикой того же периода — пейзажной, с приметами природы среднерусской полосы, и не оставлявшей его колымской, с грозными всполохами памяти, и с философско-исторической («Аввакум в Пустозерске»), и с неожиданным, казалось бы, экскурсом в живую тревожную современность атомного века («Атомная поэма»), — но больше всего здесь сопряжений с начатой тогда же колымской прозой. Ее «инструментом», как и «инструментом» стихов, был исключительно «торопливый карандаш», а «десть бумаги» заменяли обыкновенные школьные тетради в линейку, которые тогда стоили одну копейку. Если для записи стихов Шаламов использовал чаще толстые общие тетради, то первые «Колымские рассказы» написаны именно в тоненьких тетрадках, в каких школьники делают уроки и пишут сочинения. Это и поражает при работе с его архивом — гениальные вещи записывались отнюдь не на изысканных литературных «манжетах» или «салфетках».

Сегодня трудно установить, какое из его произведений прозы было первым после Колымы. 1954 годом датированы рассказы «Заклинатель змей», «Апостол Павел», «Ночью» и «Плотники» и «Шерри-бренди». Чуть позже появились «Одиночный замер», «Кант», «На представку», «Хлеб», «Татарский мулла и свежий воздух», «Шоковая терапия»...

Был ли у Шаламова какой-то план, список сюжетов и, главное, почему он начал писать именно короткие рассказы, а, скажем, не повесть или роман? Разумеется, важную роль играл его новеллистический опыт 1930-х годов. Но из писем

А. З. Добровольскому явствует, что Шаламов, найдя в библиотеке журналы 1930-х годов со своими рассказами, перечитал их «с крайним отвращением». Роман о Колыме? Это смешно и кощунственно. Жанр, заведомо подразумевающий вымысел, он отвергает в корне. Только рассказ, предельно — и запредельно, насколько возможно — правдивый. В идеале форма рассказа им мыслится так: «Никаких неожиданных концов, никаких фейерверков. Экономная сжатая фраза без метафор, простое, грамотное, короткое изложение действия без всяких потуг на "язык московских просвирен" и т. п. И одна-две детали, вкрапленные в рассказ, — детали, данные крупным планом. Детали новые, не показанные еще никем».

Всё это — первые подступы к первым литературным манифестам писателя о «Новой прозе». Характерно, что Шаламов думает прежде всего о форме рассказа. Вопрос содержания для него давно решен — не быт лагеря, а человек в этом страшном, неслыханном «быту». Каким он может стать, этот гордый венец творения, *homo sapiens*, в мире, где все нормальные понятия смещены? Новые психологические закономерности поведения людей, открывающиеся в лагерных условиях, — вот что самое жуткое и незабываемое. Об этом и надо писать, фиксируя саму суть — голую, неприукрашенную правду. Зачем? В назидание потомству, ради какой-то «морали»? Нет. Пусть люди просто посмотрят сами на себя и подумают, как они могут — при известных обстоятельствах, которые не застрахованы от повторения, — обходиться с себе подобными...

Рассказ «Ночью» — три странички. Двое голодных заключенных ждут ночи, чтобы незаметно выйти за территорию лагеря и выкопать из-под камней вчера захороненного мертвеца — снять с него одежду и потом обменять ее на хлеб и немного табаку. Они и делают это — не спеша, все заранее рассчитав и боясь лишь охранников. Оба довольны. Для сочувствия мертвецу хватает только фразы: «Молодой совсем». И над всей этой картиной стоит вечная, как мир, луна...

Это — маленький колымский этюд, одно из стеклышек к неизвестной еще мозаике. Таков же рассказ «Одиночный замер», где обессилевшему заключенному Дугаеву, не выполняющему норм в бригаде, предлагают «исправиться» — выполнить норму в одиночку. В итоге, грузя и таская тачку целый день, он выполняет свой план всего на 25 процентов. Солдаты ведут его «за конбазу, откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов» — место расстрела. Заключительная фраза рассказа суха и оттого еще более трагична: «Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний день...»

Рассказ «Заклинатель змей», как и «На представку», — о другой, столь же неотвратимо гибельной стороне Колымы — о всесилии блатарей. Интеллигент по фамилии Платонов («говорящая» фамилия — Платон, идеалист, философ) вынужден за миску супа «тискать романы», то есть пересказывать разные занимательные литературные истории хозяину барака блатарей — тупому и злобному пахану. Ниже этой степени унижения для интеллигента может быть только чесание пяток у того же пахана. Платонов утешается тем, что стал «заклинателем змей». Автор не осуждает его, он говорит: «Голодному человеку можно простить многое, очень многое». В рассказе «На представку» блатари играют в карты — когда нет денег, в долг, на представленные вещи. Если своих вещей не оказывается, можно снять с любого «фраера». Свой свитер герой рассказа Гаркунов отказался снимать категорически — «только с кожей». Его тут же убили, пырнули ножом, и свитер пошел «на представку»...

Последний рассказ потрясает тем, что на фоне столь жуткой истории Шаламов «играет» в литературные аллюзии — и не с кем-нибудь, а с Пушкиным. Первая фраза этого рассказа: «Играли в карты у коногона Наумова» — является почти буквальным воспроизведением знаменитого зачина пушкинской «Пиковой дамы»: «Играли в карты у конногвардейца Нарумова». Все исследователи, в том числе пушкинисты, которые занимались этой проблемой, говорят о «неслучайности» появления подобной реминисценции в рассказе Шаламова. Но как она родилась — никто и никогда, наверное, точно объяснить не сможет. То ли пушкинская строка давно, с юности, запомнилась Шаламову, то ли он перечитывал «Пиковую даму» совсем недавно в Туркмене. Легче всего, наверное, полагаться на вторую версию — ведь Шаламов открыл там, в этом глухом торфяном поселке, замечательную библиотеку. Ее составлял еще в 1930-е годы ссыльный главный инженер по фамилии Кареев, и она называлась «кареевской». Инженер сам отбирал книги, ездил за ними в Москву и приучил к строгому отбору библиотекарей. Никакого «принудительного ассортимента» вроде М. Бубеннова или С. Бабаевского — только классика. Шаламов писал, что эта библиотека «воскресила меня духовно, вооружила — сколько могла», и факт этот чрезвычайно важен в его биографии. А поскольку в этом же контексте в его воспоминаниях звучат слова: «Мы становимся взрослыми, признавая несравненное величие Пушкина», — вполне вероятно, что первое его настоящее открытие Пушкина произошло именно после Колымы, там, в Туркмене, когда ему было уже за сорок пять. И с тех пор он остался твердым приверженцем — как он не раз подчеркивал — «пушкинского

знамени» (другое «знамя», в его представлении, символизировала традиция Л. Толстого и русской гуманистической литературы второй половины XIX века). Так что «играли в карты у коногона Наумова» можно считать тайной дружеской перекличкой с Пушкиным — подобием блоковского: «...Дай нам руку в непогоду, / Помоги в немой борьбе...»

Общий план у рассказов о Колыме, безусловно, существовал. В письме А. З. Добровольскому от 12 марта 1955 года Шаламов писал: «У меня соберется сейчас 700—800 стихотворений и с десяток рассказов, *которых по задуманной архитектуре нужно сто* (курсив мой. — *В. Е.*)». Сотня рассказов подразумевала какую-то внутреннюю композицию, циклы, сборники, но об этом Шаламов пока не думал. Важнее было просто запечатлеть то, что еще так свежо в памяти, — сначала ближайшее, а затем и отложившееся глубже в мозгу и в костях, над чем еще надо много размышлять. Но самое важное — не рассчитывать на какую-то скорую публикацию, писать, как пишется, и не иметь даже в подсознании образа какого-то редактора, цензора. Еще в письме Пастернаку от 22 июня 1954 года он решительно заявлял: «Вопрос “печататься — не печататься” — для меня вопрос важный, но отнюдь не первостепенный. Есть ряд моральных барьеров, которые перешагнуть я не могу».

Таким образом складывалась четкая и определенная литературная стратегия Шаламова. Впрочем, ее точнее будет назвать — «внелитературная». Да и уместно ли тут слово «стратегия» — скорее просто принципы, а именно принципы независимости от текущих общественных настроений, от колебаний власти, от того, кто и как подумает о том, что он пишет в своих тетрадях. В любом случае, эти тетради приходилось прятать подальше от чужих глаз.

Тем временем Шаламов начал бороться за свою реабилитацию. Это была буквально борьба с неизвестностью, ведь до XX съезда было еще далеко, и будет ли такое политическое событие, никто не знал. Но реабилитация понемногу начиналась, и все близкие, окружающие подсказывали одно: «Надо писать жалобы наверх, в Генеральную прокуратуру, там должны разобраться».

Сохранился уникальный документ — *черновик* заявления Шаламова на имя генерального прокурора СССР Р. А. Руденко. Датировать его можно примерно серединой мая 1955 года, потому что окончательный, более сжатый вариант заявления был отправлен 18 мая. Черновики официальных документов не имеют никакой юридической силы, но в истории они имеют подчас огромное значение, ибо могут ярче всего раскрыть

личность человека в его порыве перешагнуть через мертвую форму заявления и высказать все, что горит в глубине его души. Именно этот порыв запечатлен в шаламовском документе, который имеет заголовок «жалоба», а на самом деле является обвинительным актом против беззакония. Причем этот акт состоит из двух частей.

«I.

В первых числах июля 1937 г. Особым совещанием при НКВД я был осужден на 5 лет ИТЛагерей с отбыванием срока на Колыме по т.н. литерной статье "КРТД".

Никаких материалов, дающих основание к такому приговору, у следствия не было, в чем можно убедиться, перечтя протоколы допросов. Никаких порочащих меня показаний, очных ставок и т. д. за время 5 месяцев следствия также не было и быть не могло.

Единственной возможной, по моему разумению, причиной было мое собственное заявление, поданное в СПО НКВД в сентябре 1936 г. и касавшееся моих связей с троцкистами из бывших комсомольцев в 1928 г. За это я был осужден к 3 годам лагерей и отбывал это наказание на Сев. Урале (Вишерские лагеря) и был освобожден досрочно в октябре 1931 г. по приказу т. Менжинского с правом проживания по всему СССР и восстановлен во всех правах.

Тогда я вернулся в Москву (в 1932 г.) и работал там в редакциях журналов и газет (в 1935—1936 — "За промышленные кадры" НКТП). Во время троцкистских процессов 1936 г. по совету друзей и родственников я подал упомянутое выше заявление в сентябре 1936 г. СПО НКВД, а 12 января 1937 г. был арестован.

Почти все протоколы допросов представляют собою простую переписку на допросные бланки следователем Ботвиным моего заявления, которое он держал в руках, моего собственного заявления, сделанного с полным доверием, за которое 10 лет тому назад я получил и отбыл наказание и был реабилитирован, и прибавить к которому за все время моей жизни и работы в Москве следствие не могло ни одного факта, порочащего меня.

Прошу о пересмотре приговора Особого совещания, вынесенного мне в июне 1937 г. и о полной моей реабилитации.

II.

Случайно пережив известные («всему миру массовые» — зачеркнуто. — *В. Е.*) колымские убийства 1938 года («трагические события» — вставка сверху. — *В. Е.*), когда за 7 мес. с января по август было истреблено (расстреляно, заморожено, за-

морено голодом, забито прикладами, погибло от цинги, дизентерии или умерщвлено каким-либо другим способом) свыше 400 000 (четырехсот тысяч) ни в чем не повинных людей (т. е. более всего количества убитых в Англии за всю вторую мировую войну, не считая десятков тысяч инвалидов и больных, погибших позже).

Сейчас стало известно (и это признано открыто печатью), что эти убийства осуществлялись в результате преступных действий («одного из членов правительства» — зачеркнуто. — *В. Е.*), ныне расстрелянного Берии.

<...>Трижды доходя до полного физического истощения. Срок кончался в 1942 году, но освобожден я не был "из-за войны", как и все осужденные по литерным статьям.

(Далее фрагменты о деле 1943 года. — *В. Е.*)

В течение моего следствия (месяц) я содержался по распоряжению следователя Федорова в ледяном карцере, где получал 300 гр. хлеба и литр воды в сутки.

Материал следствия был совершенно фантастическим.

Я неоднократно пытался обжаловать приговор, но никаких ответов не получал. Однако, и сейчас, в твердой уверенности в том, что все-таки есть правда, в полном доверии к Вам, т. Руденко, я прошу все эти по существу две жалобы и обе их удовлетворить, отменив оба приговора как несправедливые, вызванные злой волей. Вовсе невинный человек, я пробыл в заключении на Дальнем Севере 17 лет»*.

Этот текст «жалобы» никуда не ушел, Шаламов его переписал, убрав всю вторую часть и сжав первую. Но маленький комментарий здесь все же необходим — не по отношению к частным фактам, подробности которых нам известны из предыдущих глав, а по отношению к тем страшным и грозным обобщениям, которые касались Колымы. Приводимые Шаламовым цифры погибших на Колыме только в 1938 году, как и сравнение их с цифрами убитых в Англии во Вторую мировую войну, принадлежат к той области закономерной психологической гиперболизации, которая была свойственна всем бывшим заключенным. На самом деле эти цифры были значительно ниже, и не вина Шаламова, что он их не знал и, в сущности, не мог знать — ни в 1955 году, ни 20 лет спустя. Никто бы не смог ему доказать, что смертей было меньше, если он видел их на каждом шагу. Откуда взялись эти цифры — особый вопрос, но в черновике-жалобе генеральному прокурору они звучат не натяжкой, не утверждением достоверного факта, а олицетворением тех представлений, которые сложились у всех заключен-

* РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Д. 368. Л. 30—34.

ных Колымы. Эти представления он и желал довести до высшей власти, чтобы она содрогнулась от содеянного во времена Сталина (Берия тут, разумеется, упомянут ради проформы)...

Остыв через день-два и перечитав свой черновик, он убрал все, как говорят юристы, «не относящееся к существу дела». В архиве сохранился короткий ответ из Генеральной прокуратуры на его заявление: «Ваша жалоба от 18 мая направлена для проверки и для разрешения по существу. 21 июля 1955 г.».

Он понимал, что ждать придется долго. И даже грянувший, как гром, — в феврале 1956 года — XX съезд КПСС с секретным докладом Н. С. Хрущева, который моментально стал известен всем, кому нужно, — бывшим заключенным, не прибавил ему надежд на быстрое решение его сугубо индивидуального вопроса. Но к исходу лета 1956 года, ничего не дождавшись, он начал беспокоиться и снова обратился в Генеральную прокуратуру к Руденко:

«Год и два месяца назад, 18 мая 1955 г., подана мной на Ваше имя жалоба с просьбой о реабилитации моей. До сих пор я не имею ответа по существу ее.

Я понимаю, что существует очередность и что год в конце концов срок небольшой. Но при моем здоровье и в моем возрасте время бежит по другим часам, и 14 месяцев (как я подал жалобу) — большое время.

Нельзя ли ускорить пересмотр моего дела, по которому я вовсе невинным человеком пробыл в колымских лагерях 17 лет.

Подпись. 18 июля 1956 г. ».

Все это время, находясь в Туркмене, он напряженно работал — писал стихи и рассказы. Но о неповоротливости судебной машины думать не переставал. Знал, что ее надо тормошить, подстегивать. Даже какая-то секретарша может что-то перепутать. А столоначальники могут просто задвинуть жалобу подальше, туда, где буква «Ш». В итоге его повторное усилие оказалось не напрасным — 16 августа он получил ответ из Генеральной прокуратуры: «Ваше дело направлено с протестом в Верховный суд СССР».

На самом деле машина при Хрущеве работала беспрестанно и почти без сбоев. Чудесный случай — именно 18 июля 1956 года, когда Шаламов послал свое второе заявление, Военная коллегия Верховного суда СССР рассматривала его заявление и вынесла свое определение № 4н-04762/56: «...Соглашаясь с протестом и не усматривая в действиях Шаламова состава преступления, Военная коллегия определила: приговор военного трибунала б/НКВД при «Дальстрое» от 23 июня 1943 г. и постановление Особого совещания НКВД СССР от 2 июня 1937 г. в

отношении Шаламова Варлама Тихоновича отменить и оба дела о нем на основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР производством прекратить. Председательствующий Костромин, члены Конов, Фуфаев».

Справку о реабилитации — «дело прекращено за отсутствием состава преступления» — Шаламов получил 3 сентября 1956 года в управлении КГБ Калининской области, о чем в архиве имеется его расписка.

Своих чувств в связи с этим событием Шаламов нигде не описал. В его воспоминаниях есть только строки из письма его колымского друга-врача Ф. Е. Лоскутова: «Берегите справку. Сразу же снимите с нее десять, сто копий и только тогда выходите на улицу».

Так ли сделал Шаламов, мы не знаем. Другой его знакомый — А. С. Яроцкий, получив еще раньше, на Колыме, справку об освобождении, почти всю дорогу к своему бараку бежал и повторял на ходу строку из баллады А. К. Толстого «Василий Шибанов»: «...И князь доскакал!» Напомним, что это была любимая баллада Шаламова, которую он знал наизусть. «Доскакал» и он сам. Но к литературным примерам он вряд ли прибегал. И другой образ из воспоминаний Яроцкого: «Я, как пес, оборвавший цепь, бежал, задыхаясь от счастья...» — здесь тоже не подойдет. Шаламов не бежал — он не спеша, в раздумье, шел из конторы калининской госбезопасности. Задыхаться от счастья было не в его характере. Главное, он понимал, что цепь не оборвана, что впереди еще множество испытаний, но, несмотря ни на что, надо написать обо всем, что не может быть никогда прощено.

Глава двенадцатая

МЕЖДУ ПАСТЕРНАКОМ И ЖЕНЩИНАМИ

Жизнь на 101-м километре, до реабилитации, поставила перед Шаламовым две основные проблемы: как жить и как писать? От первой, семейно-бытовой, во многом зависело решение второй, то есть всех литературных замыслов. Во время поездок в Москву он старался прежде всего получить как можно больше определенности в отношениях с женой. Но этой определенности не возникало: было очевидно, что Галина Игнатьевна сильнее всего озабочена судьбой дочери. Когда жена в истерике кричала: «У меня дочь, дочь!» — мужу приходилось закрывать уши и отходить в сторону. Ему ясно давали понять, что он является помехой воспитания дочери, а следовательно, — помехой жизни. Какая мужская гордость это вынесет?

Когда жена решилась, наконец, показать Варламу Елену, ему сразу стало понятно, что барьер семнадцатилетней разлуки непреодолим. Тем более что для общения отводились какие-то минуты прогулок во дворе. Елена была очень занята, она, окончив школу с золотой медалью, училась в инженерно-строительном институте, была убежденной комсомолкой — сугубо «правильного» воспитания сталинской эпохи, к чему приложила силы и Г. И. Гудзь, желавшая, чтобы дочь не имела в жизни неприятностей. Об этом ярче всего говорит уверенность Елены в том, что *«сажали не зря»* (воспроизвожу фразу из рассказа свояченицы Шаламова, жены сына М. И. Гудзь, С. И. Злобиной, жившей в квартире в Чистом переулке, — она хорошо знала Елену). Отцу такие фразы дочь, наверное, не решалась говорить, но отчуждение скрыть было трудно.

Сохранились два письма из переписки Шаламова с дочерью. В первом он — явно запоздало и наивно, в день ее девятнадцатилетия, 13 апреля 1954 года, — пытался внушить Елене «простые жизненные истины». Парадокс в том, что сам он считал, что эти истины всегда рождаются «у камелька», то есть у домашнего очага, у ног родителей (как было с ним самим), а тут — сознавая, что сам он в данном случае «у камелька» отсутствовал — старался проговорить почти взрослой дочери, и на самом серьезном уровне! — все важное, что он вынес из своего жизненного опыта. Эта серьезность чрезвычайно напоминала дидактические методы его отца-священника, от которых он сам в детстве всячески бежал, но Шаламов считал, что выполняет свою важнейшую родительскую миссию.

Что могла уяснить Елена из таких слов отца: «...Желаю хорошо подумать над тем, при каких условиях люди становятся людьми и что делает человека человеком, ибо без этого "что" жить, конечно, можно, но эта жизнь должна изучаться по Брему»? То, что отец имеет в виду «Жизнь животных» Брема, Елена, конечно, хорошо понимала, но в принципе такие нотации ей были мало близки. Так же, как и призывы отца подумать над высшим смыслом жизни: «Ради чего живут, а главное, ради чего умирают лучшие люди человечества, у которых ведь иные масштабы, чем у нас, иное понимание несчастья и счастья», как его пожелания, чтобы она «нашла время для чтения книг настоящих, которых немало», и его слова о том, что «никакие технические справочники еще не делают человека интеллигентным, в настоящем смысле слова».

Ответа на это письмо нет, и можно понять почему. Елена всегда писала в своих школьных, студенческих и комсомольских анкетах об отце — «умер» (так было принято, и в этом ее винить нельзя). То, что он оказался жив, ее не могло не радо-

вать, но никакого душевного контакта не возникало — это не «папочка», который всегда рядом и может чем-то помочь, а нищий, убого одетый чужой «дядя», свалившийся откуда-то с небес, доставляющий маме столько хлопот и при этом пытающийся всех «перевоспитывать». Попытки отца смягчить отношения какими-то мелкими подарками — чашкой, тапочками (на модельные туфли он был, конечно, не способен), ничего не меняли. В письме А. З. Добровольскому от 13 августа 1954 года Шаламов вынужден признать, что дочь оказалась «крепким орешком» и «нельзя не сказать, чтобы я не поломал зубов при этой операции». Еще более печально его признание в письме от 12 марта 1955 года, где он вспоминает поговорку: «У родителей есть дети, но у детей нет родителей...»

О Галине Игнатьевне он не смеет ни говорить, ни писать ничего предосудительного. В том же письме Добровольскому он возглашает настоящий панегирик жене: «Я ведь имею смелость считать подвиг моей жены не ниже деяний русских героинь 20-х годов прошлого столетия», то есть декабристок, имея в виду, что все годы разлуки «она сражалась с жизнью одна». Но добавляет многозначительно: «То, что было ее гордостью, могло и не быть гордостью для меня».

Обмен письмами с женой, компенсировавший недоговоренности при редких встречах, показывает явные несоответствия их характеров и жизненных устремлений. Галина Игнатьевна радуется, что стихи Варлама произвели сильное впечатление на Пастернака, она плещется от счастья в роли посредницы между мужем и великим поэтом, имея возможность первой читать их переписку (которая шла через нее), она безумно рада, что благодаря этому случаю получила возможность стать одной из первых читательниц романа «Доктор Живаго», но при этом — никак не приветствует литературную перспективу самого Шаламова! Лейтмотивом ее сохранившихся писем 1954—1956 годов является быт — здоровье свое и близких, какие-то покупки, лекарства, жалобы, но никак не забота о муже, который — скорее в силу инерции — именуется ласковыми домашними прозвищами «Варламка», «Вумка» и т. д. Галина была и осталась любящей, сострадательной женщиной, но ничего большего мужу она, увы, дать не могла. Самым удручающим был диалог накануне расставания, зафиксированный в его воспоминаниях: «Дай мне слово, что ты оставишь Леночку в покое, не будешь разрушать ее идеалы. Она воспитана лично мною, подчеркиваю это слово, в казенных традициях, и никакого другого пути я для нее не хочу. — Еще бы — такое обязательство я дам и выполню его. Что еще? — Но не это главное, самое главное — тебе надо забыть всё. — Что всё? — Ну, вернуться к нормальной жизни...»

Что такое «забыть всё» и что такое «нормальная жизнь», Шаламов плохо понимал. 28 августа 1956 года он пишет Г. И. Гудзь последнее письмо: «Галина. Думаю, что нам ни к чему жить вместе. Три последних года ясно показали нам обоим, что пути наши слишком разошлись и на их сближение нет никаких надежд. Я не хочу винить тебя ни в чем — ты, по своему пониманию, стремишься, вероятно, к хорошему. Но это хорошее — дурное для меня. (Это я чувствовал с первого часа нашей встречи. — зачеркнуто автором. — *В. Е.*)... Лене я не пишу отдельно — за три года я не имел возможности поговорить с ней по душам. Поэтому и сейчас мне нечего ей сказать».

Этой драме сопутствовал эпилог — письмо дочери, написанное тогда же — видимо, под неизбежные рыдания матери, но уже более рассудительной девушкой двадцати трех лет, вышедшей замуж, сменившей фамилию на Янушевскую и успевшей по-женски все узнать: что отец нашел другую женщину (с ребенком) и женился на ней. Главное обвинение в адрес отца убийственное — «бесчувственность». Оно продиктовано тем, что отец, по ее мнению, никак не отплатил матери за все ее жертвы, но более всего она задета тем, что он не посылал ни телеграмм, ни открыток ни маме, ни ей самой, ни другим родственникам к праздникам и дням рождения. («Неужели к Новому году вы не могли послать телеграмму по сниженному тарифу людям, которые этого заслужили по отношению к вам?..»)

Несовместимость миров — и житейского, и высокого, которым жил Шаламов, здесь слишком уж очевидна, а охлаждение и его причины — слишком понятны. Напомним, что письмо дочери относится к августу 1956 года, кануну реабилитации Шаламова. Важнее всего тот факт, что разрыв был полным и окончательным. Никогда больше Шаламов ни с первой женой, ни с дочерью не общался — ни письмами, ни телеграммами, ни звонками, а дочь считала, что ***отца у нее больше нет*** — она вычеркнула его из своей жизни, никогда, ни в 1960-е, ни позже не отвечала на телефонные звонки, касавшиеся вопросов о нем. Никакого интереса к его судьбе и творчеству в ее жизни (она умерла в 1990 году) не обнаружено. Какие-либо комментарии к этой трагической семейной истории, пожалуй, не нужны. Единственное, что можно сказать: Елена Варламовна в своей непреклонности идти на разрыв до конца во многом унаследовала отцовский характер...

Неоправдавшиеся надежды на восстановление семьи, казалось, вынуждали Шаламова вернуться к старой, проверенной тюремной истине: «Одиночество — оптимальное состояние человека». Но в первый период после Колымы он страстно и неудержимо стремится к общению, к открытию и познанию того

мира, от которого был отделен почти 20 лет. Поездки из Решетникова в Москву, а также один раз в Ленинград (в марте 1955 года) были связаны прежде всего с жаждой узнать, как изменился и меняется мир. Время для поездок копилось таким образом, чтобы за счет экономии одного выходного дня выкроить сразу два, то есть ехать с ночлегом, где самое ценное — вечер с беседами допоздна. Причем круг участников этих бесед в Москве представляли, как правило, женщины и, как правило, либо родственницы, либо знакомые Г. И. Гудзь: ее сестра Мария Игнатьевна, свояченица Светлана, упомянутая Н. А. Кастальская, художницы Л. М. Бродская, Т. Н. Лебедева и др. Здесь были неизменный чай, тепло, внимание, стихи. Переписка с этими чуткими и весьма образованными москвичками с их стороны полна восхищенными отзывами о его стихах, близкими ему размышлениями об искусстве и литературе — очевидно, что в этом кругу его больше понимали, нежели в узкосемейном.

С Борисом Пастернаком он встречался гораздо реже — из чувства деликатности, не мешая его работе, но вел интенсивную и необычайно содержательную философскую переписку. Судя по письму от 22 мая 1955 года, после первой встречи (13 ноября 1953 года) они не виделись почти полтора года. Следующая их беседа состоялась только 24 июня 1956 года — в квартире Пастернака в Лаврушинском переулке. То есть в итоге встреч было фактически две, не считая возможных пересечений во время приездов Шаламова летом 1956 года в Измалково, что рядом с Переделкином, где жили О. В. Ивинская и ее дочь Ирина. Ситуация лишний раз показывает, насколько трепетно относился Шаламов к своему кумиру, не желая его чем-либо беспокоить, и насколько драгоценным для него было короткое время личного общения, почти каждое мгновение которого он потом описал в воспоминаниях.

После первой встречи, буквально за несколько дней (до 20 декабря 1953 года), еще в Озерках, Шаламов прочел переданную ему первую часть романа «Доктор Живаго». Прочел очень внимательно, сделав комментарии и замечания по страницам и подчеркнув главные достоинства романа — его «думающих героев» (которых, по его мнению, нет в современной литературе, как и нет «думающих авторов») и первое в советской литературе напоминание о христианских ценностях.

С его точки зрения, именно христианские мотивы романа и раскрывающие их сцены и образы являлись наиболее сильными, «соответствующими литературе Толстого, Чехова и Достоевского». «Как можно написать роман о прошлом без выяснения своего отношения к Христу? Ведь такому будет стыдно

перед простой бабой, идущей ко всенощной, которую он не видит, не хочет видеть и заставляет себя думать, что христианства нет, — писал Шаламов в своем разборе романа. — Я читывал когда-то тексты литургий, тексты пасхальных служб, богослужений Страстной недели и поражался силе, глубине, художественности их — великому демократизму этой алгебры души. А в корнях своих она имела Евангелие, из него росла, на него опиралась».

Шаламов нигде не подчеркивал, что он — сын священника, что, казалось бы, сразу давало ему «пропуск в рай», в самый близкий круг новообращенных христиан, коим был Борис Пастернак. По деталям письма его адресат мог лишь догадаться, в какой среде вырос его корреспондент-лагерник. Еще более значимыми для автора «Живаго» в его убежденности в неискоренимой в своих высотах христианской природе России могли быть свидетельства Шаламова о том, насколько глубоко сохранялась тяга к высшим силам у верующих людей на Колыме: как он видел «богослужения без риз и епитрахилей, на память, среди пятисотлетних лиственниц, с наугад рассчитанным востоком для алтаря, с черными белками, пугливо глядящими с ветвей на таежное богослужение»...

Одобрение этой линии романа и своеобразная перекличка с ней составили основу рассказа Шаламова «Выходной день» (1959), а также отразились в рассказе «Апостол Павел» и некоторых других новеллах колымского цикла. Но и рассказ «Выходной день», где герой священник Замятин, после молитвы на коленях на лесной поляне, с теми же пугливыми белками, глядящими на него, волей-неволей перемещается в совсем не христианский мир — он вынужден ради утоления голода поедать сваренного блатарями щенка, говоря: «Мерзавцы, конечно, но мясо было вкусное, не хуже баранины» — этот рассказ в самой жестокой форме олицетворяет никогда не устранимую для Шаламова коллизию между святым и грешным, между духовным и плотским, отчетливо обнажаемую именно лагерем. А рассказ «Необращенный» (1959) ставит еще более очевидную демаркационную линию между художественно-философскими мирами Шаламова и Пастернака. При всем уважении к религиозным чувствам людей, к Евангелию как воплощению нравственной сущности христианства, и понимании поэзии как святого, жертвенного подвига, близкого религии («Задача поэзии — это нравственное совершенствование человека — та самая задача, которая стоит в программе всех социальных учений, спокон веков лежит в основе всех наук и всех религий... Тем более что негативный нравственный результат начала работы по улучшению человеческой породы с улучшения мате-

риальных условий без предварительного внедрения общечеловеческой морали — очевиден»), — Шаламов остается чужд идее универсализма религии, ее способности привести мир к гармонии.

В диалоге двух художников лишь поначалу ощутимы своего рода подчиненно-иерархические отношения ученика и учителя, младшего и старшего, но по мере сближения эти грани стираются и Шаламов как представитель неведомого Пастернаку лагерного мира и как чудесным образом родившийся и сохранивший себя поэт приобретает в его глазах все более высокое значение. Оно особенно проявилось, когда Шаламов при встрече в Москве в ноябре 1953 года передал Пастернаку новые свои стихи, так называемую «синюю тетрадку». Пастернак был восхищен ими и даже давал читать многим знакомым, и все они высказывали весьма одобрительные отзывы. Поэт сделал, в конце концов, поразительное по своему великодушию признание: «Я никогда не верну Вам синей тетрадки. Это настоящие стихи сильного, самобытного поэта. Что Вам надо от этого документа? Пусть лежит у меня рядом со вторым томиком алконостовского Блока. Нет-нет и загляну в нее. Этих вещей на свете так мало»*.

Своей прозы, первых колымских рассказов, Шаламов Пастернаку не показывал, говоря лишь, что они «достаются ему с большим трудом — там ведь ход совсем другой». Он не стремится афишировать свой пока еще десяток рассказов, но, делая замечания к «Доктору Живаго», уже опирается на опыт собственных размышлений о выборе жанра для отражения реалий XX века — о достоинствах и слабостях романа, о преимуществах рассказа и любого рода невыдуманной, документальной литературы. Он уже сложился как абсолютно самостоятельный писатель со своим взглядом на вещи, и закономерно, что его разбор второй части «Доктора Живаго», сделанный в письме от 8 января 1956 года из Туркмена, гораздо строже. Судьбу главного героя романа он хотел видеть другой: «Мне думалось, что вот интеллигент, брошенный в водоворот жизни революционной России с ее азиатскими акцентами, водоворот, который, как показывает время, страшен не тем, что это — за-

* «Синяя тетрадь» в итоге представила первый сборник стихов Шаламова, составленный им самим и послуживший началом его «Колымских тетрадей», куда вошли также сборники «Сумка почтальона», «Лично и доверительно», «Златые горы», «Кипрей», «Высокие широты» (хронологически все они объединены автором периодом 1937—1956 годов). В изданиях сборников стихов Шаламова 1960—1970-х годов авторская композиция была нарушена, допускались и многочисленные цензурные изъятия. Впервые «Колымские тетради» в полном объеме и с восстановленным комментарием автора были напечатаны в 1994 году в издательстве «Версты».

топляющее половодье, а тем растлевающим злом, которое он оставляет за собой на десятилетия. Доктор Живаго будет медленно и естественно раздавлен, умерщвлен где-то на каторге...»

Такой конец главного героя, по мнению Шаламова, был бы более историчным (реалистичным), как и конец главной героини Лары. Он, разумеется, понимал, что роман «Доктор Живаго» — это, в сущности, и по замыслу — не реализм, а попытка применить романтический, модернистский, сугубо поэтический метод в отражении революции и ее последствий, но его собственная душа была настолько переполнена другими, неведомыми Пастернаку реальностями, что он не был способен принять роман в самой его сути, отвлекаясь от великолепно выписанных характеров, подробностей старомосковского интеллигентного быта и чисто поэтических деталей-находок, которые он постоянно отмечает. О том, что Пастернак скован, кроме прочего, цензурными условиями, он предпочитает не упоминать, он видит абсолютную искренность автора и чрезвычайно ценит ее, но его собственный опыт, а самое главное — сложившаяся у него философско-художественная концепция истории XX века принуждают его к постоянному критицизму. Он не приемлет «книжность» и «лубочность» изображения народных характеров в романе (в чем, по его мнению, проявляется толстовская традиция), он видит глубокую отдаленность Пастернака от мира реальной жестокости, которую представляло сталинское государство и которую олицетворял, как правило, «народ», мужчины (поэтому и отмечает: «Женщины вам удаются лучше мужчин»), а для доказательства этого тезиса приводит «случайную картинку» из увиденного на Колыме: о том, как женщину «имеют» за мерзлую пайку, а также целую серию других «случайных картинок» — про конский ворот, напоминающий Египет, про то, как «при желтом свете огромных бензиновых фонарей читают списки расстрелянных за невыполнение норм», и многое другое.

Еще в первом письме он предостерегает Пастернака от попыток нового «народничества» и расчета на «широкого читателя»: «Дело в том, что поэт чувствует себя как бы в кольце охраны... Даже в ближних к конвою рядах этой толпы могут быть люди, которые как бы и народ, но которые вовсе не народ, а только подголоски конвоя».

Можно говорить, что Шаламов занимался «просвещением» Пастернака относительно того, что тот не знал и не мог знать. Он выступал теперь не в роли ученика, а своего рода учителя и имел на то полное моральное право. Разумеется, его замечания и «случайные картинки» не могли нарушить уже сложившегося строя романа «Доктор Живаго», но Шаламов на это и не рас-

считывал. Он по-прежнему глубочайшим образом уважал Пастернака как поэта, роман его считал огромным прорывом в советском искусстве, а самое главное — видел в Пастернаке непререкаемый нравственный авторитет эпохи. Об этом — его последнее письмо поэту от 12 августа 1956 года:

«Я боготворю Вас, именно Вы — совесть нашей эпохи... Несмотря на всю низость и трусость писательского мира, на забвение всего, что составляет гордое и высокое имя русского писателя, на измельчание, на духовную нищету всех этих людей, которые по удивительному и страшному капризу судеб, продолжая называться русскими писателями, путая молодежь, для которой даже выстрелы самоубийц (имеется в виду самоубийство А. Фадеева. — *В. Е.*) не пробивают отверстий в этой глухой стене — жизнь в глубинах своих, в своих подземных течениях осталась и всегда будет прежней — с жаждой настоящей правды, тоскующей о правде, жизнь, которая, несмотря ни на что — имеет же право на настоящее искусство, на настоящих писателей... Здесь решение вопроса о чести России».

Заключительные строки письма: «Да благословит Вас бог. Это великое сражение будет Вами выиграно, вне всякого сомнения» — свидетельствуют, что речь идет о надеждах Шаламова на победу Пастернака в начавшейся борьбе за публикацию романа «Доктор Живаго».

Вся патетика последнего письма обусловлена не только безграничным пиететом Шаламова перед Пастернаком, но и особыми обстоятельствами весны—лета 1956 года, которые вынуждали их к расставанию.

В этот период Шаламов сближается с О. В. Ивинской — своей давней знакомой еще с 1930-х годов, вовсе не подозревая, что она является возлюбленной Пастернака. Редко бывая в Москве и, по обычаю, не слушая сплетен, он воспринимает Ольгу Всеволодовну как чудесную жизненную находку и надежду, как прекрасную женщину-сказку, явившуюся ему словно из небытия, 20 лет спустя после завязавшегося когда-то романа. Они работали вместе короткое время в 1934 году в журнале «За овладение техникой» («ЗОТ»), и тогда же, еще до женитьбы на Г. И. Гудзь, Шаламов был сильно увлечен этой 22-летней обаятельной красавицей блондинкой. О степени их тогдашней близости говорит то, что Шаламов был вхож в дом О. В. Ивинской, знал ее маму Марию Николаевну (которую называл красавицей, как и Ольгу), навсегда запомнил раннюю весну 1934 года, когда они вместе с Ольгой ходили искать ему комнату, а она была в шубке с заячьим воротником (эти детали он с нескрываемой нежностью вспоминает в письме к Ивинской от 24 мая 1956 года).

Сама О. В. Ивинская в своих воспоминаниях «В плену у времени» нигде не упоминает об этом своем романе с Шаламовым — ни о ранней его фазе, ни о поздней. Причины умолчания понятны: какой женщине хочется раскрывать свои тайные вспышки чувств, возникающие спонтанно и, увы, параллельно с более важными, представляющими смысл женского бытия и связанными с поклонением и верностью одному-единственному мужчине. Было бы непростительным ханжеством отказывать любой женщине, а тем более О. В. Ивинской, попавшей из-за знакомства с Б. Пастернаком в 1949 году в лагерь и испытавшей все его унижения и тлетворное влияние, в праве на подобные вспышки. Но все же роль Шаламова в ее жизни и жизни Б. Пастернака весной 1956 года оказалась слишком уж двусмысленной. То, что впервые открылось в воспоминаниях ее дочери Ирины Емельяновой — с приведением писем Шаламова Ольге Всеволодовне (а затем и с дополнением их в издании писем Шаламова)*, — представляет с ее стороны крайне жестокую и легкомысленную игру. Ведь Шаламов абсолютно не знал об отношениях Ивинской с Пастернаком, тем более об их интимном характере, и собственные его надежды на возобновление романтических отношений с этой женщиной выглядят наивными, которые вроде бы не должны быть свойственны 49-летнему человеку, прошедшему лагерь. Но именно долгий отрыв от обычной жизни породил этот всплеск. Их отношения возобновились — не только благодаря напору и мужественному обаянию Шаламова, который весной 1956 года начал проявлять особую заботу о своей внешности, одежде и т. д. (что хорошо видно на его фотопортрете того периода с набриолиненным пробором), — но и благодаря чисто женской слабости и жалости Ольги Всеволодовны. Слабость ее при виде сильных мужчин подчас не знала никаких преград, но в данном случае, по-видимому, преобладала жалость, и никто ее в этом вспыхнувшем вновь чувстве к Шаламову — тому самому, из забытых лет, вернувшемуся, живому, так же беззаветно любящему ее светлый образ, — не мог бы упрекнуть, если бы она не являлась музой и богиней человека, который писал Шаламову: «Мой дорогой друг...»

Ирина Емельянова вспоминает появление Шаламова в их квартире в Потаповском переулке: «В мокром брезентовом дождевике с грубым тяжелым рюкзаком, который не знает, куда пристроить в маленькой передней, гость с первого взгляда,

---

* *Емельянова И.* Легенды Потаповского переулка. М., 1997; *Шаламов В.* Собрание сочинений: В 6 т. М., 2006. Т. 6. С. 211—223. См. также: *Сиротинская И.* Мой друг Варлам Шаламов. М., 2006. С. 158—160.

шага, слова, рукопожатия опрокидывает представление, сложившееся в полудетской голове. Мощен, могуч, напорист и совсем молод. Шахтер, каменотес, лесоруб, джек-лондоновский золотоискатель... Он читает стихи: "Я много лет дробил каменья / Не гневным ямбом, а кайлом, / Я жил позором преступленья / И вечной правды торжеством..."». Ее, недавнюю школьницу, тогда поразил больше всего «нежитейский», возвышенный тон этой первой встречи. И в дальнейшем этот тон не менялся — даже когда Шаламов в письмах «дорогой Люсе» (так он неизменно, по привычке молодости, называет Ольгу Всеволодовну) размышлял о судьбе ее дочери, судьбе, которая должна быть тоже возвышенной, далекой от соблазнов нового времени. Таким образом он отговаривал Ирину — через мать — не связывать судьбу с кинематографом, предъявляя весомый аргумент: «Кино ведь штука второго сорта, искусство, не имеющее своего ума, а все свои мерки заимствующее то у литературы, то у театра...»

Наблюдавшая весь процесс разгорания взаимных чувств Шаламова и Ивинской, И. Емельянова склонна была считать, что они являлись продолжением давней страсти, и даже колымскую любовную лирику Шаламова (например, стихотворение «Камея») воспринимала как посвященную ее матери. Это, конечно, было не так. Но роман разгорался с новой силой. Тем более что Ольга Всеволодовна на некоторое время отдалилась от Пастернака, поскольку тот был очень занят появившимися возможностями издать роман «Доктор Живаго» как на родине, так и на Западе. Ивинская получила свободу и переключилась на Шаламова. Но какая же роль при этом была отведена ему?! Осознание этой роли — в связи с открывшимися ему лишь позднее, уже летом 1956 года, обстоятельствами — не могло не быть для него крайне оскорбительным и унизительным, ведь он невольно оказался соперником в борьбе за сердце любимой дорогим для него поэтом женщины — то есть стороной пошлейшего и низменного треугольника.

Эту, нечаянно открывшуюся ему ситуацию (очевидно, через женщин, гостивших в Измалкове) он моментально отверг. 3 июля 1956 года, в разгар лета и, казалось, в разгар жаркого романа, он пишет из Туркмена: «Дорогая Люся. Счел я за благо больше в Измалково не ездить...»

Из этого письма Шаламова И. Емельянова привела только первые две строчки. Но оно было гораздо большим по объему и, как можно догадаться, содержало весьма резкие выражения. Ответ Ивинской оказался довольно мелким и мстительным: «Пастернака ты больше не увидишь» (так он запечатлелся в беседах Шаламова, записанных И. П. Сиротинской).

Все иллюзии моментально исчезли. Вспышка любви была с муками задавлена, и осталось только оглушительное разочарование. Разочарование в женщине, которая столь смело одарила его нежностью и надеждами, а на самом деле оказалась лживой, по его позднему грубому лагерному выражению, «с...й»*. Разочарование и в ее великом возлюбленном, который смеет доверять *такой* женщине.

Он отошел в сторону. Пафос его последнего письма Пастернаку объясняется еще и тем, что он чувствовал свою вину в том, что невольно попытался нарушить счастье дорогого для него человека и поэта. Более того, он сделал весьма однозначный вывод: «Пастернаку нужен больше я, чем он мне. Пастернак дал мне, что мог, в своих ранних стихах, стихах "Сестры моей жизни". У Пастернака тоже нет никакого долга передо мной» («Воспоминания»).

О всей сложности дальнейшей судьбы Б. Пастернака, оказавшегося в острейшем конфликте с властью, Шаламов имел, по-видимому, смутное представление. Конкретика обстоятельств, соединивших автора «Доктора Живаго», с одной стороны, с западными издателями, прежде всего с Дж. Фельтринелли (представлявшим издательство итальянской компартии под эгидой П. Тольятти), с другой — с огромной сетью советских охранительных служб (от Союза писателей и официальной прессы до Комитета госбезопасности, прокуратуры и ЦК КПСС), — была не только мало известна ему, но и, вероятно, бессознательно упрощалась, поскольку Шаламов никогда не имел подобного опыта — он в то время не был даже членом Союза писателей. В событиях, связанных с присуждением Пастернаку в 1958 году Нобелевской премии и огромным шумом, поднятым при этом в советской прессе, Шаламов мог быть лишь сторонним наблюдателем и никакого влияния на Пастернака ввиду своей «отлученности» от него оказать не мог. Однако он вряд ли сомневался, что его любимый поэт испытывает громадное давление с разных сторон — не только со стороны западных издателей, власти и общественного мнения, но

---

* Это выражение фигурирует в письме Шаламова Н. Я. Мандельштам, написанном в сентябре 1965 года. Следует подчеркнуть, что ни в лагере, ни после него Шаламов никогда не прибегал к подобным словам по отношению к женщинам, как бы они себя ни вели. «Вы — хороший человек, вы никогда не говорите плохо и грязно о женщинах» — так оценил его на Колыме один из героев рассказа «Уроки любви». Сам Шаламов не раз говорил, что «женщины лучше мужчин». Это возвышенное, рыцарское отношение было поколеблено, пожалуй, единственный раз — именно в случае с О. В. Ивинской. Не случайно в том же письме к Н. Я. Мандельштам грубому отзыву сопутствует красноречивая фраза: «Это одна из больных моих нравственных травм» (см.: *Шаламов В.* Собрание сочинений: В 6 т. М., 2006. Т. 6. С. 424).

и со стороны близких, прежде всего О. В. Ивинской, характер которой он теперь хорошо знал. Эти его догадки в итоге полностью подтвердил известный факт (о котором Шаламов, возможно, так и не узнал): именно под истерические слезы при непосредственном участии Ивинской, с небольшими поправками Пастернака, было составлено, по ее собственному свидетельству в мемуарах и с поздним признанием своей вины, то историческое письмо в адрес Н. С. Хрущева, в котором поэт отказывался от Нобелевской премии.

Шаламов был — не мог не быть — на похоронах Пастернака в 1960 году, он написал на смерть поэта цикл стихотворений, в том числе «Орудье высшего начала» с его знаменательными строками:

...Должны же быть такие люди,
Кому мы верим каждый миг,
Должны же быть живые Будды,
Не только персонажи книг.

Как сгусток, как источник света,
Он весь — от головы до ног —
Не только нес клеймо поэта,
Но был подвижник и пророк.

Эти стихи, как и письма Б. Пастернаку и воспоминания о нем, надиктованные в 1960-е годы, составляют неизменное существо отношения Шаламова к поэту, в котором он видел не только совесть своей эпохи, но и единомышленника в отношении к искусству. Отдельные критические высказывания, запечатленные позднее в записных книжках и устных разговорах Шаламова, ни в коей мере не могут перечеркнуть самого важного, что было сказано и написано при жизни Пастернака и в его память. Например, слова Шаламова в воспоминаниях И. Сиротинской («Если он пошел на публикацию романа на Западе — надо было идти до конца. Либо ехать на Запад, либо дать оплеуху западному журналисту вместо интервью. Либо это, либо то») мало учитывают трагическую ситуацию, в которой оказался поэт, и подчеркивают скорее бескомпромиссность характера самого Шаламова. Но при всем этом он был глубоко прав, назвав Пастернака «жертвой холодной войны»...

Новый этап жизни Шаламова начался в октябре 1956 года, когда он женился на Ольге Сергеевне Неклюдовой, с которой познакомился в дачном круге общения Переделкина — Измалкова. По-видимому, он сразу обратил на нее внимание, потому что она тоже испытала немало, хотя и не прошла лагерей. Важную для нас характеристику О. С. Неклюдовой и ее дачного окружения оставила дочь расстрелянного поэта Павла Ва-

сильева Н. П. Васильева: «...Маленькая женщина, зеленоглазая, со вздернутым носиком, всегда серьезная, как будто чем-то озабоченная. На фоне моей тети и другой своей подруги — Ольги Ивинской, белокурых и голубоглазых, неотразимо обаятельных щебетуний, хохотушек, не перестающих шутить и в дни невзгод, Ольга Сергеевна была практически незаметна, но мы все любили ее за бесконечную доброту, умение оказаться рядом с тем, кто в ее помощи нуждается. Когда-то в Елабуге она была рядом с Мариной Цветаевой в последние дни жизни поэтессы*. В 1956-м таким человеком оказался Варлам Шаламов...»

«Щебетуньи» Шаламову в жизни, грубо говоря, уже осточертели, и, если связывать судьбу с кем-либо из женщин, считал он, надо учитывать самое важное и насущно необходимое. Характерны в связи с этим слова из его первого письма О. С. Неклюдовой — по-мужски, по-лагерному прямые и откровенные: «В любви я ценю прежде всего душевность, разумность, покой — восстанавливающий мои силы, а силы нужны. Все остальное — чепуха...»

В том же письме он без всяких сантиментов и утаек пишет о недостатках своего характера и могущих возникнуть взаимных проблемах: «У меня очень мало развито чувство благодарности, чувство дружбы... У всех женщин, с которыми я сходился и расходился, есть одно общее — всегда инициатива ухода принадлежала мне... Я не застенчив и вовсе не нравственен. Жизнь в этих отношениях, как и в прочих, прошла по мне своим тяжелым сапогом... Мне было неприятно, что Вы — человек по существу скорее хороший, чем плохой — ничего жизни не можете предъявить, кроме каприза, принимающего чудовищные формы... Я сам такой же комок нервов, и у меня, поверьте, больше оснований, чем у Вас, оправдывать для себя свою тревожную напряженность. Но я нашел в себе силы держать себя в руках...»

В любовной переписке всех веков и народов это письмо с его подробностями (которые здесь не все приведены) должно занять совершенно особое место. Так находили пути к сердцам друг друга люди только в России после эпохи лагерей. Так писать будущей жене мог только Шаламов. Но он посвятил и проникновенные стихи О. С. Неклюдовой:

Незащищенность бытия,
Где горя слишком много,
И кажется душа твоя
Поверхностью ожога...

---

* О. С. Неклюдова встречалась с М. И. Цветаевой не в Елабуге, а в Чистополе в период пребывания поэтессы здесь 25—26 августа 1941 года. К сожалению, подробности этой встречи пока не раскрыты.

С октября 1956 года он стал постоянно жить в Москве. Сначала в маленькой комнате в коммунальной квартире на Гоголевском бульваре, где ютилась Ольга Сергеевна с сыном Сергеем. В 1957 году подошла ее писательская очередь на расширение жилья, и они переехали. Его адрес отныне и до 1966 года: Хорошевское шоссе, 10, квартира 2. На самом деле это были две комнаты в трехкомнатной квартире. Одна комната была отведена мужчинам — Варламу Тихоновичу и Сергею. Мальчик взрослел, ему исполнилось 16 лет, и комнату решили разделить фанерной перегородкой — на два узких «пенала». Половина чуть больше досталась Шаламову, меньшая — Сергею. У каждого оказалось свое окно и своя дверь. Это был первый этаж одного из двухэтажных типовых домов, построенных пленными немцами. Таких домов сейчас осталось еще немало в провинциальной России, а в Москве они давно снесены, и напрасно искать следы пребывания Шаламова у нынешней станции метро «Беговая».

Но это был дом, где он, наконец, нашел душевность, разумность, покой и смог начать по-настоящему писать.

Глава тринадцатая

НАДЕЖДЫ И ОБМАНЫ «ПОЗДНЕГО РЕАБИЛИТАНСА»

Автора саркастической фразы о «позднем реабилитансе» 1950-х годов установить довольно трудно. Фраза вошла в фольклор и использовалась обычно в связке с «ранним репрессансом». Жена киносценариста А. З. Добровольского, близкого друга Шаламова, Е. Е. Орехова-Добровольская считала, что фраза принадлежит ее мужу, поскольку он употреблял ее еще в 1956 году на Колыме, сам не будучи реабилитированным. Мрачно-язвительное остроумие Добровольского было широко известно (он, например, поздравлял освободившихся с Колымы «с выходом из малой зоны в большую»), так что причастность его к рождению крылатой фразы о «реабилитансе» вполне вероятна. Важнее другое — запечатленный в ней мотив громадной тяжести и сложности освобождения от наследия сталинской эпохи. Этот мотив постоянно звучит в переписке Шаламова и Добровольского середины—конца 1950-х годов.

Шаламов в этом отношении поначалу показывает себя большим оптимистом. Он с восторгом воспринимает решения XX съезда, секретный доклад Н. С. Хрущева, который сразу же сделался не секретным для всех, кто хотел о нем узнать.

«Это следует считать документом значения огромного, превосходящего все, что в этом роде было до сих пор, — пишет он

26 марта 1956 года. — Я никогда не думал, что доживу до дня, когда этого господина (Сталина. — *В. Е.*) назовут его настоящим именем... Я понимаю, как сложно объяснить такие вещи сейчас. Но я считаю публичное развенчание этого идола событием исключительной важности». Особое удовлетворение Шаламов получает от того, что в докладе Хрущева известное «завещание» Ленина впервые названо действительным партийным документом, а не «фальшивкой» (это его кровно касается!), что «автоматически подорвано доверие к известным фантастическим процесам 37-го и 38-го годов», что названы факты о двух третях расстрелянных и арестованных участников XVII съезда ВКП(б) и т. д. Единственное, чем он не удовлетворен и что ему кажется «странным»: «Признав и отметив умерщвление сотен тысяч людей, развенчав его как партийного вождя, как генералиссимуса, письмо ЦК не назвало его логически врагом народа, отнеся все его чудовищные преступления за счет увлечения культом личности...» Но Шаламов склонен объяснять все это «необходимой многоступенчатостью таких операций», то есть надеется, что в перспективе дело дойдет до оглашения полной правды о Сталине, его преступлениях, а также и до объективной оценки деятельности всех оппозиций.

Его личное литературное самочувствие в это время тоже на подъеме. «Текущее лето (Шаламов имеет в виду лето 1956 года. — *В. Е.*) останется в моей памяти как время какого-то резкого ощущения моей нужности жизни и людям, — пишет он Добровольскому. — Беспрерывно, начиная с апреля (по субботам и воскресеньям), я встречаюсь с людьми, читаю стихи и рассказы, все свободное время пишу». С особой гордостью он сообщает, что 24 июня в Переделкине, на даче у Б. Пастернака, «на торжественном обеде», он читал свои новые стихи, и уверенно заявляет, что роман Пастернака «Доктор Живаго» «печатается в “Новом мире”» (так было обещано автору, но обещание, как известно, не сбылось).

Добровольский гораздо скептичнее оценивает политическую ситуацию в стране и прямо пишет Шаламову после сообщения о его реабилитации: «Ведь в нынешние времена рок, именуемый политикой, редко создает сюжеты с happy end-ом, подобным Вашему». (Сам Добровольский свое нахождение на Колыме, в Ягодном, сравнивает с пребыванием в «палате № 6», поскольку либеральные веяния сюда почти не доходят, и вскоре, в июне 1957 года, его снова, в третий раз, арестовывают по доносу за «антисоветские высказывания» о венгерских событиях; лишь вмешательство его старых киевских знакомых М. Бажана и М. Рыльского спасает его от очередного срока.)

Переписка Шаламова с Добровольским по своей литературно-философской насыщенности мало уступает переписке Шаламова с Пастернаком. Блеск мысли здесь проявляется с обеих сторон. Если Шаламов сообщает своему другу, что посетил Московский Кремль, который был закрыт после смерти Ленина, и одно из главных его впечатлений: «Все входящие в соборы мужчины сдергивают шапки, церковь есть церковь, в конце концов», но с иронией замечает, что «Царь-колокол и Царь-пушка — довольно жалкие вещи, чисто декоративные» (о мавзолее, где лежит Сталин, он не пишет, но эта вещь для него тоже из разряда жалких), то Добровольский, отзываясь на эти и другие новости, в том числе литературные, с еще более горькой иронией пишет, в связи со своими размышлениями о судьбе магаданских детей (наконец-то получивших возможность танцевать на танцплощадках танго и петь «Два сольди»): «Не знаю, как Вы, но я часто думаю о том, что величайшим бедствием времени стало централизованное воспитание условных рефлексов гражданственности». Судьба Добровольского, литературному таланту которого все знавшие его колымчане прочили большое будущее (даже на фоне Шаламова), оказалась крайне печальной: еще на Колыме он серьезно заболел (облитерирующий эндартериит — следствие обморожений и переохлаждений), а переехав в родной Киев, как писала его жена, оказался в «каком-то ступоре» и повторял: «Укатали сивку да крутые горки...»

Болезни начали одолевать и Шаламова. В сентябре 1957 года, едва начав расправлять плечи — и физически, и литературно (в пятом номере журнала «Знамя» за этот год была опубликована первая подборка его стихов, включая «Стланик»; в ноябре 1956 года, сразу после реабилитации, он устроился на работу внештатным корреспондентом журнала «Москва»), он неожиданно попадает в Институт неврологии, а затем — в Боткинскую больницу. Основной диагноз, не считая проблем с почками, — болезнь Меньера. Оказалось, что это рецидив старой, еще детской болезни, которая тогда давала себя знать лишь временным расстройством вестибулярного аппарата. В набросках к «Четвертой Вологде» Шаламов писал: «За мой “Меньер” — рвоту в тотемской поездке — я был строго <отцом> наказан — что-то съел и не хочет сознаться, затрудняет лечение. Не видя все того же меньеровского комплекса моего вестибулярного аппарата, обвинял меня в трусости из-за боязни забегать на колокольню, лазать по деревьям, ходить по гимнастическому бревну...» Несомненно, что и в колымский период эта болезнь давала о себе знать — в той же невыносимости тяжелого физического труда, но диагнозы тогда ставили не врачи, а начальники: «Филон, саботажник...»

Обострение этой болезни в 1957 году (описанное в рассказе «Припадок») было связано, несомненно, с последствиями пребывания на Колыме. Здоровых людей, с нерасшатанной нервной системой и не с «букетами» других болезней, оттуда практически не возвращалось. На здоровье Шаламова сказались, несомненно, частые побои, которым он подвергался (одной из причин синдрома Меньера признаются травмы головы и уха). Кроме того, не могло не дать знать о себе и огромное перенапряжение от литературной работы после лагеря. Мы уже знаем, сколько он успел написать по возвращении — сотни стихотворений, первые рассказы. О том, как давались эти вещи, он писал позднее И. П. Сиротинской: «Каждый рассказ, каждая фраза его предварительно прокричана в пустой комнате — я всегда говорю сам с собой, когда пишу. Кричу, угрожаю, плачу. И слез мне не остановить...»

Но самой изматывающей была служба в журнале «Москва», куда он обязан был регулярно поставлять материалы по заданию редакции, а это было единственным средством заработка. По реабилитации он получил мизерную компенсацию, назначенную для всех репрессированных постановлением Совета министров СССР от 8 сентября 1955 года, — двухмесячный оклад по должности, занимаемой на момент ареста (в журнале «За промышленные кадры»). А работа внештатного сотрудника в «Москве», где Шаламов вынужден был писать то о подготовке к фестивалю молодежи и студентов, то о каком-то депутате райсовета, то о культурных новостях столицы (все это публиковалось в разделе «Смесь»), оплачивалась крайне скудно. При прохождении ВТЭК ему выдали справку о гонораре, полученном в журнале «Москва» за период с ноября 1956 года по май 1958-го, то есть за полтора года — 2562 рубля. (Чтобы было более понятно: после реформы 1961 года это стало означать 256 рублей.)

Следует подчеркнуть, что никакими протекциями — скажем, со стороны Б. Пастернака — Шаламов не пользовался. Он вспоминал лишь о том, что его стихотворение «Камея» очень понравилось Пастернаку, и тот рекомендовал его в первый выпуск альманаха «День поэзии» (1956). Но для публикации редколлегия требовала личной встречи с автором, а Шаламов, живший тогда в Туркмене, в будний день приехать в Москву не мог. Публикация стихов в «Знамени» стала возможной благодаря случайной встрече Шаламова с сотрудницей этого журнала, критиком Людмилой Скорино, которую он знал с 1930-х годов. А устроиться на работу в журнал «Москва» помог его старый и верный товарищ еще по 1920-м годам Яков Гродзенский, у которого в редакции работал ответственным секре-

тарем друг его детства писатель П. Подляшук. Несмотря на нищенский гонорар внештатника, Шаламов был доволен, ведь за время работы в «Москве» он опубликовал здесь пять своих стихотворений («Ода ковриге хлеба», «Шесть часов утра», «Ветер в бухте», «Сосны срубленные», «Память» — Москва. 1958. № 3), ну и больничный лист за пребывание в Боткинской больнице ему оплатил по ходатайству журнала Литфонд.

В больнице он находился почти полгода — до апреля 1958 года. По настоянию врачей здесь Шаламов бросил курить; алкоголя он и прежде никогда не употреблял. В палате он пробовал писать, вести дневник, но получалось плохо, больше читал. В редакции «Москвы» к нему проявляли сочувствие, навещали, присылали записки. В его архиве сохранились открытки от Наума Мара, который называл его ласково Варлашенькой, призывал «терпеливо лечиться» и сообщал: «...в № 5 я поставил Вашу "Красную новь"» (исторический очерк о первом выпуске журнала «Красная новь» в 1921 году с участием В. И. Ленина; редактора этого журнала А. К. Воронского, расстрелянного Сталиным, Шаламов, как мы знаем, глубоко уважал). В Боткинской больнице Шаламов пытался рассказывать своим соседям по палате о Колыме, о лагере. Он вспоминал: «...И полпалаты гудело: "Не может быть, что он врет, что он такое говорит!" И врачиха сказала: "В таких случаях ведь сильно преувеличивают, не правда ли?" и похлопала меня по плечу. И меня выписали. И только вмешательство редакции заставило начальника больницы перевести меня в другое отделение, где я и получил инвалидность».

Инвалидность Шаламову была назначена по болезни Меньера, вызвавшей глухоту, — он почти перестал слышать. Но с учетом того, что припадок 1957 года резко ухудшил его общее самочувствие и столь же резко изменил внешне («...постарел сразу лет на десять», как замечали его знакомые), можно предполагать, что это был первый приступ куда более тяжелой болезни, диагностированной лишь в 1979 году. Поняв, что припадок — очень серьезный предупредительный «звонок», который может нарушить все его планы, Шаламов мобилизует силы и волю на борьбу с болезнью. Прежде всего он вырабатывает себе — учитывая рекомендации врачей и собственные потребности — чрезвычайно строгую диету и начинает готовить еду сам, отделившись от общей кухни О. С. Неклюдовой. Познакомившаяся с ним И. П. Сиротинская отметила: «Его любимая и почти постоянная еда: утром — кофе, в обед и ужин — вареная докторская колбаса с вареной же картошкой и капустой. Яблоки». Но это было в середине 1960-х годов, а раньше еда писателя была скуднее — просто не хватало денег.

Ему определили третью группу инвалидности и начали выплачивать с 14 мая 1958 года 260 рублей в месяц, с 1961 года — 26 рублей. В декабре 1963 года он был переведен на вторую группу инвалидности и стал получать пенсию 42 рубля 30 копеек. Прибавка могла бы считаться относительно весомой, если бы инвалиды второй группы имели право на работу, на дополнительный заработок — при обнаружении его собес пенсию автоматически уменьшал. Это было унизительно и оскорбительно — не только для Шаламова, но и для всех, кто прошел лагеря и фактически именно там превратился в инвалида.

Пожалуй, лучше всего его разочарование эпохой «позднего реабилитанса» передает стихотворение 1961 года, никогда не входившее в сборники:

Я думал, что будут о нас писать
Кантаты, плакаты, тома,
Что шапки будут в воздух бросать
И улицы сойдут с ума.

Когда мы вернемся в город — мы,
Сломавшие цепи зимы и сумы,
Что выстояли среди тьмы.

Но город другое думал о нас,
Скороговоркой он встретил нас.

В его поздних воспоминаниях о Якове Гродзенском (отсидевшем больше десяти лет в воркутинских лагерях) есть поразительные строки на тот же счет — горькие, негодующие, ярко выдающие в нем гражданина с твердым представлением о своих правах и потому особенно остро чувствующего унижение: «Государство оставило всех нас просто в безвыходном положении... Одним из самых больших оскорблений был не тюремный срок, не многолетний лагерь, самым худшим оскорблением была необходимость добиваться формальной реабилитации индивидуальным порядком. Если государство признает, что в отношении меня была допущена несправедливость — что и удостоверила справка о реабилитации, данная после полуторагодичной проверки, — то дороги все должны быть открыты, и государство должно выполнять любые мои желания, любые мои просьбы — по самому простому заявлению.

Оказалось, все вовсе не так. При каждой попытке принять участие в общественной жизни (Шаламов имеет в виду возможность печататься. — *В. Е.*) воздвигались новые преграды — теми же самыми людьми, которые всю жизнь меня мучили и держали в лагерях.

Это было и в больнице Боткинской. Если я инвалид, то пусть государство платит за мою инвалидность. Но для этого

признания потребовались колоссальные усилия — форс-мажор психологической атаки. Но и с этого случая я получал копейки, на которые жить было нельзя.

Вот тут-то мы и обсудили с Гродзенским эту проблему в ее чистом виде.

Гродзенский сказал:

— Я буду ходить. Я соберу все справки. Оформим не инвалидность, а десятилетний стаж горняцкий — есть такой приказ. Я сам по нему получаю пенсию. И мне тоже хлопотали другие. Я не ходил сам для себя, а для другого я могу пойти. Тебе надо только согласиться».

Я. Д. Гродзенский действительно помог «выбить» Шаламову так называемую горняцкую пенсию (по 1-му списку тяжелых и вредных работ) в 72 рубля 60 копеек, которую Шаламов начал получать с 1965 года. Но это потребовало огромных усилий и от самого Шаламова — все многочисленные запросы в Магадан и в другие инстанции писал он сам. Уже первый ответ из Магадана в июле 1964 года: «*Сведения о характере работы, выполнявшейся в местах заключения, не сохранились*» — поверг его в шок. Именно на основании этого ответа (он хранится в архиве писателя) Шаламов сделал важнейший и печальнейший для себя вывод, что «документы нашего прошлого уничтожены». Это представление, заметим сразу, послужило Шаламову мощнейшим стимулом для продолжения работы над «Колымскими рассказами», а также над «Воспоминаниями о Колыме». На самом деле документы были уничтожены лишь частично, но власти предпочитали об этом умалчивать*.

В итоге оказалось, что для подтверждения «горняцкого» стажа работы на приисках «Партизан» и «Джелгала», на шахтах Аркагалы можно обойтись справкой о реабилитации и свидетельскими показаниями очевидцев. Такие показания Шаламов получил от Ф. Е. Лоскутова, А. М. Пантюхова, Г. А. Воронской и Н. Ф. Цапкова. Результатом стал ответ заместителя начальника ГУМЗ МООП (Главного управления мест заключения Министерства охраны общественного порядка) РСФСР Сорокина: «Согласно Вашей просьбе высылается справка, подтверждающая Вашу работу в местах заключения с 1937 по 1947 г. на подземных работах в шахтах Горнопромышленного управления “Дальстроя”». Самой справки в архиве Шаламова

---

* Магаданский архив бывшего НКВД в основной его части сохранился до наших дней. В нем хранится около пятисот тысяч дел, стеллажи с папками занимают несколько километров (3211 погонных метров), и только для просмотра алфавитной картотеки, тратя на карточку по секунде, понадобится четыре месяца (см.: Доднесь тяготеет: В 2 т. Т. 2. Колыма: Сборник / Сост. С. С. Виленский. М., 2004. С. 13).

нет — она, очевидно, была передана в собес, но ответ Сорокина он хранил чрезвычайно бережно, обернув в целлофан. Это была, как он потом понял, одна из последних «ласточек» хрущевской оттепели.

Шаламов очень гордился получением «горняцкой» пенсии — и ее названием, наконец-то подтвердившим его работу забойщиком, тачечником, откатчиком и т. д., и размером, который позволял жить более или менее сносно. Гродзенский, живший в Рязани, по приезде в Москву всегда навещал Шаламова в его комнате-«пенале» на Хорошевском шоссе. Сюда в начале 1960-х годов приходили и другие знакомые, в том числе Солженицын. Жизнь немного стабилизировалась, и Шаламов даже стал активным футбольным болельщиком. По воспоминаниям сына Я. Д. Гродзенского Сергея, иногда Шаламов вместе с его отцом ездил на расположенный ближе всего стадион «Динамо», но болели они оба за «Спартак». Причина этого очевидна — «Спартак» не принадлежал к военизированным ведомствам, считался профсоюзной командой, играл в открытый импровизационный футбол, и это не могло не импонировать Шаламову (как, впрочем, и многим другим болельщикам из московской интеллигенции).

Но таких моментов маленькой эйфории и самозабвения было немного. Во-первых, Шаламова жестоко преследовали приступы болезни: головокружения, падения от внезапной потери координации. Во-вторых, он давно потерял сон и не мог обходиться без ежедневного приема на ночь нембутала. Это был один из первых барбитуратов-снотворных, которые отпускались только по рецепту, и все письма писателя к знакомым врачам сопровождались просьбами достать нембутал. Между прочим, Шаламов опровергал распространенные тогда — и всегда — советы о вреде постоянного приема снотворного ввиду возможности развития гепатита, психологической (наркотической) зависимости и т. д. В 1972 году он записал в дневнике: «За эти восемнадцать лет я написал немало, и так как никаких лекарств, кроме нембутала, не принимал и не принимаю, то все отношу за его благодетельный счет». Даже самые ярые апологеты вреда любого рода лекарственной зависимости должны, наверное, признать, что случай Шаламова — исключителен, что с *его* нервной системой иного средства для поддержания жизненного тонуса и плодотворной творческой деятельности, возможно, не существовало...

Позднее Шаламов вспоминал и о другом факторе, мешавшем ему работать, — об «аде шпионства в нижней квартире». Он имел в виду квартиру О. С. Неклюдовой, после развода с которой переселился в квартиру 3 на втором этаже того же до-

ма. Разумеется, «шпионство» исходило не от близких, а от соседей и постоянно заглядывавших сюда непрошеных гостей в штатском. Это — особая тема, требующая отступления.

Как стало известно по открытым в 2000 году материалам архива ФСБ, Шаламов в 1956 году, еще до реабилитации, попал под наблюдение органов госбезопасности. Причем наблюдение велось двумя местными структурами КГБ, расположенными очень далеко друг от друга — Калининской и Магаданской областей. Как можно предполагать, поначалу слежка за ним велась на предмет обнаружения нелояльности в связи с поданным им заявлением о реабилитации (в случае «антисоветских высказываний» процесс реабилитации мог быть остановлен). Но основной причиной слежки являлось то, что Шаламов — «в прошлом активный троцкист» (так подчеркивалось в первых строках заявлений одного из осведомителей, зашифрованного инициалом «И»)*. Как ни странно, при Хрущеве и позже «троцкизм» оставался таким же идеологическим жупелом, как и при Сталине: даже в 1968 году Политиздат выпустил брошюру под характерным, чисто сталинистским названием «Троцкизм — враг ленинизма».

Шаламов, несомненно, догадывался, что его прошлое тянет за собой шлейф подозрений, но он давно уже научился быть проницательным в отношении любого рода «стукачей». Поэтому ни одно из донесений осведомителей как Калининского, так и Магаданского управлений КГБ (которые, кроме прочего, занимались перлюстрацией переписки Шаламова и Добровольского) ничего предосудительного не содержало. (Критические суждения о современной советской литературе и похвалы в адрес М. Цветаевой, Н. Клюева и других опальных поэтов после 1956 года криминалом уже не считались.) Но дело не только в осторожности Шаламова при встречах с незнакомыми людьми, каковыми для него были некто «И» и другие. Дело в том, что он был всегда абсолютно искренен в любого рода беседах как на литературные, так и на политические темы — никакого подобия «двойной игры», свойственной, скажем, А. Солженицыну (об этом в следующей главе), у него никогда не наблюдалось. Поэтому такие строки донесений, как: «Вдобавок ко всему, — говорит Шаламов, — каким-то естественным подпором в вожди современной литературы проникли люди творчески бесталанные: Сурков, Долматовский, Симонов, Васильев, Смирнов и т. д. Однако государство существует, и не уважать его, не считаться с ним, противопоставлять себя

---

* См.: *Шаламов В.* Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М., 2004. С. 945—1061.

ему нельзя, а с мелюзгой, мешающей развитию русской литературы, надо бороться», — вполне адекватно передают настроения Шаламова. У него не было — ни тогда, ни позже — никаких антисоветских, антигосударственных настроений, и он желал лишь, чтобы поскорее ушла в небытие вся сталинская система.

Самое омерзительное в этой слежке КГБ то, что Шаламов — на тот момент бездомный, неустроенный, в одежде пригородного москвича (с рюкзаком, в простой кепке и плаще) — еще и «фотофиксировался», то есть за ним велось так называемое внешнее наблюдение как за потенциальным «государственным преступником». Эти снимки — часть из них представлена в книге — ярче всего показывают атавизмы традиционной охранной системы, сохранявшейся в СССР после ухода Сталина, а затем начавшей модернизироваться и изощряться в своих методах. К счастью для Шаламова, в связи с его болезнью наблюдение за ним несколько ослабилось. Последнее донесение агента «И» зафиксировано в Боткинской больнице, где он отмечал: «У Шаламова все больше и больше ухудшается моральное состояние, он стал больше брюзжать (лексика агента! — *В. Е.*) по самым различным поводам, злобно (так! — из той же лексики) охаивая советскую литературу, кино, музыку. Шаламов считает, что Пастернак сделал непростительную ошибку, написав свои письма Хрущеву и отказавшись от Нобелевской премии... Пастернак, по словам Шаламова, "струсил и своими письмами Хрущеву показал свою беспомощность и беспринципность, сделав тем самым хуже себе и другим, в то время как, поступив правильно, он сделал бы в России переворот в отношении правительства к литературе и литераторам..."».

Это последнее (из опубликованных) донесений осведомителя от 12 июня 1959 года содержит и попытку объяснить «пессимистические» настроения своего «объекта»: «Шаламов немного подрабатывает на внутренних рецензиях для журнала "Новый мир", жена его тоже имеет случайные, не систематические заработки, поэтому семья Шаламова и Неклюдовой материально несколько стеснена, и это тоже накладывает свой отпечаток на настроения и взгляды Шаламова».

Биографическое значение этого документа — в том, что он фиксирует время перехода Шаламова от работы внештатного корреспондента в журнале «Москва» (ставшей для него невозможной ввиду болезни) к работе внутреннего рецензента журнала «Новый мир» — первую половину 1959 года. Скорее всего, инициатива такого перемещения принадлежала А. И. Кондратовичу, работавшему в «Москве» и перешедшему в «Новый мир» (о добром отношении Кондратовича к Шаламову свидетельст-

вуют его открытки, посылавшиеся в Боткинскую больницу). Кроме того, писателя в этот период опекал поэт Б. А. Слуцкий, начавший подготовку издания первого поэтического сборника Шаламова в издательстве «Советский писатель» (этот сборник под названием «Огниво» вышел в 1961 году).

В роли внутреннего рецензента «Нового мира» — внештатного литконсультанта, отвечавшего на присылаемый в редакцию «самотек», то есть рукописи непрофессиональных авторов — Шаламов продержался до 1964 года. Это была неблагодарная и низкооплачиваемая работа — от трех до десяти рублей за рецензию. Но выполнял ее Шаламов в высшей степени добросовестно. В его архиве сохранилась целая папка написанных им рецензий — все они представляют собой подробные, обстоятельные и весьма тактичные разборы присланных сочинений, а отнюдь не высокомерные отписки, которые часто практиковались в журналах. Однако цена этих рецензий для писателя — прежде всего в виде драгоценного времени, отнимаемого у него, была поистине варварской. Ведь он в это же время напряженно работал над «Колымскими рассказами», спеша выплеснуть все главное, что накопилось в душе!

Этот ужасный, буквально раздиравший его надвое, «параллелизм» служебных обязанностей ради заработка и истинно творческой работы, его дежурных журналистских обязанностей и его подлинного «я» особенно хорошо виден на примере последнего материала, написанного для журнала «Москва», но так и неопубликованного. Речь идет о рецензии Шаламова на первые выпуски альманаха «На Севере Дальнем», начавшего выходить в Магадане с 1956 года. Это весьма строгая по-шаламовски рецензия, в которой делается акцент на том, что в альманахе явно недостает документальных материалов. Он понимает, что любые мемуары лагерников в тот период не были бы напечатаны, но рекомендует хотя бы публиковать мемуары геологов (В. А. Цареградского и др.). Крайне важен присутствующий в рецензии его отзыв о Джеке Лондоне — в связи с тем, что одно из озер на Колыме названо именем писателя: «Это достойный памятник писателю... Лондон как никто до него и первый из писателей показал “географическую” психологию в сотнях оттенков и подтекстов. Он сумел передать дыхание севера в каждой детали, в каждом диалоге, в каждом пейзаже. Лондон показал, что добро и зло выглядят на берегах Юкона иначе, чем в Сан-Франциско...» Его главная претензия к авторам альманаха: «Помещая своих героев на дальний север, они не показывают скрытых основ поступков героев...»

Эта рецензия — лишь намек на громадные возможности отражения колымской темы в ее многообразных аспектах. За

текстом чувствуется не только личный опыт автора, но и его не афишируемые пока собственные рассказы. Вот один из лирических фрагментов рецензии: «Многие наши понятия обрели иные масштабы на Севере, где даже звездная карта неба скошена. Кажется, что привычней патефона? Но я помню, как его привезли в одну разведочную партию, работавшую целое лето в глухой тайге. Все канавщики, шурфовщики, геологи и коллекторы оставили работу. Патефон водружен на пне огромной пятисотлетней лиственницы, и вся разведка в необычайном волнении слушала беспрерывно играющие пластинки. А из кустов выглядывали привлеченные музыкой юркие черноглазые бурундуки. Здесь только я оценил патефон по-настоящему».

Что это, как не прообраз потрясающего рассказа «Сентенция», написанного в 1965 году, — где «шеллачная пластинка кружилась и шипела, кружился сам пень, заведенный на все свои триста кругов, как тугая пружина, закрученная на целых триста лет...»?

Как могли сосуществовать журналистские тексты с замыслами «Колымских рассказов» — неведомая история. Но работа над рассказами никогда не прекращалась. Тот же 1959 год отмечен у Шаламова огромным взлетом — «Тифозный карантин», «Сука Тамара», «Красный крест», «Последний бой майора Пугачева», «Необращенный» и другие важнейшие для него рассказы появились именно тогда, в самую обманчивую эпоху.

Лишь 1961 год внес некоторую ясность в его положение и в положение страны. В этом году был издан первый сборник стихов Шаламова «Огниво» («сдано в набор 4 октября 1960 г., подписано в печать 9 января 1961 г.» — немаловажные детали, как и тираж — две тысячи экземпляров, по тем временам нижайший, и цена книжки — десять копеек...). Но это было для него огромным прорывом, потому что наконец хоть что-то и как-то издали и книга получила отзывы уважаемых им людей (Б. Слуцкого, В. Инбер и др.). Он начал снова расправлять плечи.

Еще более важным событием этого года стало для него решение XXII съезда КПСС с его четкими и недвусмысленными формулировками: «Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребление властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия периода культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В. И. Ленина» («Правда» от 31 октября 1961 года).

Прямых откликов Шаламова на это событие не сохранилось. Однако лучше всего о его восприятии новой для него

эпохи — со всеми ее ломками и надсадами, отдававшимися на его хребте, но и с надеждами — говорит поздняя дневниковая запись: «28 октября 1971 года. Был на могиле Хрущева. Постоял пять минут без шапки... Три великих дела сделал Хрущев: 1) возвратил и реабилитировал, пусть посмертно, миллионы, 2) разоблачение Сталина, 3) атомное противостояние 1961 года. Он был хозяином Кубы, но вовремя...»*

Глава четырнадцатая

О СВОБОДНОЙ ВОДЕ, БЕЗ ЛЕДОКОЛОВ. НАЧАЛО СПОРА С А. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

Литературная борьба и литературное соперничество всегда присутствовали в подлунном мире, но в российской жизни они издавна приобрели особые свойства. Русская литература в силу исторических обстоятельств еще в XIX веке стала представлять собой не только род общественной трибуны, но и, используя выражение Достоевского, — «поле битвы за сердца людей».

Никогда, пожалуй, эта битва не приобретала такой остроты и исторической значимости, как в литературе послесталинского периода. Борьба шла прежде всего за максимальный уровень правды о пережитой трагедии. С другой стороны, каждый писатель в своих произведениях вольно или невольно выражал политическое отношение к прошлому, его истокам и причинам, а это отношение у разных авторов было подчас диаметрально противоположным и несовместимым друг с другом. (В чем мы убедимся на примере Шаламова и Солженицына.) Третий важнейший фактор, начавший играть все более возрастающую роль в ходе хрущевской оттепели и после нее, — мировое общественное мнение и пропагандистское манипулирование им в условиях холодной войны.

«Брожению умов» в СССР в 1950—1970-е годы, несомненно, способствовала крайне непоследовательная, противоречивая и далекая от политического рационализма позиция власти по отношению к оценке личности и деятельности И. В. Сталина. Она проявлялась не только в постоянно менявшихся настроениях главного инициатора антисталинской кампании Н. С. Хрущева, но и в настроениях всей партийно-государственной элиты (включавшей в себя мощную просталинскую и

* Шаламовский сборник Вып. 2. Вологда, 1997. С. 46. Последняя запись оборвана, однако смысл ее угадывается: Шаламов одобряет то, что Хрущев «вовремя» вышел из кубинского кризиса, поставившего мир на грань ядерной войны.

относительно слабую антисталинскую группировки), так и не давшей за время своего пребывания у власти адекватного ответа на вопросы, глубоко волновавшие все советское общество: что же действительно произошло со страной в период с середины 1920-х — начала 1950-х годов? Было ли это вынужденным отступлением от идеалов социализма из-за чрезвычайных внешних и внутренних обстоятельств, необходимости в короткий срок преодолеть историческую отсталость страны или результатом порочной политической стратегии Сталина? Сколько погибло, каковы реальные масштабы репрессий? Являлись ли репрессии только выражением «злой воли» всесильного вождя или причины их глубже? В какой мере за стратегию и преступления Сталина несет ответственность партия и ее существующий аппарат?

Дальше этих вопросов общественная мысль 1960-х годов, как правило, не заходила, но и они являлись чрезвычайно сложными. Очевидный травмирующий смысл самой постановки проблемы преступлений Сталина перед массовым сознанием, видевшим в вожде, безусловно, сакральную фигуру «строгого, но справедливого Отца» (этот образ, как известно, сознательно им культивировался), создавал для власти огромные трудности. Закономерно, что решения XX и XXII съездов КПСС с их полузакрытым характером вызвали крайне болезненную реакцию и способствовали расколу советского общества, возникновению острых, подчас непримиримых противоречий между частью населения, непосредственно затронутой репрессиями, и остальной, гораздо более многочисленной частью, избежавшей этой участи, которая связывала имя Сталина с историческими победами нового строя, и прежде всего с победой в Великой Отечественной войне. (В этом мы могли наглядно убедиться на примере отношений Шаламова и его семьи, особенно с дочерью.)

Поскольку литературные явления в СССР служили своеобразным индикатором общественных настроений, они привлекали к себе повышенное внимание аналитических институтов и спецслужб противостоящих друг другу в холодной войне сторон. В целом условия холодной войны оказывали сильнейшее влияние на общественно-культурную ситуацию в стране, и прежде всего на взаимоотношения художественной интеллигенции и власти. В особенно сложном положении оказывались писатели, занимавшие в той или иной мере нонконформистскую позицию: над ними как дамоклов меч висели грозные ярлыки «антисоветизма» и «антипатриотизма». Отторжение властями любой формы инакомыслия закономерно переводило эти настроения в чрезвычайно привлекательную сферу «за-

претного плода», ассоциировавшегося со скрываемой от народа «правдой». Результатами этого явились повышенный интерес и сочувствие не только к отторгавшимся, «гонимым за правду» фигурам (среди которых был ряд крупных художников), но и ко всякого рода негативной информации об истории СССР, имевшей хождение в неофициальных источниках, и снижение порога критичности в ее восприятии. С другой стороны, обстоятельства психологической и информационной войны, становившейся все более ожесточенной, изощренной и при этом публичной (благодаря активному использованию «радиоголосов»), играли огромную стимулирующую и провокативную роль в реализации личных и общественных притязаний и амбиций деятелей культуры. В этих условиях каждый известный писатель, заявивший так или иначе особую, расходящуюся с официальной позицию, вольно или невольно становился не только героем «мирового театра» и массовой культуры, но и заложником интересов противоборствующей, враждебной стороны, превращаясь в объект, а иногда и в субъект глобальных политических манипуляций*.

Основным полем литературно-общественной битвы в 1960-е годы стал самый прогрессивный и самый авторитетный журнал эпохи «Новый мир», возглавляемый А. Т. Твардовским. В этом журнале, в очень незаметной роли, как мы уже знаем, Шаламов работал в течение шести лет — с 1959 по 1964 год. Но за все это время с главным редактором Шаламову встретиться ни разу не удалось — в силу своего заштатного положения и других причин, прежде всего глубокого внутреннего достоинства и нежелания навязываться. Он считал достаточным передачу в соответствующие отделы журнала своих стихов и подборки «Колымских рассказов». Но опубликованы они не были, и эта история, по-своему драматичная, заслуживает специального анализа.

После ноября 1962 года, когда «Новый мир» напечатал повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», в редакции стали особо радушно привечать ее автора — всегда улыбчивого, приветливого ко всем, особенно к женщинам, светившегося от своей рыжеволосости и от счастья, которое ему принесла публикация повести (недаром А. Ахматова, познакомившись с писателем, назвала его поэтично: «солнечный»). Но эта «солнечность» была во многом наигранной — актерство, неискренность, «двойная игра» А. Солженицына

* Подробнее о социокультурной и литературной ситуации 1960-х годов читай в нашей книге: *Есипов В.* Варлам Шаламов и его современники. Вологда, 2007, 2008.

(в жизни и творчестве) сегодня подтверждаются многочисленными фактами, на которых мы еще будем останавливаться. По крайней мере, по свидетельству А. Кондратовича, об окружении Солженицына («дамском, молитвенном, коленопреклоненном») в мужской части редакции «Нового мира» говорили с иронией. Но сам Твардовский в то время был сильно увлечен открытым им автором и со всей искренностью боролся за присуждение его повести Ленинской премии.

Шаламову было далеко до комплиментов и почестей. Есть краткие, но выразительные воспоминания В. Лакшина, в ту пору члена редколлегии журнала по разделу критики: «Помню его появление в "Новом мире" в начале 60-х годов, едва ли не той зимой, когда была опубликована повесть об Иване Денисовиче. Высокий, костистый, чуть сутулившийся, в длиннополом пальто и меховой шапке с болтающимися ушами. Лицо с резкими морщинами у щек и на подбородке, будто выветренное и высушенное морозом, глубоко запавшие глаза. Он никогда не снимал верхней одежды, так и входил в кабинет с улицы, забегал на минутку, словно для того лишь, чтобы удостовериться — до его рукописи очередь еще не дошла...»

Шаламов уходил разочарованным. Его надежды на публикацию «Колымских рассказов» таяли с каждым посещением. В. Лакшин отмечал, что «журнал был в трудном положении: разрешив, по исключению, напечатать повесть Солженицына, "лагерной теме" поставили заслон. Была сочинена даже удобная теория: мол, Солженицыным рассказано все о лагерном мире, так зачем повторяться?». Стоит, однако, уточнить, что ситуация при власти Н. С. Хрущева была еще не столь однозначной: произведения на лагерную тему продолжали печататься. Например, в «Новом мире» в 1964 году публиковались воспоминания генерала А. В. Горбатова о пребывании на Колыме.

Возникающий по прошествии более чем полувека вопрос: почему Шаламова не напечатали раньше, чем Солженицына, или не включили хотя бы в общий «поток» лагерной прозы? — крайне наивен. Он не учитывает ни реалий эпохи, ни особенностей рассказов Шаламова, ни широко известных удачливо-конъюнктурных обстоятельств публикации повести «Один день Ивана Денисовича». Эта публикация стала возможна благодаря счастливому схождению звезд на политическо-литературном небосклоне, что почти математически рассчитал Солженицын. Его изложение предыстории своей знаменитой публикации в книге «Бодался теленок с дубом» это очень ярко подчеркивает. Написав в 1959 году повесть под названием «Щ-854», он, по его собственному свидетельству, собирал-

ся отослать ее на Запад, но «распахнулась дружба с “Новым миром” и перенаправила все мои планы»*. Писатель решил передать свое произведение через Л. Копелева и А. Берзер (заведующая отделом прозы «Нового мира») прямо Твардовскому с откровенно привлекательной рекомендацией: «лагерь глазами мужика». Дальнейшее прохождение «Денисовича» через редакционные и партийные инстанции тоже достаточно исследовано. Прочтя повесть и исправив все ее литературные погрешности (в том числе сменив название на ставшее классическим «Один день Ивана Денисовича»), Твардовский через В. С. Лебедева, помощника Хрущева, предложил ее прочесть самому первому секретарю ЦК КПСС.

XXII съезд КПСС только что прошел, Хрущев ждал любой общественной поддержки своим радикальным действиям по развенчанию культа личности Сталина, и повесть Солженицына как нельзя лучше соответствовала и политической ситуации, и личным эстетическим вкусам нового вождя партии, и требованиям «социалистического реализма». Акцент Хрущева в своих публичных речах на том, что повесть является «глубоко партийной», что «герой и в лагере остается советским человеком», и особенно восхитившая его деталь о «растворе», который берег каменщик-заключенный Шухов («На кой черт ему этот раствор, когда его самого превратили в раствор. Вот произведение, описывающее об ужасных вещах, о несправедливости к человеку, и этот человек платит добром. Но он не для тех делал, которые так поступили с ним, а он делал для будущего, он жил там как заключенный, но он смотрел глазами на будущее»), показывает, что его вполне устраивало и даже радовало предложенное Твардовским произведение.

Разумеется, решение о публикации «Ивана Денисовича» принималось Хрущевым не спонтанно. Не следует, наверное, подчеркивать очевидные недостатки эстетического интеллекта нового вождя КПСС — его политический интеллект, особенно касавшийся внешней политики, был весьма прагматичен и по-своему глубок. Надо напомнить, что решение о печатании «Ивана Денисовича» было принято в крайне острый внешнеполитический момент — в начале Карибского кризиса, в октябре 1962 года, и здесь играли роль факторы международного

---

* *Солженицын А.* Бодался теленок с дубом // Новый мир. 1991. № 6. С. 15. «Не случись это — случилось бы другое, и худшее, — откровенно подчеркивал автор, — я послал бы фотопленку с лагерными вещами — за границу, под псевдонимом Степан Хлынов, как она уже и была заготовлена. Я не знал, что в самом удачном варианте, если на Западе это будет опубликовано и замечено, — не могло произойти и сотой доли того влияния» (Там же).

престижа СССР — «либерализации» или «восстановления социалистической демократии», как было объявлено последними партийными съездами. Кроме того, одной из причин решения Хрущева открыть дорогу в литературе ранее запретной лагерной теме явилось, как представляется, его стремление смягчить громкий международный скандал после «дела Пастернака». Не случайно в своих поздних воспоминаниях Н. С. Хрущев подчеркивал: «Именно этот запрет причинил много зла, нанес прямой ущерб Советскому Союзу. Против нас ополчилась за границей интеллигенция, в том числе и не враждебная в принципе социализму, но стоящая на позиции свободы высказывания мнений».

Уже сама по себе эта сложная и многофигурная литературно-политическая комбинация (начатая, напомним, Солженицыным) исключала какое-либо присутствие Шаламова, которому подобные «игры» были глубоко чужды. Его рассказы, несомненно, никак не были рассчитаны на то, чтобы угодить «верхнему мужику Твардовскому и верховному мужику Хрущеву», как довольно цинично писал о своих планах Солженицын. Не преподносил он себя и в положительно-страдательной роли, близкой роли автора «Денисовича» («боевого офицера, ныне школьного учителя, незаконно репрессированного»), — узнай тот же Хрущев, скажем, о том, что ему представили рассказы «недобитого троцкиста», находившегося даже после реабилитации под наблюдением КГБ, он бы моментально их отверг. Поэтому любые предположения о возможных альтернативах печатания Солженицына либо Шаламова в «Новом мире» не имеют под собой никакой реальной почвы*.

---

* В последнее время нередко всплывает пересказ воспоминаний писателя Г. Владимова о его разговоре с А. Твардовским, который якобы говорил: «Понимаете, я знал, что у меня была только одна попытка провести текст на лагерную тему и что в советской литературе существует вообще только одна позиция для “великого лагерного текста”. И я, конечно, понимал, что его автор станет знаменитостью, “великим человеком”. Несомненно, Шаламов гораздо лучше, талантливее писатель, чем Солженицын, но проблема для меня заключалась в том, что у Солженицына был слитный текст, а у Шаламова — циклы рассказов. Если я отдам в цензуру 15 коротких рассказов, то она просто-напросто выкинет все самые важные и лучшие рассказы, оставит штук пять подрезанных текстов, которые не произведут никакого впечатления, и моя единственная попытка уйдет в песок. Слитный текст цензура изуродует, конечно, но он все равно останется собой и произведет впечатление. Вот поэтому я выбрал “Один день”». О. Юрьев и О. Мартынова, слушавшие эту «байку» Г. Владимова на лекциях в Германии, преподносят ее в интернет-сети вне всякой историко-литературной критики. Но есть факт, разрушающий данную концепцию: к осени 1962 года с рассказами Шаламова Твардовский вообще не был знаком.

К 1962 году рассказов у Шаламова насчитывалось уже около шестидесяти, включая созданные на рубеже 1950—1960-х годов «Очерки преступного мира». Тогда же, вероятно, оформился композиционно и первый сборник «Колымские рассказы», состоявший из тридцати трех новелл. Но в «Новый мир» он предложил не весь сборник, а примерно половину его — 18 рассказов. Судьбу их, по логике вещей, поначалу должна была рассмотреть А. Берзер. К сожалению, журнальных архивов этого периода не сохранилось (как ни странно, не выявлена и первооснова повести А. Солженицына — она нигде автором не воспроизводилась), и поэтому подробности продвижения, вернее сказать, торможения рукописей «Колымских рассказов» пока не изучены. Важнейший вопрос: почему они не дошли до Твардовского? Известно, что главный редактор «Нового мира» проявлял не просто особый интерес к произведениям лагерной или антисталинской проблематики — это была его больная, совестливая тема. Еще в своем дневнике 1955 года он писал: «Тема страшная, бросить нельзя — все равно что жить в комнате, где под полом труп члена семьи зарыт, а мы решили не говорить об этом и жить хорошо, и больше не убивать членов семьи». При этом Твардовский был чрезвычайно строг к художественному уровню произведений антисталинской направленности — по этой причине им были отклонены, в частности, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург и «Софья Петровна» Л. Чуковской.

В его дневнике, «Рабочих тетрадях» 1960-х годов, никаких упоминаний о Шаламове не встречается. Можно предполагать, что он прочел и стихи, и рассказы Шаламова лишь в поздний период (отсчет следует вести, вероятно, с середины 1960-х годов). До того Твардовский был страстно увлечен борьбой за Солженицына, за публикацию его новых вещей, прежде всего «Ракового корпуса». В связи с этим особого внимания заслуживает деликатная просьба Шаламова в письме А. Солженицыну, написанном в ноябре 1962 года: «Скажите как-нибудь Твардовскому, что в его журнале лежат мои стихи более года, и я не могу добиться, чтобы их показали Твардовскому. Лежат там и рассказы, в которых я пытался показать лагерь так, как я его видел и понял». Весь смысл этой просьбы — донести свои произведения до самого Твардовского, поскольку именно он, а не редакторы отделов решали вопрос о публикации. Впрочем, для Шаламова более важным являлось то, чтобы его произведения прочел и оценил главный редактор как весьма авторитетный в литературном мире человек, как профессионал, чей отзыв, даже устный, значил очень много («Я считаю Твардовского единственным сейчас из официально признанных

безусловным и сильным поэтом», — писал он еще в 1956 году А. Добровольскому). Но просьба Шаламова к Солженицыну относительно рассказов была вообще не выполнена, а по поводу стихов в книге «Бодался теленок с дубом» дано довольно двусмысленное объяснение, свидетельствующее о неискренности Солженицына в его стремлении помочь «лагерному брату». Твардовскому он предложил, по личному признанию, прочесть подборку, в которую входили «две маленькие поэмы “Гомер” и “Аввакум в Пустозерске” да около двадцати стихов, среди которых “В часы ночные, ледяные”, “Как Архимед”, “Похороны”». Твардовский же якобы сразу определил, что стихи Шаламова — «слишком пастернаковские», и на этом основании отверг их со словами: «Это не та поэзия, которая смогла бы тронуть сердце нашего читателя»*.

Вся эта версия, как представляется, нафантазирована самим Солженицыным. Ведь ничего «пастернаковского» в представленных стихах и близко нет: не считать же таковым шаламовского «Аввакума»! Самостоятельность его стихов — и стилистическая, и тематическая — была очевидной для всякого знатока поэзии, а тем более для крупного поэта, который никак не мог быть судьей в споре о том, что может, а что не может «тронуть сердце нашего читателя». Вероятнее всего, Солженицын в разговоре с Твардовским по поводу стихов Шаламова сам навел его на мысль о «пастернаковщине», проговорившись — нечаянно или сознательно — о былой дружбе Шаламова с Пастернаком. (Свойственную Солженицыну в первый период его громкой славы «говорливость» или, проще говоря, болтливость отмечал и сам Твардовский. Трудно было найти более явных антиподов в советской поэзии, чем Твардовский и Пастернак, не говоря уже об особо сдержанном отношении автора «Василия Теркина» к автору «Доктора Живаго» после событий с «нобелианой» 1958 года, хотя стоит отметить, что Твардовский был одним из немногих, кто выступал против исключения поэта из Союза писателей.)

Таким образом, есть основания полагать, что не кто иной, как Солженицын — вопреки его собственным высказываниям о стремлении помочь Шаламову — посеял семена предубеждения в отношении редактора «Нового мира» к заштатному рецензенту, а на самом деле — большому поэту и писателю. Причем у Солженицына была возможность в пору его фавора легко организовать и личную встречу Твардовского и Шаламова, что могло бы сразу решить все возникшие проблемы. Но до такой степени великодушия «солнечному» счастливчику-эгоцентри-

* *Солженицын А.* Бодался теленок с дубом // Новый мир. 1991. № 6. С. 39.

ку никогда подниматься не удавалось — он был занят только собой, своими планами, в которые всегда входило стремление считать себя «первым и единственным» в лагерной теме в литературе и в таковом же качестве преподнести себя на Западе.

Но «первым и единственным» могли считать Солженицына только не очень просвещенные соотечественники да наивные читатели за рубежом. Компромиссность его повести была понятна всем бывшим заключенным, которые легко определяли тяжесть перенесенных лично автором испытаний и его социальную роль за колючей проволокой. Все это вычитывалось и даже «высчитывалось» интуитивно, по своим лагерным законам, в произведениях каждого, кто касался этой темы: например, резко разделялись предвоенная и послевоенная «сидки», занятость на общих работах или в «придурках», кто «стучал» или «не стучал» и т. д. Резкие инвективы, которым подверглась повесть Солженицына со стороны некоторых бывших заключенных-писателей, например, Ю. Домбровского («Иван Денисович, шестерка, сукин сын, “каменщик, каменщик в фартуке белом” (цитируется известное стихотворение В. Брюсова о каменщике, строящем тюрьму. — *В. Е.*), потенциальный охранник и никакого восхваления не достоин. Крайне характерно, что отрицательными персонажами повести являемся мы, рассуждающие о “Броненосце Потемкине”, а положительными — гнуснейшие лагерные суки. Уже одна расстановка сил, света и теней, говорит о том, кем автор был в лагере»)*, — имели свои основания, поскольку автор романа «Хранитель древностей» прошел гораздо более суровые испытания и с полуслова любого повествования мог понять, кто был кем в зоне. Стоит заметить, что Ю. Домбровский был единственным, кто при жизни Шаламова называл его «великим писателем» (о чем говорил, например, Ф. Ф. Сучкову), а Шаламов, в свою очередь, чрезвычайно высоко ценил роман Домбровского, называя его «лучшим романом о 1937 годе».

У Шаламова на этот счет было еще более острое чутье, благодаря которому он сразу увидел и слабости «Ивана Денисови-

---

* Цит. по: *Косенко П.* Юрий Домбровский, хранитель древностей // Родина. 2004. № 2. С. 79. Ю. Домбровский не знал в подробностях лагерной биографии Солженицына, но он оказался удивительно проницательным. Как известно, во время своего заключения Солженицын был завербован в осведомители под кличкой Ветров, о чем он сам поведал в книге «Архипелаг ГУЛАГ», категорически отрицая при этом исполнение каких-либо обязанностей в данной роли (по поводу чего опытные лагерники выражали сомнение). Заслуживает внимания и глубина другой мысли Ю. Домбровского, высказанной в конце 1960-х годов в переписке с писателем В. Семиным: «Будь у нас чуть умнее литературная политика — вот и не было бы “эффекта Солженицына”» (Новый мир. 2004. № 5).

ча», и фальшивость, художественную бездарность произведений «несгибаемых коммунистов» Г. Шелеста, Б. Дьякова, Г. Серебряковой и А. Алдан-Семенова, и в то же время чрезвычайно высоко поставил воспоминания генерала А. Горбатова, который с большой правдивостью, на его взгляд, воспроизвел картину своего пребывания на прииске «Мальдяк» на Колыме в 1939 году.

Но Шаламов никогда не заводил речь о чьем-либо приоритете или превосходстве. Он мыслил критериями не только правдивости, но и художественности, причем последний фактор имел первенствующее значение. «В искусстве места хватит всем... Так называемая лагерная тема — очень большая тема, где разместится сто таких писателей, как Солженицын, пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно», — не раз подчеркивал он. В соответствии с этими критериями он и подходил к творчеству Солженицына.

Установившаяся в конце 1962 года переписка между писателями показывает, что поначалу у них сложились вполне доверительные отношения — по крайней мере со стороны Шаламова: его письма весьма уважительны и пространны, в то время как Солженицын отвечал очень сдержанно и кратко, ввиду «крайней занятости». Следует заметить, что еще при жизни Солженицын запретил печатать свою часть переписки с Шаламовым. В истории русской литературы такие случаи крайне редки, и поэтому мы вольно или невольно должны делать акцент на шаламовской части эпистолярия.

Самое большое его письмо, отправленное в ноябре 1962 года, целиком связано с оценкой «Ивана Денисовича». Это абсолютно искренний, доброжелательный и в то же время строго критический разбор повести Солженицына. Начиная с обстоятельств чтения («...я две ночи не спал, читал, перечитывал повесть, вспоминал»), продолжая первыми комплиментами («...повесть очень хороша, умна, очень талантлива») и анализом наиболее удачных образов и деталей («глубоко и очень тонко показанная крестьянская психология Шухова», «Алешки-сектанта», «бригадира» и т. д.) — и, наконец, переходя к основным замечаниям по поводу изображения лагеря в принципе («Около санчасти ходит кот — невероятно для настоящего лагеря — кота давно бы съели»; «Блатарей в вашем лагере нет! Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами»; «Хлеб оставляют дома! Ложками едят! Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время...») — все максимально объективно. Шаламов понимал, что повесть об Иване Денисовиче проходила многоступенчатую цензуру, что автор не мог сказать *всего*, но это *все* в

любом случае ограничено опытом «легкого» лагеря, а настоящего (колымского, воркутинского, тайшетского и любого другого) автор просто не видел и не знал.

Оценка Шаламова далека от какого бы то ни было пристрастия или чувства соперничества — писатель лишь констатирует ограниченность лагерного кругозора автора, и поэтому его письмо можно воспринимать как послание из другого мира гораздо более «бывалых» людей. Об этом ярче всего свидетельствуют последние многозначительные строки письма Шаламова: «Со своей стороны я давно решил, что всю свою оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

Критическая часть замечаний (по поводу «кота» и пр.), несомненно, задела Солженицына, как и распространявшиеся Шаламовым устно иронические высказывания: «Ну, вот, еще один лакировщик явился» (о чем свидетельствовал, в частности, О. Н. Михайлов). Трудно судить, в какой мере эта молва повлияла на возникновение у Солженицына чувства соперничества и на его дальнейшие литературные планы, но в целом, очевидно, повлияла. Об этом можно судить по записи в дневнике Шаламова об одном из пересказанных ему публичных выступлений Солженицына: «Колымские рассказы... Да, читал. Шаламов считает меня лакировщиком. А я думаю, что правда на половине дороги между мной и Шаламовым». Из этого можно судить, что автор «Ивана Денисовича» стремился всеми силами преодолеть утвердившийся авторитет Шаламова в лагерной прозе и заявить свою «правду» гораздо более весомо.

Но это было позже. При личной встрече в июле 1963 года Солженицын говорил Шаламову совсем другое: «Хотел писать о лагере, но после Ваших рассказов думаю, что не надо. Ведь опыт мой четырех, по существу, лет (четыре года благополучной жизни)». Как можно понять, «Колымские рассказы» произвели тогда на автора «Ивана Денисовича» сильнейшее впечатление, и он волей-неволей признал огромные преимущества Шаламова. Об этом ярко свидетельствует и фраза Солженицына, занесенная в дневник Шаламова 2 июня 1963 года, в связи с присылкой его корреспондентом рукописи своего рассказа «Для пользы дела»: «*Я считаю Вас моей совестью* (курсив мой. — *В. Е.*) и прошу посмотреть, не сделал ли я чего-нибудь помимо воли, что может быть истолковано как малодушие, приспособленчество».

С такими ответственными словами, как «моя совесть», обращаются обычно очень бережно и остаются им верны. Увы, как оказалось, со стороны Солженицына это была лишь риторическая фигура краткого времени действия. Такими же неискренними вышли на поверку и его слова о том, что о лагере, с

учетом своего малого опыта, он больше писать не будет. На самом деле у автора «Ивана Денисовича» уже тогда существовали весьма обширные и амбициозные замыслы на этот счет: после своей исторической публикации в «Новом мире», умноженной миллионным тиражом «Роман-газеты», он начал получать со всей страны воспоминания бывших лагерников, что послужило прообразом «Архипелага ГУЛАГ».

К этому вопросу — об «Архипелаге» и об отказе Шаламова от предложения Солженицына совместно работать над книгой — мы обратимся чуть позже, а пока — об официальных оценках «Колымских рассказов» и причинах, по которым они были отвергнуты. В ноябре 1962 года, почти одновременно с передачей рассказов в «Новый мир», Шаламов подал заявку в издательство «Советский писатель»: «Прошу издать мою книгу “Колымские рассказы”». В рукопись входили 33 рассказа — те, что составили затем первый сборник из задуманного им цикла (напомним, что в итоге за 1954—1973 годы он написал более 130 рассказов, составивших шесть самостоятельных, со своей внутренней художественной логикой, сборников: «Колымские рассказы», «Очерки преступного мира», «Левый берег», «Артист лопаты», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2»).

Ответ из «Советского писателя» он получил ровно через год — в ноябре 1963 года. Видимо, в издательстве долго раздумывали над необычной суровостью и жесткостью шаламовских рассказов, над тем, как лучше сформулировать заведомо отрицательный ответ с учетом политической конъюнктуры. Обо всем этом можно судить по рецензии, которую Шаламов в итоге получил и которая была написана литературоведом и критиком журнала «Октябрь» Анат. Дремовым. Рецензент отмечал, что рассказы «написаны квалифицированным, опытным литератором, читаются с интересом». Но, останавливаясь на отдельных новеллах («На представку», «Ночью», «Апостол Павел», «Заклинатель змей», «Ягоды», «Шоковая терапия» и др.), он видел в них лишь «жутковатую мозаику», основными эмоциональными мотивами которой являлись, по его словам, «чувство голода, превращающее каждого человека в зверя, страх и приниженность, медленное умирание, безграничный произвол и беззаконие». Все это, по мнению Анат. Дремова, «фотографируется, нанизывается, ужасы нагромождаются без всяких попыток как-то все осмыслить, разобраться в причинах и следствиях описываемого». В связи с этим рецензент категорически заявлял, что опубликование сборника «было бы ошибочным», что он «не может принести читателям пользы, так как натуралистическая правдоподобность факта, которая в нем,

несомненно, содержится, не равнозначна истинной, большой жизненной и художественной правде».

Вся эта фразеология выдает типичного представителя партийной критики, причем весьма опытного. Анат. Дремов, разумеется, учитывал и последние веяния во властной политике. Он ссылался на слова Н. С. Хрущева о «ненужности увлечения лагерной темой», о том, что «такие произведения не должны убивать веру в человека, в его силы и возможности», и при этом апеллировал к повести Солженицына: «Если Солженицын старался и на лагерном материале провести мысль о несгибаемости настоящего человека, то Шаламов, наоборот, всем содержанием рассказов говорит о неотвратимости падения — нравственной и физической гибели человека в лагерных условиях, акцентируется на том, как от голода, холода, побоев, унижений, страха люди превращаются в зверей».

Подобное противопоставление Шаламова Солженицыну на данном этапе не являлось нонсенсом, а показывало лишь рептильность партийной критики. Ведь в 1963 году Хрущев был еще у власти, повесть «Один день Ивана Денисовича» была выдвинута «Новым миром» на соискание Ленинской премии, и издательство, очевидно, воспользовалось этим удобным случаем для того, чтобы отклонить «Колымские рассказы» под благовидным предлогом. Об этом ярко свидетельствует и сопровождавший рецензию Анат. Дремова официальный ответ В. Петелина, заместителя заведующего редакцией русской советской прозы издательства «Советский писатель»:

«Уважаемый Варлам Тихонович!

Редакция познакомилась с рукописью “Колымские рассказы”. При знакомстве со сборником создалось впечатление, что Вы опытный и квалифицированный литератор.

Однако так называемая лагерная тема, взятая Вами в основу сборника, очень сложна, и, чтобы она была правильно понята, необходимо серьезно разобраться в причинах и следствиях описываемых событий.

На наш взгляд, герои Ваших рассказов лишены всего человеческого, а авторская позиция антигуманистична.

Посылаем Вам рецензию и редакционное заключение, которое выражает мнение редакции о Вашей рукописи. Сборник “Колымские рассказы” возвращаем».

Писатель был обескуражен и рецензией, и издательским ответом, он хранил их в своем архиве и показывал близким друзьям, негодуя по поводу примитивных убийственных формулировок, вроде «натурализма», «сборник не может принести читателям пользы» и особенно по поводу «антигуманистичности» авторской позиции. (Подобное обвинение не применя-

лось в советской критике, кажется, с 1930-х годов, когда оно относилось к Достоевскому.)

Однако рассчитывать на более благожелательный официально-литературный отзыв на свои рассказы в условиях 1960-х годов Шаламову вряд ли приходилось. «Колымские рассказы» вступали в слишком явный антагонизм не только с идеологическими установками, с постулатами соцреализма, но и с соответствовавшими им нормами массовой эстетики, которая, что известно по многочисленным газетным кампаниям (яркий тому пример — травля Б. Пастернака), отличалась крайней степенью агрессивности в отторжении всего, что нарушало привычные представления о социальном оптимизме нового строя, о «добре, побеждающем зло», о том, что «человек — это звучит гордо», тем более если это — «настоящий советский человек». В пропагандистской версии этот человек мыслился как существо идеально-героическое и в любой ситуации, даже на Колыме, живущее верой в будущее. В связи с этим можно полагать, что со стороны определенного рода читателей (будь опубликован хоть один рассказ Шаламова — скажем, «Ночью» или «Тифозный карантин») на писателя могли бы обрушиться и более резкие обвинения, вроде: «Советский человек не может превратиться в животное! Автор клевещет на советского человека!» По такой логике было недалеко и до ярлыка «антисоветизма», но, к счастью, на данном этапе дело ограничилось «антигуманизмом» («антисоветизм» будет впереди). Можно с достаточным основанием утверждать, что «Колымские рассказы» были обречены на «непроходимость» в любом советском издании даже в полулиберальные времена Хрущева, не говоря уже о последующем периоде, когда тема сталинских лагерей стала закрытой. И основными мотивами «непроходимости» были не только идеологические факторы, но и эстетические, связанные с проблемой отражения сущности человеческой природы (на философском языке — проблемой антропогенеза истории), которая осмысливалась Шаламовым совсем не оптимистически.

Однако абсолютизировать эту самую характерную, казалось бы, составляющую мировоззрения Шаламова-художника и делать на ней главный акцент, как поступали и советские критики, и некоторые позднейшие интерпретаторы «Колымских рассказов», все же не стоило бы. Ведь недаром он написал такой рассказ, как «Последний бой майора Пугачева», где речь идет отнюдь не о «падении» человека, а о его способности к героическому сопротивлению! Рассказ этот появился, напомним, задолго до «Ивана Денисовича», в 1959 году, причем его сюжет — вооруженный побег из лагеря — был ошеломительно

смелым для эпохи оттепели. Такой формы сопротивления обстоятельствам не принял бы ни один присяжный критик. Подпольная лагерная партячейка со штудированием Маркса — пожалуйста, а уходить за зону с оружием в руках — никак нет... Рассказ этот чрезвычайно важен для понимания не только философии Шаламова, но и его эстетики. Отталкиваясь от некоторых фактов послевоенной жизни Колымы*, писатель создает здесь свою художественную реальность — «преображенный документ», как он выражался. Майор Пугачев и его товарищи воплощают идеал писателя — во многом романтический, крайне редко встречающийся в действительности, образ людей, которые предпочитают унижениям в неволе героическую борьбу и смерть. Исторически этот идеал связан у Шаламова с жертвенными фигурами революционеров, которым он поклонялся с молодости, но в сущности «Последний бой майора Пугачева» представляет собой страстный колымский парафраз извечной общечеловеческой и христианской темы «смертию смерть поправ»...

Близких этой теме рассказов немного — «Первый зуб», «Лучшая похвала», «Житие инженера Кипреева», — но их создание и включение в сборники было глубоко продуманным шагом, служившим одной из художественных задач писателя: «Возможно ли активное влияние на свою судьбу, перемалываемую зубьями государственной машины, зубьями зла? Иллюзорность и тяжесть надежды. Возможность опереться на иные силы, чем надежда» (эссе «О прозе», 1965).

Вряд ли Шаламов надеялся на скорую возможность напечатать свои рассказы, тем более «Майора Пугачева». Маленькая иллюзия лишь мелькнула, когда появился «Иван Денисович». А в дальнейшем, особенно после ответов из «Советского писателя», ему стало понятно, что на пути его прозы поставлен железный шлагбаум.

Единственный из рассказов колымского цикла ему удалось опубликовать в 1965 году в журнале «Сельская молодежь» (№ 3) благодаря усилиям работавшего в этом журнале Ф. Ф. Сучкова, писателя и скульптора, лепившего потом у себя в мастерской портрет Шаламова. Этот рассказ — лирико-философская миниатюра «Стланик» — был «безобиден», поскольку лишь многоопытные читатели могли догадаться, что в нем идет речь о судьбе человека, прошедшего Колыму.

---

* Подробнее о реальной основе рассказа «Последний бой майора Пугачева», о соотношении в нем вымысла и факта, а также о художественных особенностях колымской прозы Шаламова в целом написано в нашей статье «Кто он, майор Пугачев?» в книге «Варлам Шаламов и его современники».

Для характеристики подобных ситуаций обычно употребляют «утешительные» выражения: «Общество не дозрело до восприятия такого рода литературы», «художник опередил свое время». Все это верно. Но каковы же при этом чувства самого художника и что ему делать? Тупик? Отчаяние? Выработка новых стратегий выхода к читателю — через самиздат или тамиздат?

Уж о чем Шаламов меньше всего думал, так это о стратегиях. У него не было ни малейшего стремления к самоутверждению в общественном мнении, к шумной славе, тем более среди так называемого массового читателя, мнение которого он всегда ценил очень невысоко. «Опыт говорит, что наибольший читательский успех имеют банальные идеи, выраженные в самой примитивной форме», — прямо заявлял он в письме 1966 года А. Солженицыну в связи с прочтением романа «В круге первом», вежливо оговариваясь: «Я не имею в виду Вашего романа, но в "Раковом корпусе" такие герои и идеи есть».

Это было последнее письмо Шаламова Солженицыну, написанное на исходе их внешне взаимоуважительных, но внутренне всегда напряженно-полемичных отношений. Надо напомнить, что первая личная встреча писателей состоялась в ноябре 1962 года в редакции «Нового мира» и сразу выявила разногласия. Как вспоминал Солженицын, речь шла о том, «будет ли мой рассказ ледоколом, таранящим дорогу и всей остальной правде, лагерной и не лагерной, либо (и Шаламов склонялся так): это — только крайнее положение маятника, и теперь покачнет нас в другую сторону... Пессимизм Шаламова оказался верней»*.

Шаламов по-своему излагал суть этого спора. В том же ноябрьском письме Солженицыну он писал: «Слова мои в нашем разговоре о ледоколе и маятнике не были случайными словами. Сопротивление правде чрезвычайно велико. А людям нужны ведь не ледоколы, не маятники. Им нужна свободная вода, где не нужно никаких ледоколов».

Последняя фраза как раз и выражает суть его писательской позиции. Шаламову, как можно понять, чужд всяческий «ледоколизм» (читай: радикализм, революционаризм, открытое литературно-политическое противостояние сложившейся системе — все то, что очень близко Солженицыну и в скором времени составит основное содержание его деятельности). Качание маятника в обратную сторону он предвидел, но это не «пессимизм», а скорее скептицизм, потому что Шаламов прекрасно сознавал, что в обществе, 30 лет жившем по сталин-

* *Солженицын А.* С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4. С. 163.

ским законам, инерция следования этим законам будет давать о себе знать еще достаточно долго. Но в возвращение маятника в изначальное положение он не верил, ибо в обществе, на его взгляд, произошли необратимые изменения. Эпоха «свободной воды» (Шаламов имеет в виду прежде всего свободу в литературе и возможность говорить обо всем, что увидено и пережито при сталинском режиме), по его глубокому убеждению, рано или поздно наступит, и задача художника — «уж если ты видел — надо сказать правду, как бы она ни была страшна». Поэтому его главная цель — писать и писать, не считая, как и прежде, вопрос «печататься — не печататься» первостепенным.

Это, надо заметить, очень близко позиции пушкинского монаха-летописца Пимена да и самого Пушкина, который тоже немало писал, как стали говорить позже, «в стол», без надежды на прижизненную публикацию. Такая ассоциация не случайна: Шаламов в послелагерный период, переосмысливая историческую роль русской литературы XIX века, целиком ориентируется на позднего, зрелого Пушкина как в эстетическом плане, так и в плане независимого социального поведения художника. «Служенье муз не терпит суеты», «Ты царь — живи один», «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит», а главное: «Никому / отчета не давать, себе лишь самому / служить и угождать, для власти, для ливреи / не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи» («Из Пиндемонти») — этим постулатам он следует скорее бессознательно, однако пример великого поэта постоянно стоит перед его глазами. Афористическая фраза Шаламова из его дневника: «Лучшее, что есть в русской поэзии, — поздний Пушкин и ранний Пастернак» — ярче всего это подчеркивает, как и постоянные сетования на то, что «пушкинское знамя растоптано» литературой второй половины XIX века, прежде всего Л. Толстым с его морализмом и взятой на себя миссией учить человечество, как ему следует жить... К толстовской традиции Шаламов позже отнесет и Солженицына. Но в годы общения с автором «Ивана Денисовича» последний еще не обнаруживал склонности к какому-либо проповедничеству, и Шаламову было интересно беседовать с ним на лагерные и другие темы.

Отвечая на приглашение Солженицына и его жены Н. А. Решетовской, он собирается приехать к ним в Солотчу, в дом, купленный недалеко от Рязани. Интересны подробности о сомнениях Шаламова по поводу этой поездки, которые раскрывают его физическое состояние и привычки: «Переезд в вагоне до Рязани и на телеге до Солотчи неизбежно выведет меня из строя на несколько дней... Я уже семь лет варю себе еду сам и ни в какой столовой обедать не могу. В этой тщательно-

сти диеты — одна из моих побед, и я не могу поставить на карту все, что сберегалось в течение многих лет. Я не ем никакого мяса, никаких мясных супов, никаких консервов, ничего приготовленного из консервов, ничего жареного... Наконец — увы, холода. Поддерживать печи в избе я совершенно не способен... Я не в силах ехать в дачные условия. Простите меня». (Письмо не было отправлено.)

Однако Шаламов все-таки собрался и поехал. Было это в середине сентября 1963 года. Основным мотивом служило желание как можно подольше и пообстоятельнее поговорить с Солженицыным. Увы, больших и серьезных разговоров в итоге не получилось. После кратких бесед во время прогулок Солженицын уходил в свою комнату — работать, писать, а Шаламову, с таким трудом преодолевшему дорогу ради душевных откровений, давал читать свои старые стихотворные рукописи. Это странное гостеприимство поначалу не вызвало у Шаламова резкого отторжения: все-таки хозяин действительно занят серьезным трудом, а сам он рад и малому общению наедине с природой. Поездка в Солотчу отразилась в двух прекрасных (можно сказать — и прекраснодушных) стихотворениях Шаламова, написанных экспромтом там же, в деревне, и позднее вошедших в сборник «Московские облака» (1972):

Сосен светлые колонны
Держат звездный потолок,
Будто там, в садах Платона,
Длится этот диалог.
Мы шагаем без дороги,
Хвойный воздух, как вино,
Телогрейки или тоги —
Очевидно, все равно...

Второе стихотворение, «Рязанские страданья», тоже связано с пребыванием у Солженицына: «Две малявинских бабы стоят у колодца — / Древнерусского журавля — / И судачат... О чем им судачить, Солотча, / Золотая, сухая земля... Неотмытые храмы десятого века, / Добатыевских дел старина, / А заря над Окой — вот мечта человека, / Предзакатная тишина».

Поэт в Шаламове, тем более при соприкосновении с природой, почти всегда брал верх над рассудочным и трезвым писателем-мыслителем. Но поездка в Солотчу, планировавшаяся на неделю, а сокращенная до двух дней (по его инициативе), показала не только несовместимость характеров двух писателей, но и открыла Шаламову одну из неизвестных ему дотоле литературных черт Солженицына — стихотворное графоманство, которое он обнаружил в переданных ему на прочтение стихах (очевидно, это были поэма «Прусские ночи» и другие

тюремно-лагерные стихи, опубликованные Солженицыным лишь в 2004 году в книге «Дороженька»). Поэзия в этих длинных, плохо рифмованных виршах Солженицына, как говорится, не ночевала, и Шаламову стали во многом ясны истоки литературного таланта писателя, связанные, как он выражался, с «недержанием речи письменной». Кто знает, может, и стихи Шаламова, написанные в Солотче, стали его ответом своему визави-сопернику о том, что такое настоящая поэзия...

По свидетельству сына О. С. Неклюдовой Сергея, когда Шаламов вернулся из Солотчи, у него были «белые от ярости глаза». С тех пор он старался больше не встречаться с Солженицыным. Но все же год спустя состоялось еще одно короткое свидание, о котором оставил воспоминания сам Солженицын, назвав и дату — 30 августа 1964 года. Инициатива встречи принадлежала ему и была связана с «историческим» предложением совместно работать над «Архипелагом ГУЛАГ». В своих мемуарах автор сделал акцент на сугубой конспиративности разговора, происходившего в одном из московских скверов: «Улеглись мы на травке в отдалении от всех и говорили в землю — разговор был слишком секретен». Здесь, как представляется, сработала поздняя фантазия Солженицына: лежать «на травке» Шаламову, которому каждое непривычное движение давалось с трудом, было весьма неловко, да и от подобных игр в конспирацию он излечился еще в молодости. Но описание итога этой встречи у Солженицына, скорее всего, близко к истине: он вспоминал, что на изложенный им «с энтузиазмом весь проект и предложение соавторства» он получил от Шаламова «неожиданно быстрый и категорический отказ» со словами: «Я хочу иметь гарантию, *для кого* пишу»*.

Курсивное ударение сделано самим Солженицыным, и странно, что он ни сразу, ни 40 лет спустя не понял, что имел в виду Шаламов, списывая его вопрос на якобы присущее собеседнику тщеславие, на его «сильную мысль об известности» (что составляет скорее проекцию устремлений самого Солженицына). Между тем смысл короткого и быстрого ответа Шаламова, как представляется, предельно прост и однозначен: вопросом «для кого» он обозначал свое сомнение в том, для какого читателя — западного или советского — предназначен «проект» и чьим интересам — доброжелательным или недоброжелательным — он будет служить. Солженицын, как видно, даже не задумался о такой интерпретации вопроса Шаламова, и это лишний раз показывает, что сам он уже был готов к своей роли

---

* *Солженицын А.* С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4. С. 166.

«главного лагерного бунтаря» в мировом театре. Не задумался он и о том, что для его предполагаемого партнера была сама по себе оскорбительна роль «подручного», используемого в политических целях. Только позднее, как показывает мемуар Солженицына, он пришел к выводу, что у «сынов ГУЛАГа» могут быть разные взгляды и «мирочувствия», выложив при этом задним числом с высоты своего («нобелианского» и пр.) положения целый ряд обвинений Шаламову — за его позицию «сочувственника революции и 20-х годов», за его симпатии к «троцкистам» и эсерам, в конце концов — за отсутствие «жажды спасения Родины», присовокупив к этому оскорбительную фразу о «безумноватых уже» (тогда, в 1964 году?!) глазах Шаламова...

Весь спектр обсуждавшихся вопросов («на травке» или в иной ситуации) Шаламов не зафиксировал, но в его дневнике, обозначенном буквой «С», куда записывались все важные разговоры с Солженицыным, сохранилась четкая запись: «Для Америки, — быстро и наставительно говорил мой новый знакомый, — герой должен быть религиозным... Писатель должен говорить языком большой христианской культуры — все равно — эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе». Шаламов задал на этот счет лишь один вопрос: «А Джефферсон?» — на что получил ответ: «Ну, когда это было»...

Они говорили на разных языках. Солженицын тогда, возможно, и не понял, почему Шаламов упомянул Т. Джефферсона. Между тем Шаламову это имя — автора знаменитой Первой поправки к Конституции США, провозглашавшей свободу вероисповедания и отделение государства от церкви — было знакомо с детства, от отца. Но более всего шокировала Шаламова проговорка Солженицына о своей главной цели — «успехе на Западе», особенно в сочетании с «жаждой спасения Родины»... Отторжение от писателя с подобными литературно-мессианскими и одновременно прагматическими намерениями было неизбежным — исключительно по нравственному чувству, столь острому у автора «Колымских рассказов». Об этом ярче всего свидетельствует его запись в дневнике, непосредственно связанная с предложением о совместной работе над «Архипелагом»: «Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего, потому, что я надеюсь сказать свое слово в русской прозе, а не появиться в тени такого в общем-то дельца, как Солженицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына»*.

* Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 24—25. См. также: *Шаламов В.* Собрание сочинений: В 6 т. М., 2006. Т. 5. С. 363—364.

Следует, наверное, подчеркнуть слова Шаламова — «неизмеримо более важными *для страны*», ибо за ними стоят забота прежде всего о родной стране и стремление донести выстраданную им правду до своих соотечественников. Установки на западного читателя у Шаламова заведомо не существует — он пишет исключительно для России и ее людей, чтобы они поняли, как и что происходило в эпоху Сталина и что может делать человек с человеком в нечеловеческих условиях. Стоит заметить, что и сам «проект» «Архипелага ГУЛАГ» как книги, построенной главным образом не на своих, а на чужих свидетельствах и на чужих рукописях, не принадлежащих автору по праву, он считал безнравственным: «Я никогда не мог представить, что может в двадцатом столетии появиться художник, который может собрать воспоминания в личных целях».

Политическую ангажированность Солженицына, его четко рассчитанную стратегию на использование лагерной темы для личного писательского самоутверждения на Западе и одновременно — для дискредитации всего советского строя — Шаламов понял сразу после последнего разговора, со всей проницательностью старого зэка. У Шаламова совершенно иной взгляд на российскую и советскую историю, на Февральскую и Октябрьскую революции. Никаких сказок о благоденствии дореволюционной России он не приемлет, иначе зачем бы ее лучшие люди шли в ссылки, на каторги и виселицы? И после Октября жизнь могла развиваться по-разному. Он по-прежнему убежден, что «Октябьская революция была мировой революцией» (из «Воспоминаний»). Краеугольный камень его философии: «Сталин и Советская власть — не одно и то же» (из «Вишерского антиромана», 1970), потому что он видел начало советской власти, видел, во что она превратилась при Сталине, и видит сейчас, что жизнь постепенно, с трудом, но возвращается в нормальное русло. Ставить палки в колеса этой власти он не намерен, а бороться с нею — тем более. Дело писателя, художника состоит совсем в другом...

Все эти убеждения Шаламов будет высказывать и развивать — как главную тему с вариациями — на протяжении всей последующей литературной работы. Умонастроения писателя (точнее — основные принципы его мировоззрения) весьма близки общим умонастроениям демократического советского «шестидесятничества», олицетворявшегося Твардовским и «Новым миром», однако его выделяет, с одной стороны, гораздо более резкое отторжение Сталина и всей его деятельности, с другой — гораздо более глубокий и внеидеологизированный взгляд на природу человека и на «языческие» особенности русской культуры, которые, по его мнению, во многом способст-

вовали появлению фигуры Сталина. В «коммунизм», тем более в версии Н. С. Хрущева, он не верит, но идеалы социализма, впитанные с юности, для него святы, и он не видит им какой-либо альтернативы — либерально-буржуазного, теократического или монархического порядка...

Между тем А. Солженицын, продолжая «двойную игру» и разжигая ажиотаж вокруг своего имени, одновременно с давлением на «Новый мир» и Твардовского в связи с публикацией «Ракового корпуса», запускает свою повесть в неимоверном количестве — 300 экземпляров — в самиздат, в явном расчете на отклик на Западе. В ноябре 1966 года происходит своего рода «судьбоносное» обсуждение его повести на расширенном заседании секции прозы московской писательской организации. На нем вокруг довольно слабого в художественном отношении «Ракового корпуса» вьются панегирические восторги (А. Борщаговский: «Это вещь глубины “Смерти Ивана Ильича” Толстого»; Ю. Карякин: «Солженицын — не солжет!» и т. д.). А после того как Солженицын в апреле 1967 года стал повсеместно, начиная с Запада, распространять свое письмо IV съезду писателей с требованием отменить цензуру с явно шантажистским условием: «Никому не перегородить путей правды, и за ее движение я готов принять и смерть», — в литературной среде возникает то, что писатель Д. Данин назвал «идолизацией» Солженицына: «Кончается работа головы и начинается работа колен»*.

Ото всех этих событий Шаламов крайне далек. Он элементарно не член Союза писателей и не заслуживает приглашения. Не читал он и позднейших откровений А. Солженицына (в книге «Бодался теленок с дубом») о том, как сам писатель оценивал казавшиеся концептуальными для многих рассуждения героя «Ракового корпуса» Шулубина о «нравственном социализме». Солженицын на этот счет высказался откровенно: эта мысль отнюдь не являлась его манифестом — ее прочли так, «потому что хотели прочесть, потому что им *надо* было видеть во мне сторонника социализма, так заворожены социализмом — только бы кто помахал им этой цацкой».

Про эту «цацку» — предмет веры, надежды и жизненных устремлений миллионов людей на разных концах света — Солженицын на родине в 1960-е годы никому высказываться еще не решался. Но для Шаламова такие «перлы» мысли его оппонента были бы неудивительны. Он слишком хорошо понял характер и устремления автора «Ивана Денисовича». В то время как советская либеральная публика и западные читатели восторга-

---

* *Данин Д.* Дневник одного года, или Монолог-67 // Звезда. 1997. № 5. С. 196.

лись смелостью автора фразы о «нравственном социализме» и сочувствовали ему как преследуемому за свои политические убеждения, Шаламов просто — почти как чистый «эстет» — возмущался художественной фальшивостью новейших произведений Солженицына. О «Раковом корпусе», как мы знаем, он отозвался очень сдержанно. И в то время, как читатели романа «В круге первом» восторгались «нравственной силой» произведения, приравнивая ее к толстовской, Шаламов писал об одном из главных положительных образов этого романа — дворнике Спиридоне, который по воле автора призывал «атомную бонбу» на Сталина и при этом беседовал на нравоучительные темы — крайне холодно, с высоты своего опыта: «Спиридон — слаб, особенно если иметь в виду тему стукачей и сексотов. Из крестьян стукачей было особенно много. Дворник из крестьян обязательно сексот и иным быть не может. Как символический образ народа-страдальца фигура эта неподходящая»*.

Пропустить мимо ушей и пережить столь уничтожительный отзыв писателю открыто заявленной «толстовской» школы с ее обязательной апелляцией к «народной» правде было психологически очень трудно. После окончательного прекращения отношений, находясь еще в СССР, Солженицын сделал лишь одно краткое сообщение об авторе «Колымских рассказов». Выступая в 1968 году на встрече с читателями в Институте востоковедения, он заявил: «Шаламов тяжело болен после одиннадцати лет лагерей», — хотя он прекрасно знал, что этих лет было двадцать, а слова «тяжело болен» можно было считать прелюдией к последующему «умер». Между тем для Шаламова, несмотря на все его хвори, 1960-е годы были одним из плодотворнейших периодов его творчества.

Глава пятнадцатая

ПОИСКИ ПОНИМАНИЯ И РАЗРЫВ С «ПРОГРЕССИВНЫМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ»

Довольствуясь всю жизнь малым, Шаламов с большой радостью воспринял выпуск своего первого крохотного поэтического сборника «Огниво» (1961). Кроме важных для него поло-

---

* Искусственное, литературно-вторичное, «платонокаратаевское» происхождение этого образа подтвердил позднее и Л. Копелев, сидевший вместе с Солженицыным в привилегированной марфинской «шарашке». По свидетельству Л. Копелева, дворник, прототип Спиридона, действительно был штатным осведомителем (см.: *Данин Д.* Указ. соч.).

жительных откликов в прессе этот сборник неожиданно предоставил ему возможность краешком прикоснуться к новейшей форме публичной известности — на Всесоюзном телевидении, на единственном тогда в СССР канале, состоялась передача с его участием. Организовал и вел ее Борис Слуцкий. Шаламов читал стихи, но, поскольку эта передача шла в эфир отнюдь не в лучшее время и не анонсировалась, зрителей у нее было немного. (Запись передачи, к сожалению, не сохранилась.) Единственный, кто прислал ему отклик, — его старый друг Я. Д. Гродзенский, живший в Рязани. В ответ Шаламов 14 мая 1962 года написал: «Я рад, конечно, возможности выступить — от имени мертвых Колымы и Воркуты и живых, которые оттуда вернулись...»

Это был своего рода первый, ощутимый для Шаламова-поэта признак общественного внимания. Но второго публичного выступления ему пришлось ждать очень долго — лишь 13 мая 1965 года его пригласили на вечер памяти О. Э. Мандельштама, который организовал И. Г. Эренбург. Вечер проходил в почти тайном месте — на мехмате МГУ, куда собрался, несмотря на всяческие препоны, широкий круг людей, увлеченных поэзией. Шаламов читал здесь свой рассказ «Шерри-бренди», предварительно сказав несколько слов о поэте и об акмеизме. Слова были явно полемичными и «крамольными»: «Принципы акмеизма оказались настолько здоровыми, живыми, что список участников напоминает мартиролог, — мы говорим <не только> о судьбе Мандельштама. Известно, что было с Гумилевым. Нарбут умер на Колыме. Материнское горе, подвиг Ахматовой известны широко, — стихи этих поэтов не превратились в литературные мумии. Если бы этим испытаниям подверглись символисты, был бы уход в монастырь, в мистику».

Это были глубоко продуманные мысли, произнесенные не скороговоркой, а со всей весомостью каждого слова, и рассказ «Шерри-бренди» соответствовал им по своей трагической интонации. Не случайно автор стенограммы вечера А. К. Гладков счел необходимым подчеркнуть детали речи Шаламова: «Бледный, с горящими глазами, напоминает протопопа Аввакума, движения некоординированные, руки все время ходят отдельно от человека, говорит прекрасно, свободно, на последнем пределе — вот-вот сорвется и упадет...» Немаловажна и другая деталь: уже в начале чтения рассказа об умирающем поэте по рядам в президиум передали записку: кто-то из начальства просил «тактично прекратить это выступление». Председатель (Эренбург) «положил записку в карман, Шаламов продолжал читать...»*.

---

* *Шаламов В.* Воспоминания. М., 2001. С. 304—315.

Последний штрих чрезвычайно характерен для начавшегося нового отсчета времени: в ноябре 1964 года Н. С. Хрущев лишился своих государственных и партийных постов и о прошлом рекомендовано было не вспоминать.

Между тем 1964 год для Шаламова поначалу окрашивался чуть ли не в радужные тона. Вышел его второй сборник стихов «Шелест листьев», получивший несколько очень лестных отзывов (рецензию Л. Левицкого поместил и «Новый мир»). По сложившимся правилам выпуск второго сборника в общесоюзном издательстве открывал любому поэту двери в Союз писателей СССР. Но с Шаламовым этого не случилось. Заявлений о приеме в СП нигде в его архивах не найдено, и об этой ситуации можно только гадать: то ли ему сразу отказали, то ли «рекомендовали», как водится, в связи с «особыми обстоятельствами» не подавать заявления. А вот А. Солженицын в Союз писателей был принят мгновенно; в нем состояла еще в 1943 году и жена Шаламова О. С. Неклюдова как детская писательница, и эта, в сущности, формальная процедура отрезала Шаламова от немалых льгот, которые имели размножившиеся только в одной Москве семь тысяч членов Союза писателей. Объяснение, скорее всего, нужно искать в отказах от печатания «Колымских рассказов», но прежде всего — в общей смене политического курса, который отводил прозу Шаламова за край официально признанной литературы.

Естественно, первый сборник «Колымских рассказов» стал распространяться в самиздате. Сам Шаламов принимал в этом минимальное участие — у него просто не было денег на оплату труда машинистки, и он раздавал и рассылал на прочтение имевшиеся у него экземпляры только близким людям. Что-то, безусловно, уходило и из издательства, и из «Нового мира», и от машинисток (Шаламов пользовался поначалу услугами М. К. Баранович, перепечатывавшей Б. Пастернаку «Доктора Живаго», затем — услугами Е. А. Кавельмахер). Самиздат был неконтролируемым, сколько экземпляров делает «Эрика» или старый «Ундервуд» — известно, но копии «Колымских рассказов» распространялись в основном в Москве, почти без выхода в провинцию (исключение делалось для Магадана, а также для Рязани, где жил Я. Д. Гродзенский). Шаламову было важно, что его рассказы читают, как правило, те, кто что-то понимает и в лагерной теме, и в искусстве. В этот период — 1964—1965 годов — он ведет большую переписку с друзьями по Колыме (после смерти А. З. Добровольского первое место занимает сначала Ф. Е. Лоскутов, потом Б. Н. Лесняк и Г. А. Воронская), и неожиданно, словно из небытия, всплывают еще двое колымских знакомых — Леонид Варпаховский и Георгий Демидов.

Театральный режиссер Леонид Викторович Варпаховский, ученик В. Э. Мейерхольда, попавший в 1936 году в «троцкисты», отбывал десятилетний срок на Колыме. Шаламов первый раз виделся с ним в 1942 году при переезде в одном этапе на штрафной прииск «Джелгала». Но от штрафзоны режиссера уберегли его известные культурные заслуги — он вскоре стал работать в Магаданском драмтеатре, однако вовсе не благоденствовал — потому что на него все время писали доносы (в том числе и известный певец Вадим Козин, которого Шаламов всегда считал классическим «стукачом», что, несомненно, имело основания)*. Известие о том, что в 1964 году Варпаховский стал главным режиссером Московского театра им. М. Н. Ермоловой, очень порадовало Шаламова — они встречались, у Варпаховского были большие планы по сценическому воплощению лагерного материала, Шаламов давал ему читать «Колымские рассказы» и, вероятно, в расчете на постановку у Варпаховского написал пьесу «Анна Ивановна». Эта вещь — по аналогии с пьесами А. Солженицына «Олень и шалашовка» и «Свеча на ветру» — имела целью прежде всего вынесение лагерной темы на сцену, но ее (как и драматургические опыты Солженицына) трудно считать шедевром. Однако сюжет шаламовской пьесы, связанный с нелегальной переправкой из лагеря стихов, имел не только реальную основу, но и глубокий подтекст. «Преступление писать стихи — одно из худших лагерных преступлений. Наказания за литературную деятельность только я знаю и видел десять, наверное, случаев, если не больше», — писал он. Включение стихов в постановку (несомненно, предполагавшееся Шаламовым) резко усилило бы эмоциональное воздействие спектакля, но его замысел «опоздал» — осенью 1964 года лагерную тему закрыли.

Варпаховский стал снова популярен, ставил спектакли в разных городах страны (в том числе в своем родном Киеве), а вот встреча Шаламова с Демидовым произошла совершенно фантастическим образом. Потеряв почти на 15 лет после Колымы контакт с ним, Шаламов полагал, что он умер, считая его по-прежнему одним из достойнейших людей, встреченных на Колыме. Ему писатель посвятил и пьесу «Анна Ивановна», совершенно не подозревая, что Демидов жив. А Георгий Георгиевич в то время, начало 1960-х годов, обитал в далекой Ухте, иногда наезжая в Москву. В столице, в коммунальной квартире, где жила художница Л. М. Бродская, большая поклонница

* Конкретный случай доноса В. Козина на Л. Варпаховского воспроизведен в воспоминаниях бывшей художницы-вышивальщицы Магаданского театра В. Устиевой (см.: Доднесь тяготеет. Т. 2. М., 2004. С. 401—409).

Шаламова, и выяснилось однажды, что здесь бывает некто «Гогич» с Севера. «Это югослав какой-то?» — спросил Шаламов. Оказалось, что так называют Георгия Георгиевича Демидова, который, наезжая, останавливается в этой квартире.

Мгновенно завязалась переписка, но встреча состоялась не скоро, поскольку Демидову было сложно вырваться из Ухты, где он работал инженером. Первый обмен письмами показывает огромную взаимную радость и дружескую распахнутость — Демидов хорошо помнил разговоры с «фельдшером из хирургического» на Левом берегу, а Шаламов — разговоры с «рентгенотехником», который сам, из подручного материала, из неведомых приспособлений, сделал оптическую бленду — основной прибор рентгенаппарата и устроил в больнице вполне профессиональный рентгенкабинет — все откровенные беседы проходили там, за толстыми стенами.

В письмах они снова на «ты» — «Варлам», «Георгий», обмениваются жизненными новостями, но, как только возникает литературная тема (Демидов пишет рассказы, которые тоже называет «Колымскими»), интонация писем Шаламова начинает меняться — они становятся все более менторскими и категоричными. Это кажется странным — о чувстве соперничества тут не может быть и речи, тем более мы знаем принцип Шаламова: «В искусстве места хватит всем». Раздражает его то, что Демидов выражает свое стремление к литературному труду слишком обыденными словами, балагурством («балуюсь писательством»), а это Шаламов расценивает как легкомыслие по отношению к столь серьезной теме. Не понимает он и трудного положения Демидова в Ухте, в «литературной яме уездного масштаба», как ее тот называет, подчеркивая: «Мои официальные гонорары — это доносы, окрики, угрозы, прямые и замаскированные». На взгляд Шаламова, Демидову следует держаться подальше от «литературной ямы», не вступать с ней в дискуссии и спокойно писать «в стол», не афишируя свою деятельность ни перед какими инстанциями, тем более перед КГБ. (Этому правилу он следует сам.)

Сведений о том, насколько знали Демидов и Шаламов творчество друг друга, практически нет, как нет и взаимных разборов произведений. Поэтому мы не можем судить, как воспринял Шаламов, скажем, наиболее известный рассказ Демидова «Дубарь» — историю о том, как заключенному на Колыме дали поручение похоронить только что умершего в больнице младенца. Герой Демидова исполняет эту миссию с огромным благоговением, роет могилу в камнях и ставит на ней маленький крестик из оказавшихся под рукой старых дощечек. Врач Е. А. Мамучашвили, хорошо знавшая и Шаламова, и Демидо-

ва, вспоминала: «Когда я прочла в 1989 г. в “Огоньке” рассказ “Дубарь”, то поразилась, насколько он соответствует характеру автора... Шаламов, окажись он в такой ситуации, несомненно, сделал бы то же самое, но он бы, я думаю, этого не описал и креста бы не ставил. Он не был сентиментальным человеком, и его никак не назовешь сентиментальным писателем...»

Очевидно и расхождение в том, что Демидов в некоторых своих рассказах допускал иронически-ернический тон по отношению к вещам, которые Шаламов воспринимал только как трагедию и считал, что «шутка в наших вопросах недопустима». В переписке, достигавшей иногда высшей степени полемического накала (или перекала электролампочек, способ ремонта которых изобретал для Колымы бывший ученик Ландау), еще раз вырисовывается основная подоплека спора — глубокое различие колымских реальностей 1937—1938 годов, которые пережил и которые главным образом описывал Шаламов, и реальностей последующих лет. Испытания Демидова были не менее тяжкими, и не случайно в своих письмах он подчеркивал, что его цель — борьба за «правду-истину, т. е. неизбежное восстановление точной информации, несмотря на все попытки дезавуировать ее с помощью самых могущественных средств».

Борьба Демидова за свою правду о времени была воистину донкихотской, крайне трагичной (в определенном смысле — более трагичной, чем у Шаламова: изъятие не только рукописей, но и пишущих машинок говорит само за себя), и «могущественные средства» в лице КГБ тут более преуспели. Рукописи «неистового Георгия» (и при этом — «заслуженного рационализатора Коми АССР», чей портрет висел в центре Ухты) могли бы вовсе исчезнуть после его смерти в 1987 году, если бы не хлопоты его дочери В. Г. Демидовой. Она дала свой и, как представляется, объективный комментарий к спору двух старых друзей-лагерников: «Демидов говорил: “Шаламов — писатель, а я — любитель”. И авторитет Шаламова в литературе был для него безусловным, абсолютным». Шаламов, в свою очередь, рассматривая Демидова в ряду выдающихся физиков, сравнивал его гуманистические устремления с деятельностью Э. Ферми*, и в 1967 году посвятил ему рассказ «Житие инженера Кипреева», куда вошли две знаменитые отважные фразы Демидова, стоившие ему на Колыме новых сроков. Первая фраза: «Американских обносков я носить не буду» — в ответ на

---

* Шаламовский сборник. Вып. 4. М., 2011. С. 62—65. Очевидно, Шаламов имел в виду отказ Э. Ферми после получения Нобелевской премии 1938 года возвращаться в фашистскую Италию Б. Муссолини и его борьбу против фашизма. Это, на взгляд писателя, было равноценно всей деятельности Демидова по разоблачению сталинского режима.

роскошный подарок начальства — американский костюм и ботинки из поставок по ленд-лизу — за крупное изобретение. Вторая: «Колыма — это Освенцим без печей» (произнесенная во время следствия в 1946 году, что подтверждается делом № 19932 магаданского архива УНКВД-МВД, обнаруженным в 1990-е годы местным писателем А. М. Бирюковым). Эти фразы ярче всего раскрывают характер Демидова, который был начисто лишен способности к компромиссам и говорил: «Мы не должны молчать. Мы — не рабы...»

Огромным, достигнутым высокой ценой преимуществом Шаламова было то, что он после реабилитации снова оказался в Москве, в той культурной, интеллектуальной среде, к которой он привык с 1920-х годов. Любую литературную провинциальность он категорически отрицал, жестоко испепелял. Характерен его отзыв в дневнике об авторе романов «В круге первом» и «Август четырнадцатого»: «Солженицына губит его заочное литературное образование». То есть писатель, по его мнению, не прошел настоящей школы, которую дает только столица. Гротескный случай на этот счет, связанный с родной Вологдой, воспроизведен в письме Шаламова А. Солженицыну от 1 ноября 1964 года. Он пересказывает разговор одного из его почитателей в «Литературной газете», который пытался помочь напечатать его книгу в вологодском книжном издательстве. Ответ из Вологды по телефону был буквально следующим:

«— У нас своих много, а вы с каким-то Шаламовым».

Доброхотские местнические версии о том, что Шаламову было бы легче прожить и печататься, если бы он вернулся после Колымы в родной город, не имеют под собой никаких оснований. Москва стала ему давно гораздо ближе и роднее. Помимо прочего, потому, как выразился он однажды в разговоре с И. П. Сиротинской, что «в Москве, как в лесу, — ничего не видно и не слышно». Он полагал, что в столице меньше докучает ненужная публика, включая и надзорные органы. Тут он оказался, как мы знаем, очень опрометчив: за ним, его передвижениями и деятельностью, снова начали постоянно следить, особенно со второй половины 1960-х годов (официальные документы КГБ по этому периоду пока не раскрыты).

После вечера памяти О. Э. Мандельштама, где его рассказ был очень высоко оценен, Шаламов сблизился со всем кругом его участников — И. Г. Эренбургом, Н. И. Столяровой, Н. Я. Мандельштам, Л. З. Копелевым, А. А. Галичем, Л. Е. Пинским, Н. В. Кинд-Рожанской и другими свободомыслящими представителями творческой интеллигенции. Вскоре ему организовали встречу с А. А. Ахматовой, о которой он давно мечтал. Это был конец мая 1965 года, Ахматова уже тяжело боле-

ла, и поэтому все тщательные приготовления Шаламова к беседе с целым списком вопросов о прошлом и настоящем русской литературы оказались напрасными. Вполне справедлив комментарий И. П. Сиротинской к этим приготовлениям Шаламова: «— Какой ребенок! Идя к Ахматовой, он готовился к беседе о вершинах поэзии, о своем пути, о сущности, о вечности — к беседе с богиней, а пришел и почти молча слушал ее чтение пьесы, ее Париж, ее Италию. Его она почти не заметила, а ведь это так понятно — с точки зрения именно богини». Наверное, справедлив отчасти и более жесткий и желчный комментарий Н. Я. Мандельштам к этой встрече, столь разочаровавшей Шаламова: «Это старость, старость. А. А. озабочена борьбой за историческую правоту — кто кого бросил при разрыве — она Гумилева или Гумилев ее. Просит меня написать свидетельство, что она бросила Гумилева. Словом, явные признаки склероза. А. А. совсем не та, что была»*.

Когда Ахматова умерла, Шаламов пришел на прощание с ней в морг института им. Склифосовского (9 марта 1966 года), где была довольно суетная атмосфера, запечатленная им в стихотворении «Взад-вперед ходят ангелы в белом» с последней, по-лагерному «натуралистической» строфой:

...Нумерованной, мертвой, бездомной
Ты лежала в мертвецкой — и вот
Поднимаешься в синий огромный
Ожидающий небосвод.

Более важной и плодотворной оказалась для него встреча с Эренбургом, с которым Шаламов пробеседовал несколько часов 2 ноября 1966 года и считал, что эта беседа была гораздо интереснее всех встреч с Солженицыным (поскольку и Эренбург, и Пастернак, и Н. Я. Мандельштам и другие его высокие собеседники «хорошо понимали, в чем тут дело» — в контексте этой дневниковой фразы имеется в виду тема непреложной новизны в искусстве). Хотя политическая компромиссность Эренбурга ему совсем не импонировала, он рад был поговорить с человеком, искушенным во многих аспектах литературной жизни, который помнил 1920-е годы с их художественной свободой.

Та же тема притягивает Шаламова в беседах и в переписке с Н. Я. Мандельштам. Он написал восторженнейший отклик на переданную ему первую часть рукописи «Воспоминаний» Надежды Яковлевны. Поскольку рукопись шла через Н. И. Столярову (в то время — секретаря Эренбурга), Шаламов пишет сначала ей: «В историю русской интеллигенции, русской лите-

* РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Д. 162. Л. 40.

ратуры, русской общественной жизни входит новый большой человек... Входит не подруга Мандельштама, а строгий судья времени, женщина, совершившая и совершающая нравственный подвиг необычайной трудности». Надо подчеркнуть, что понятие «судья времени» было для Шаламова высшим критерием настоящего писателя и он пользовался им крайне редко. Чрезвычайно близко ему и то, что воспоминания Надежды Яковлевны — это документ, именно — «документ, достойный русского интеллигента, своей внутренней честностью превосходящий все, что я знаю на русском языке».

Надежда Яковлевна в это время (летом 1965 года) познакомилась с «Колымскими рассказами» Шаламова, с новым сборником «Левый берег» и написала ему не менее восхищенный отзыв. Этот отзыв был важен для него не только тем, что Н. Я. Мандельштам так близко к сердцу, с пониманием точности каждой фразы, восприняла посвященный ей рассказ «Сентенция» («точность эта создает неистовой глубины музыку понятий и смыслов, которая звучит во славу жизни»), но и тем, что дала общую высочайшую оценку рассказов — подобного он больше никогда не слышал:

«По-моему, это лучшая проза в России за многие и многие годы. Читая в первый раз, я так следила за фактами, что не в достаточной мере оценила глубочайшую внутреннюю музыку целого. А может, и вообще лучшая проза двадцатого века» (письмо от 2 сентября 1965 года).

Шаламов был окрылен. Главное — его наконец-то поняли — поняли не как «свидетеля» и «натуралиста», а как автора по-настоящему новой, поэтически ритмизованной и философско-символической прозы. Это важно и сегодня: за фактами его рассказов, подчас грубыми и жестокими, надо чувствовать гармонию целого — она не только в строго продуманной композиции сборников, но и в музыке души автора — и в его сдержанном дыхании, в хрипах, в надрывах, в патетике, в живой страдательной интонации, пронизывающей все рассказы. Отзыв Н. Я. Мандельштам окрылял Шаламова тем более, что понимание пришло от человека, столь близкого его любимому поэту и так же, как он, продолжающего свято верить в «единственную религию, без всякой мистики — в поэзию, в искусство».

В Надежде Яковлевне он видит единомышленницу, одну из немногих уцелевших ярких фигур той культуры (связанной с Серебряным веком, но не с символизмом, а с акмеизмом), преемником которой он себя считает. В одном из писем 1965 года Шаламов прямо заявляет об этой общности: «Утрачена связь времен, связь культур — преемственность разрублена, и наша задача восстановить, связать концы этой нити. В поисках этой

утраченной связи, этой ариадниной нити разорванной, молодежь тянется наугад, цепляясь даже за Мережковского, что ранит мое сердце очень глубоко, Мережковский — очень неподходящая фигура». Здесь можно еще раз увидеть отголосок юношеского спора Шаламова с философско-художественными идеями не только Мережковского, но и всего русского символизма, от которого его отталкивал прежде всего мистицизм. А акмеисты, на его взгляд, — совершенно здоровое и земное течение...

Два портрета, без рамок, на кнопках, с болтающимися краями фотобумаги, — Осип и Надежда Мандельштам, — долгое время висели на стенах убогой комнаты Шаламова на Хорошевском шоссе, 10. Писатель несколько раз бывал летом в подмосковной Верее, где отдыхала Надежда Яковлевна со своими друзьями, зимой приходил в ее квартиру и в дом Н. В. Кинд-Рожанской, где собирались поклонники поэта и его вдовы́ — в общем, вошел в близкий круг Надежды Яковлевны, напоминавший литературный салон, хотя сама хозяйка терпеть этих определений не могла. Особенно тянется он в этот период к Наталье Ивановне Столяровой. С ней у Шаламова было общее лагерное прошлое (она находилась в 1940-е годы в Карлаге), а кроме того, она являлась дочерью Натальи Климовой, героини-революционерки, члена партии эсеров, а жертвенностью таких людей он всегда восхищался.

Благодаря сближению с Н. И. Столяровой, ее рассказам о матери и о себе, у Шаламова возник замысел повести, которую он назвал «Повесть наших отцов» (по строке Пастернака из поэмы «1905-й год»). В архиве писателя сохранилось много подготовительных материалов к повести, главной фигурой которой должна была стать Климова — девушка из провинции с высокими нравственными устремлениями, вступившая в организацию эсеров-максималистов, чтобы бороться с царизмом, и ставшая одним из организаторов покушения на П. А. Столыпина на Аптекарском острове в 1906 году. Она была приговорена к повешению и написала ставшее широко известным «Письмо перед казнью», которое явилось одним из поводов для статьи Л. Н. Толстого «Не могу молчать» и статьи С. Л. Франка «Преодоление трагедии». Благодаря ходатайству отца, присяжного поверенного, председателя рязанского союза «17 октября» С. С. Климова, дочери заменили смертную казнь каторгой, но она совершила побег из Новинской тюрьмы в Москве и эмигрировала, не разорвав связей с эсерами, в частности с Б. Савинковым.

Шаламов очень увлекся личностью и судьбой Н. С. Климовой, о которой он знал и раньше, но новые уникальные мате-

риалы, которые передала ему Н. И. Столярова (в том числе тюремную переписку матери с отцом), буквально захватили его, и он начал глубоко разрабатывать тему, в связи с чем написал даже письмо бывшему секретарю Л. Н. Толстого Н. Н. Гусеву с просьбой сообщить подробности создания статьи «Не могу молчать».

Замысел повести владел Шаламовым почти весь 1966 год, а потом он, очевидно, понял, что повесть — не его форма и строгое исследование архивных документов — тоже не его стихия: не по душе, да и не по глазам (зрение, как и слух, становилось все хуже). В результате в том же 1966 году появился рассказ «Золотая медаль» — лирический монолог о судьбе Климовой, переплетенный с фрагментами старых, посвященных ей публикаций из журналов «Былое» и «Каторга и ссылка». Рассказ пронизан восхищением самоотверженностью русских революционеров, которую, по мнению Шаламова, унаследовала и дочь Климовой. Однако это произведение нельзя отнести к вершинам творчества Шаламова — в нем нет цельности, слишком много простого пересказа разных исторических текстов, и главное, пожалуй, художественное зерно «Золотой медали» — определение, что «рассказ — это палимпсест», то есть писание по старым рукописям, наложение друг на друга разных культурных пластов, разобраться в которых может только очень увлеченный, мыслящий человек новой эпохи. Такому человеку стала бы понятна и позиция Шаламова в разгоравшейся литературно-общественной борьбе середины 1960-х годов. Шаламов — за то, чтобы не терять связи с традициями русского освободительного движения, не забывать о его высоком нравственном содержании (даже в применении методов террора — против тех, кто сам исповедовал и использовал террор), и он категорически против начавшей набирать популярность среди интеллигенции консервативной концепции русской революции об «исторической ошибке 1917 года» и ностальгии по «прекрасному дореволюционному прошлому». В сознании опасности такой ностальгии (наиболее отчетливо проявляющейся у А. Солженицына) он прозорливее многих советских «шестидесятников». Но самая главная его тревога — симптомы политической реабилитации Сталина, появившиеся с приходом к власти в партии нового политбюро, где играл особую роль М. А. Суслов, заявивший сразу «об усилении идеологической работы», что ярче всего выразилось в процессе А. Синявского и Ю. Даниэля.

В связи с этим процессом (а также вне формальной связи с ним) в СССР состоялось несколько крупных протестных акций. Наиболее весомой из них было письмо двадцати пяти деятелей

науки и культуры, направленное 14 февраля 1966 года на имя Брежнева, которое подписали академики, лауреаты многих премий Л. А. Арцимович, А. Д. Сахаров, режиссеры О. Н. Ефремов, М. И. Ромм, Г. А. Товстоногов, артисты И. М. Смоктуновский, М. М. Плисецкая и многие другие. В письме, в частности, говорилось: «В последнее время в некоторых выступлениях и в статьях в нашей печати проявляются тенденции, направленные, по сути дела, на частичную или косвенную реабилитацию Сталина... Мы не знаем, насколько такие тенденции, учащающиеся по мере приближения XXIII съезда, имеют под собой твердую почву. Но даже если речь идет только о частичном пересмотре решений XX и XXII съездов, это вызывает глубокое беспокойство. Нам до сего времени не стало известно ни одного факта, ни одного аргумента, позволяющих думать, что осуждение культа личности было в чем-то неправильным. Напротив, трудно сомневаться, что значительная часть разительных, поистине страшных фактов о преступлениях Сталина, подтверждающих абсолютную правильность решений обоих съездов, еще не предана гласности...»

Вскоре к этому письму присоединилось еще 13 деятелей науки и культуры (в их числе И. Г. Эренбург), а под письмом против осуждения Синявского и Даниэля за «антисоветскую агитацию» подписалось 63 члена Союза писателей. Еще раньше, 5 декабря 1965 года, в День Конституции, на Пушкинской площади в Москве состоялась демонстрация протеста против ареста Синявского и Даниэля, организованная ученым-математиком, сыном Сергея Есенина А. С. Есениным-Вольпиным, которого сразу же арестовали.

Шаламов знал об этой демонстрации и пришел посмотреть на нее. По воспоминаниям Вяч. Вс. Иванова, Шаламов стоял рядом в переулке, наблюдая за митингом и мысленно прикидывая, сколько на нем стукачей... По его представлению, стукачей была половина из примерно восьмидесяти человек, собравшихся у памятника Пушкину. Позднее он прямо сказал об этом мемуаристу в беседе с ним на квартире Н. Я. Мандельштам, тем самым объяснив и свое неучастие в этой акции. В то же время Шаламов, по словам Вяч. Вс. Иванова, считал, что «это очень важное событие, потому что это первая демонстрация после троцкистской демонстрации 27-го года, которая была разогнана. Он считал, что само по себе возрождение демонстраций — это очень важное событие»*.

---

* *Иванов Вяч. Вс.* Поэзия Шаламова. Выступление на Международной конференции, посвященной судьбе и творчеству В. Т. Шаламова, 17 июня 2011 г. //http://shalamov.ru/research/175/

Мотивы уклонения Шаламова от участия в публичных протестных акциях вполне понятны — он давно прошел через все это, пережил, можно сказать, на собственной шкуре, понял, как «сдают» недавние друзья и единомышленники, и ему не приличествовало, «задрав штаны», бежать за новым вольнолюбивым «комсомолом». Но эта история все же имела продолжение. Шаламов написал весьма резкое публицистическое «Письмо старому другу», посвященное итогам процесса над Синявским и Даниэлем*. Оно было анонимным и получило распространение в самиздате.

Обстоятельства, сопутствовавшие написанию этого письма, исследованы пока не до конца. Разумеется, суд над писателями, столь зримо напомнивший о сталинских процессах 1936—1937 годов, не мог не вызывать у Шаламова негодования. Вероятно, свои чувства он высказывал в кругу Надежды Яковлевны Мандельштам и именно там, а не у самого Шаламова — по всей логике его литературного поведения — и созрела инициатива написания публицистического письма в жанре практиковавшихся еще до революции «Писем к...» (в культурной памяти поколения наиболее яркий пример — «Письма к старому товарищу» Герцена, хотя этим аналоги, конечно, не ограничивались). Автором статьи по идее мог стать любой авторитетный писатель, прошедший через репрессии и адресующийся к обобщенному «старому другу», тоже репрессированному. Шаламов идеально подходил для такой роли, и убедить его взяться за перо, как можно полагать, не стоило большого труда — несомненно, с условием анонимности и гарантией последующей строгой законспирированности этого акта.

Шаламов в высшей степени добросовестно исполнил свой долг. Письмо было написано быстро, сразу по окончании процесса. Сам он не имел возможности присутствовать на процессе, куда допускались только близкие подсудимых, и подробности, которые он включал в текст — о мужественном поведении Синявского и Даниэля, о литературных экспертизах их произ-

---

* Судебный процесс против писателей А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля длился с осени 1965-го по февраль 1966 года. Поскольку в Советском Союзе художественные произведения этих авторов не печатались, они переправили их на Запад. Там они публиковались под псевдонимами Абрам Терц (Синявский) и Николай Аржак (Даниэль). Писателей обвинили в написании и передаче для напечатания за границей произведений, «порочащих советский государственный и общественный строй». Процесс подробно освещался в «Известиях» и «Литературной газете». По статье 70 УК РСФСР за «антисоветскую агитацию и пропаганду» Даниэль был осужден на пять лет лагерей, а Синявский на семь лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии (см. подробнее: ru.wikipedia.org/wiki/ Процесс Синявского и Даниэля). (*Прим. ред.*)

ведений, о тактике председателя суда Л. Смирнова и т. д., — могли сообщить только непосредственные свидетели.

Письмо преисполнено исключительного уважения к Синявскому и Даниэлю, представляло своего рода панегирик им — прежде всего потому, что они достойно вели себя на процессе. «Их пример велик, их героизм беспримерен... Они вписали свои имена золотыми буквами в дело борьбы за свободу совести, за свободу творчества, за свободу личности», — писал Шаламов*. Столь высокая патетика объяснялась тем, что, по его словам, «впервые за почти пятьдесят лет» подсудимые на политическом суде не только не признали свою вину, но и не «покаялись». Причем за точку отсчета Шаламов брал не процессы 1936—1937 годов, а процесс 1922 года над правыми эсерами, о котором в 1960-е годы никто не помнил. Как можно полагать, в этом упоминании была едва ли не главная «крамола» письма — почему на процессе А. Гинзбурга, Ю. Галанскова и других в 1968 году этот анонимный текст был признан «антисоветским»: ведь эсеры, а тем более правые, считались в коммунистической ортодоксии врагами — они «боролись против советской власти», хотя в 1922 году уже давно не боролись...

Шаламов не касался вопроса о правомерности или неправомерности публикаций А. Терца и Н. Аржака за рубежом (для него самого этот вопрос был очень непрост), он лишь утверждал, что «возможность печататься нужна писателю как воздух» и что «нельзя судить человека, видевшего сталинское время и рассказавшего об этом, за клевету или антисоветскую агитацию». (Последняя фраза — как бы предупреждение против гонений на свое творчество.)

Письмо касалось и эстетики. Шаламов, обращаясь к «старому другу», высказал характерную для себя мысль: «Мне кажется, что наш с тобой опыт начисто исключает пользование жанром гротеска и научной фантастики. Но ни Синявский, ни Даниэль не видели тех рек крови, которые видели мы. Оба они, конечно, могут пользоваться и гротеском, и фантастикой». Таким образом, эстетику Терца и Аржака Шаламов принимал и считал обусловленной временем. Пассаж из его письма: «Что было бы, если бы Рей Брэдбери жил в Советском Союзе — сколько бы лет получил — 7? 5?» — свидетельствует, что самому автору «Колымских рассказов» не был чужд памфлетный гротеск.

«Письмо старому другу», написанное хотя и по «социальному заказу», но с полной искренностью и великодушием, имело

* Цит. по: Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., 1990. С. 517.

важные последствия для Шаламова — и, увы, очень неприятного свойства. Есть все основания полагать, что сразу после появления письма в самиздате, а затем за границей КГБ заинтересовался выяснением его авторства. Опыт литературных экспертиз у этой организации имелся, а стилистика Шаламова, его пафос, его метафоры и гиперболы (ср: «И ты, и я — мы оба знаем сталинское время — лагеря уничтожения небывалого сверхгитлеровского размаха, Освенцим без печей, где погибли миллионы людей»; последняя метафора указывает на то, что воображаемым «старым другом» был скорее всего Г. Г. Демидов), — все легко узнавалось, как узнается и сегодня. Но экспертизы, вероятно, и не понадобилось, потому что с гораздо большим основанием можно предполагать, что условие анонимности было на определенном этапе нарушено и кто-то просто «проболтался» об авторе. Разумеется, невозможно обвинить в этом А. Гинзбурга, непосредственно занимавшегося освещением дела Синявского—Даниэля, а затем издавшего «Белую книгу» по этому делу, куда впервые вошло «Письмо старому другу». Но утечка информации об авторе* на каком-то этапе произошла — и не могла не произойти — не в силу злого умысла, а потому что многие так называемые «диссиденты», особенно первого призыва, были крайне наивны, просто непрофессиональны в области конспирации, а КГБ в этот период начал активно использовать свои «прослушки».

Обо всем этом свидетельствуют записи в дневнике Шаламова этого периода — о возникновении «ада шпионства» (красноречивейшие слова!) в его квартире на Хорошевском шоссе, о встречах с незнакомыми людьми на улице, которые «жмут руку», и другие многочисленные, резкие и презрительные высказывания: «Правдолюбы наших дней — они же осведомители и шантажисты»; «ПЧ («прогрессивное человечество» — так именовал Шаламов диссидентствующих окололитературных деятелей и некоторых лидеров движения. — *В. Е.*) состоит наполовину из дураков, наполовину из стукачей, но дураков нынче мало». Сам Шаламов знал толк в конспирации — еще по опыту 1920-х годов. Теперь же с горечью убеждался, что ны-

---

* На следствии и на суде А. Гинзбург категорически заявлял, что «не знает» его автора. В своем последнем слове на суде он говорил: «Человек, переживший ужасы того страшного времени, не может не волноваться, когда ему вдруг кажется, что в теперешней жизни он видит рецидивы прошлого, и тогда выражение этого беспокойства в резкой форме вполне правомерно. Я утверждаю, что в “Письме старому другу” не содержится клеветы на советский строй и призыва к его свержению, и прошу суд не квалифицировать это произведение как антисоветское». Авторство Шаламова было раскрыто А. Гинзбургом лишь в 1986 году в эмиграции, при публикации письма в парижской газете «Русская мысль».

нешние «подпольщики» напоминают скорее Репетиловых. «Они затолкают меня в яму, а сами будут писать петиции в ООН», — с негодованием говорил он позднее И. П. Сиротинской.

Именно этим объясняется то, что он отстранился от окружения Н. Я. Мандельштам, а потом порвал отношения и с самой Надеждой Яковлевной (последнее его письмо, датированное июлем 1968 года, скорее формального порядка, содержит просьбу не приглашать на случай возможных встреч «одиноких дам», то есть потенциальных разносчиков разнообразных сплетен). Самое же важное — он резко изменил свое отношение к самиздату. Теперь, судя по записи в его дневнике, он «не выпускает ни одной рукописи из стола».

Сожалел ли он о том, что написал «Письмо старому другу»? Никаких сведений на этот счет нет. Да и трудно подобное предполагать, потому что Шаламов никогда не пересматривал свои самые решительные жизненные шаги. В истории литературы и общественной борьбы 1960-х годов это письмо останется символом верности Шаламова своим идеалам, смелым гражданским поступком писателя. Просто цена этого поступка, даже в изменившихся общественных условиях, оказалась слишком велика для художника, который с этой поры стал вынужден скрывать свое самое сокровенное, уйдя в глухую изоляцию.

Глава шестнадцатая

«ТЫ ПОДАРИЛА МНЕ ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ»

Появление на пороге маленькой комнаты Шаламова молодой женщины из отдела комплектования ЦГАЛИ (Центрального государственного архива литературы и искусства) пришлось на очень неподходящее время. Это было 2 марта 1966 года — вскоре после «Письма старому другу», усилившего внимание к автору «Колымских рассказов», а он этого внимания всячески избегал. Да он и прежде не отличался общительностью. Недаром посредница в этой встрече Н. Зеленина — дочь известного филолога и переводчицы В. Н. Клюевой, хорошо знавшей Шаламова, предупреждала молодую архивистку: «Он очень резок, чуть что не по нему, с лестницы спустит».

Но Ирине Сиротинской повезло. Она пришла по конкретному и важному делу — с предложением к Шаламову передать его рукописи в ЦГАЛИ, на самое надежное — вечное — хранение. Это была ее личная инициатива, потому что незадолго до того она прочла самиздатские «Колымские рассказы», знала и его стихи, и как профессионал понимала, что «рукописи не го-

рят» только в архиве (фраза М. Булгакова тогда еще не вошла в обиход, но все архивисты давно следовали ей в жизни).

Кроме практического повода у Сиротинской, как она писала в своих воспоминаниях, был и другой — она надеялась получить ответ на вопрос: «Как жить?» Такие вопросы были типичны для России не только XIX века, когда молодые думающие люди в поисках истины обращались к высшим авторитетам, писателям, властителям дум — Л. Толстому, Достоевскому, Тургеневу, но и для России середины XX века, когда главный нерв духовной жизни снова воплотился в литературе. Политическая ситуация в стране не давала ответов на подобные вопросы, более того, она отталкивала своей официозностью, а для чуткого читателя, в данном случае — читательницы, которая была потрясена беспощадным шаламовским «Тифозным карантином», мир зашатался в своих основах и требовал какой-то опоры.

Но Шаламов не был склонен к душеспасительным беседам. В ответ на вопрос, как жить, он напомнил десять заповедей и добавил свою, одиннадцатую — «не учи». «Не учи жить другого, — так поняла И. П. Сиротинская эту мысль Шаламова. — У каждого своя правда. И твоя правда может быть для него непригодна именно потому, что она твоя, а не его». (Это скорее бытовой уровень восприятия «одиннадцатой» заповеди Шаламова — в философском смысле она значила гораздо больше и являлась итогом его пессимистических размышлений о судьбах идей многих русских писателей, вступивших на путь учительского морализаторства и «исправления человечества». Позднее эти мысли Шаламов разовьет в одном из писем к Сиротинской.)

На ее удивление, при встрече он оказался очень доброжелательным. Что на это повлияло — искренность и наивность вопросов молодой женщины, идеалистки, почти «тургеневской девушки» (Сиротинской тогда было 33 года, и то, что она являлась матерью троих детей, он на тот момент не знал) или озабоченность судьбой собственного архива — а она давно стала волновать его, — сказать трудно. Но уже летом того же года Шаламов передал часть своих рукописей (машинописей), в том числе первые сборники «Колымских рассказов», в ЦГАЛИ.

Вопросы наследства в юридическом смысле его в это время не занимали — ему было 59 лет, при всех недомоганиях он чувствовал в себе большой запас сил, и важнейшей для него была проблема всего написанного. Государственный архив давал не только полные гарантии на этот счет, но и заведомо ограничивал доступ посторонних людей, что Шаламова вполне устраивало. На тот момент растаскивания рукописей из заветного чемодана (там, под полками с книгами, хранил в комнате писа-

тель свой архив) еще не происходило, — это началось позже, — и, можно сказать, что Ирина пришла к нему в тот день, словно угадав желание Варлама Тихоновича.

Осенью того же года он развелся с О. С. Неклюдовой. Причина этого отнюдь не в появлении Сиротинской — до сближения с ней было еще далеко, а никаких реальных планов на новый брак у него быть не могло. Отношения же с Ольгой Сергеевной разладились давно — прежде всего на литературной почве. Слишком разные они были писатели, да и люди тоже. Любопытна запись в автобиографии Неклюдовой 1966 года: «В 1956 г. я взяла в дом В. Т. Шаламова, который и поныне живет у меня». Не традиционное — «вышла замуж», как она писала в той же автобиографии о предыдущем браке с Ю. Н. Либединским, а «взяла в дом». С одной стороны, эти слова свидетельствуют о теплоте и жалостливости женщины, о ее желании приласкать и взять под опеку одинокого, фактически бездомного после развода с Г. И. Гудзь, писателя, а с другой стороны — о своеобразном, в определенной степени отчужденном отношении к нему.

Но в первые годы их совместной жизни это никак не проявлялось. Они постоянно были вместе, часто гуляли (что, кстати, запечатлено на одной из фотографий наблюдения КГБ за Шаламовым); к ним — обоим, с обязательными приветами Ольге Сергеевне, обращались в своих письмах все знакомые, включая А. Солженицына и колымских друзей. Но к середине 1960-х годов между ними возникло охлаждение, и главная причина этого состояла не в том, что оба были вспыльчивыми, нервными людьми, а в том, что Шаламов как писатель постоянно рвался ввысь, к вечному и недосягаемому, а Неклюдова оставалась на прежнем уровне — писала книжки для детей, для семейного, домашнего чтения «под абажуром». Главным произведением в своей жизни она считала роман «Ветер срывает вывески», законченный в 1956 году. Увы, он не оправдал своего столь многообещающего названия. Только при первом знакомстве с Ольгой Сергеевной в том же году Шаламов в переписке с ней мог делать комплименты этому роману в целом, указывая при этом и на его серьезные изъяны, но затем верх взял все же акцент на изъянах — на сентиментальном бытописательстве, отсутствии новых идей и мыслей. (Впрочем, ему всегда нравились романтические стихи Неклюдовой, включенные в роман в виде эпиграфов, например: «Все изменилось на глазах. / Забыв сегодняшний, вчерашний, / Пред завтрашним утратив страх, / Держу свободу я в руках...»)

Тем временем отношения с Сиротинской начали развиваться и выходить на новый, неожиданный для обоих круг. Как

случилось, что они стали близки — молодая замужняя «филологиня» и суровый одинокий писатель-лагерник? Пожалуй, единственным ключом может служить известное размышление Н. А. Бердяева о странностях русской любви, которая со стороны женщины обычно предполагает антиномию (или гармоничное сочетание) любви-страсти и любви-жалости. Нет сомнения, что Сиротинской, как и прежде — О. С. Неклюдовой, двигала любовь-жалость — горячее желание согреть своим чувством обделенного заботой, несчастного, но при этом очень талантливого и удивительно прекрасного по своим внутренним качествам человека. Внешне он большой и сильный «викинг», а в душе — «маленький беззащитный мальчик» — так определила ипостаси характера Шаламова его последняя любимая женщина, добавив к этой характеристике его неожиданную фразу: «Я хотел бы, чтобы ты была моей матерью»... Для «фона» и для объяснения открытости возникшего чувства можно сказать лишь то, что муж Сиротинской, Леонид Семенович Ригосик, был тихим и скромным, вечно занятым работой авиационным инженером, он не вникал в личную жизнь жены, не был ревнив, а если о чем-то и догадывался, то, по благородству, никогда не высказывал своего отношения, будучи глубоко привязан к жене и детям. Такие феномены в семейной жизни существовали всегда, здесь нечему удивляться и нет повода злословить.

Огромное чувство любви и благодарности к Сиротинской Шаламов выразил в посвященной ей книге «Левый берег» — это был второй, завершенный еще в 1965 году, сборник рассказов колымского цикла. Ей же посвящен и сборник «Воскрешение лиственницы», законченный в 1968-м. Хотя часть рассказов была написана в 1965-м, основные создавались все же при ее эмоциональной поддержке, и посвящение звучит вполне красноречиво и определенно: «Ирине Павловне Сиротинской. Без нее не было бы этой книги».

Сборник тоже был сдан в архив, но прежде Шаламов давал читать его своим знакомым, и он незаметно перетек в самиздат. Государственное издательство «Советский писатель» в 1967 году выпустило лишь маленькую, в очередной раз урезанную, поэтическую книжку «Дорога и судьба», но и это добавило радости его жизни, особенно когда ему стала известна рецензия Г. Адамовича, появившаяся в парижской «Русской мысли» в августе 1967 года (об этом в следующей главе).

Самым счастливым для обоих — а прежде всего для него — оказался 1968 год. В мае Шаламов наконец-то, после долгих хлопот через Литфонд как писатель-инвалид, получил отдельную просторную комнату в коммунальной квартире в том же

доме на Хорошевском шоссе и в том же подъезде, но этажом выше. Переехал из квартиры 2 в квартиру 3. Чтобы понять его радость, надо учесть, что все это время после развода с О. С. Неклюдовой — почти два года — он продолжал жить в ее квартире, в той же узкой комнате-«пенале». И вот Литфонд, которому принадлежали дома на Хорошевке, нашел «соломоново решение», разделив бывших супругов по этажам. Это было тем более радостно, что Шаламов заодно избавился и от соседки — престарелой тещи известного профессора-философа В. Ф. Асмуса. Ей посвящены записи в дневнике писателя с характерным заголовком «На вечные времена»: «В стол на кухне асмусовской тещи забит гвоздь — чтоб не облокачивались соседи... При ремонте теща Асмуса специально просит дворника Николая набить колючую проволоку по столбикам, где пробегает домой кошка Муха...» и т. д. Черная кошка Муха принадлежала Шаламову, она много лет была его любимым существом — очень умная и верная, она сидела на столе, когда он писал, он не раз с ней фотографировался, и когда кошку во дворе убили какие-то строители, рывшие траншею, для него это стало огромной трагедией. Он долго не знал, где она, искал ее по приемникам животных — душегубкам, где насмотрелся на глаза несчастных собак и кошек, и плакал после этого. (Отчасти эти впечатления вошли в рассказ «У Флора и Лавра», не включенный в сборники. В нем есть фраза, заставляющая вспомнить о Колыме и Освенциме: «Обреченные кошки встречали входящих не мяуканьем, не писком, а молчанием — вот что было всего страшнее».)

Очевидно, что истории животных проецировались им на мир людей, и от этих мыслей он никогда не мог отделаться. То, что для иных представляло лишь бытовую проблему, у Шаламова всегда вызывало рефлексию о неизменных свойствах человеческой природы и заодно — о переходящей, как он говорил, из века в век темной, подчиняющейся лишь дремучим инстинктам «Расее». Когда-то в Вологде, помнил он, люди яростно гонялись за забежавший в город белкой (рассказ «Белка» вошел в сборник «Воскрешение лиственницы»), а здесь запросто, в центре Москвы, как варвары, застрелили кошку...

Об истории с любимой и верной Мухой он рассказывал Сиротинской. И однажды произнес такую странную фразу: «Ты можешь быть кошкой...» Ирина сначала покоробилась, но позднее правильно, по-женски, как знак желания такой же привязанности, все оценила — «поняла, что это был очень большой комплимент».

Она не могла быть постоянно с ним — приходила лишь его навещать, часто со своими маленькими сыновьями, к которым

он относился очень ласково, хотя проповедовал на этот счет другие идеи (из своего малого, неудачного семейного опыта и из старых теорий 1920-х годов, основанных на утопиях Ш. Фурье, где стариков и детей опекает всецело государство). «Ни у одного поколения нет долга перед другим, — яростно размахивая руками, утверждал он. — Родился ребенок — в детский дом его!..» Но это была скорее риторика обиды многолетнего лагерника, обделенного на всю жизнь вниманием и любовью собственного ребенка...

О характере их отношений, как они считали, никто не знал, и это было счастьем для обоих. В книгу воспоминаний Сиротинской включена и ее переписка с Шаламовым, сугубо интимная, ярче всего раскрывающая степень их близости. Вот только один пример — письмо лета 1968 года, когда Ирина уехала отдыхать в Крым, а Шаламов, не имевший такой возможности, посылал ей чуть ли не через день открытки и письма, что было правилом и с ее стороны:

«Дорогая Ира.

Получил сегодня утром твое письмо от 10 июля вместе с открыткой от 9-го с Генуэзской крепостью... В письме есть неожиданная тревожная нотка: "Слишком резко всё переменилось, я словно проснулась. Вообще, в нашем счастье, в нашей любви слишком много от воображения". Я этого вовсе не считаю, но сердце даже засосало... Мне совсем не кажется, что она — от воображения, но, конечно, я могу судить только о себе. Чтобы тебя развлечь, посылаю свое июньское стихотворение:

Грозы с тяжелым градом,
Градом тяжелых слез.
Лучше, когда ты — рядом.
Лучше, когда — всерьез.

С Тютчевым в день рожденья,
С Тютчевым и с тобой.
С тенью своею, тенью,
Нынче вступаю в бой.

Дикое ослепленье
Солнечной правоты,
Мненья или сомненья —
Все это тоже ты...»

У этого стихотворения есть своя история. 18 июня того же года они праздновали день рождения Варлама Тихоновича — ему исполнился 61 год, и гадали по сборнику стихов Тютчева, одного из их любимых поэтов. На столе стояла фотография: Ирина у Вологодского кремля (это было вскоре после ее поездки в Вологду с туристической группой из архива).

«Было тогда светлое, счастливое время его жизни, тени Колымы отступили на время, — писала она в своей книге. — Июнь 1968 он назвал лучшим месяцем своей жизни... Солнечная правота — это правота света, правота счастья»*.

В связи с поездкой Ирины в Вологду он писал: «Я думал, город давно забыт, встречи со старыми знакомыми (художником В. Н. Сигорским и его женой. — *Прим. И. Сиротинской*) никаких эмоций, ни подспудных, ни открытых у меня не вызывали — после смерти матери крест был поставлен на городе... А вот теперь, после твоей поездки — какие-то теплые течения глубоко внутри... Удивительно здорово, что ты видела дом, где я жил первые пятнадцать лет своей жизни, и даже заходила в парадное (так оно раньше называлось) крыльцо с лестницей на второй этаж, с разбитым стеклом. Просто сказка. Белозерский камень мне потому менее дорог, чем камень у собора, на Белозере я никогда не был, а у собора прожил пятнадцать лет. Деревьев там не было (с фасада дома). Никогда. Было гладкое поле, дорога. Куст боярышника под окнами. А дерево — тополь — был во дворе сзади дома...»

Именно поездка Ирины в его родной город вдохновила Шаламова на создание «Четвертой Вологды» — уникального по качествам памяти (позади 20 лет лагерей!) произведения, где сохранена вся свежесть детского восприятия жизни, все подробности семейного быта и истории, естественным образом переливающиеся в мысли о современности. «Четвертая Вологда», напомним, писалась в 1968—1971 годах, отдельными главами, как и другая важнейшая книга о его юности, о первом лагере — «Вишерский антироман», формировавшаяся практически одновременно («Я всегда пишу несколько вещей сразу» — принцип Шаламова). Продолжалась и казавшаяся бесконечной, а по отдельным эпизодам — случайной, но на самом деле глубоко продуманной — колымская эпопея. Разветвление в жанрах: с одной стороны, рассказы с заранее решенной формой, с другой — воспоминания о Колыме, свободные в повествовании, но более сконцентрированные на конкретных эпизодах, уточняющие и дополняющие не только рассказы, но и общую канву жизни, — все это свидетельствует о каком-то новом пороге раскрепощения, о возможности наконец-то высказаться сполна.

Все это — не будем уж так банально прямолинейны! — не только результат вдохновения, новых жизненных токов, полученных от «музы», а результат обретенного наконец душевного спокойствия и сосредоточенности. К тому же главное — от-

---

* *Сиротинская И.* Мой друг Варлам Шаламов. М., 2006. С. 20.

дельная просторная комната, хотя и с шумом с шоссе, которого он, в силу глухоты, почти не ощущает («Никогда не померкнет шоссе / В той былой Хорошевской красе»), но все же дающая возможность свободно и безоглядно писать. На короткий срок он забывает и о нембутале, без которого прежде не мог обходиться. Полного счастья, может быть, и нет, но есть покой и воля...

Одно из главных новых наполнений жизни, достигнутое, благодаря Ирине, — он вырывается наконец из своего однообразного круга общения (Н. Я. Мандельштам и ее знакомых) и начинает ходить туда, где, как Ирине кажется, ему должно быть интересно, как и ей, — в театры, на выставки, в кино. Можно сказать, что она была его поводырем — как некогда сам он был поводырем у слепого отца. Разница в том, что Шаламов был глух, и хотя в театре и в кино они старались попасть на первые ряды, он все равно недослышивал, и она пересказывала ему отдельные важные реплики героев.

Сама Ирина больше всего тянулась к Театру на Таганке, но он поначалу скептически отнессся к творчеству Ю. Любимова: «Все это было. Мейерхольд. Только забыто сейчас». Между тем смотрел вместе с ней много — и «Доброго человека из Сезуана», и «Павшие и живые», и «Пугачева», и «Жизнь Галилея». Разумеется, не был равнодушен к игре В. Высоцкого. Однажды даже сказал, что замыслил для этого театра пьесу «Вечерние беседы» и стал делать наброски. Сюжет, как писала Сиротинская, «незатейлив» — в тюремной камере встречаются все русские писатели — нобелевские лауреаты: Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын. Их гоняют на пилку дров, они выносят парашу. А вечерами они беседуют...

Пьеса не закончена, но «незатейливым» ее сюжет назвать никак нельзя. Аналогичный сюжет возникал, между прочим, у Ф. М. Достоевского. В замысле его романа «Атеизм» («Житие великого грешника») — предвестия романа «Бесы», есть такая идея: «...Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? К Чаадаеву могут приехать в гости и другие, Белинский, например, Грановский, Пушкин даже»*... Шаламов вряд ли знал о подобном замысле Достоевского, но то, что его мысль шла тем же путем — соединить, столкнуть в философском диалоге своих знаменитых современников, — чрезвычайно знаменательно. Мы можем убедиться, сколь горячо и страстно, воистину «по-достоевски», Шаламов был увлечен полемикой с основными идеями современности!

---

* *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 118.

Шаламов доверял чуткости и вкусу Сиротинской — часто они сливались в своем сопереживании героям спектакля или кино. Из фильмов старых лет, вспоминала она, он больше всего любил «Дети райка», из новых — «А зори здесь тихие», «Генералы песчаных карьеров». «Помню, как он был тронут до слез сценами похорон возлюбленной в “Генералах”», — писала Сиротинская, добавляя очень важную фразу: «Любовь, разлука, смерть — все, что апеллировало к сердцу зрителя, находило отзвук и в сердце Варлама Тихоновича». (Надо лишь уточнить, по дневниковой записи писателя, что при всем эмоциональном воздействии на него фильма «А зори здесь тихие» Шаламов считал, что режиссер С. Ростоцкий в некоторых эпизодах «испортил» повесть Б. Васильева, которую он прочел в «Юности», где сам печатался, и ценил выше фильма.)

Подчеркнем еще раз мысль Сиротинской: Шаламов воспринимал искусство не столько рассудком, сколько сердцем. Но так же он и создавал его! Создавал в надежде на сопереживание тем трагическим историям, которые, «как кинолента» (образ из рассказа «Последний бой майора Пугачева»), вспыхивали и раскручивались в его памяти. Следует добавить, что массового кинематографа он категорически не принимал, сразу видел фальшь, и недаром однажды вынес жестокий приговор этому роду искусства: «Кино — штука второго сорта, искусство, не имеющее своего ума, — далекое от великих подлинников» (последняя мысль Шаламова, надо заметить, полностью подтвердилась, на наш взгляд, в современных сериальных экранизациях его произведений).

Об отношении Шаламова к живописи следовало бы написать целый трактат, и то, что он вместе с Сиротинской бывал на многих московских вернисажах, — лишь очень малая часть его художественных впечатлений и связанных с ними размышлений. Он терпеть не мог передвижников — в параллель с прозаической поэзией Н. А. Некрасова, — и это вполне в его духе. Еще в студенчестве, в 1920-е годы, он полюбил «Щукинский музей» западной живописи — «музей отца М. Цветаевой», как он его называл. В 1955 году, находясь еще на полузаконном положении, Шаламов ездил из своего поселка Туркмен в Москву, чтобы увидеть знаменитую выставку из Дрезденской галереи, а затем — в Ленинград, специально, чтобы посмотреть Эрмитаж. Из переписки с художницей Л. М. Бродской и дочерью композитора, ценительницей многих искусств Н. А. Кастальской явствует, что он серьезно размышлял и о тайнах Рафаэля, и о тайнах русских фресок, что его завораживали и Рейсдаль, и Вермеер, и Р. Фальк. Матисс — тоже (он был на вернисаже в 1969 году вместе с Сиротинской). Но Пикассо для

него проблематичен, и не столько в смысле формы, сколько в смысле его, как ему кажется, слишком быстрого и спекулятивного реагирования на меняющуюся международную политическую обстановку («Голубь мира, нарисованный Пикассо, — это ведь сознательно выбранная заправилами движения церковная эмблема, с тем чтобы не оттолкнуть религиозных людей, которых еще так много», — писал он Кастальской). Живопись, каждый тон красок он переживает сердцем, и потому для него «единственный художник с палитрой будущего — Врубель», а любимый из западных художников — Ван Гог, особенно его картина «Прогулка заключенных». Сиротинская по этому поводу справедливо заключала: «Думаю, что тут действовали не только краски, но и сюжет. И то, и другое — и “что”, и “как”...»

Необыкновенно острое восприятие ярких красок, несомненно, связано с тем, что Шаламов основную часть жизни провел на Севере, где всегда преобладали холодные черно-белые тона. Понятно, почему он не любил зиму и так ждал солнца, лета, когда ему лучше всего чувствовалось и работалось. Известные стихи «Я — северянин, / Я ценю тепло...» и особенно: «Летом работаю, летом, / Как в золотом забое, / Летом хватает света / И над моей судьбою» — это ярче всего подчеркивают. И самым радостным был июнь — месяц, когда он родился и когда приходила поздравлять его с днем рождения Ирина — единственная, кто знал об этом дне. Непременные цветы — пионы, непременные яблоки, которые он очень любил...

В 1970-е годы, пользуясь правами члена Союза писателей и льготой по инвалидности, он стал ездить в Крым, в Ялту и Коктебель. Но это приносило ему лишь малую радость — купание в море. С коллегами-писателями он не общался, ходить в горы не мог, и главную трудность составляла дальняя дорога (однажды его срочно вывезли назад самолетом). Ему был милее пляж в Москве, в Серебряном Бору, к которому он привык еще в 1960-е годы и который его по-настоящему прогревал за лето.

«Десять лет я опекала Варлама Тихоновича, и он в эти годы не болел, — писала Сиротинская. — Узнала я недавно, что мать Тереза говорит — возьми за руку человека. А ведь чисто интуитивно так поступала я. Приду — он зол, издерган, взвинчен. Я просто молча беру его за руку. И он затихает, затихает. И словно проступает другое лицо, другие глаза — мягкие, глубокие, добрые».

Так продолжалось до 1976 года. Когда пришла пора расставания, неизбежность которого он сознавал, не скрывая и сво-

ей огромной боли, его главными словами были: «Ничего, кроме любви и благодарности во мне не сохранится. Ты подарила мне лучшие годы жизни..»

Но это не было полным разрывом, и утверждать, что кто-то кого-то «бросил», оставил в несчастье одного, — никак нельзя. Человеческие отношения, переписка и встречи продолжались до самых последних дней Шаламова. Почти во все самые трудные минуты жизни Ирина была рядом с ним. Она не знала, что еще в июне 1969 года он оформил в нотариальной конторе завещание на ее имя — на все свои авторские права. Это завещание она обнаружила лишь в 1979 году, когда Шаламов передавал ей оставшийся архив перед переездом в дом престарелых. Конверт с надписью «На случай моей смерти» лежал в его старой лагерной полевой сумке...

Глава семнадцатая

ЦЕПКИЙ ХОЛОД ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ. ЗАВЕРШЕНИЕ СПОРА С А. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

В то время как власти СССР всячески стремились не допускать самого упоминания о лагерной (читай—сталинской) теме, не говоря уже о ее осмыслении, на Западе интерес к ней разгорался. Мотивы были разными: с одной стороны, закономерное стремление узнать истину, точнее, установить роль Сталина в преступлениях против человечности и разобраться в причинно-следственных связях в послеоктябрьской истории России, а также и в судьбах социализма (что было основной проблемой для влиятельных в ту пору в Европе левых и леволиберальных сил), с другой — откровенно спекулятивные и тенденциозные устремления разыграть «лагерную карту» в качестве одного из важнейших пропагандистских средств для дискредитации советского строя как олицетворения казарменного коммунизма, наступающего с ядерными баллистическими ракетами на весь мир.

Шаламов вполне четко ориентировался в этих тенденциях, и, даже обжегшись на истории с «Письмом старому другу», не склонен был к полному отвержению западного общественного мнения — в том числе исходящего от русских эмигрантских кругов, в которых он тоже отчетливо разглядел «правых», «левых» и просто нормальных, оценивающих литературу как литературу. Поэтому его очень порадовала рецензия Г. Адамовича на его сборник стихов «Дорога и судьба», появившаяся в парижской «Русской мысли» в конце августа 1967 года. Копию рецензии ему прислал литературовед и критик О. Н. Михай-

лов, занимавшийся русским зарубежьем. Парижская публикация не принесла Шаламову никаких неприятностей, поскольку Г. Адамович принадлежал к числу объективных и лояльных критиков, не склонных к политиканству. Рецензия имела уже в своем заголовке — «Стихи автора “Колымских рассказов”» — особую для Шаламова ценность, поскольку ему стало ясно, что Г. Адамович (и не он один на Западе) к тому времени знал его рассказы и через их призму оценивал стихи. Благодаря О. Н. Михайлова за присылку рецензии, а также за его собственный отзыв в «Литературной газете», Шаламов 2 февраля 1968 года писал:

«Формула Ваша отличается от концепции Адамовича: “Автор готов махнуть рукой на все былое”*. Я вижу в моем прошлом и свою силу и свою судьбу и ничего забывать не собираюсь. Поэт не может махнуть рукой — стихи тогда бы не писались. Все это — не в укор, не в упрек Адамовичу, чья рецензия умна, значительна, сердечна. И — раскованна (Шаламов с очевидностью говорит о возможности эмигрантского критика свободно писать о лагерной теме. — *В. Е.*). Сборник стихов — не роман, который можно пролистать за ночь. В “Дороге и судьбе” есть секреты, есть строки, которые открываются не сразу. Непоправимый ущерб в том, что здесь собраны стихи-калеки,

---

* Г. Адамович писал: «Стихи умные, суховатые. Судя по их общему складу, Шаламов склонен не столько забыть или простить былое, сколько готов махнуть на него рукой... Его учитель и, по-видимому, любимый поэт — Баратынский, от которого он перенял стремление по мере возможности сочетать чувство с мыслью... Сборник стихов Шаламова — духовно своеобразных и по-своему значительных, не похожих на большинство теперешних стихов, в особенности стихов советских, — стоило и следовало бы разобрать с чисто литературной точки зрения, не касаясь биографии автора. Стихи вполне заслуживали бы такого разбора, и, вероятно, для самого Шаламова подобное отношение к его творчеству было бы единственно приемлемо. Но досадно это автору или безразлично, нам здесь трудно отделаться от “колымского” подхода к его поэзии. Невольно задаешь себе вопрос: может быть, хотя бы в главнейшем, сухость и суровость этих стихов есть неизбежное последствие лагерного одиночества, одиноких ночных раздумий о той “дороге и судьбе”, которая порой выпадает на долю человека? Может быть, в результате именно этих раздумий бесследно развеялись в сознании Шаламова иллюзии, столь часто оказывающиеся сущностью и стержнем лирики, может быть, при иной участи Шаламов был бы и поэтом иным? Но догадки остаются догадками, и достоверного ответа на них у нас нет».

Характерно, что Г. Адамович, прочтя «Колымские рассказы» в «Новом журнале» Р. Гуля, счел необходимым обмолвиться о том, что они помещены там «без ведома автора», и при этом многозначительно заметил: «На мой взгляд, они страшнее и ужаснее, чем прогремевший на весь мир “Один день Ивана Денисовича”, и появись эти короткие наброски не в эмигрантском, а в советском издании, они вызвали бы, вероятно, не меньше шума и толков» (РГАЛИ. Ф. 2596. Д. 179. Л. 1—4).

стихи-инвалиды (как и в “Огниве”, и в “Шелесте листьев”). “Аввакум”, “Песня”, “Атомная поэма” (“Хрустели кости у кустов”), “Стихи в честь сосны” — это куски, обломки моих маленьких поэм. В “Песне”, например, пропущена целая глава важнейшая: “Я много лет дробил каменья / Не гневным ямбом, а кайлом”, в самом конце сняты три строфы. В других поэмах ущерб еще больше...»

Но важнее для Шаламова было западное восприятие не стихов, а «Колымских рассказов», прежде всего их художественная оценка. Следует подчеркнуть, что сам он изначально не проявлял никакой инициативы в переправке за рубеж своих рукописей, догадываясь, однако, что самиздат может легко превратиться в тамиздат нелегальным, независимым от его воли, образом. Весь вопрос состоял в том, насколько цивилизованным будет издание рассказов, не принесет ли оно очередного подвоха ему, автору? Увы, на этот счет оправдались самые худшие опасения Шаламова.

На сегодняшний день существует около десятка версий, как и через кого проникли «Колымские рассказы» на Запад. Надо напомнить, что первая их публикация состоялась в конце 1966 года в русскоязычном нью-йоркском «Новом журнале», который редактировал Роман Гуль. По сведениям американского переводчика Дж. Глэда, пионером транзита стал американский же профессор-славист К. Браун, который перевез машинопись рассказов Шаламова через границу и передал Р. Гулю. Редактор «Нового журнала» — стародавний участник Ледяного похода Л. Корнилова 1918 года и автор одноименной повести, написанной явно в подражание стилю Б. Савинкова (Ропшина), никогда не питавший симпатий к советской России (и, в отличие от своего предшественника по «Новому журналу» М. Алданова, выражавший их всегда прямолинейно, по-«белому»), вспоминал: «Самым большим подарком (!) для “Нового журнала” была объемистая рукопись Варлама Шаламова — “Колымские рассказы”. Это была очень большая рукопись, страниц в шестьсот. Передавая ее, профессор сказал, что автор лично виделся с ним и просил взять его рукопись для опубликования в “Новом журнале”. Профессор спросил автора: “А вы не боитесь ее опубликования на Западе?” На что Шаламов ответил: “Мы устали бояться...” Так в “Новом журнале” началось печатание “Колымских рассказов” Варлама Шаламова из номера в номер. Мы печатали Шаламова больше десяти лет и были первыми, кто открыл Западу этого замечательного писателя. Когда рассказы Шаламова были почти все напечатаны в “Новом журнале”, я передал право на их издание отдельной книгой приехавшему ко мне покойному Стипуль-

ковскому, руководителю издательства “Оверсиз Пабликейшн” в Лондоне, где они и вышли книгой»*.

Кто здесь больше нафантазировал — то ли сам Р. Гуль, то ли профессор, но поверить тому, чтобы Шаламов передавал 600 страниц своих рукописей какому-то неизвестному человеку и при этом столь «революционно» ему заявлял: «Мы устали бояться» — невозможно. (Слово «мы» писатель никогда не употреблял — мог говорить только о себе, а сам он после Колымы уже ничего не боялся.) В этой истории известно лишь то, что в 1961 году Шаламов под давлением Н. Я. Мандельштам согласился на переправку и печатание на Западе *книги* «Колымские рассказы». Писатель однажды сам признался в этом И. П. Сиротинской, которая привела данный факт в своем интервью с Дж. Глэдом**. Никаких подробностей о передаче рукописей Шаламов ей не сообщал, но ясно, что речь шла не о журнальной публикации и тем более — не о «подарке» Р. Гулю и «Новому журналу», о существовании которого Шаламов, вероятно, и не знал, поскольку не интересовался эмигрантской литературой и никогда не слушал «радиоголосов». Позже писатель сильно сожалел об этом своем согласии, данном скорее импульсивно. В 1972 году он записал в дневнике: «Знакомство с Н. Я. Пинским (Леонидом Ефимовичем, известным литературоведом, собирателем самиздата и тамиздата. — *В. Е.*) было только рабством, шантажом почти классического образца».

Так что в случае с Р. Гулем мы имеем дело, скорее всего, с типичными уловками западных редакторов и издателей, стремившихся придать видимость благородства своим далеко не благовидным действиям на ниве литературной контрабанды и книжного пиратства, откровенно политизированного и при этом преследующего коммерческие цели. Особенно «милы» и примечательны фразы Р. Гуля: «Большой подарок», «Мы открыли» и «Я передал право...» Разумеется, издатели использовали — на всю катушку, как говорится! — тот фактор, что советская сторона не подписала Женевской конвенции 1952 года об охране авторских прав и присоединилась к ней лишь в 1973 году. Но это не значило, что с авторами можно было обходиться так бесцеремонно, торгуя их правами и не пытаясь их каким-то путем компенсировать. Следует напомнить, что А. Солженицын, начавший в это же время активно переправлять свои рукописи за границу, сразу нанял себе адвоката по охране авторских прав, благодаря чему и добился впоследст-

---

* *Гуль Р.* Я унес Россию. Апология эмиграции. М., 2001. Т. 3. (Россия в Америке). С. 206.

** Оригинал интервью находится в РГАЛИ (Ф. 2596. Оп. 2. Д. 189).

вии колоссального финансового успеха. А Шаламова, крайне далекого от подобной деловитости, открыто и беззастенчиво грабили — так не поступали даже с писателями из африканских или эскимосских народов, да простится это некорректное сравнение (оно возникло в связи с тем, что рассказы Шаламова в начале 1970-х годов перевели даже на язык африкаанс — язык английских буров, распространенный в ЮАР...).

В архиве Шаламова сохранился экземпляр «Нового журнала» (1966, № 5), где были опубликованы его первые рассказы. Журнал (очевидно, не сразу, а время спустя) передал кто-то из тех, кто общался с зарубежными дипломатами и журналистами. Шаламов, по свидетельству Сиротинской, был «взбешен» этой публикацией, которая заведомо разрушала художественную структуру его сборников: она начиналась в журнале почему-то «Сентенцией» и затем — в течение почти десяти лет! — тасовалась, как карты, в зависимости от воли редактора. При этом, что было самым оскорбительным для Шаламова, создавалось впечатление о его постоянном тайном сотрудничестве с «Новым журналом», что вызывало к нему дополнительное внимание КГБ. («При моей и без того трудной биографии только связей с эмигрантами мне не хватало», — писал он в дневнике.)

Еще до истории с письмом в «Литературную газету» 1972 года он предпринимал усилия пресечь массовое незаконное печатание своих рассказов либо направить этот процесс в более или менее культурное русло. В 1968 году ему стало известно, что западногерманское издательство «F. Middelhauve Verbag» (Кёльн) выпустило в предшествующем году книгу его рассказов под заглавием «Artikel 58». Сам он этой книги не видел, но ему сообщили (не обязательно КГБ, а, видимо, знакомые) о том, что такое издание вышло, и это не могло не вызвать его реакции. В архиве Шаламова сохранились варианты его письма в кёльнское издательство с правкой его бескорыстного юридического помощника, знакомого Я. Д. Гродзенского, М. Н. Авербаха, тоже сидевшего в свое время в Воркутинском лагере. Но прежде следует, наверное, привести письмо самого Авербаха Шаламову, написанное накануне начала этих тяжб, 8 октября 1968 года, после его личного хождения в агентство «Международная книга», регулировавшего эти вопросы:

«...Не пустили, ответила секретарь: “Видите ли: СССР не имеет никаких договоров с зарубежными странами об охране авторских прав. Поэтому мы ничего абсолютно сделать не можем...” — “А если фирма добровольно, без всяких исков, согласится уплатить гонорар?” — “Пожалуйста, но не через нас!”». Далее М. Н. Авербах писал Шаламову: «Вы мне рассказывали

о каком-то писателе, получающем из-за границы гонорары за свои произведения... Надо узнать у этого писателя — что, как и за что, каким путем он получает*. Затем, по моему мнению, есть еще и такая возможность: написать издательству непосредственно, послав ему заказное с уведомлением о вручении письмо. "Уважаемые, мол, господа! Вы издали сборник моих рассказов, хотя я Вам их и не передавал. Вообще говоря, Вам надо было бы получить у меня разрешение, но раз уж Вы обошлись без него, то не будете ли Вы любезны выслать полагающийся в подобных случаях гонорар. Мой адрес такой-то. Примите и пр."».

Шаламов почти пунктуально последовал этому совету. Варианты писем, сохранившиеся в его архиве, близки по содержанию:

«Уважаемый господин издатель! Вами в 1967 г. издан на немецком языке сборник моих рассказов под заглавием "Artikel 58" с пометкой "Autorisierte Ubersetzung" («авторизованный перевод», «согласовано с автором» — родственно копирайту. — *В. Е.*). Между тем, я Вам ни этих рассказов, ни права на издание их не давал и поэтому категорически протестую против допущенной Вами бесцеремонности. Поскольку, однако, несмотря на сказанное, Вы книгу все же издали, то не будете ли Вы хотя бы любезны прислать мне как автору один-два экземпляра ее и перевести заодно авторский гонорар».

Второй вариант: «Сборника с названием "Артикль 58" у меня нет, но из оглавления вижу, что эти рассказы — мои. Хотя я этих рассказов не авторизовал, я выражаю протест против такого характера публикации. Прошу прислать экземпляр для ознакомления. Прошу также, если это полагается по законам Вашей страны, выслать гонорар по адресу: Москва, Хорошевское шоссе, д. 10, кв. 2...»**

Было ли отправлено это письмо (или телеграмма), дошло ли оно, был ли использован Шаламовым предложенный Авербахом вариант частного иска через Инюрколлегию, — к сожалению, неизвестно, однако известен факт неопровержимый и печальный: *ни копейки за все свои зарубежные публикации* (их было очень много, некоторых мы еще коснемся) *Шаламов не получил*. Широкое западное признание и слава его интересовали в малой степени. «Если слава придет без денег, я ее прогоню вон», — говорил он И. П. Сиротинской...

* Возможно, речь идет о Е. Гинзбург, чей «Крутой маршрут» был опубликован в Италии (издательством «Мандадори») в 1967 году. О том, передала ли сама Е. Гинзбург право на это издание, и о расчетах за него сведений нет.

** РГАЛИ. Ф. 2595. Оп. 2. Д. 146. Л. 1—2.

Следует подчеркнуть, что первое, кёльнское издание «Колымских рассказов», имевшее полное название «Статья 58. Воспоминания заключенного Шаланова» (именно так, с неправильным воспроизведением фамилии автора!), было вскоре переиздано на французском языке, с сохранением той же ошибки в фамилии, весьма солидным издательством «Галлимар», но Шаламов об этом не знал.

Число людей, считавших себя причастными в передаче «Колымских рассказов» за рубеж и воспринимавших это едва ли не как личный гражданский подвиг, повторим, достаточно велико. По признанию подруги Н. Я. Мандельштам Н. В. Кинд-Рожанской, которым она поделилась в 1989 году с автором данной книги, первая переправка произошла через нее. «И хорошо, я считаю», — говорила Наталья Владимировна. «Хорошо-то хорошо, — приходится комментировать теперь, — если бы при этом элементарно думали об авторе, если бы соблюдались его права и Шаламов получил бы — пусть неофициально, от тех же западных доброхотов, средства хотя бы на сиделку, которая ему была так нужна в последние годы».

То же самое можно сказать и о Л. Э. Лунгиной, которая тоже считала себя причастной к передаче «Колымских рассказов» за рубеж (во Францию), упоминая при этом и о роли Н. И. Столяровой*. Воспоминания Лунгиной, по-своему замечательной женщины, зафиксированы в ставших популярными фильме и книге, многие оценили их за, казалось бы, документальную подлинность, однако это все же «устная история», переполненная множеством эмоциональных преувеличений и неточностей. Не будем уже говорить о том, что при первых встречах с Шаламовым на квартире Л. Е. Пинского (судя по всему, около 1966—1967 годов, не позднее) он не был таким, каким его описала Лунгина: «Жизнь наложила на него страшную печать, исказила лицо, он был весь в морщинах, у него был тяжелый, страшный взгляд. Это был абсолютно раздавленный системой человек...» Даже по фотографиям Шаламова этого периода можно понять, что он, несмотря на морщины, был совсем иным внешне, а «раздавленность» в духовном плане, — когда он еще почти десять лет после того продолжал неукротимо сопротивляться болезням и писать, может быть, важнейшие свои вещи, — это явный миф, разносившийся главным образом через недоброжелателей. Еще более страдают искажениями памяти эпизоды, где Лунгина рассказывала о письме Шаламова 1972 года в «Литературную газету»:

* *Дорман О.* Подстрочник. Жизнь Лилианы Лунгиной, рассказанная ею в фильме О. Дормана. М., 2009. С. 271—272.

«В том же номере(!), где сообщалось, что Солженицына высылают, было письмо-протест Шаламова против того, что без его разрешения опубликовали за границей его рассказы. Это неправда. С его разрешения...» (Надо пояснить, что Солженицын был выслан из СССР ровно год спустя, в 1973 году, а где Л. Э. Лунгина видела, слышала «разрешение» Шаламова, где оно зафиксировано?)

Есть в повороте темы о западных изданиях и другие явно фантастические сюжеты, напоминающие песню-пародию В. Высоцкого на советский детектив про «гражданина Епифана» и «батон с взрывчаткой». Речь идет прежде всего о воспоминаниях И. Каневской-Хенкиной, напечатанных вскоре после смерти Шаламова в журнале «Посев» в 1982 году (№ 3). Эта дама (никогда не фигурировавшая в круге знакомых Шаламова) писала: «В начале лета 1968 г., приехав к Шаламову, я взяла у него фибровый чемодан, туго набитый рукописями. Там были почти полностью "Колымские рассказы"... Последний раз я его видела перед отъездом из Советского Союза осенью 1973 г. на Даниловском рынке... Он снял у меня с пальца кольцо и надел себе на мизинец, на память».

Бредовый характер этих воспоминаний (имеющих и более буйные выплески фантазии) хорошо раскрыт современным исследователем*. Очевидным тут является лишь то, что И. Каневская-Хенкина взяла «фибровый чемодан» с рукописями Шаламова отнюдь не у самого автора, а где-то у «коллекционеров» его произведений, и, что главное, как можно полагать, именно она была передаточным звеном в предоставлении их издательству «Посев» и выпускавшемуся под его эгидой журналу «Грани». В «Гранях» начиная с 1970 года и стала осуществляться очередная пиратская и спекулятивная публикация «Колымских рассказов», которая принесла Шаламову наибольшие неприятности.

«Посев» и «Грани» имели в СССР одиозную репутацию изданий самой неприкрытой антисоветской и антикоммунистической направленности, что подтверждало и содержание их публикаций, а более всего то, что они напрямую поддерживались НТС — Народно-трудовым союзом русских солидаристов, осколком непримиримого крыла белой эмиграции,

---

* *Головизнин М.* К вопросу о происхождении первых зарубежных изданий «Колымских рассказов» В. Т. Шаламова // Шаламовский сборник. Вып. 4. М., 2011. С. 197—214. Автор этой статьи выдвигает версию о переговорах, якобы ведшихся лично Шаламовым с парижским издательством «Les Lettres Nouvelles» (левым, троцкистского толка, руководимым Морисом Надо), однако документальных подтверждений этой версии нет. Книга рассказов Шаламова этим издательством выпущена в 1969 году.

имевшим непосредственную поддержку от американских пропагандистских и разведывательных спецслужб.

Именно после публикаций в «Гранях» Шаламов попадает в «черные списки», именно в это время (1971 год) в недрах Главлита, главного цензурного комитета, возглавлявшегося П. А. Романовым и тесно связанного с КГБ, созревает секретная докладная записка в адрес ЦК КПСС, где говорится: «Буржуазные обозреватели всячески раздувают вопрос о так называемом литературном подполье в СССР, пытаясь внушить читателям мысль о "подлинной талантливости" таких его представителей, как Н. Горбаневская, В. Шаламов, В. Буковский и ряд других антисоветски настроенных авторов» (История советской политической цензуры. М., 1997. С. 583). Нельзя не заметить, что само появление Шаламова в этом ряду со столь однозначной политической оценкой свидетельствует о примитивно-полицейском подходе автора записки к любым западным публикациям: если писателя печатает «Посев», значит, он заведомо «антисоветский», и никого не интересует, как он туда попал и чем он отличается от «хулигана» В. Буковского или от лирико-политической поэтессы Н. Горбаневской, сидевшей в это время в психиатрической больнице за участие в демонстрации 25 августа 1968 года против ввода войск в Чехословакию...

Провокационную роль подобных публикаций (стимулированных отчасти «делами» Пастернака и Синявского—Даниэля, но имевших совершенно иную политическую и правовую подоплеку) хорошо понимали не только советские власти, но и сами авторы. Сложившийся в конце 1960-х годов ритуал «писем протеста» писателей против несанкционированных публикаций на Западе — а к подобным письмам прибегали Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Окуджава, В. Тендряков, А. Бек, А. Твардовский и еще ряд известных авторов — лишь формально подчинялся требованиям Союза писателей и стоявших за ним партийных структур. В большинстве случаев письма были искренними, поскольку речь в них шла о явно краденом товаре, использовавшемся в политических целях (так было, например, с поэмой Твардовского «По праву памяти», которая вышла в 1969 году в том же «Посеве», а также во французской «Фигаро», в грубом переводе белым стихом под названием «Над прахом Сталина», что не могло не вызвать негодования и публичного протеста поэта). Одно из таких протестных писем написал в «Литературную газету» и А. Солженицын в связи с изданием «Ракового корпуса», однако он обошел политическую сторону вопроса и свел проблему лишь к защите авторских прав (ЛГ от 26 июня 1968 года).

Но Шаламову в связи с появлением его произведений на Западе пришлось пройти гораздо более жестокие испытания. Судя по записям в дневнике, известие о публикации «Колымских рассказов» в «Гранях» дошло до него с большой задержкой: «К сожалению, я поздно узнал о всем этом зловещем “Посеве” — только 25 января 1972 года от редактора своей книги в “Советском писателе” (В. Фогельсона, который был редактором всех поэтических книг Шаламова. — *В. Е.*), а то бы я поднял тревогу и год назад».

Уже из этого ясно, что первый импульс «тревоги» исходил от самого Шаламова, а не от каких-либо партийных или литературных структур. Версия о «принуждении» писателя к письму в «Литературную газету» заведомо отпадает — речь шла об осознанной необходимости такого письма и о его форме, что опять же зависело от самого Шаламова. То, что Б. Полевой, редактор журнала «Юность», постоянно печатавший стихи Шаламова и за то уважаемый им, был посредником в этой истории и именно от него, по воспоминаниям И. П. Сиротинской, исходил совет: «Надо писать», — никак не свидетельствует о давлении на Шаламова — скорее, речь шла о консультировании, куда лучше обращаться. Подоплека, моральные и политические мотивы написания письма в ЛГ дополняются вариантами, сохранившимися в архиве: в них есть и наброски, адресованные секретарю ЦК КПСС П. Н. Демичеву, и первому секретарю Союза писателей Г. М. Маркову, и редактору «Литературки» А. Б. Чаковскому. Все варианты говорят о том, что Шаламов страстно негодовал по поводу западных публикаций и изначально склонен был к употреблению самых резких выражений: «О “Посеве” — в жизни не видел этого мерзостного издательства... Что им до того, что мои “Колымские рассказы” относятся к тридцатым годам, к времени сорокалетней давности... И Западу, и Америке нет дела до наших проблем. И не Западу их решать... Как ни трудна моя судьба, не эмигрантская сволочь будет мне ставить за поведение»*.

Итоговое письмо, опубликованное в «Литературной газете» 23 февраля 1972 года, необходимо привести полностью:

«Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии антисоветский журнальчик на русском языке “Посев”, а также антисоветский эмигрантский “Новый журнал” в Нью-Йорке решили воспользоваться моим честным именем советского писателя и советского гражданина и публикуют в своих клеветнических изданиях мои “Колымские рассказы”.

---

* РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Д. 370. Л. 35—39.

Считаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветскими журналами “Посев” или “Новый журнал”, а также и с другими зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность. Никаких рукописей я им не предоставлял, ни в какие контакты не вступал и, разумеется, вступать не собираюсь.

Я — честный советский писатель. Инвалидность моя не дает мне возможности принимать активное участие в общественной деятельности.

Я — честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчет в значении XX съезда Коммунистической партии в моей жизни и жизни страны.

Подлый способ публикации, применяемый редакциями этих зловонных журнальчиков, — по рассказу-два в номере — имеет целью создать у читателя впечатление, что я — их постоянный сотрудник.

Эта омерзительная змеиная практика господ из “Посева” и “Нового журнала” требует бича, клейма.

Я отдаю себе полный отчет в том, какие грязные цели преследуют подобными издательскими маневрами господа из “Посева” и их так же хорошо известные хозяева. Многолетняя антисоветская практика журнала “Посев” и его издателей имеет совершенно ясное объяснение.

Эти господа, пышущие ненавистью к нашей великой стране, ее народу, ее литературе, идут на любую провокацию, на любой шантаж, на любую клевету, чтобы опорочить, запятнать любое имя.

И в прежние годы, и сейчас “Посев” был, есть и остается изданием, глубоко враждебным нашему строю, нашему народу.

Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикацией в этом зловонном антисоветском листке своих произведений.

Всё сказанное относится к любым белогвардейским изданиям за границей. Зачем же им понадобился я в свои шестьдесят пять лет?

Проблематика “Колымских рассказов” давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, “внутреннего эмигранта” господам из “Посева” и “Нового журнала” и их хозяевам не удастся!»

Общественная реакция на это письмо, прежде всего в литературных и окололитературных кругах в России и за рубежом, была разной, но в целом, как ни странно, негативной. Мало кто ожидал, что автор «Колымских рассказов», направленных, казалось бы, против самой сути «тоталитарного строя», вдруг будет заявлять о том, что он — «честный советский писатель»

и при этом столь категорично переносить вопрос об актуальности своих рассказов исключительно в прошлое. Причиной такого отрицательного отношения к письму Шаламова, вероятно, в первую очередь была общая политизированность и размытость сознания интеллигенции в годы холодной войны, когда возродился старый российский стереотип восприятия каждого крупного писателя как выразителя непременно прогрессивных (читай: критически настроенных к строю) взглядов. В начале 1970-х годов этот стереотип обрел новую силу, стимулированную во многом примером А. Солженицына, ставшего нобелевским лауреатом. В глазах тех, кто воспринимал этот пример как идеал поведения художника, Шаламов должен был действовать точно так же — фигурально выражаясь, идти «вагоном» за «паровозом». Вот уж совсем несвойственная ему роль!

Реакция самого А. Солженицына на этот счет вполне понятна, но выражена отнюдь не в согласии с морально-этическими нормами: он, прочтя письмо в ЛГ, напечатанное в черных жирных рамках-отбивках, почему-то решил, что это траурные рамки, и публично «пошутил» на этот счет, заявив, что «Варлам Шаламов умер» (о чем свидетельствует сам Солженицын: «Я в тех же днях откликнулся в самиздате и добавил в “Архипелаг”»)*. За всем этим нельзя не увидеть стремления окончательно «похоронить» своего главного литературного соперника, имевшего другой взгляд на советскую историю и якобы «сдавшегося» властям.

Очевидно, что к той же тенденции подчиненного настроениям начала 1970-х годов «фрондерства» и «либерализма» (что вписывается в общее понятие «либеральный террор») относятся и запоздалые отклики с объяснением мотивов письма в ЛГ от таких его старых и разных лагерных знакомых, как Г. Г. Демидов и Б. Н. Лесняк, которые считали, что Шаламова якобы «заставили» сделать этот шаг. Но если Демидов категорически отказывался осуждать Шаламова, то Лесняк, по его воспоминаниям, связывал этот поступок с «ослаблением мужества» писателя, заявлял, что тот «поддался изнасилованию»(!) Подобный вывод, надо заметить, был сделал с поздних позиций, когда Шаламов порвал всякие отношения со своим старым колымским знакомым — именно из-за его собственной трусос-

---

* *Солженицын А.* С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4. С. 168. Неудивителен и последовавший почти синхронно отклик историка-эмигранта М. Геллера в польском журнале «Культура», выходившем в Париже: «...И вдруг Шаламов, проведший 20 лет в лагерях, не выдержал нового нажима и сломался, изменил самому себе» (цит. по: *Геллер М.* Российские заметки. 1969—1979. М., 2000. С. 145).

ти, когда Лесняк, вызванный в Магаданское управление КГБ, откровенно «заложил» писателя, который давал ему читать свои «Колымские рассказы». Вся эта история подробно описана в рассказе Шаламова «Вставная новелла» с видоизмененной фамилией героя. Тогда же он записал в дневнике: «Лесняк — человек, растленный Колымой...»

Но самым неожиданным для писателя оказалось то, что за письмо в ЛГ его осудил и самый близкий ему человек — И. П. Сиротинская. В своих воспоминаниях она писала, что для нее это было «крушение героя» и что «самым страшным было его собственное о себе мнение — реабилитация в собственных глазах», когда он говорил: «Для такого поступка мужества надо поболее, чем для интервью западному журналисту». Она отвечала «жестоко», как сама признавалась: «“Не надо увлекаться. Этак и стукачей можно наделить мужеством”. И сейчас вспоминаю, как он смешался и замолк, как сошла с его лица мимика убежденной кафедральности. Я почти никогда не бывала с ним резка. Три раза припоминаю лишь, когда я жестоко обошлась с ним. И жалею об этом...»

Такие обвинения были действительно чрезмерны. Непонимание чего-то главного в Шаламове, свойственное всему «прогрессивному человечеству», в них явно чувствовалось. Лишь позднее Сиротинская осознала свою неправоту. Вероятно, для нее, а заодно и для всех, кто не понял смысла письма в ЛГ, он сделал запись в дневнике, которую Сиротинская нашла и опубликовала позднее:

«Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление мое, его язык, стиль принадлежат мне самому.

Я отлично знаю, что мне за любую мою “деятельность”, в кавычках или без кавычек, ничего не будет в смысле санкций. Тут сто причин. Первое, что я больной человек. Второе, что государство с уважением и пониманием относится к положению человека, много лет сидевшего в тюрьме, делает скидки. Третье, репутация моя тоже хорошо известна. За двадцать лет я не подписал, не написал ни одного заявления в адрес государства, связываться со мной, да еще в мои 65 лет — не стоит. Четвертое, и самое главное, для государства я представляю собой настолько ничтожную величину, что отвлекаться на мои проблемы государство не будет. И совершенно разумно делает, ибо со своими проблемами я справлюсь сам.

Почему сделано это заявление? Мне надоело причисление меня к “человечеству”, беспрерывная спекуляция моим именем: меня останавливают на улице, жмут руки и так далее. Если бы речь шла о газете “Таймс”, я бы нашел особый язык, а

для “Посева” не существует другого языка, как брань. Письмо мое так и написано, и другого “Посев” не заслуживает. Художественно я уже дал ответ на эту проблему в рассказе “Необращенный”, написанном в 1957 году, и ничего не прочувствовали, это заставило меня дать другое толкование этим проблемам.

Я никогда не давал своих рассказов за границу по тысяче причин. Первое — другая история. Второе — полное равнодушие к судьбе. Третье — безнадежность перевода и вообще все — в границах языка»*.

Оценивая письмо в ЛГ и собственные комментарии Шаламова к нему, нельзя прежде всего не вспомнить подобные же прецеденты в истории русской литературы. Первое, что сразу всплывает в памяти, — известное стихотворение Пушкина «Клеветникам России». Разумеется, было бы рискованно (с учетом разницы поводов и исторических условий) проводить какие-либо прямые параллели между отношением великого русского поэта к оскорблениям России «витиями» западных держав и отношением Шаламова к столь же пристрастной и ожесточенной пропагандистской атаке Запада на СССР в период холодной войны, — но культурно-генетическая связь здесь все же прослеживается. Она в первую очередь в органическом патриотизме, присущем как Пушкину, так и Шаламову, — оба они отнюдь не восхищались порядками и общим строем жизни в России, но не терпели высокомерных «советов» со стороны о том, как следует жить великой стране, у ко-

---

* *Шаламов В.* О письме в «Литературную газету» // Шаламовский сборник. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 104—105. Аналогичные мысли были высказаны Шаламовым в письме его старому знакомому, литературоведу Л. И. Тимофееву от 27 февраля 1972 года:

«Дорогой Леонид Иванович. Я благодарю еще раз за дружескую помощь. В письме в “Литературную газету”, написанном по срочному и острому поводу, я говорил — чуть ли не впервые — собственным языком, не искаженным радиопомехами кружковщины, взаимовыручки “испорченного телефона” — и прочих орудий шантажа, а значит, преувеличенных мифов. Москва — это город слухов. Пигмея там выдают за Геркулеса, приписывают человеку чужие мысли, поступки, которых он не совершал.

Главный смысл моего письма в “Литературную газету” в том, что я не желаю сотрудничать с эмигрантами и зарубежными благодетелями ни за какие коврижки, не желаю искать зарубежной популярности, не желаю, чтобы иностранцы ставили мне баллы за поведение. Для писателя, особенно поэта, чья работа вся в языке, внутри языка, этот вопрос не может решаться иначе.

Я в жизни не говорил ни с одним иностранным корреспондентом и не имел приемника, чтоб собирать информацию Би-би-си и “Голоса Америки”.

Я живу на свою маленькую пенсию абсолютно уединенно уже целых шесть лет. Не вижусь ни с кем, нигде не бываю, и у меня не бывает никто.

Слухи не утихают, а, наоборот, разгораются...»

торой — плохая или хорошая, но «своя история». Для Шаламова эта история была стократ трагичнее, но тем не менее он даже после Колымы (в не опубликованном при жизни стихотворении 1955 года) писал:

Мы Родине служим по-своему каждый,
И долг этот наш так похож иногда
На странное чувство арктической жажды,
На сухость во рту среди снега и льда.

Этот внутренний, никогда не афишировавшийся патриотизм выплеснулся в письме в ЛГ со всей прямотой и страстностью, вобрав в себя и горячую веру Шаламова 1920-х годов, и новую веру, возникшую после разоблачения преступлений Сталина. Это было сугубо личным восприятием Шаламова, но несомненно, что оно отразило основные черты советского менталитета 1960-х годов, свойственные и ему.

Не может быть обойден вопрос и о стиле письма в ЛГ, показавшемся тогда некоторым читателям неестественным, вовсе не похожем на привычный стиль Шаламова. Но писатель сам все объяснил: «Если бы речь шла о газете “Таймс” (для Шаламова — условное понятие респектабельности. — *В. Е.*), я бы нашел особый язык, а для “Посева” не существует другого языка, как брань». В психологическом — и фразеологическом — плане это был почти лагерный (единственно — без матерных слов) ответ на провокации со стороны неизвестных «стукачей» и «оперов». В связи со стилем небезынтересно заметить, что Иосиф Бродский, оказавшийся в том же 1972 году в эмиграции, напечатал в газете «Нью-Йорк таймс» свое письмо протеста на спокойном, без восклицаний, языке, но с теми же мыслями, что и у Шаламова: «Я скорее частное лицо, чем политическая фигура, и я не позволял себе в России и, тем более, не позволю здесь использовать меня в той или иной политической игре». Надо подчеркнуть, что за это письмо И. Бродского никто не осудил и он не был подвергнут «либеральному террору» — оно было воспринято как абсолютно нормальное для художника (скорее всего, потому что появилось в респектабельной газете и вдали от «болельщиков» на родине...).

Невозможно обойти и формулировку Шаламова о том, что «проблематика “Колымских рассказов” снята жизнью». Ее трудно рассматривать иначе как прямой и открытый вызов писателя всем, кто *«спекулирует на крови»* (так прямо и решительно выражался он в частных беседах) — на лагерной теме, превращая ее в инструмент большой глобальной политики. Для того чтобы пойти на такой вызов в условиях господства мнений «прогрессивного человечества», требовалось дейст-

вительно огромное мужество (о чем и говорил Шаламов Сиротинской, но та его не поняла). Формулировка — как и все письмо — диктовалась свойственным Шаламову чувством глубокой нравственной ответственности писателя перед историей, пониманием того, что в самые острые ее моменты нужно принимать, как он не раз повторял, «однозначное решение». Очевидно, что за словами «проблематика снята» — не отказ, не отречение от «Колымских рассказов» (как пытались представить некоторые интерпретаторы), а трезвая констатация того, что актуальность лагерной темы объективно в значительной мере снижена. Шаламов ясно понимал, что после XX съезда в стране и мире произошли необратимые изменения и возврат к страшному прошлому уже невозможен. В связи с этим характерна его сдержанная оценка известной самиздатской книги А. Марченко «Мои показания», посвященной советским тюрьмам 1950—1960-х годов: «Главное. Изменение колоссальное по сравнению с геноцидом моего времени»*. Преодоление же сталинского наследия в политике, в привычках русских людей к «жесткой руке», осмысление проблемы сталинизма в ее исторической реальности — по его логике, вопросы иного порядка, и они не могут быть решены раз и навсегда. Самое важное для него то, что свою писательскую задачу — сохранить память о преступлениях сталинизма — он выполнил, но и впредь «забывать ничего не собирается».

Между тем эксплуатация советской лагерной темы продолжалась в мировом масштабе, и самым амбициозным, с огромными претензиями на широчайшие политические обобщения, произведением этой темы стал «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, начавший публиковаться с 1973 года на Западе. Книга, составленная из более чем двухсот источников, не принадлежавших автору по праву, и писавшаяся в большой спешке, с поверхностным редактированием многих текстов, содержала и немало ссылок на имя и произведения Шаламова. Хотя, надо заметить, автор «Колымских рассказов» еще в 1967 году, после отказа от совместной работы над «Архипелагом», передал через А. В. Храбровицкого (одного из поставщиков материала для этой книги), что он запрещает Солженицыну использовать свое имя и свои материалы. Но это требование не возымело действия — в «Архипелаг» вошел целый пласт, связанный с шаламовскими темами. Например, глава «Социально-близкие» (о блатных) представляет собой, в сущности, вольный пересказ «Очерков преступного мира», причем без ссылок на их автора. Солженицын делал и публичные компли-

* Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 66.

менты Шаламову как непревзойденному «летописцу Колымы» (что было абсолютно неадекватно художественному методу Шаламова и вызывало его резкие возражения: «Я летописец собственной души, не более») и полемизировал с ним по разным поводам — то о роли лагерной медицины, то о лагерном опыте, по убеждению Шаламова, «сугубо отрицательном для каждого человека», не понимая, что Шаламов имеет в виду именно лагерь, а не тюрьму — отсюда и известная хвала тюрьме, высказанная Солженицыным. В итоге шаламовская тема и шаламовские реминисценции занимают в «Архипелаге» весьма значительное место — без них книга потеряла бы немалую часть своего объема, лишилась бы одного из главных внутренних сюжетов, а самое важное — лишилась бы мощной символической подпорки в лице утвердившегося и на Западе писательского авторитета Шаламова, с которым Солженицын якобы был едва ли не на «дружеской ноге».

Следует заметить, что шаламовское письмо в ЛГ дало в руки автора «Архипелага» другой козырь: публично заявив всему миру, что «Варлам Шаламов умер», А. Солженицын получил, на его собственный взгляд, полный моральный перевес над «сдавшимся» писателем, а отсюда и — на ничем не ограничиваемое манипулирование его именем и его произведениями...

Неблаговидная суетливость этой «похоронной» деятельности особенно видна на фоне чрезвычайно плодотворной работы Шаламова в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Именно в 1971—1973 годах он завершил автобиографические книги «Четвертая Вологда» и «Вишерский антироман», «Воспоминания» и последний сборник рассказов колымского цикла — «Перчатка, или КР-2». В них запечатлена не только реальность всего пережитого, но и его философия — взгляды на российскую, советскую и мировую историю, во многом полемичные по отношению к умонастроениям времени, к новейшим увлечениям читающей публики, включая и увлечение А. Солженицыным.

Неизвестно, в какой мере Шаламов был знаком со всеми томами «Архипелага ГУЛАГ», но концепцию его он хорошо помнил по старой беседе «на травке» и, конечно, каким-то образом (скорее, через знакомых) узнал комментарий Солженицына о себе, якобы «умершем». Поначалу, как видно из набросков его письма, первый импульс Шаламова был — высказаться на это неприкрыто циничное «похоронное» оскорбление публично, через самиздат, но письмо в итоге не было закончено и не было отправлено. Очевидно, что первоначальные эмоции у писателя просто утихли, и «слишком личного» он не

захотел предавать огласке, считая, что письмо останется его дневниковой записью, которая когда-нибудь станет известна. По наброскам письма в архиве, датированным 1973—1974 годами, но расшифрованным и опубликованным И. П. Сиротинской много позднее*, можно судить, что главные качества писателя — непоколебимое чувство личного достоинства и высочайший интеллект — оставались тогда в полной силе, и никто бы не счел его заявления словами «больного» и тем более «умирающего» человека.

Вот его текст с небольшими сокращениями:

«Г<осподин> Солженицын,

Я охотно принимаю Вашу похоронную шутку насчет моей смерти. С важным чувством и с гордостью считаю себя первой жертвой холодной войны, павшей от Вашей руки.

Если уж для выстрела по мне потребовался такой артиллерист, как Вы, — жалею боевых артиллеристов.

Но ссылка на "Литературную газету" не может быть удовлетворительной и дать смерть. Дают ее стихи или проза.

Я действительно умер для Вас и Ваших друзей, но не тогда, когда "Литгазета" опубликовала мое письмо, а гораздо раньше — в сентябре 1966 г.

И умер для Вас я не в Москве, а в Солотче, где гостил у Вас и, впрочем, всего два дня, я бежал в Москву тогда от Вас, сославшись на внезапную болезнь. По возвращении в Москву я немедленно выкинул из квартиры Ваших друзей и секреты. <...>

Что меня поразило в Вас — Вы писали так жадно, как будто век не ели и [нрзб] было похоже разве что на глотание в Москве кофе. <...> По Вашей просьбе я прочел за три ночи <...> тысячи стихов и другую прозу. <...> Ваше чрезмерное увлечение словарем Даля принял просто за шутку, ибо Даль — это Даль, а не боль. <...> Я подумал, что писатели [нрзб] разные, но объяснил Вам о методах своей работы. Вы знаете, как надо писать. Я нахожу человека и описываю его, и все.

Этот ответ просто вне искусства. <...>

Тут я должен сделать небольшое отступление, чтобы Вы поняли, о чем я говорю.

Поэзия — это особый мир, находящийся дальше от художественной прозы, чем, например, <статья по> истории.

Проза — это одно, поэзия — это совсем другое. Эти гены и в мозгу располагаются в разных местах. Стихи рождаются по

---

* Впервые: *Шаламов В.* Воспоминания. М., 2001. С. 368—380. Входит в шеститомник Шаламова (см.: *Шаламов В.* Собрание сочинений: В 6 т. М., 2006. Т. 5. С. 365—367). Все сокращения сделаны публикатором ввиду исключительно трудночитаемого рукописного текста.

другим законам — не тогда и не там, где проза. <...> В поэме Вашей не было стихов. <...> Конечно, давать свои вещи в руки профана я не захотел. <...>

Я сказал Вам, что за границу я не дам ничего — это не мои пути [нрзб], какой я есть, каким пробыл в лагере.

Я никогда не мог представить, что после XX съезда партии <появится> человек, который <собирает> воспоминания в личных целях. <...>

Главная заповедь, которую я блюду, в которой жизни всех 67 лет, опыт — "не учи ближнего своего".

И еще одна претензия есть к Вам, как представителю "прогрессивного человечества", от имени которого Вы так денно и нощно кричите о религии громко: "Я — верю в Бога! Я — религиозный человек!"

Это просто бессовестно. Как-нибудь тише все это надо Вам. <...>

Я, разумеется, Вас не учу, мне кажется, что Вы так громко кричите о религии, что от этого будет <внимание> — Вам и выйдет у Вас заработанный результат.

Кстати — это еще не всё в жизни.

Я знаю точно, что Пастернак был жертвой холодной войны, Вы — ее орудием.

На это письмо я не жду ответа.

"Вы — моя совесть". Разумеется, я все это считаю бредом, я не могу быть ничьей совестью, кроме своей, и то — не всегда, а быть совестью Солженицына... <...>»

Память, никогда не отказывавшая Шаламову, и здесь не отказала: он помнил всё, касавшееся отношений со своим оппонентом, в том числе и первое его заявление 1963 года: «Вы — моя совесть», и встречу в Солотче, которая ясно показала несовместимость их художественных миров, и спор о религии, выявивший глубокие мировоззренческие расхождения, а самое главное — он ясно осознал, что Солженицын в условиях холодной войны занял отчетливо выраженную позицию враждебной СССР стороны. Чрезвычайно точная и емкая формула Шаламова о Пастернаке как «жертве холодной войны», а о Солженицыне — как ее «орудии» (лишенная каких-либо прямых политических ярлыков — до такой степени использования внехудожественных приемов, в отличие от своего оппонента, Шаламов никогда не опускался) свидетельствует о его категорической неприемлемости любого рода «политических игр» со стороны настоящего, честного художника.

Спор с Солженицыным завершался, переходя в иную, художественную плоскость, и то, что Шаламов писал это письмо в наконец-то улучшившейся бытовой обстановке, — в сентябре 1972 года он получил новую комнату в центре Москвы, на улице Васильевской, рядом с Домом кино и чехословацким посольством, — говорит совсем не о том, что это была «поблажка» властей, как и издание книги стихов «Московские облака», и что он каким-то образом подчинялся этим «поблажкам» (а на самом деле — завоеванным в конце жизни элементарным правам). Все двухэтажные дома на Хорошевском шоссе шли под снос, и Шаламов имел право отказаться от предлагавшегося ему Чертанова по причине своей инвалидности. Литфонд дал ему хорошую комнату как ветерану, и прямой связи с письмом в ЛГ здесь отнюдь не прослеживается. Шаламов жил не на шикарной даче М. Ростроповича и Г. Вишневской, опекавшейся министром внутренних дел СССР Н. А. Щелоковым, — как почувствовавший тогда свою «экстерриториальность» А. Солженицын*, а в очень скромных, но наконец-то более или менее нормальных условиях — комната на третьем этаже имела и выход на балкон, и дала ему возможность свободно расположить свои книжные полки и свой архив, а самое главное, была на тихой улице, к тому же близкой к центральной улице Москвы — имени Горького или, как помнил ее Шаламов, Тверской.

К сожалению, все эти элементарные удобства пришли слишком поздно, но Шаламов использовал их по максимуму — он желал высказаться до конца.

---

* Известно, что на этой даче во флигеле Солженицын хранил свою телогрейку и другие предметы лагерной униформы. В телогрейке, по собственному признанию, он собирался явиться в шведское посольство на официальную церемонию присуждения ему в 1970 году Нобелевской премии... Это одна из многих деталей, свидетельствующих об артистическом прагматизме Солженицына, о его повышенном внимании к саморекламе (к тому, что ныне называется пиар). Характерен комментарий самого писателя к сеансу у фотографа для снимка на обложку «Роман-газеты» (1963 год), где выходил «Один день Ивана Денисовича»: «То, что мне нужно было, выражение замученное и печальное, мы изобразили» (*Солженицын А.* Бодался теленок с дубом // Новый мир. 1991. № 6. С. 33). Подобное выражение было «сыграно», имитировано писателем также на двух известных постановочных снимках в лагерной униформе, предназначенных для рекламы на Западе — портретном (он воспроизведен в данном издании) и двухфигурном, с инсценировкой лагерного «шмона». В книге первой жены Солженицына Н. Решетовской «В круге втором» (М., 2006) к последним снимкам дана красноречивая подпись: «Постановочная реконструкция после освобождения». Все это, как представляется, еще раз убедительно подтверждает справедливость шаламовской характеристики Солженицына как «дельца» и несовместимость нравственных аспектов творчества и поведения двух писателей. Подробнее об этом в нашей книге «Варлам Шаламов и его современники».

Глава восемнадцатая

КРЕДО: ВЫСКАЗАННОЕ И НЕДОСКАЗАННОЕ

Принятый в конце концов в Союз писателей СССР в 1972 году и освобожденный, как он считал, от всяческих двусмысленностей своего положения и заодно от «конвоя» (слежки), Шаламов начинает во второй раз в своей жизни на короткое время оттаивать. Он не только сосредоточенно и спокойно работает, пользуясь маленьким комфортом комнаты, но и постоянно выходит в любимый центр Москвы. Его маршрут, кроме посещений магазинов по житейским нуждам, лежит в основном в редакцию журнала «Юность», благо она недалеко.

Когда-то, в конце 1950-х годов, он получил из этого журнала ответ за подписью заведующего отделом поэзии Николая Старшинова: «Ничего отобрать не удалось. Может быть, у Вас есть стихи, более близкие нам тематически — о юности, о комсомоле? Рукопись возвращаем...» Этот смешной, дежурно-молодежный ответ давно забыт, и его тянет пообщаться с современной поэзией, которая, на его взгляд, сосредоточена именно вокруг «Юности», а не «Нового мира», и представляет некое подобие молодого ЛЕФа. По крайней мере его здесь тепло встречают и постоянно, практически каждый год, печатают, несмотря на столь диссонирующий с молодежью возраст (что отражено и на его фотопортретах, предваряющих стихи, — они впервые начали практиковаться именно в «Юности»). Представители нового поколения — Е. Евтушенко, И. Шкляревский, Н. Злотников, О. Чухонцев, С. Дрофенко, Г. Айги и другие очень высоко ценят его поэзию, радуются встречам с ним, человеком другой эпохи, с пониманием относясь и к его полемическим строкам: «Поэзия — дело седых, / Не мальчиков, а мужчин...» Очень выразительно об отношении к Шаламову в «Юности» написал впоследствии Натан Злотников: «У него была легкая походка. Это казалось невероятным для человека едва ли не двухметрового роста, с могучим разворотом плеч, с той совершенно богатырской статью, которой природа все реже наделяет людей... Всем в его присутствии было хорошо и спокойно, как будто по соседству с большим и сильным деревом. Говорил мало, преодолевая некоторую затрудненность речи, с застенчивостью, свойственной прямодушным натурам. И каждая фраза странным образом походила на того, кому обязана была своим рождением, и стихи были похожи на него: строгость, аскетичность и, может быть, даже суровость слога сопутствовали достоинству глубокой оригинальной мысли, отваге и бесстрашию сердечного порыва... У Шаламова были особые отношения со словом, он верно и строго слу-

жил слову, и оно служило ему. В этой взаимности не было и тени компромисса, а всегда присутствовала готовность к самопожертвованию — так друг служит другу».

Игорь Шкляревский, помня эти встречи, говорил, что Шаламов в своих стихах и своих разговорах утверждал «яростную веру в неисчерпаемость человеческих сил. Но крепкое пожатие его руки с каждым разом слабело...».

То и другое замечено очень точно. Шаламовские стихи в «Юности» печатались отнюдь не из снисхождения к его судьбе, а именно потому, что он являлся живым преодолением этой судьбы. Преодолением прежде всего поэтическим. В его последних стихах, напечатанных в «Юности», есть и интимная лирика, посвященная И. Сиротинской, — «Она ко мне приходит в гости» (1974, № 11) со знаменательной строкой «Она была самим леченьем», есть и философско-социальные мотивы, воплощенные в большом стихотворении «Асуан» (1972, № 4). Стихи, посвященные строительству Асуанской ГЭС в дружественном тогда Египте, лишь на первый взгляд могут показаться официозными (в связи со строками: «Здесь гений двух культур / Советской и арабской»), а на самом деле являются воплощением самой «яростной веры в неисчерпаемость человеческих сил» — веры, идущей от 1920-х годов и нашедшей здесь своеобразное натурфилософское и антирелигиозное выражение: «Пускай зарыт Коран / В подножье Асуана, / — Для мира Асуан / Важнее сур Корана...» Весьма характерно, что эти стихи Шаламова были опубликованы в подбор к публицистическим стихам Евгения Евтушенко, написанным совершенно в духе и стиле Владимира Маяковского: «...Сыпьте дуста побольше, товарищи, / если пакостно пробрались / тараканы и тараканища / в дом высотный — в социализм!..» (Неизвестно, как отнесся Шаламов к такому соседству, но творчество Евтушенко как «настоящего лирического репортера нашего времени» он ценил, не прощая, однако, поэту поверхностности, небрежности и частых подражаний — то Маяковскому, то Пастернаку. «Подражание — это неудача», — писал он. Весьма скептично оценил Шаламов еще в начале 1960-х годов одно из наивно-прекраснодушных высказываний Евтушенко: «Люди лучше, чем о них говорят и думают...»)

Кроме «Асуана» — в контексте других стихов Шаламова этого периода, посвященных, в частности, Эрнесто Че Геваре (и весьма восторженных отзывах о его личности в дневнике), — можно было бы сделать вывод о некоем позднем романтизме поэта, о его отходе от тех совершенно недвусмысленных, казалось бы, пессимистических выводов, к которым он пришел в «Колымских рассказах». Но все гораздо сложнее. Шаламов как

художник никогда не был монотонен, и при всем «мизантропическом складе» натуры, о чем он открыто писал, его всегда восхищали мужественные поступки отдельных людей и их сопротивленческая, созидательная деятельность, направленная на преобразование мира. Поэтому в его произведениях оживают такие героические, похожие на его майора Пугачева, фигуры, как Д. Гарибальди и Р. Амундсен, как Ф. Ф. Раскольников, открыто выступивший против режима Сталина (о Раскольникове Шаламов написал в начале 1970-х годов большой очерк-повесть), и М. Склодовская-Кюри, пожертвовавшая собой во имя науки (ей посвящено стихотворение). Именно эта вера поэта в благородство выдающихся исторических личностей не давала ему оставаться в этом мире одноким и служила, пожалуй, главной компенсацией его тяжкой памяти, от которой он не мог избавиться.

Другой опорой служила интенсивная переписка с людьми, близкими ему по духу и по интересам.

Образ Шаламова-анахорета и нелюдима, каким он предстает в воспоминаниях некоторых современников, точен лишь отчасти. Основное препятствие на пути к более широкому общению (кроме осторожности к разного рода шантажистам) — его глухота. В записных книжках Шаламова есть много сетований и печальных размышлений по этому поводу: «...Еще когда кончилось немое кино, я понял, что будущее — не для глухих. Именно наука и техника подчеркивают ежедневно, что глухим нет места в жизни. Эпистолярный способ общения, фельдъегеря и почтовые кареты — вот время, когда глухота не мешала бы мне общаться с миром». Тем не менее эпистолярий в его самых разнообразных вариантах — от пространных писем до открыток и записок — представляет одну из важнейших граней его жизни. В переписке Шаламова, опубликованной ныне в шестом томе его сочинений, около семидесяти адресатов! И в последние годы эта его потребность в связи с миром, в обмене мыслями, нисколько не уменьшалась.

Среди постоянных корреспондентов Шаламова прежде всего самые дорогие ему люди — И. П. Сиротинская и старые друзья-колымчане Г. А. Воронская и И. С. Исаев. Но кроме того — какой широкий спектр личностей из литературного и научного кругов! От В. Кожинова и О. Михайлова — до Д. Самойлова и Ю. Лотмана. По тогдашним представлениям, эти люди в их общественной и культурной самопрезентации стояли на абсолютно разных позициях: кто тяготел к новым «славянофилам», кто — к «западникам». Но для Шаламова это ровно ничего не значило — он никогда не принадлежал ни к каким писательским «группам» и «направлениям», а само вне-

сение в литературную борьбу СССР фермента антисемитизма считал отвратительным (по его мнению, в разжигании антисемитизма был виновен Сталин, а за конкретные проявления вражды к евреям следовало бы уголовно наказывать). Со всеми своими корреспондентами он обсуждал только чисто профессиональные проблемы — книги тех же В. Кожинова и Д. Самойлова, посвященные поэзии, «тайнам стиха». Особенно примечателен его интерес к теоретическим работам Ю. Лотмана. Книгу тартуского ученого «Структура художественного текста» (1969) он хорошо знал, и в письме к нему предлагал воспользоваться своими «записями о поэтической интонации — вопросу, вовсе не разработанному в нашем литературоведении». (Очевидно, благодаря содействию Лотмана через некоторое время статья Шаламова «Звуковой повтор — поиск смысла» была опубликована в сборнике: Семиотика и информатика. Вып. 7. М., 1976.) Чрезвычайно знаменательно, что последним корреспондентом Шаламова стал великий русский интеллигент, академик Д. С. Лихачев, сам сидевший на Соловках, знавший «Колымские рассказы» и приславший писателю в 1979 году, в дом инвалидов, ободряющее письмо...

Стоят ли внимания на этом фоне факты, которые можно считать отчасти бытовыми? Мне кажется, стоят, потому что они показывают повседневную жизнь Шаламова начала—середины 1970-х годов, пульс его интеллектуальных интересов. Например, в архиве писателя сохранился билет в Колонный зал Дома союзов (где в 1930-е годы располагались редакции журналов, в которых он работал) со штампами «18 сентября 1974 г., партер, ряд 3, место 12, цена 2 руб.». Судя по этому билету, Шаламов пришел в знакомый ему зал на шахматный матч А. Карпов — В. Корчной. Он не оставлял увлечения своей молодости, профессионально разбирал все партии и в данном случае, с учетом разных факторов (Карпов — в костюме с галстуком и аккуратной прической, Корчной — небрежно одетый и лохматый, что он отмечал в дневнике; Корчной во второй партии совершил грубую ошибку), болел за Карпова и был убежден, что тот в конце концов победит, что и случилось. Другая запись болельщического плана в дневнике относится к 1976 году, к зимним Олимпийским играм в Инсбруке, которые Шаламов наблюдал по телевизору (придвинувшись, чтобы лучше слышать, к самому экрану): «Замечательная Белая олимпиада! Не было нападений террористов — мюнхенские убийства, ни случайных людей... Что для меня лично было всего дороже? Женская золотая эстафета с результатом — СССР — Финляндия — ГДР, где золото было создано из ничего, даже не из нуля, а из минус четыре, секунд, проиграла Балд<ычева> на

общем старте, ее столкнули, она упала. Второй этап Зоя Амосова, Г. Кулакова, Сметанина...»

Можно догадываться, какое это ему давало тепло, ведь он болел за «наших»!

Жить в двух параллельных состояниях с возрастом становилось не только психологически, но и физически невозможно. Лагерное прошлое неизбежно уходило. Давняя мысль Шаламова о том, что «если бы человек был не в силах забывать — кто бы мог жить», воплотилась в конце концов и в нем самом. Окончательный литературный расчет с прошлым произошел у писателя в сборнике «Перчатка, или КР-2», завершенном в 1973 году, и в стихотворении «Славянская клятва», написанном тогда же. Следует подчеркнуть, что сборник «Перчатка, или КР-2» — наиболее жесткий, пожалуй, из всех сборников — создавался почти целиком после письма в ЛГ, что доказывает условность фразы Шаламова о том, что «проблематика "Колымских рассказов" снята жизнью» — для него самого эта проблематика была отнюдь не снята. «Перчатка», заглавный рассказ последнего сборника, венчается программными для всего его послелагерного творчества словами:

«Принцип моего века, моего личного существования, всей жизни моей, вывод из моего личного опыта, правило, усвоенное этим опытом, может быть выражено в немногих словах. Сначала нужно возвратить пощечины и только во вторую очередь — подаяния. Помнить зло раньше добра. Помнить все хорошее — сто лет, а все плохое — двести. Этим я и отличаюсь от вех русских гуманистов девятнадцатого и двадцатого века».

Стихотворение «Славянская клятва», адресованное всем палачам сталинской эпохи, звучит еще жестче:

Клянусь до самой смерти
мстить этим подлым сукам,
Чью гнусную науку я до конца постиг.
Я вражескою кровью свои омою руки,
Когда наступит этот благословенный миг.
Публично, по-славянски,
из черепа напьюсь я.
Из вражеского черепа,
как делал Святослав.
Устроить эту тризну
в былом славянском вкусе
Дороже всех загробных,
любых посмертных слав.

Все это создавалось в тихой комнате на Васильевской, в возрасте шестидесяти пяти лет, но, как и прежде, наверняка было «прокричано» и «проплакано»...

Мотив отмщения, почти библейского, столь страстно звучащий в этих произведениях, можно считать пиком всех эмоций Шаламова, связанных с тем, что он пережил. Но, воздав прошлому, надо было до конца разобраться в его причинах, корнях, в связях с общечеловеческой историей. То, что мысль Шаламова в этом направлении шла по своим, непривычным для многих траекториям, — вполне естественно, с учетом его уникального опыта. Как истинный поэт, он всегда мыслил масштабно, шел на самые смелые обобщения, которые часто шокировали его знакомых своей парадоксальностью.

По большому счету, внутреннюю суть Шаламова — взгляды на прошлое, настоящее и будущее, а главное, их цельность — мало кто понимал. Еще в 1960-е годы появилась версия о непримиримой противоречивости, даже «расколотости» сознания Шаламова — о том, что «светлый мир 1920-х годов и беспросветный ужас колымской каторги в его творчестве не были ничем связаны»*. Такие выводы могли возникнуть только из-за определенной предубежденности, а также из-за отсутствия всей полноты знания о творчестве писателя, особенно его позднего периода. Разумеется, Шаламов не мог писать каких-либо фундаментальных исторических и философских трактатов — любое теоретизирование ему в принципе было чуждо. Но это не значит, что он отказывался от какого-либо рационального объяснения открывшихся ему бездн человеческого бытия и истории в ее социальной конкретике. Все его размышления на этот счет ярко воплощены в кратких, необычайно емких максимах-афоризмах, рассыпанных в его произведениях, особенно в поздней прозе, в дневниках и письмах. Их совокупность скреплена внутренней логикой и представляет вполне четкий взгляд писателя, его кредо (слово «концепция» здесь явно не к месту).

Если возвращаться к 1920-м годам, то их историческое значение Шаламов видел в том, что они «были временем, когда вьявь в живых примерах были показаны ВСЕ (выделено Шаламовым. — *В. Е.*) многочисленные варианты и тенденции, которые скрывала революция»**. Сталин, по убеждению писателя, олицетворял худшую из этих тенденций. О том, что, по Шаламову, «Сталин и Советская власть — не одно и то же», мы уже говорили — да этому, собственно, и посвящены его «Колымские рассказы», которые сам он называл «пощечинами сталинизму». «Забыть эти преступления», по его словам, — «самое низкое на свете». Но до полного отрицания исторической ро-

* *Орлова Р., Копелев Л.* Мы жили в Москве. М., 1990. С. 58, 64.
** РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Д. 126. Л. 74.

ли Сталина Шаламов никогда не доходил. В связи с очевидной ролью его как Верховного главнокомандующего в консолидации народа в период Великой Отечественной войны писатель не раз приводил старую поговорку: «При войне тиран сближается с народом», — и это вполне объективная оценка. Однако к числу ключевых, никогда не сменяемых шаламовских нравственных максим (адресованных не только настоящему, но и будущему) относится, несомненно, его дневниковая запись: «Восхваление Сталина — это эстетизация зла»...

Чем глубже погружается Шаламов в причины колымской трагедии (и не только колымской: Освенцим у него — постоянный аналог), тем больше он отходит от подобной персонификации. Он пытается вывести эти проблемы на другой уровень понимания — не столько политический, сколько общечеловеческий, культурно-антропологический, не столько на российский (советский), сколько на мировой.

Одним из последних важнейших писем Шаламова следует считать, несомненно, письмо А. А. Кременскому — малоизвестному литератору, который обращался к нему с наивным вопросом: к какой «школе» он принадлежит — «солженицынской» или иной? В ответ Шаламов написал большое, сверхконцентрированное по своему философскому смыслу письмо — возможно, рассчитывая на его распространение в самиздате как свое заявление, еще раз разъясняющее, в каком плане «проблематика “Колымских рассказов” снята жизнью», а в каком — не снята и никогда не снимется: «Я не вижу никаких причин исключить лагерную тему из литературного сырья для современного писателя. Напротив — я вижу именно в лагерной теме выражение, отражение, познание, свидетельство главной трагедии нашего времени. А трагедия заключается в том, как могли люди, воспитанные поколениями на гуманистической литературе (“от ликующих, праздно болтающих”), прийти при первом же успехе к Освенциму, к Колыме. Это не только русская загадка, но, очевидно, мировой вопрос».

Самый важный урок XX века для Шаламова — «неожиданный урок обнажения звериного начала при самых гуманистических концепциях», «человек оказался гораздо хуже, чем о нем думали русские гуманисты XIX и XX века». Это, как он объясняет своему корреспонденту, он и пытался отразить в своих рассказах, которые «показывают человека в исключительных обстоятельствах, когда все отрицательное обнажено безгранично». Поэтому он утверждает: «Мировая история развивается по своим законам, которые не может рассчитать ни один пророк... Условия? Но условия могут повториться, когда блатарская инфекция охватит общество, где моральная тем-

пература доведена до благополучного режима, оптимального состояния. И будет охвачено мировым пожаром в 24 часа... Любая цивилизация рассыплется в прах в три недели, и перед человеком предстанет облик дикаря. Хуже дикаря, ибо все дикарское — пустяки по сравнению со средствами уничтожения и давления...»

Все это было написано в начале 1970-х годов. И как бы ни называть суждения Шаламова — пессимистическими, редукционистскими (понижающими достоинство человека в сравнении с его гуманистическим идеалом), многое в его взглядах, как легко поймет читатель, увы, оказалось верным. Грозная, почти апокалиптическая картина, нарисованная Шаламовым, самым зримым и осязаемым образом осуществилась уже в конце XX века — и в России, и в мире — в новых войнах и массовых убийствах, в циничном пренебрежении человеческой жизнью, в распространении «блатарской инфекции» — во всем, что связано, как он писал, со «снижением моральной температуры» человеческого сообщества...

Шаламов всегда отказывался от миссии «пророка» или «учителя жизни». Но кто он? Угадчик? Поэт, ощущающий подземные течения жизни? Сугубо трезвый и прагматичный мыслитель, отметающий с порога все розовые иллюзии и проливающий холодный душ на горячие головы? По крайней мере невозможно отрицать, что этот дар был дан Шаламову новым зрением, новым знанием о человеке, которое он приобрел на Колыме.

Его главный призыв в этом письме — чтобы «Колымские рассказы» прочитывались не просто как свидетельство о прошлой трагедии, а предупреждение о возможности новых, пусть и в других формах. Эта мысль — лейтмотив его поздних произведений, она постоянно звучит и в созданных в это же время — в виде посланий к друзьям и знакомым — литературных манифестах, разъясняющих — тем, кто недопонимает — смысл его прозы, которую он с полным основанием называл «новой». «Лагерь — мироподобен», — заявлял он еще в «Вишерском антиромане». «Я пишу о лагере не больше, чем Мелвилл о море или Экзюпери о небе», — не раз повторял он в письмах и дневнике. Наконец, главная нравственная идея, соединяющая прошлое и настоящее, выражена предельно четкой максимой, занесенной карандашом в дневники, писавшиеся на тех же ученических тетрадях: «Мои рассказы, в сущности — советы человеку, как держать себя в толпе...»

Многие из этих мыслей повторяются в 1970-е годы в письмах Ю. А. Шрейдеру, философу и публицисту, в котором он нашел близкого и, главное, понимающего человека. Сколь ни

моложе был Шрейдер (на 20 лет), он оперировал схожими категориями, поднимаясь над эмпирикой жизни и пытаясь обнажить ложность целого ряда стереотипов. Познакомились они еще у Н. Я. Мандельштам, а сближение началось после известной полемической статьи Шрейдера «Наука — источник знаний и суеверий» (Новый мир. 1969. № 10), которая понравилась Шаламову «изяществом», но вызвала принципиальные возражения в части недоверия к некоторым положениям естественных наук — в эти науки писатель еще с юности верил безгранично. Он записал в дневнике: «Создается лишний миф — миф сомнения в науке». Но полемика со Шрейдером по этому поводу быстро иссякла и переписка пошла уже по другому руслу — на темы поэзии, литературы, их тайн. При этом Шаламову приходится постоянно обращаться к другой, вечно волнующей его теме — тайне человека, которая для него, впрочем, уже давно и навсегда решена: «...Я не желаю принимать участие в разговорах о победе добра, ограниченности зла и так далее. Пределы подлости в человеке безграничны...»

Найдя в своем новом знакомом критическую личность, которой не надо разжевывать банальных истин, Шаламов стремится выговориться по всем волнующим его проблемам. Важнейший для него вопрос — о взаимодействии искусства и жизни, о так называемой «воспитательной» роли искусства. Он и прежде питал большой скептицизм на этот счет, в полном противоречии с общепринятыми понятиями утверждая, что «искусство не облагораживает, отнюдь». Особенно его раздражала «учительская» роль, взятая на себя с определенного исторического момента русской литературой. Еще в одном из первых писем Ю. Шрейдеру, в 1968 году, он заявлял со всей прямотой лагерной лексики: «Беда русской литературы в том, что в ней каждый мудак выступает в роли учителя жизни, а чисто литературные открытия и находки со времен Белинского* считаются делом второстепенным...» (Та же, характерная для Шаламова мысль прозвучала в более развернутом виде в его рассказе «Галина Павловна Зыбалова» из последнего сборника «Перчатка, или КР-2»: «Несчастье русской литературы в том,

---

* Шаламов имеет в виду хрестоматийный отзыв В. Г. Белинского о «Евгении Онегине» Пушкина как «энциклопедии русской жизни». Для самого Шаламова главное в этой поэме — вечные темы «любви и смерти», воплощенные в гениальной поэтической форме. Этот взгляд наиболее ярко характеризует эстетику Шаламова, всегда ориентировавшегося, как он писал, на «пушкинское знамя» и являвшегося в известном смысле «адептом формы» (см. об этом: *Фомичев С.* По пушкинскому следу // Шаламовский сборник. Вып. 3. Вологда, 2002; *Волкова Е.* Трагический парадокс Варлама Шаламова. М., 1998).

что она лезет не в свои дела, ломает чужие судьбы, высказывается по вопросам, в которых она ничего не понимает». В рассказе, действие которого происходит в лагере, эта фраза звучит по-особому символично.)

Но самый важный для понимания философии Шаламова текст на эту тему, сохранившийся у Ю. Шрейдера, идет еще дальше и звучит еще более радикально: «В новой прозе — после Хиросимы, после самообслуживания в Освенциме и на Серпантинной на Колыме, после войн и революций — все дидактическое отвергается. Искусство лишено права на проповедь. Никто никого учить не может, не имеет права учить... Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе тяжкий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики — ученики русских гуманистов. Этот грех им не замолить...»*

Слова Шаламова звучат как приговор русской литературе, виновной, по его убеждению, своей «проповедью» в социальных потрясениях XX века.

Является ли этот приговор справедливым? Вряд ли. Очевидно, что к российским — и мировым — войнам и революциям нового времени привел огромный клубок накопившихся социальных противоречий, помноженных на культурные особенности разных стран и на столкновение разнообразных — властных, стремившихся к власти и вовсе не стремившихся к ней, равнодушных и благодушных — человеческих воль и интересов. Ведь и сам Шаламов писал (в «Четвертой Вологде»), что масштабы трагедии, в ее полюсах Освенцима и Колымы, «нельзя было определить ни в каком политическом клубе».

Но в логике Шаламова все-таки есть свое рациональное зерно. И не только потому, что аналогичные мысли — о влиянии русской литературы на русскую революцию — высказывали до него многие крупные русские философы и писатели (Н. Бердяев, С. Булгаков, И. Ильин, В. Розанов, В. Ходасевич и др.), а о причастности западного модернизма (во всех его ветвях, начиная с философской, связанной прежде всего с Ф. Ницше) к возникновению фашизма тоже было написано много работ, с которыми Шаламов хотя бы отчасти не мог быть незнаком. Важнее другое — Шаламов не только ясно обозначил отрицательные стороны извечного «литературоцентризма»

---

* См.: *Шрейдер Ю.* «Искусство лишено права на проповедь» // Московские новости. 1988. № 49; *Он же.* Варлам Шаламов о литературе // Вопросы литературы. 1989. № 5.

русской культуры, но и необычайно чутко угадал особую роль русской литературы названного им периода (второй половины XIX века) — благородной и прекраснодушной в своих намерениях — в формировании и последующем разжигании социальных иллюзий в обществе, в создании целого ряда мифов, вошедших в сознание и даже в подсознание целых поколений. Главным из этих роковых мифов, приведших, на его взгляд, к самым катастрофическим последствиям, он считал «народнический» миф. Действительно, ни в одной из литератур мира высокая гуманистическая идея сочувствия низшим, беднейшим слоям общества, занимающимся тяжелым физическим трудом (народу), не доводилась до такой степени экзальтации и абсурда, и нигде эта категория населения, живущая «простой жизнью» (крестьянство, а затем пролетариат), не награждалась высшими человеческими добродетелями и не превращалась в фетиш, как в России. К истокам этого мифа в литературе Шаламов считает причастными прежде всего Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого и своего любимого Ф. М. Достоевского с его идеей о «русском народе-богоносце» («...в наши дни Достоевский не повторил бы фразу о народе-богоносце», — пишет он в том же тексте).

То, что власть, особенно в сталинский период, опираясь на этот миф («Простой народ лучше всяких бар и интеллигентов»), цинично спекулировала им, приспособив к теории «классовой борьбы» и натравливая народ на интеллигенцию, Шаламов хорошо понимает. Именно это больше всего его и возмущает! В сущности, все его эскапады против «гуманистической» (читай: «народнической») литературы имеют одну цель — защиту интеллигенции, которая, на его взгляд, больше всего пострадала во время социальных катаклизмов XX века и репрессий, особенно в 1930-е годы. Эта мысль четче всего выражена в прямой авторской фразе из «Четвертой Вологды»: «Пусть аферисты и дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата... Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией». В художественном плане, в преломлении через колымский опыт, эта мысль отчетливее всего проведена в одном из последних рассказов «Леша Чеканов, или Однодельцы на Колыме». «Это вы, суки, нас погубили! — кричит здесь герой, бывший «хлебороб», ставший в лагере десятником. — Все восемь лет я тут страдал из-за этих гадов-грамотеев!» Невозможно здесь предполагать какие-либо сознательные литературные реминисценции Шаламова, однако эта фраза перекликается с фразой одного из героев «Записок из Мертвого дома» Достоевского: «Вы нас заклевали, железные носы!» Кто же виноват, что

этой слепой народной злобы к «благородным» за столетие не убавилось, а, наоборот, прибавилось? Для Шаламова этот вопрос остался открытым, но к современной ему московской интеллигенции — либеральной, фрондирующей и при этом не упускающей практических выгод — он относился, как мы знаем, весьма критично.

Несомненно, что суждения Шаламова были устремлены не только в прошлое, но и в современность 1970-х годов, когда в диссидентских кругах СССР вновь разгорелись споры о революции 1917 года, о народе и интеллигенции с явным обвинительным уклоном в сторону последней. «Аферисты» и «дельцы», в понимании писателя, — это те, кто, спекулируя понятием «народ», пытался в очередной раз расколоть общество. Эта тенденция ярче всего выражается для него в творчестве и публицистической деятельности А. Солженицына. В сущности, вся поздняя проза Шаламова, его мысли в дневниках и письмах этого периода представляют собой продолжение фронтальной полемики с неприемлемым для него комплексом староконсервативных, антиреволюционных и антисоциалистических идей, связанных не только с Солженицыным, но прежде всего с ним как вождем и эмблемой «духовной оппозиции», как новым воплощением литературы, превратившейся в политическую проповедь. Последняя его литературная оценка своего главного оппонента касалась романа «Август Четырнадцатого», о котором он отозвался исключительно отрицательно: «За два века такого слабого произведения не было, наверное, в мировой литературе... Все, что пишет Солженицын, по своей литературной природе совершенно реакционно». Шаламов имеет в виду прежде всего архаичный метод писателя, ориентированный на каноны XIX века, хотя для него очевидна и политическая «реакционность» автора «Августа». Пожалуй, Шаламов был единственным, кто в те годы в полной мере осознавал опасность разрушительного потенциала, которую несла в себе «мессианская» литературно-политическая деятельность Солженицына. Но слышал ли кто его голос?..

Привыкший принимать «однозначные решения» писатель остается до конца верен той позиции, которую он высказал в письме в «Литературную газету». Его приверженность советскому строю становится в определенном смысле еще тверже, хотя он и понимает, что этот строй несет в себе огромное количество изъянов. Ощущая в обществе, особенно в среде интеллигенции, жажду перемен, он в то же время — гораздо глубже, чем многие, — понимает опасность всякого резкого социального сдвига в таком сложном государственном и культурном организме, как СССР с ее ядром — Россией. Эти мысли, в ал-

легорической форме, ярче всего воплощены в одном из поздних колымских рассказов Шаламова «Цикута»:

«Перемена всегда опасна. Это один из важных уроков, усвоенных человеком в лагере. Лагерник против всяких перемен. Как ни плохо здесь — там, за углом, может быть еще хуже».

Не есть ли это самая точная характеристика ментальности советского общества начала 1970-х годов и собственной ментальности Шаламова как старого лагерника, понимающего приверженность своих соотечественников единым «лагерным» (коллективистским, солидаристским, патерналистским и др.) законам, которые стали плотью и основой жизни? Не есть ли это голос мудреца-мыслителя, предупреждающего о том, как опасны резкие повороты в *таком* обществе? Не есть ли это голос истинного пророка, предвидящего катастрофическое развитие событий, если они пойдут по пути, к которому призывают самые рьяные ниспровергатели сущего?

Нельзя не заметить, что поздний «советский консерватизм» Шаламова (назовем это так) и типологически, и психологически (но, разумеется, не идеологически) очень близок тому консерватизму, который исповедовали в свое время Ф. М. Достоевский, К. Н. Леонтьев и другие крупные мыслители, остро ощущавшие культурно-национальное своеобразие России. Разве в отношении Шаламова к «прогрессивному человечеству» нет связи, скажем, с отношением автора «Бесов» к современным ему «прогрессистам», «либералам» и «нигилистам»? А в предвидении Шаламова эпидемии «блатарской инфекции» нельзя ли увидеть преемственность с пророчеством Леонтьева о «демократизации пороков» — самом худшем и низменном воплощении любой необузданной «демократии» в такой стране, как Россия?..

Но сам Шаламов, человек другой эпохи, мыслит совершенно иными, гораздо более рациональными категориями. В сложившемся во второй половине XX века мире он ищет реальные координаты. Идея атомной бомбы как «гаранта мира» его удовлетворяет только до известной степени. Человечество должно находить пути компромисса, но должно искать его на левом, отвечающем интересам большинства людей направлении — таков вектор его размышлений. Наиболее определенно мысли Шаламова на этот счет высказаны в недавно опубликованных записях о своем друге Я. Д. Гродзенском (после его смерти в 1971 году): «...Уж если в истории была какая-то не иллюзия, а реальная свобода, то это свобода ругать свое правительство, единственная свобода слова в истории. Но ни он, ни я не принадлежали к поклонникам демократических институтов Запада — но оставляли за ним “оценку” (? — нрзб) как единственный реальный путь пусть мизерной, но свободы. Ибо

ни социалистическое государство тоталитарного типа (Шаламов с очевидностью говорит о сталинском государстве. — *В. Е.*), ни Мао Цзе-дун свободы людям не несут. Все это шигалевщина, предсказанная Достоевским. Это не значит, что под "левое" не надо ставить»*. О том же говорит дневниковая запись, сделанная тогда же: «...Моя формула антивоенная, чуждая и даже противопоставленная духу подчинения и приказа. Поэтому "новые левые"+, Максимов+, а Гароди и Сахаров — минус»**.

Как бы ни трактовать эту запись (она требует особого анализа и комментария, в частности, в отношении Шаламова к идеям А. Д. Сахарова, — очевидно, имеется в виду не идея конвергенции, которую писатель одобрял, а нечто иное, спорное. К сожалению, трудно понять, почему «плюс» поставлен писателю Вл. Максимову, который четкостью взглядов не отличался и прошел сложную эволюцию), — здесь в общем виде так же ясно заявлены предпочтения Шаламова, отдаваемые им «левому» движению в мире в противовес «правому». Разумеется, не в плане экстремизма и новой «шигалевщины», а в плане стремления хотя бы к элементарной социальной справедливости и к свободе — той «свободной воде», о которой писатель мечтал всю жизнь. Иначе и трудно представить позицию Шаламова — неужели он, воспитанный в традициях нестяжательства, с молодости принявший социализм и отдавший всего себя, свою молодость и свои страдания его идеалам, при всей неизменной прямоте своего характера стал бы исповедовать идеи и ценности противоположного, торгашеского, буржуазно-консервативного порядка и думать о их реставрации?..

Наверное, Шаламову не все удалось договорить. Но напрасно было бы ждать от него каких-либо политических программ или рецептов «спасения» или «обустройства» своей страны и мира. Каждому чуткому читателю начала XX века достаточно заряда могучей силы сопротивления злу, пронизываю-

---

* Шаламовский сборник. Вып. 4. М., 2011. С. 36—37. К сожалению, последняя фраза в публикации была упущена. Восстановлена по рукописи: РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Д. 130. Л. 71.

** Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 39. По воспоминаниям известного филолога С. Ю. Неклюдова, сына О. С. Неклюдовой, тесно общавшегося с Шаламовым на протяжении более чем десяти лет, писатель в своих повседневных разговорах на общественные темы выражал взгляды, которые мемуарист характеризует как «правосоциалистические», то есть принадлежащие умеренному крылу левого движения, и при этом «хорошо отзывался о меньшевиках», то есть социал-демократах. Оба течения, как известно, делали акцент на этической стороне политики, выступали против насилия. Несомненно, это — след молодости Шаламова и еще одно свидетельство того, что он не менял своих убеждений, которые глубоко расходились как с идеологической ортодоксией в СССР, так и с ортодоксией Запада.

щей все, созданное Шаламовым. Такой читатель хорошо разберется в противоречиях и парадоксах писателя, в том единстве, которое связывает его неверие (в человека, в литературу, в гуманизм) с его же неколебимой верой в чудодейственную силу подлинного искусства и высокого нравственного примера:

«Я пишу для того, чтобы люди знали, что пишутся такие рассказы, и сами решились на какой-либо достойный поступок — в чем угодно, в каком-то маленьком плюсе».

Глава девятнадцатая

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ И СКОРБНЫЙ ТРИУМФ

«Несколько моих жизней» — так назывался один из вариантов автобиографии Шаламова. Их было действительно несколько, этих жизней — в разных эпохах, до грани умирания и счастливого воскрешения, от полной беспросветности до больших и малых надежд. Но последний отрезок его земного пути — из рода тех, о которых (как он писал о лагере) людям надо бы «ни знать, ни помнить». Такого страшного, мучительного конца не выпадало в мирное время никому из выдающихся писателей. «...Уж лучше посох и сума», — заклинал когда-то Пушкин. Но ни посоха, ни сумы у Шаламова не было...

«Спокойно пожить», как настаивала когда-то первая жена Галина Игнатьевна Гудзь, и к чему он стремился, переехав на Васильевскую, времени почти не оставалось. Основной диагноз, поставленный еще в 1957 году в Боткинской больнице, — болезнь Меньера, был подтвержден в 1970 году профессором Л. Н. Карликом, знакомым Я. Д. Гродзенского, который через врача Н. Е. Карновскую (жену Гродзенского) выписал ему специальную справку на случай происшествий на улице:

«Пенсионер Шаламов Варлам Тихонович, 1907 года рождения, страдает болезнью Меньера, выражающейся во внезапно наступающих приступах: внезапное падение, головокружение, тошнота, иногда рвота, резкое снижение слуха, нарушение равновесия.

В случае появления приступа на улице или в общественных местах просьба к гражданам оказать больному помощь: помочь ему лечь, положить его в тень, голову обливать холодной водой, ноги согреть.

Вынести на свежий уличный воздух из душного помещения, только не на солнце. Не усаживать и не поднимать головы.

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ!»

Справка, которую Шаламов постоянно носил с собой, оказалась для него незаменимой, потому что его, с бросками при

ходьбе, потерей координации и падениями, нередко принимали за пьяного и вызывали милицию. Но в начале 1970-х годов такое случалось еще нечасто. Резкое ухудшение здоровья началось в 1977 году, вслед за последней для него радостью, которую он ждал и которая его как-то мобилизовывала, — выхода сборника стихов с многозначащим названием «Точка кипения». Он успел, по обычаю, разослать и раздарить сборник своим близким знакомым, и на этом «точка кипения» его жизни была пройдена — началось быстрое и ничем не остановимое угасание могучих и казавшихся неисчерпаемыми человеческих сил.

На улицу он уже почти не выходил. Трагическую картину передвижения Шаламова по центру Москвы в этот период запечатлел молодой поэт М. Поздняев: «И вспомнил Варлама Шаламова я, / Как враскачку он шел по Тверской, / руки за спину круто заламывая, / макинтош то и дело запахивая / и авоськой плетеной помахивая / с замороженной насмерть треской... / На винтах, на шарнирах, на слове честном, / на пределе, на грани сознанья и тьмы, / и мычит, и клекочет орлом, и хрустит, / и хрустит, как кустарник в костре... / и о ужас кромешный. И стыд».

После расставания с И. П. Сиротинской он не был совсем заброшенным — она продолжала навещать его, и появилась женщина для ухода за ним, найденная Ю. А. Шрейдером, Людмила Владимировна Зайвая. Но и та и другая были заняты работой, семьей (Зайвая работала в обществе книголюбов, у нее была дочь, требовавшая внимания), и никто не мог по-настоящему заботиться о старом и больном человеке. Те, очень понятные взаимные упреки, которые звучат то явно, то подспудно и в воспоминаниях Сиротинской, и в воспоминаниях Зайвой*, не помогут найти решения в чью бы то ни было пользу, потому что это — бессильный спор женских сердец и жен-

* См.: *Сиротинская И.* Мой друг Варлам Шаламов. М., 2006; *Зайвая Л.* Шаламов отдался мне весь, со всеми тайнами // Общая газета. 1996. № 27. Контрастной линией, разделяющей эти воспоминания, является эксцентричность Л. В. Зайвой, к сожалению, нередко переходящая в вульгарность. Какая из женщин могла бы открыто признаться, что мужчина, пусть он и бывший многолетний колымский заключенный, называл ее самыми непристойными словами?.. Итоговые размышления писателя о роли любви в своей судьбе запечатлены в позднейших его записях: «Женщины в моей жизни не играли большой роли — лагерь тому причиной», и в гораздо более прямой, типично шаламовской: «Я, рано начавший половую жизнь (в четырнадцать лет), прошедший жесткую школу двадцатых годов, их целомудренного начала и распутного конца, давно пришел к заключению (пришел к заключению в заключении, прошу прощения за каламбур), что чтение даже вчерашней газеты больше обогащает человека, чем познание очередного женского тела, да еще таких дилетанток, не проходивших курса венских борделей, как представительницы прекрасного пола прогрессивного человечества» (Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 8, 60).

ских пристрастий. Никто из них не мог посвятить себя ему целиком, ни у кого не было возможности нанять для него сиделку или домработницу. Но никто и не оставлял! Сиротинскую волновала больше всего судьба шаламовского архива, который начал потихоньку таять. Зайвую архив тоже интересовал, но по другому поводу — как любительницу автографов, раритетов. Шаламов по широте душевной, уже болезненной, многое ей просто отдавал, ничем не дорожа. «Все это надо выбросить!» — кричал он иногда. И все же в апреле 1979 года Шаламов позвонил Сиротинской с просьбой забрать все оставшиеся рукописи в государственный архив. «Воруют», — сказал он.

Дата упомянута в воспоминаниях Сиротинской совершенно точно. Дело в том, что, согласно сохранившейся справке, писатель с 21 февраля по 4 апреля 1979 года находился на стационарном лечении в неврологическом отделении Московской городской клинической больницы № 67. За время его отсутствия, очевидно, и происходили кражи — как с санкционированным (с разрешения, с передачей ключей) доступом в его квартиру, так и с несанкционированным, то есть со взломом. О последнем дает повод судить поразительный случай, ставший известным лишь в 1996 году, когда в Вологду, в созданный уже Шаламовский музей, обратился с просьбой приобрести(!) рукописи Шаламова бывший офицер КГБ, пожелавший остаться неизвестным. По его признанию, эти рукописи он нашел на помойке(!) и долго хранил их у себя, пока не настала тяжелая пора российских реформ, вынудившая его, к тому времени пенсионера, продать эти рукописи, чтобы поправить материальное положение свое и внуков. Как рассказывала автору непосредственная участница этой акции, представительница Шаламовского дома, при передаче денег гэбист-пенсионер плакал и просил его простить, потому что в рукописях Шаламова он не нашел ничего «криминального» и жалел о его судьбе...

Все это ярко свидетельствует о том, что писатель и его квартира продолжали находиться под наблюдением «органов», и абсурдность этой истории ярко высвечивает маразматическую подозрительность властей позднего советского периода. Впрочем, есть и другое объяснение: в 1978 году в Лондоне в издательстве «Оверсиз пабликейшн» вышло очередное пиратское издание книги «Колымских рассказов» Шаламова на русском языке с предисловием М. Геллера. Естественно, у КГБ возникла версия о том, что писатель каким-то тайным образом поддерживает связь с ЦРУ и другими секретными службами Запада. Это он-то, который весь на виду, больной, едва передвигающийся по улице (вспомним стихотворение М. Поздняева), в пиджаке на голое тело, в брюках, не достающих до щиколоток!

Вот его и «проверяли» на сей предмет, приставив наблюдателя за квартирой...

Знали бы об этом господа-буржуа Р. Гуль и неведомый Стипульковский, торговавшие «Колымскими рассказами» во имя якобы «защиты свободы слова в СССР» и «просвещения» западного читателя. Знал бы об этом М. Геллер, при всей своей солидной учености являвшийся непримиримым врагом «коммунистической утопии» и в очередной раз повторявший в своем предисловии версию о том, что Шаламова «сломили» и «заставили» отказаться от «Колымских рассказов». Знал бы об этом ведущий американский историк-советолог Р. Конквест, выпустивший в том же 1978 году книгу о Колыме, в которой он опирался на художественную прозу Шаламова как на исторический источник и при этом в унисон А. Солженицыну, его «Архипелагу ГУЛАГ», произвольно и многократно преувеличивал цифры погибших от репрессий*.

Все это можно назвать апофеозом пропагандистской войны, где Шаламов был исключительно жертвой, отданной на жестокое растерзание всевозможным «акулам» и «прилипалам» — подобно «большой рыбе» у Э. Хемингуэя. Надо заметить, что повесть «Старик и море» Шаламов очень высоко ценил и считал, что Хемингуэй «сумел в такой кристальной форме и с такой силой рассказать еще раз самый пронзительный, самый трагический, самый грозный греческий миф — миф о Сизифе». Это дает основание говорить, что и сам он сравнивал свою работу с сизифовой, и позволяет — кроме русской традиции подлинного, почти монашеского подвижничества — провести параллели с той философией одинокого стоического сопротивления злу, которая воплощена во французском экзистенциализме и ярче всего выражена у А. Камю в «Мифе о Сизифе» с его знаменитой последней фразой: «Он тверже своего камня»...

Лондонское издание он увидел лишь в 1981 году, находясь в доме инвалидов. Книгу принесла Сиротинская, которой ее пе-

---

* Если Солженицын, нисколько не сообразуясь с реальностью, заявлял о 66,7 миллиона человек, погибших в СССР за годы советской власти, то Р. Конквест писал о трех миллионах, погибших только на Колыме (см.: *Conquest P.* Arctic Death Camps. New York, 1978. P. 16). Между тем у Шаламова подобных данных нет, он вообще не употреблял в своих рассказах и очерках конкретных цифр. Согласно современным документальным данным, основанным на журналах прибытия этапов пароходами в бухту Нагаево, на Колыму за 1932—1953 годы были завезены 876 тысяч заключенных, из них погибли (расстреляно, умерло от голода и болезней) около 150 тысяч человек (см.: *Козлов А. Г.* В период «массового безумия» // Вечерний Магадан. 1992. 2 декабря или на сайте kolyma.ru; см. также: *Широков А. И.* Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. Магадан, 2000. С. 119).

редал поэт Г. Айги. По воспоминаниям Сиротинской, Шаламов «медленно ощупывает книгу и говорит равнодушно: “Я понимаю, что издали Там. Но ведь должны быть деньги”».

1979 год для него начался, как мы знаем, с 67-й московской клинической больницы. Здесь ему поставили уже совершенно иной диагноз — не болезнь Меньера или Паркинсона (их симптомы отчасти схожи), а гораздо более суровый и неутешительный — хорея Гентингтона. Обследование и диагностику проводил молодой, но опытный врач-невропатолог М. И. Левин. Он с особым вниманием отнесся к Шаламову, поскольку узнал, что он — большой писатель и поэт (о чем доктору сначала сообщил Ю. А. Шрейдер, а затем он и сам в этом убедился, прочтя доставленные ему на прочтение «Колымские рассказы» и стихи, лично подаренные Шаламовым). Согласно специальным пояснениям М. И. Левина, хорея Гентингтона является серьезным неврологическим (а не психоневрологическим) заболеванием наследственного характера, начинается в 40—60 лет и может длиться затем от десяти до тридцати лет без заметных интеллектуальных проблем. Основным внешним признаком болезни являются так называемые гиперкинезы — насильственные движения в конечностях, лице и языке. Они ведут к нарушению походки и письма, к затруднениям при приеме пищи. В эмоциональной сфере у Шаламова наблюдались крайняя раздражительность, взрывчатость, сменяющаяся абсолютной покорностью и чувством вины перед обслуживающим персоналом больницы. Он лежал, свернувшись калачиком, и постоянно прятал пищу под матрас, а затем часами искал свои съедобные сокровища, иногда нянечки кормили его с ложки... Глухота и глаукома обоих глаз дополняли эту картину. «В конце концов, это заболевание кончается тяжелой деменцией и кахексией», — неутешительно заключал доктор М. И. Левин*.

Диагноз был поставлен, напомним, в феврале 1979 года, а в апреле Шаламов — несмотря на все усилия лечащего врача подольше задержать его — был выписан из больницы при некотором улучшении состояния. Тяжелый и мучительный характер болезни Шаламова сопровождался и в дальнейшем редкими просветами, что позволяло ему общаться с навещавшими его, писать — вернее, проговаривать стихи, но великий дух быстро угасал. 25 мая 1979 года Шаламов, при содействии

---

* Впервые воспоминания М. И. Левина были опубликованы в русскоязычном американском журнале «Побережье» (2007, № 16), затем воспроизведены с комментарием в «Шаламовском сборнике» (Вып. 4. М., 2011. С. 53—59). Специальные рукописные дополнения сделаны доктором для сайта shalamov.ru, где размещены в разделе «Фотоархив». Деменция — слабоумие; кахексия — развитие ракового процесса.

Литфонда, в сопровождении его сотрудницы, а также вызванных соседкой по телефону старых знакомых, бывших колымских заключенных Г. А. Воронской и ее мужа И. С. Исаева, был перевезен в дом престарелых и инвалидов. Подробности этой крайне печальной истории запечатлены в воспоминаниях И. С. Исаева, который оказался в этой ситуации и последним реальным помощником, и последним беспристрастным свидетелем.

По его сведениям, Литфонд еще за два года до того предлагал Шаламову размещение и лечение в этом доме. Но писатель наотрез отказывался: «В богадельню не пойду, а насильно отправите — повешусь!» Это было скорее внутреннее мощное предубеждение против любого рода «богаделен», которые у него ассоциировались с лагерем, а слово «повешусь» — защитной эмоцией, потому что в дневнике Шаламова 1970-х годов есть решительная фраза: «Я никогда не покончу с собой», продолжающая мысль его стихотворения 1966 года: «Никогда не покончу с собой — / Превращусь в невидимку, / И чтоб выиграть бой, / Стану призрачной дымкой...» О своем неизбежном конце он давно думал, но — без малейшего страха, потому что он, несмотря ни на что, успел сделать все, предначертанное судьбой, и единственное, чего желал, — чтобы смерть произошла мгновенно, на пике порыва к недостижимому счастью, в полном сознании, мужественно и героически, но никак не унизительно, немощно, на каких-то убогих больничных кроватях:

Вот так умереть — как Коперник — от счастья,
Ни раньше, ни позже — теперь,
Когда даже жизнь перестала стучаться
В мою одинокую дверь.
Когда на пороге — заветная книга,
Бессмертья загробная весть,
Теперь — уходить! Промедленья — ни мига!
Вот высшая участь и честь.
(Стихотворение середины 1970-х годов)

И все-таки наступил день, когда он согласился отправиться в «богадельню», дом престарелых, поняв (вернее, ощутив инстинктивно, как лагерный доходяга), что он уже неподвластен себе, что его гордый принцип: «Одиночество — оптимальное состояние человека» — в таком возрасте и в таком состоянии уже окончательно теряет силу...

За ним приехала «скорая помощь», по тревожному звонку соседей. В этот момент рядом не было ни И. П. Сиротинской, ни Л. В. Зайвой, из друзей — только Иван Степанович Исаев, навещавший Шаламова и прежде и хлопотавший о его переводе на казенное призрение.

Еще в первый свой приезд, зайдя вместе с женой в комнату к Шаламову, он увидел картину, «подробно описывать которую было бы просто святотатством. Я сразу убедился, что никто за Шаламовым по-человечески не ухаживает... На полу валялись страницы какой-то его рукописи, журналы, газеты, книги. Подойдя вплотную к Шаламову, я взял его за руку и громко сказал почти в самое ухо, что это мы пришли к нему в гости. Шаламов обрадовался, жал нам руки, но мы тогда не заметили, что он ничего не видит и узнал нас только по голосу...» О его отъезде в дом престарелых И. С. Исаев вспоминал так же сдержанно: «Я молча собрал все, что можно было собрать. Все его носильные вещи уместились в старый чемодан и рюкзак. Демисезонное пальто, покрытое серым пухом, и шапку из овчины он надел на себя, хотя жара в квартире и на улице была не меньше 30 градусов...» Во дворе не обошлось без внимания любопытных старух. И. С. Исаев писал: «Жена потом сказала, что какая-то старуха, глядя на Шаламова, спросила: "Да что же это он такой?" Другая ответила: "А разве он виноват, что Сталин дал ему кровавую путевку в жизнь". После такого определения старухи запричитали, заахали. А жену мою спросили: "А вы здесь кого представляете?" Она ответила: "Колыму". "А-а-а", — протянула спросившая и покачала головой»*.

В этой сцене гораздо точнее поставлен диагноз болезни Шаламова — не медицинский, а социальный. Никакой клиницист не смог бы, наверное, отрицать, что главная причина катастрофического ухудшения здоровья Шаламова связана с его неимоверными лагерными и послелагерными страданиями.

С 25 мая 1979 года по 15 января 1982 года он находился в доме престарелых и инвалидов на улице Лациса, 3, в районе Планерной—Тушина. Ему, ввиду его тяжелого состояния, вскоре была предоставлена отдельная комната с санузлом. Номер комнаты на третьем этаже — 244. Навестить его приходили многие. Чаще всего бывала И. П. Сиротинская — об этом автору лично рассказывал главный врач дома престарелых Ю. Ф. Соловьев. И она вспоминала эти встречи со всеми подробностями: «"Здесь очень хорошо, — говорил он. — Здесь хорошо кормят". Лагерные привычки вернулись к нему. Простыни, пододеяльники он срывал, комкал и прятал под матрас — чтобы не украли. Полотенце завязывал на шее...»

---

* *Исаев И. С.* Первые и последние встречи // Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 89—97. См. также: *Воронская Г. А.* В стране воспоминаний. М., 2007. С. 76—83. Здесь фраза старухи и ответ ей звучат более выразительно: «"А вы от какой *организации* его провожаете?" Я ответила: я его провожаю от Колымы...»

С полным равнодушием Шаламов воспринял ее сообщение летом 1981 года, что ему присуждена премия Свободы, учрежденная французским Пен-клубом.

«Сказать, что он был невменяем — нельзя, — говорила Сиротинская. — Самое страшное, что внутри этого немощного тела был кусочек жизни, поэзии». Шаламов продолжал сочинять стихи. Некоторые из них она запомнила, записала и включила впоследствии в поэтический том его сочинений:

Я на бреющем полете
Землю облетаю,
Всей тщеты земной заботы
Я теперь не знаю...

и другое, гораздо более характерное для Шаламова даже в этой наипечальнейшей ситуации:

...Это верно, сверчок на печи
Затрещал, зашуршал, как когда-то,
Как всегда, обойдусь без свечи,
Как всегда, обойдусь без домкрата.

Записывал стихи и другой человек — А. А. Морозов, любитель поэзии, увлеченный Мандельштамом, знавший Шаламова еще по вечеру 1965 года и навещавший его осенью 1980 года. Он передал подборку из пятнадцати последних, «расслышанных», как он выражался, стихотворений Шаламова на Запад, и они были опубликованы в выпускавшемся в Париже издательством ИМКА-Пресс «Вестнике русского христианского движения» в 1981 году, № 1 (133). Но практически все эти стихи были написаны Шаламовым раньше, еще в середине 1970-х годов, и он их просто проговаривал по памяти. Таково и заглавное стихотворение этого якобы «последнего цикла» «Неизвестный солдат»:

Я был неизвестным солдатом
Подводной подземной войны,
Всей нашей истории даты
С моею судьбой сплетены.

Оно содержится в записных книжках Шаламова 1977 года, обозначенных общим заголовком «К семидесятилетию», и является, несомненно, итоговым, отражающим его самоощущение в условиях холодной войны — именно как «неизвестного» солдата, позицию которого не поняли, пытались извратить, но которая целиком принадлежит «нашей», то есть российской и советской истории. Нельзя не заметить, что по всему своему трагическому пафосу это стихотворение Шаламова (как и его «Мы родине служим») чрезвычайно близко известным строкам В. Маяковского: «Я хочу быть понят родной страной, /

А не буду понят — / Что ж — / Пройду стороной, / Как проходит косой дождь...»

Поспешив с сенсационной публикацией на Западе, которую он воспринимал, несомненно, как свой благородный поступок, А. А. Морозов, сам того не подозревая — такова психология всех наивных доброхотов, — создал для больного Шаламова новые, совершенно не нужные ему трудности. Ведь любая публикация на Западе неминуемо привлекала к автору, хотя он и находился в «богадельне», внимание КГБ. За Шаламовым, как свидетельствует Сиротинская, снова началась слежка — возле его комнаты постоянно находилась «сиделка» с известными обязанностями, отмечавшая всех приходивших к нему людей, в том числе с фотоаппаратами, — число таковых после публикации в «Вестнике РХД» увеличилось. Снимки делались постановочно «пострашнее» — больного передвигали так и сяк, совали в руки яблоко и т. д. Вывод Сиротинской на этот счет: «Бедная беззащитная старость сделалась предметом шоу» — абсолютно точен и справедлив. Надо подчеркнуть, что гораздо более важную значимость, в сравнении с акцией Морозова, имела ее публикация стихов Шаламова в августовском номере «Юности» за 1981 год — это была действительно последняя прижизненная публикация поэта, о которой он знал.

Несомненно, что шоу-внимание и послужило одной из главных причин для принятия решения, которое, видимо, давно созревало, но откладывалось — изолировать Шаламова, перевести его в гораздо менее доступное место. Таковым мог быть в сложившихся условиях только закрытый психиатрический интернат. Для этого, вероятно, имелись и бытовые, и медицинские основания: Шаламов перестал ухаживать за собой, забывал закрывать кран. Но когда приходила Сиротинская и брала его за руку, он успокаивался и оживал. Последняя встреча состоялась в начале января 1982 года — она пришла поздравить его с Новым годом. «Все было, как всегда, я даже встревожилась», — вспоминала она.

Однако вопрос о переводе был уже предрешен. Ставшая добровольной помощницей Шаламова в последние месяцы его жизни молодой врач Елена Захарова (дочь известного переводчика В. Хинкиса) присутствовала при его освидетельствовании медицинской комиссией. Она писала, что у комиссии не было больших сомнений: поскольку Шаламов не мог ответить на элементарные вопросы, какое сегодня число, день недели и т. д., то ему был поставлен диагноз: сенильная деменция*.

---

* См.: *Захарова Е.* Последние дни Шаламова // Шаламовский сборник. Вып. 3. Вологда, 2002. С. 46—55. Сенильная деменция — старческое слабоумие.

Протесты против этого диагноза — что Шаламов просто не слышал вопросов — не могли принести никакого результата. 15 января 1982 года Шаламов, без каких-либо близких сопровождающих, был перевезен в интернат для психохроников № 32 на Абрамцевской улице в Медведкове. Этот «желтый дом» никак нельзя назвать его последним пристанищем: словно чувствуя свой конец, он отчаянно сопротивлялся переезду, был наспех одет в мороз, в дороге простудился и через два дня, 17 января, умер. Официальная причина смерти: острая сердечная недостаточность.

Сиротинской сообщили поздно. Организацией похорон занималась, с помощью Литфонда, Е. Захарова. Ей и принадлежала идея провести отпевание Шаламова в церкви. Она исходила из того, что если Шаламов — сын священника, значит, он, несомненно, был крещен и должен уйти в мир иной по христианскому обряду. По тем временам это было вызывающе. Нарушена ли была воля Шаламова — убежденного атеиста, много раз заявлявшего, что он в загробный мир не верит? Наверное, да. Но образ его как истинного мученика от этого не померк, а, наоборот, возвысился. Он когда-то и сам писал в стихах из «Колымских тетрадей»: «Меня несут, как плащаницу...»

На панихиде в церкви Николы в Кузнецах людей была горстка. Официальные представители Союза писателей отказались присутствовать на церковном обряде. Провожать Шаламова в последний путь на Кунцевское кладбище пришло людей больше — узнавали по цепочке, по телефонным звонкам, но среди «провожающих» была и немалая прослойка сотрудников в штатском, приехавших на черных «Волгах». Самый возмутительный (и характерный — для того, да и последующего времени) эпизод отмечен писателем и скульптором, старым лагерником Ф. Ф. Сучковым: на переднем окне автобуса, привезшего провожающих, был приклеен портрет Сталина. На шофера закричали, и он снял портрет.

О кончине Шаламова кратко известила 27 января «Литературная газета». В этот же день английская «Дейли телеграф» писала: «Запад еще плохо знает Шаламова, но в глазах многих он был великим русским писателем». Большинство же узнало о смерти автора «Колымских рассказов» из зарубежных «радиоголосов».

Символики, сопровождавшей смерть писателя, было много. Уход Шаламова как бы подводил итог всей его эпохи. Через неделю, 25 января 1982 года, умер М. А. Суслов — секретарь ЦК КПСС, страж коммунистической ортодоксии, выдвинувшийся при Сталине и на всю жизнь сохранивший закамуфлированную преданность его идеям. Вся послелагерная судьба

Шаламова — да и всей страны — во многом определялась жестким идеологическим диктатом этого «серого кардинала» с «совиными крылами», столь явно напоминавшими увековеченные А. Блоком «крыла» К. П. Победоносцева. В ноябре 1982 года умер Л. И. Брежнев, почти «либерал», но тоже со сталинской закваской, все политические решения согласовывавший прежде всего с Сусловым, «многоуважаемым Михаилом Андреевичем».

Страна начинала меняться, познавать и узнавать себя, свое прошлое, своих истинных героев и жертв. Холодная война близилась к концу. И в СССР, и в США всегда находилось достаточно здравых умов, способных оценить истинное значение «Колымских рассказов» Шаламова — не столько по политическим критериям, сколько по художественным и философским. Издание в США двух книг Шаламова «Колымские рассказы» (1980) и «Графит» (1982) в переводе Дж. Глэда вызвало целую волну изумленных и восторженных отзывов. «Литературный талант Шаламова подобен бриллианту. Даже если бы эта небольшая подборка рассказов оказалась всем, под чем Шаламов поставил свою подпись, этого было бы достаточно, чтобы его имя осталось в памяти людей еще многие десятилетия. Эти рассказы — пригоршня алмазов», — восклицал известный американский обозреватель Г. Солсбери. «Шаламов — сильный писатель. “Колымские рассказы” — книга, отражающая сущность бытия», — заявлял нобелевский лауреат С. Беллоу. «Шаламов блистателен в своей попытке описать психологию человеческих действий в условиях длительных и безнадежных лишений. Он собирает там, где Солженицын теряет», — отмечала газета «Хьюстон хроникл». «Шаламов, возможно, является, величайшим современным русским писателем», — заявляла «Вашингтон пост»*...

Как ни был предубежден Шаламов против Запада и возможностей адекватного перевода своих произведений, признание его началось оттуда — признание именно как выдающегося художника, глубоко затронувшего общечеловеческие проблемы. Об этом же тогда писали и говорили соотечественники — вынужденные эмигранты Андрей Синявский, Виктор Некрасов, Андрей Тарковский. Пожалуй, ярче всего передал свои чувства Тарковский, записав в дневнике: «Читаю “Колымские рассказы” Шаламова — это невероятно! — Гениальный

* См.: Шаламовский сборник. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 241—243. Следует заметить, что авторские права Шаламова по американским переводам его рассказов в 1990-е годы были восстановлены — в отличие от всех предыдущих изданий, включая книги, выпущенные издательствами «Оверсиз пабликейшн» и «ИМКА-Пресс» (под руководством Н. А. Струве).

писатель! И не потому, что он пишет, а потому, какие чувства оставляет нам, прочитавшим его. Многие, прочтя, удивляются — откуда после всех этих ужасов чувство очищения — Шаламов рассказывает о страданиях и своей бескомпромиссной правдой — единственным своим оружием — заставляет сострадать и преклоняться перед человеком, который был в аду...»

Это был запоздалый, скорбный триумф, который вскоре прокатился по всем странам, — «Колымские рассказы» вышли на всех основных мировых языках.

В СССР при жизни Шаламова немногие его соотечественники могли по достоинству оценить масштаб этой личности. Но когда в 1988 году, в эпоху «гласности», стали широко печататься его произведения и открылась вся его трагическая судьба, самые чуткие отечественные читатели, в том числе из так называемых «простых», никогда не имевших отношения к лагерям, сумели изначально выделить имя Шаламова из десятков других открытых, «возвращенных» имен (сразу отделив его и от имени А. Солженицына). Эмоциональное воздействие издания «Колымских рассказов» в СССР — России можно сравнить с обжигающей молнией, которая пробежала по миллионам сердец. Стало понятно, что он — писатель совершенно особый, которого нужно оценивать не по привычным литературным меркам, а по меркам чего-то высшего, восходящего к незыблемым идеалам человеческой нравственности, к глубинным русским духовным традициям. Стало понятно, что жизнь его, с молодости и до самого конца, была бескорыстной героической жертвой. Жертвой во имя самого важного для русского человека — правды.

Он давно и ясно осознал свое предназначение и свою судьбу. В 1970-е годы он записал в дневнике: «Жертва должна быть настоящей, безымянной». Сочетание слов «настоящей» и «безымянной» очень символично. Оно свидетельствует не только о том, что свою малую известность и отринутость от мира писатель стал считать за благо, но и о том, что Шаламов обладал необычайной способностью различать земное и возвышенное, поистине духовное, которое он всегда связывал с искусством, с поэзией — именно она, отталкиваясь от земного, в конце концов отрицает и преодолевает его. Поэтому самыми важными словами Шаламова о его собственной судьбе и всем ее смысле навсегда останутся заключительные строки из его гениального «Аввакума», близкого и равного пушкинскому «Пророку»:

... Нет участи слаще,
Желанней конца,
Чем пепел, стучащий
В людские сердца.

Послесловие

О СВОЙСТВАХ ПАМЯТИ

Прошедшая перед глазами читателя биография В. Т. Шаламова неизбежно зовет к размышлениям, прежде всего — о свойствах человеческой памяти.

Ее сложным и загадочным качествам писатель посвятил много своих раздумий. «В провалах памяти и теряется человек» — одно из его печальных умозаключений. Другое тоже никак не назовешь оптимистическим: «Человек лучше запоминает хорошее, доброе и легче забывает злое. Воспоминания злые — гнетут, и искусство жить, если таковое имеется — по существу есть искусство забывать». Он всей душой принимал проникновенные строки К. Батюшкова, которые не раз цитировал:

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной...

Наверное, не нужно объяснять, почему у самого автора «Колымских рассказов» и «Колымских тетрадей» главенствующей и неутихающей была именно «память сердца», почему он так горячо восставал против «искусства жить — поживать — забывать» и почему он обозначил свое отличие от множества писателей-гуманистов столь резкими словами: «Помнить зло раньше добра...» Это не банальное «злопамятство», осуждаемое всеми народными премудростями («сиди тихо, не поминай лиха»), а глубоко выстраданная нравственная позиция писателя, понимавшего всю свою литературную работу прежде всего как долг перед «нетленными мертвецами» Колымы. Он знал и предвидел на много лет вперед, что наступят времена, когда — в силу отмеченных им свойств человеческой памяти и в силу столь же ясного ему извечного политического размена прошлого в угоду настоящему — в сознании людей и всего общества начнутся «провалы», будут улетучиваться воспоминания о страшном былом и на поверхность выйдет ностальгия по светлому и радостному...

Симптомы этого он явственно ощущал уже в современности.

«Документы нашего прошлого уничтожены, караульные вышки спилены, бараки сровнены с землей, ржавая колючая проволока смотана и увезена куда-то в другое место. На развалинах Серпантинки процвел иван-чай — цветок пожара, забвения, враг архивов и человеческой памяти.

Были ли мы?

Отвечаю: "были" — со всей выразительностью протокола, ответственностью, отчетливостью документа...»

Прошло уже почти 40 лет, как были написаны эти строки Шаламова в рассказе «Перчатка» (1972). Говорить ли об их актуальности? Ведь все, что возможно, на эту тему, кажется, уже высказано — еще со времен «перестройки» и «гласности», когда Шаламов был признан наиболее авторитетным, непревзойденным художником, написавшим подлинную правду о сталинской эпохе. И сегодня роль его «Колымских рассказов» — да и всей его судьбы, какой мы ее проследили, — по-прежнему остается незаменимой в качестве своего рода прививки *иммунитета* против исторического беспамятства, а конкретно — против сталинизма и его идеологии, против разного рода новейших циничных версий о Сталине как «гениальном менеджере», принесшем на кровавое заклание сотни тысяч людей якобы в силу «исторической необходимости».

Но при всей ее значимости эта социальная миссия для Шаламова — художника и мыслителя — была бы, согласимся, слишком узкой. Двадцать пять лет, прошедших с начала публикации его произведений, обнажили потрясающую прозорливость писателя в отношении «зыбкости», как он писал, человеческой природы и ее готовности поддаться любым иллюзиям и любой смене моральной атмосферы в обществе. Эпоха 1990-х годов, прокатившаяся своим безжалостным железным катком по всей России, подтвердила это ярчайшим образом. Она принесла по своим последствиям — социальным, экономическим, демографическим, моральным — такой ущерб, который превосходит даже сталинские опустошения. Именно из-за этого прежде всего возникла пресловутая ностальгия, на которой спекулируют самые разнообразные политические силы.

С фактами не поспоришь: бывший Вишерский ЦБК, в строительстве которого участвовал Шаламов-заключенный в свой первый срок, — приватизирован, разворован и находится на грани закрытия, а «золотая Колыма», которой в 1991 году объявили (устами залетевшего тогда в Магадан Е. Гайдара), что «мы вас содержать больше не будем, все северные льготы отменяются, живите по рыночным отношениям» — превратилась в

настоящую колониальную резервацию, пусть и без колючей проволоки. Побывав здесь в 1994 году, автор этих строк видел и пустую, разбитую колымскую трассу, и заброшенные прииски и поселки, и множество печально-отчаянных глаз простых людей (детей заключенных и комсомольцев призыва 1950—1960-х годов), у которых нет денег, чтобы убежать из этого богатейшего и ставшего вмиг нищим края и добраться хотя бы до Хабаровска, — и узнав подробности о наступившей частной «золотой лихорадке» на Колыме (которая вызвала к жизни сугубо русский — намного превосходящий описанный Джеком Лондоном и предвиденный Шаламовым — *криминалитет* и сопровождалась массовыми «разборками» с убийствами), понял, что новой эпохе России с ее системой ценностей только на руку все, что как-либо свидетельствует о «проклятом советском прошлом». На руку — и эстетически чудовищный, по прихоти Э. Неизвестного, памятник жертвам репрессий на Медвежьей сопке, и артистически разыгранное возвращение в Россию А. Солженицына с его «низким поклоном» в магаданском аэропорту и одновременным нашептыванием жене: «Улыбаться здесь не подходит. Нет, девочка, задумчивость» (что запечатлено в известном фильме Би-би-си, но вырезано при российском показе), и, оказывается, выгоден и Шаламов, которого в очередной раз пытались присоединить к политической игре.

Но с ним — не прошло! В результате многих усилий ни одна из партий — ни правых, ни левых (вроде КПРФ с ее сталинистской демагогией), так и не смогла привлечь имя Шаламова — как и при жизни — к обслуживанию какой-либо идеологии. Не имели успеха и телесериалы, снятые, казалось бы, «по Шаламову», но под соусом новобуржуазного либерализма. Даже та идеалистическая философия, что, по его выражению, «левее левых», отдельным персонажам которой он — в силу их героизма и жертвенности — симпатизировал, не может тысячу раз не споткнуться на открывшемся Шаламову и предъявленном миру, с учетом всего его опыта, законе об «обнажении звериных начал при самых гуманистических концепциях»...

Что-то отталкивает и в самой личности, и в произведениях Шаламова от сугубо утилитарного их толкования и использования, и это — чрезвычайно знаменательно. Значит, *не все — на продажу*. Значит, есть и остается *серьезное искусство*. Значит, есть в судьбе Шаламова что-то поистине неприкосновенное и *святое*... Автор не склонен — в соответствии с заветами самого писателя — переводить столь искусительный по сегодняшним представлениям образ его судьбы в религиозную плоскость (еще более неприемлемым представляется всякое кликушест-

во на этот счет), но суть его судьбы не может не вызывать ассоциаций с вечными образами мира. Это тем более удивительно, что Шаламов жил не в далекой Галилее перед началом нового летоисчисления, а почти рядом с нами, в XX веке...

Наша документальная биографическая книга не претендует на полноту отражения всех перипетий жизни писателя, а тем более — на раскрытие тайн его творческой работы. Но нельзя не отметить одну непреложную закономерность, важную для будущих исследователей: чисто эстетический анализ его произведений (столь актуальный сам по себе, поскольку открывает подлинную новизну его «новой прозы») не может, в конце концов, не соединиться с внимательным анализом исторической реальности, в которой жил и работал писатель. А эта реальность была столь сложна в своей живой плоти, столь многими видимыми и невидимыми нитями сопрягается с живой плотью современности и столь остро предвосхитима в своих преломлениях в будущем, что нужны поистине титанические усилия многих ученых, чтобы разгадать и осмыслить ту таинственную связь, которая соединяет шаламовский «колымский лагерь» с метафизикой и конкретикой человеческой несвободы, с ее всевозможными проявлениями в самых, казалось бы, демократических условиях.

Все это — снова и снова — будет заставлять возвращаться к реальной биографии Шаламова. Она — не только отражение трагедии России. Она еще и — лучшая школа самовоспитания. Школа сопротивления и школа памяти. Пренебречь ею, сославшись на то, что времена благородного идеализма и рыцарства «давно прошли», — значит лишиться одного из ключевых звеньев в распадающейся связи времен и поколений.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. Т. ШАЛАМОВА

1907, 18 июня (5 июня по старому стилю) — в городе Вологде в семье священника Софийского собора Тихона Николаевича Шаламова и его жены Надежды Александровны родился сын Варлаам (Варлам).

1914 — Варлаам принят в подготовительный класс мужской гимназии им. Александра Благословенного города Вологды.

1923 — оканчивает единую трудовую школу второй ступени № 6 — преемницу гимназии.

1924 — уезжает из Вологды и устраивается на работу дубильщиком на кожевенный завод в селе Кунцеве Московской области.

1926 — поступает на факультет советского права Московского государственного университета.

1927, 7 ноября — участвует в демонстрации оппозиции, посвященной 10-летию Октября, проходившей под лозунгом «Выполним завещание Ленина!».

1928 — исключен из университета за «сокрытие социального происхождения». Посещает литературные кружки О. М. Брика и С. М. Третьякова при журнале «Новый ЛЕФ».

1929, 19 февраля — арестован ОГПУ в подпольной типографии, печатавшей листовки под названием «Завещание Ленина». Осужден как «социально опасный элемент» на три года заключения в лагерях.

13 апреля — после содержания в Бутырской тюрьме отправлен в Вишерский лагерь (Северный Урал). Работает на строительстве Вишерского ЦБК и Березниковского химкомбината под руководством Э. П. Берзина, будущего начальника колымского Дальстроя.

1931, октябрь — освобожден из лагеря и восстановлен в правах. Работает на Березниковском химкомбинате, чтобы собрать средства на возвращение в Москву.

1932 — возвращается в Москву и становится сотрудником профсоюзных журналов «За ударничество» и «За овладение техникой».

1933, 3 марта — умирает отец Т. Н. Шаламов. Варлам приезжает в Вологду на похороны.

1934, январь — поступает на работу в журнал «За промышленные кадры».

29 июня — заключает брак с Галиной Игнатьевной Гудзь.

26 декабря — умирает мать Шаламова Надежда Александровна. Последний приезд Варлама в Вологду.

1935, 13 апреля — рождение дочери Елены.

1936 — публикует первую новеллу «Три смерти доктора Аустино» в первом номере журнала «Октябрь».

1937, 13 января — арестован и вновь помещен в Бутырскую тюрьму.

2 июня — Особым совещанием при НКВД приговорен за «контрреволюционную троцкистскую деятельность» к лишению свободы на пять лет со ссылкой в исправительно-трудовые лагеря со спецуказанием использования на тяжелых работах.

14 августа — с большой партией заключенных на пароходе «Кулу» доставлен в Магадан, откуда этапирован на золотодобывающий прииск «Партизан».

1938, декабрь — арестован по сфабрикованному лагерному «делу юристов» и заключен в следственную тюрьму в Магадане, затем помещен в тифозный карантин пересыльной тюрьмы.

1939, апрель — 1940, август — работает в геолого-разведочной партии на участке «Черное озеро» — землекопом-шурфовщиком, помощником топографа.

1940, август — 1942, декабрь — работает в угольных шахтах лагерей «Кадыкчан» и «Аркагала».

1942, 22 декабря — переведен на общие работы на штрафной прииск «Джелгала».

1943, май — арестован по доносу.

22 июня — военным трибуналом осужден за «антисоветскую агитацию» на десять лет лагерей.

Осень — направлен на вспомогательные работы близ поселка Ягодное, где при голодном пайке становится «доходягой».

1944, январь — доставлен в лагерную больницу «Беличья».

Март — направлен на прежнее место работы.

Лето — при содействии врача Н. В. Савоевой возвращен в «Беличью», где при больнице временно работал культоргом и подсобным рабочим.

1945, весна — работает на прииске «Спокойный».

Осень — Шаламов работает с лесорубами в тайге на зоне «Ключ Алмазный». Не выдержав нагрузки и голода, решается на побег, в наказание за это вновь направляется на штрафной прииск «Джелгала».

1946, весна — работает на прииске «Сусуман». В тяжелом состоянии попадает в санчасть, где встречается со знакомым врачом А. М. Пантюховым. После выздоровления с помощью Пантюхова направлен учиться на курсы фельдшеров в лагерную больницу на 23-й километр от Магадана.

Декабрь — после окончания курсов определен на работу фельдшером хирургического отделения в Центральную больницу для заключенных «Левый берег».

1949, весна — 1950, лето — работает фельдшером в поселке лесорубов «Ключ Дусканья». Начинает писать стихи, вошедшие затем в цикл «Колымские тетради».

1950—1951 — работает фельдшером приемного покоя больницы «Левый берег».

1951, 13 октября — окончание срока заключения. В последующие два года по направлению треста «Дальстрой» работает фельдшером в поселках Барагон, Кюбюма (Оймяконский район, Якутия), чтобы скопить денег для отъезда с Колымы. Пишет стихи и посылает их с врачом Е. А. Мамучашвили в Москву, Б. Л. Пастернаку. Начинается переписка двух поэтов.

1953, 13 сентября — увольняется из Дальстроя.

12 ноября — возвращается в Москву, встречается с женой.

13 ноября — встречается с Б. Л. Пастернаком.

29 ноября — устраивается мастером в Озерецко-Неплюевское строительное управление треста «Центрторфстрой» Калининской области.

1954, 23 июня — поступает на Решетниковское торфопредприятие Калининской области агентом по снабжению. Живет в поселке Туркмен; в этом же году начинает работать над первым сборником «Колымские рассказы».

1956, 18 июля — реабилитирован за отсутствием состава преступления (официальная справка о реабилитации получена 3 сентября); в этом

же году переезжает в Москву, расторгает отношения с Г. И. Гудзь и заключает брак с О. С. Неклюдовой.

1957 — работает штатным, затем внештатным корреспондентом журнала «Москва»; публикует первые стихи из «Колымских тетрадей» в журнале «Знамя» (№ 5).

1957—1958 — у Шаламова диагностирована болезнь Меньера, писатель лечится в Боткинской больнице. Получает инвалидность третьей, затем второй группы.

1959—1964 — работает внештатным внутренним рецензентом журнала «Новый мир».

1961 — в издательстве «Советский писатель» выходит первая книжка стихов «Огниво». Продолжает работать над «Колымскими рассказами» и «Очерками преступного мира».

1964 — издает книгу стихов «Шелест листьев».

1964—1965 — завершает сборники рассказов колымского цикла «Левый берег» и «Артист лопаты».

1965 — в журнале «Сельская молодежь» (№ 3) выходит рассказ «Стланик» — единственный из «Колымских рассказов», опубликованный в СССР при жизни писателя.

1966, февраль — в связи с процессом А. Синявского и Ю. Даниэля пишет публицистическое «Письмо старому другу», которое анонимно распространяется в самиздате. Усиление внимания к Шаламову со стороны КГБ; в этом же году разводится с О. С. Неклюдовой, знакомится с И. П. Сиротинской.

1966—1967 — работает над сборником рассказов «Воскрешение лиственницы».

1967 — выходит третья книга стихов «Дорога и судьба».

1968—1971 — работает над автобиографической повестью «Четвертая Вологда».

1970—1971 — работает над «Вишерским антироманом» и «Воспоминаниями».

1972 — узнает о публикации на Западе, в издательстве «Посев», своих «Колымских рассказов». Пишет письмо в «Литературную газету» с протестом против незаконных изданий, нарушающих авторскую волю и право. Многие коллеги-литераторы воспринимают это письмо как отказ от «Колымских рассказов» и порывают отношения с Шаламовым.

1972—1973 — издает книгу стихов «Московские облака». Принят в Союз писателей СССР. Работает над сборником «Перчатка, или КР-2», заключительным циклом «Колымских рассказов».

1977 — издает книгу стихов «Точка кипения». В связи с семидесятилетием представлен к ордену «Знак Почета», но награды не получает. Здоровье Шаламова резко ухудшается. Он начинает терять слух и зрение, учащаются приступы болезни с потерей координации движений.

1978 — в Лондоне, в издательстве «Оверсиз пабликейшн», выходит книга «Колымские рассказы» на русском языке, также без ведома автора.

1979, февраль—апрель — находится в неврологическом отделении Московской клинической больницы № 67.

Май — с помощью друзей и Союза писателей направлен в пансионат для престарелых и инвалидов.

1980 — узнает о присуждении ему премии французского Пен-клуба, премии он так и не получил. В США выходит первый перевод «Колым-

ских рассказов» на английский язык. Книга получает восторженные отзывы.

1980—1981 — переносит инсульт. Любитель поэзии А. А. Морозов публикует его стихи в Париже, в «Вестнике русского христианского движения», что вызывает новый шум вокруг больного писателя.

1982, 15 января — по заключению медкомиссии Шаламова переводят в пансионат для психохроников.

17 января — скончался от острой сердечной недостаточности. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

БИБЛИОГРАФИЯ

Издания произведений В. Т. Шаламова

Шаламов В. Т. Левый берег. М.: Современник,1989.
Шаламов В. Т. Колымские рассказы. Магадан, 1989.
Шаламов В. Т. Колымские рассказы: В 2 кн. М., 1992.
Шаламов В. Т. Колымские тетради. Стихи 1937—1956 гг. М.: Версты, 1994.
Шаламов В. Т. Четвертая Вологда: Сборник / Сост., ввод. ст. и прим. В. Есипова. Вологда: Грифон, 1994.
Шаламов В. Т. Несколько моих жизней. Проза. Поэзия. Эссе. М.: Республика,1996.
Шаламов В. Т. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Художественная литература; Вагриус, 1998.
Шаламов В. Т. Очерки преступного мира / Вступ. ст. В. Есипова. Вологда: Грифон, 2000.
Шаламов В. Т. Колымские рассказы. Стихотворения. М.: Слово, 2000. (Пушкинская библиотека).
Шаламов В. Т. Избранное. СПб.: Азбука-классика, 2002.
Шаламов В. Т. Воспоминания. М.: Олимп-Астрель. АСТ, 2001.
Шаламов В. Т. Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела /Сост., предисл., прим. И. П. Сиротинской. М.: Эксмо, 2004.
Шаламов В. Т. Собрание сочинений: В 6 т. / Сост., подг. текста и прим. И. Сиротинской. М.: Терра-Книжный клуб, 2004—2005.

Литература о жизни и творчестве В. Т. Шаламова

Шрейдер Ю. Ему удалось не сломаться // Советская библиография. 1988. № 3.
Сидоров Е. О Варламе Шаламове и его прозе // *Шаламов В. Т.* Воскрешение лиственницы: Рассказы. М., 1989.
Тимофеев Л. Поэтика лагерной прозы // Октябрь. 1991. № 3.
Шкловский Е. Варлам Шаламов. М.: Знание, 1991.
Лейдерман Н. «В метельный леденящий век». О «Колымских рассказах» В. Шаламова // Русская литературная классика XX века. Екатеринбург, 1996.
Волкова Е. Трагический парадокс Варлама Шаламова. М.: Республика, 1998.
Иванов В. В. Аввакумова доля // *Иванов В. В.* Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 2000. Т. 2.
Сухих И. Жить после Колымы. «Колымские рассказы» В. Шаламова // Звезда. 2001. № 6.
Некрасова И. Судьба и творчество Варлама Шаламова. Самара: Издво СГПУ, 2003.
Жаравина Л. От Пушкина до Шаламова: Русская литература в духовном измерении. Волгоград: Перемена, 2003.
Михайлов О. В круге девятом // Слово. 2003. № 10.
Сиротинская И. Мой друг Варлам Шаламов. М., 2006.
Материалы конференции, посвященной столетию со дня рождения Варлама Шаламова / Сост. И. Сиротинская. М., 2007.

Есипов В. Варлам Шаламов и его современники. Вологда: Книжное наследие, 2007, 2008.
Михайлик Е. Незамеченная революция // Антропология революции. Сборник статей. М.: НЛО, 2009.

Биографии и творчеству писателя посвящены материалы четырех «Шаламовских сборников», выходивших последовательно в Вологде в 1994, 1997, 2002 годах и в Москве в 2011 году. В настоящее время исследования творчества Шаламова, включая зарубежные, размещаются на сайте shalamov.ru, созданном в 2008 году при поддержке Российского гуманитарного научного фонда.

СОДЕРЖАНИЕ

Есипов В. В.

Е 83 Шаламов / Валерий Есипов. — М.: Молодая гвардия, 2012. — 346[6] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1374).

ISBN 978-5-235-03528-7

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6—8

Есипов Валерий Васильевич
ШАЛАМОВ

Редактор **И. И. Никифорова**
Художественный редактор **Е. В. Кошелева**
Технический редактор **М. П. Качурина**
Корректоры **Л. С. Барышникова, Г. В. Платова**

Сдано в набор 16.02.2012. Подписано в печать 16.05.2012. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 18,48+0,84 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ № 1207370.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mail:dsel@gvardiya.ru



Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03528-7

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Е. Матонин
«БРОЗ ТИТО»

А. Васькин
«МОСКОВСКИЕ ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ XIX ВЕКА»

И. Курукин
«АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА»

В. Есипов
«ШАЛАМОВ»

Г. Чернявский
«ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ»

С. Даншен
«ЭЛВИС ПРЕСЛИ»

Л. Анисарова
«НОВИКОВ-ПРИБОЙ»




ISBN 978-5-235-03528-7

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ